

Мар Байджиев

**РАССКАЗЫ
И
ПОВЕСТИ**

Бишкек – 2005

ББК

Б –??

Байджиев Мар

Б – Рассказы и повести. – Б.: «Название издательство», – 432 стр.

ISBN – 9967

Аннотация

Б

ISBN – 9967

ББК

© Байджиев Мар 2005.

ПО СВОЕЙ ТРОПЕ...

Имя кыргызского писателя Мара Байджиева известно не только в нашей стране, но и за рубежом прежде всего по театральным постановкам, телеспектаклям и киносценариям. В определенном смысле Байджиев-драматург одержал победу над Байджиевым-прозаиком, и цель представляемого читателю сборника в немалой степени состоит в том, чтобы «вернуть» автору несправедливо забытое «амплуа».

«Мар Байджиев – один из наиболее известных представителей новой литературной генерации. Его творчество, так же как творчество его сверстников, формировалось в сложном процессе сочетания национальных традиций с достижениями единой многонациональной советской литературы и опытом мировой культуры», – писал о нем несколько лет тому назад Чингиз Айтматов.

Первая книга Мара Байджиева – сборник рассказов «Кара-Курт» – вышла почти пол века назад, в 1961 году в Киргизии, вскоре после того, как автор ее стал выпускником филологического факультета Киргизского государственного университета. Однако еще учась в университете, Мар Байджиев начал выступать в печати, пробовать свои силы в критике и заниматься переводами (достаточно сказать, что будучи студентом третьего курса он перевел на кыргызский язык фурмановского «Чапаева»). После «Кара-Курта» последовали сборники прозы «Возвращение» и «Тропа» на русском и киргизском языках (Мар Байджиев принадлежит к числу писателей, которые самим фактом своего двуязычия свидетельствуют о процессах органического взаимовлияния национальных культур). Наряду с прозой автор активно обращается к драматургии и кинематографии, он пишет одноактные пьесы, работает на киностудии «Киргизфильм», заканчивает в 1964 году в Москве Высшие сценарные курсы. Его первая многоактная пьеса «Возмужавшие» была поставлена на сцене Киргизского драматического театра в 1965 году, пьеса «Дуэль» опубликована в журнале «Театр» и переведена на многие языки народов СССР, телеспектакль «Мы – мужчины» до сих пор время от времени повторяется на экране центрального телевидения.

Феномен М.Байджиева еще и в том, что он является одним из ярких представителей билингвизма. Он пишет на кыргызском и русском языках, нередко переводит свои же произведения на тот или другой язык в

зависимости от того, на каком написан оригинал, разумеется, с соответствующей адаптацией. Добрая часть его прозы и драматургии написаны на кыргызском языке, переведены автором на русский, как он признается, «на экспорт», т.к. через русский они становятся доступными мировому читателю и зрителю.

Художественные произведения и публицистика М.Байджиева печатались в журналах «Звезда», «Знамя», «Дружба народов», «Литературное обозрение», «Театр», «Искусство кино», в газетах «Правда», «Комсомольская правда», «Литературная газета», в периодике бывших союзных республик: Прибалтики, Украины, Закавказья, Средней Азии и Казахстана.

Произведения М.Байджиева выходили во всесоюзных сборниках и отдельных книгах в Москве в издательствах «Молодая гвардия», «Советский писатель», «Художественная литература», «Искусство» и др.

В переводе М.Байджиева русскоязычному читателю были представлены произведения кыргызских писателей К.Джантошева, Т.Сыдыкбекова, К.Каимова, А.Соспаева, ведущих драматургов, его имя значится в академическом издании эпоса «Манас» как переводчика центрального эпизода «Великий поход» в сказании Сагынбая Орозбакова.

Кыргызские читатели и зрители через переводы М.Байджиева знают водевили А.Чехова, пьесы Ж.Кокто, трагедию В.Шекспира «Антоний и Клеопатра», которую он сам поставил на сцене академического театра.

Читатель непременно обратит внимание на то, сколь точно и достоверно М.Байджиев описывает реалии города и деревни, тонко и проникновенно раскрывает психологию и мировоззрение своих героев, будь то рафинированный городской мальчик, играющий в «Чапая», или аильский сорванец с растопыренными ушами, доктор медицины, заведующий клиникой или сторож сельской школы.

Предлагаемый читателю сборник включает произведения, написанные Маром Байджиевым на протяжении последних сорока лет и отражает движение его прозы от лаконичных новеллистических форм к развернутому повествованию, от порой внешних эффектов к более глубокому, подчас драматическому взгляду на действительность, от зарисовок бытовой повседневности к истории, от жизненного факта – к фантазии и эксперименту. Во всех случаях, однако, здесь видна крепкая драматургическая основа – хорошо продуманная фабула, острый конфликт, обилие диалогов, вторые и третьи планы изображения, психологическая насыщенность действия. Некоторые вещи, публикуемые в книге, являются как бы прозаическими «вариантами» его драматургии, кино и театра.

Использование в младописьменной литературе приемов театра и кинематографа, стремление работать в разных видах и жанрах искусства – само по себе есть свидетельство быстрого творческого роста писателя, интенсивного обогащения национального художественного сознания в целом.

Профессиональная киргизская литература началась с исторической точки зрения совсем недавно, в 1924 году. В течение нескольких десятилетий она осваивала новую действительность, пытаясь – хотя и не всегда успешно – соединить собственные фольклорные традиции с уроками русской и мировой классики. В этот сложный процесс постепенно вовлекались достижения всей советской многонациональной литературы и искусства, опыт мировой культуры, что было непосредственно связано с ростом образования в республике, с изучением русского языка, с усилиями огромного отряда переводчиков.

Художественный феномен Чингиза Айтматова, познакомившего с киргизской литературой весь мир, возник, например, на скрещении сразу многих существеннейших факторов социального и культурного бытия киргизского народа.

Литературное поколение М. Байджиева (я имею в виду прозаиков И. Мансурова, М. Гапарова, А. Джакыпбекова, поэтов Р. Рыскулова, О. Султанова, Д. Садыкова, драматурга Б. Джакиева и др.) шло уже в русле, проложенном киргизскими писателями первого поколения К. Тыныстанова, С. Карачева, Т. Байджиева, Ж. Турусбекова, М. Элебаева, К. Джантошева и, безусловно, художественными достижениями Чингиза Айтматова.

Помимо общей эстетической почвы, поколение Мара Байджиева имеет и ту общность биографии, в основе которой – военное детство. Писатели-фронтовики сегодня серьезно – и не без оснований – озабочены судьбами военной темы в нашей прозе, ибо Великая Отечественная война еще не стала Историей в такой степени, когда изображать ее можно будет по «источникам», но живых участников, увы, остается все меньше. Мар Байджиев, однако, как и другие его сверстники, не изображает батальных сцен. Его память о войне – это страдания женщин, стариков и детей, тяжкий труд, особый, повышенный, счет к людям.

Военная тема в книге Мара Байджиева не ограничивается ретроспекциями детства и к ним не сводится: она то роецируется на современность, то уходит в глубокое, «доисторическое» прошлое народа. Нравственные критерии военного времени определяют подлинный масштаб всего происходящего, и потому бурная семейная сцена уменьшается до микроскопических размеров под впечатлением демонстрируемого телевидением фильма «Баллада о солдате» («Солуу»). В рассказе «Ищу друга» пожилой профессор, чтобы успокоить мальчика перед операцией на сердце, показывает ему свою грудь, испещренную шрамами войны. В маленькой зарисовке «Гражданочка» пожилая женщина заходит в магазин за пуговицами, но сегодня – День Победы, и она заодно со всеми покупает подарки для мужчин – молодого и старого, а вернувшись домой, долго смотрит на фотографии погибших в двух войнах мужа и сына.

Книга насыщена психологическими подробностями, свидетельствующими о том, что память о войне органична для художественного сознания писателя. В своеобразную «антивоенную» притчу разрастается даже повесть о древней племенной жизни кыргызов «Однажды очень давно»: получив из рук купцов огнестрельное оружие, племена начинают враждовать друг с другом, превращают охоту из средства разумной добычи пищи в бессмысленное истребление животных, а сам вождь племени в кровавом азарте охоты случайно убивает собственного сына...

Постоянно обращаясь мыслью к прошлому, Мар Байджиев и по материалу, и по тематике своей прозы остается, однако, художником сугубо современным. Его внимание привлекают ритмы городской жизни, семья и ее конфликты, взаимоотношения мужчины и женщины, проблемы духовных «коммуникаций» и преодоления человеческого одиночества. Очень характерен в этом плане открывающий этот сборник рассказ 1962 года «Сулу»: семейная ссора по пустякам, усталость и раздражение жены, безалаберность мужа, неухоженные дети – казалось бы, перед нами просто натуралистическая картина городского быта, но откуда же вдруг возникает в финале эта шемящая нота доброты, поэзия повседневного домашнего общения, спокойный ритм спящего ребенка, ради которого стоит жить и надеяться...

Персонажи произведений Мара Байджиева мучительно ищут близкую, нравственную точку опоры и равновесия в сложном, противоречивом мире города, и этот поиск роднит пожилого профессора в рассказе «Ищу друга» с его маленьким пациентом, героиню «Ливня» молодую, красивую Нази и старую, одинокую машинистку Айшу из «Осенних дождей», когда-то не допустившую мысли, что у ее сына, погибшего на фронте, могли остаться любимая женщина и дочка. А теперь готовую вымалывать прощение у отвергнутой ею семьи.

Пожалуй, именно эта потребность людей друг в друге, в семье, общении, взаимопомощи, душевной теплоте и является ключевой темой произведений Мара Байджиева, происходит ли дело в городе или в деревне. В «Ливне» и «Осенних дождях» подобные мотивы, при всей точности отдельных деталей и эпизодов, несут на себе некоторый налет мелодраматизма и книжности. Зато в рассказе «Воровка» они претворяются в бесхитростное, народное по характерам и колориту повествование. Живет в киргизском аиле колхозник дядя Таштан, единственная мечта которого – иметь ребенка, но жена его, увы, бездетна. И как же разрешается эта ситуация? Видя страдания мужа, жена говорит ему: «Я уеду к родителям и дам тебе свободу. Только ты не торопись, найди себе подругу, которая бы не только рожала, но и ценила тебя. А мне купи плюшевое пальто, хромовые сапоги, чаю и сладостей для родителей, чтобы злые языки не говорили, что ты меня выгнал». Дядя Таштан, однако, «торопится» и, изловив попавшую в аил каким-то чудом голодную цыганку, застигнутую на попытке украсть кусок

хлеба, женится на ней, хотя даже объясняться с женой вынужден жестами. «Судьба послала нам женщину. У нее нет ни детей, ни мужа, ни очага. Она не нашей крови и не нашей веры. Но она добрая и здоровая... она народит мне детишек и будет хозяйкой в доме...» Когда же беременная женщина, влекомая жадой к странствиям, все-таки сбегает от незадачливого мужа, старая жена возвращается к нему, и вот они уже десятилетиями ждут, что в аиле появится сын Таштана...

Персонажи «деревенских» произведений Мара Байджиева – простые, порой незаметные люди. Таштан следит за колхозными арыками, и его называют «Начальник воды». Но слово «начальник» применительно к нему неизменно приобретает юмористический оттенок. В повести «Тропа» образ «маленького» человека имеет даже заостренно полемический смысл – уж кто может быть более унижен, беспомощен, чем убогий сирота Абылкасым, усыновленный старухой Зыядой-апой и вновь осиротевший после ее смерти? Но автор задается целью показать «тропу» человека к самому себе, рост его достоинства, способность своей самоотверженной любовью и порядочностью победить зло и добиться справедливости в самом широком значении этого слова – и в отношении к себе окружающих людей, и в ответном чувстве любимой женщины. Умиравшая старуха в рассказе «Улыбка» напоминает героиню повести В.Распутина «Последний срок», и трудно не заметить, сколь близки друг к другу по звучанию эти произведения, как приближающаяся смерть и резко углубленные ее приближением воспоминания о прожитой жизни высвечивают и тут и там подлинно народную структуру изображаемого характера, придают ему эпическую монументальность.

При всей жесткости и лаконизме письма Мар Байджиев рисует своих персонажей с неизменным сочувствием и состраданием. Не случайно в его прозе так много стариков и детей, то есть тех, кто в первую очередь нуждается в защите и покровительстве. Не случайно он так внимателен к любым добрым движениям человеческой души, к мукам ее возмужания и созревания. Хотелось бы отметить с этой точки зрения превосходный рассказ «Чапай», где детская игра в гражданскую войну неожиданно перерастает во что-то очень серьезное, «прогнозирует» будущие характеры, потому что ребенок познает в игре и настоящую боль, и горечь поражения, и разочарование в друге.

Человек в прозе Мара Байджиева сложен, противоречив, нередко изломан обстоятельствами (как, например, Искандер из «Ливня», не раз сталкивавшийся с подлостью и сделавший вывод, что «все мы немного подленькие»). Даже мелодраматический сюжет «Ливня», с его традиционным «треугольником», описанием внезапно налетевшей любви, образом героя-подводника, обреченного на смерть болезнью лучевой и т.п., не мешает появлению сцены, когда полюбившая Азиза Нази обнаруживает временную слабость духа и поддается на посулы и уговоры «купившего» ее од-

нажды и относящегося к ней как к собственности Искандера. Мудрая старуха в «Улыбке» не может простить дочери ее бегства в город, говорит внучке всякие жестокие слова о матери, запрещает ей принимать городские посылки, и внучка «ждет, пока умрет бабушка», опасаясь лишь того, что «набегут со всех сторон родственники, начнут плакать, голосить, хозяйничать в доме, резать баранов, развешивать в сарае красно мясо» и обязательно обнаружат мамины подарки... Рассказ «Ошибка» завершается саркастической интонацией: узнав о том, что жена смертельно больна, муж проникается к ней необыкновенной нежностью и раскаянием, словно бы переживает возвращение первой любви, но стоит медицинскому диагнозу оказаться ошибочным и жене вернуться домой, как разражается обычный семейный скандал...

В то же время автор знает про человека и другое – что он «в существе своем добр и прекрасен». Знает и убеждает читателя обычными, но человеческими поступками своих персонажей или общей гуманистической интонацией повествования. Вспомним, как Начальник Воды, поймав «воровку», потом сам же приносит крынку молока с хлебом: «Воровать-то голод заставил». Или как дядя Монколой в «Тропе» обращается на похоронах Зыядыапы к односельчанам с обрядовой речью, прямо касающейся осиротевшего Абылкасыма: «Родные и братья!.. Если она задолжала кому или обидела кого, пока жила на свете, скажите сейчас, не стесняйтесь! Покойная оставила после себя человека, который расплатится, если надо. Не смотрите, что он слишком молод и не очень здоров, у него есть братья, у него свой род, ибо он пришел в наш аил, как сын, стало быть, мы не оставим его в беде!»

Герои Мара Байджиева ищут семью, нащупывают родовые корни, а, найдя, обретают в них нравственную опору и защиту.

В деревне эти корни ощутимее, город придает поискам человека «центробежный» характер. По внешним признакам повесть «Жил-был серый скакун...» – история творческого и духовного кризиса популярного работника республиканского телевидения. Однако внутренний замысел опять-таки возвращает нас к теме рода, оборванных корней: потерявший себя человек мечется по замкнутому кругу, подобно цирковой лошади, оставляет верную жену, любимого сына, набивается в мужья к хладнокровной, «умствующей красавице», ищет спасения в родном аиле, но слышит там справедливые упреки родни, что запустил могилы предков...

Мар Байджиев разрабатывает эту тему и в «городской» психологической повести, и в рассказе, и в реалистической изображении деревни, насыщенном приметам народного быта. Иногда прозаик обращается и к столь распространенным ныне притчевым и мифологическим формам, как это сделано, в частности, построенной на древних преданиях и легендах повести «Однажды очень давно», где свободолюбивое, вольное племя киргизов-охотников, «снежных барсов», обитающее высоко в горах, словно бы воп-

лощает в себе идеал естественного, органического единства человека и природы, патриархальной гармонии.

Повесть «Однажды очень давно» вносит в книгу яркие, экзотические краски, свидетельствует о богатом авторском воображении, открывает перед прозой Мара Байджиева новые стилистические возможности. Стиль писателя вообще привлекает своим напряжением творческого поиска. Лиризм сочетается здесь с подробным бытописанием, психологизм современной литературы с фольклорным орнаментализмом.

Своеобразную окраску этой прозе придает постоянно пробивающийся в ней сквозь любые стилистические платы юмор, которого подчас так не хватает нашей «серьезной литературе». Семейные неурядицы в «Сулуу» сугубо натуральны, но одновременно и смешны. Стоит герою рассказа зайти в дом, как на него обрушиваются жалобы жены («Стиральная машина не работает!», «Газ кончился!..»), «У сына расстроился желудок!..»), «Испортился холодильник!..»), «Айна сломала электросамовар!..»), «В спальне протекает радиатор!»..). «Боже мой, сплошная механизация!» – ужасается герой. Потом двухлетний сын вымазывает его горчицей. А в довершение всего дочка пристает с вопросом: «Папа! Папа! А почему камбала похожа на пощечину?» – и получает незамедлительный ответ: «Сейчас узнаешь разницу». Действие развивается почти буффонадно. И требуется немалое мастерство, чтобы спустя несколько страниц перевести его в совершенно иную интонацию. Озорная усмешка нет-нет да и брызнет в повествовании, казалось бы, совсем к ней не располагающем. Например, самое большое оскорбление, которое муж наносит жене в финале каждой семейной сцены в рассказе «Ошибка», – это выкрикиваемое им уже на лестнице слово «толстуха». «Жена вмиг умолкла и, как раненая медведица, уходила в квартиру, валилась на диван и долго плакала: «В какой черный день я повстречалась с ним?.. Может, думает, что я все съедаю и не даю детям? А куда он смотрел, когда мы встречались? Разве не видно было, что я расположена к полноте? О-ой, мама!»

В миниатюре «Преступление и наказание, или Красные уши» автору достаточно двух страниц для того, чтобы обрисовать колоритный характер. Аильный пожарник дядя Качкынбай сидит, ни о чем не заботясь, на деревянной вышке, трудодни идут, а дома не горят. «Кроме жирных черных заголовков газет, он ничего не читал и, считая себя крупным человеком, не обращал внимания на мелочи». Когда же наконец один дом загорелся, между дядей Качкынбаем и мальчишкой, сообщившем ему о пожаре, состоялся следующий диалог: «Значит, горит, говоришь? – Горит. – Может, скоро и другие дома загорятся? – Загорятся. – И все сгорит? – Сгорит... Он подтянул широкие штаны, спустился с вышки... схватил меня за ухо и повернул его на сто восемьдесят градусов... – Будешь еще панику наводить? Будешь еще обобщать?» И конечно же, полны юмора рассказы о детях, чью психо-

логию и логику автор хорошо понимает и умеет показать, будь то решение героя «Моей золотой рыбки» стать второгодником, чтобы оказаться в одном классе с девочкой младше его на год, или конфликт маленького Бекжана с «Чапаем», заставляющим его играть роль шпика...

По своей изобразительности проза Байджиева кинематографична. Так, в частности, показан сон старухи в «Улыбке»: «Снилось ей, будто лежат они с мужем в широкой степи на огромном стоге сена... А над головой небо. Оно синее-синее, высокое-высокое... Вот на горизонте показались две беленькие звездочки. Это бегут два сына – близнецы Асан и Усен (они погибли под Сталинградом)... Сверкают детские ягодицы и пятки, зеленые от свежей травы. А они с мужем, обнявшись, летят в синее-синее небо мимо облаков». Постоянно бросаются в глаза в книге смелый перебив планов, монтаж, раскадровка, насыщенность диалога. Мы почему-то забываем, что драматургия и кинодраматургия – тоже явление литературы. Мар Байджиев нам об этом напоминает.

Читать его повести и рассказы интересно. Они проводят нас по дорогам детства и зрелости, погружают в далекое и недавнее прошлое для того, чтобы в итоге глубже понять сегодняшний день, с его заботами и тревогами, нежностью и суровостью. Хочется думать, что встреча с таким собеседником, как Мар Байджиев, расширит и обогатит представление читателя о современной киргизской литературе.

*ВАДИМ КОВСКИЙ,
доктор филологических наук.
г. Москва*

ВОЙНА, КОТОРАЯ ВСЕГДА С НАМИ

(Предисловие от автора)

Война ворвалась в мою мальчишескую жизнь с раздирающей душу сиреной воздушной тревоги – проводились профилактические меры боевой готовности. Наш большой двор, полный шума детских голосов, звона трехколесных велосипедов, крика мальчишек, играющих в Чапая, затих, как муравейник перед грозой. Тихо стало в домах. В первые же дни войны ушли на фронт папины друзья: известный писатель Мукай Элебаев, замечательный поэт и драматург Жусуп Турусбеков, детский писатель Кусеин Эсенкожоев и поэт Жекшен Ашубаев, с которыми мы жили в одном доме. Ушли, и... никто из них не вернулся. Вскоре ушел на войну и наш отец. Мы вынуждены были переехать в родной аил, очень далекий, где не было ни радио, ни электричества. Мама, окончившая всего лишь первый курс педучилища, преподавала в школе почти все гуманитарные предметы – весь мужской состав учителей ушел на фронт. В одном помещении одновременно обучались два класса, оба урока вел один учитель...

Отец вернулся весной сорок четвертого.

Я стоял у доски и решал задачку. Тетушка Батма вбежала прямо в класс и потребовала с меня мзду за добрую весть – на пристани она видела, как с парохода сошел мой отец и едет в аил. Я отдал тетке свою шапку-ушанку, выбежал из класса и в рваных валенках по мартовой слякоти помчался к большому шоссе. За мной с криками «ура» бросились оба класса.

К аилу приближались три всадника в зеленых офицерских шинелях: один без ноги, другой с изуродованным лицом и без руки. Третий с двумя костылями поперек седла. Но где мой отец? Может, тетушка ошиблась или попросту разыграла меня? Отца я помнил молодым, веселым, светлолицым, а эти трое были старые, худые и черные. Я остановился и заплакал. Один из них начал всматриваться в толпу мальчишек, явно кого-то выискивая, и вдруг в нем мелькнуло что-то родное – я бросился к отцу... Видать, и он не мог узнать сына в ватаге изнуренных голодом оборванцев с обветренными лицами. Меня-то он оставлял в темно-синей «матроске», туфлях «скороходах» ленинградского производства.

Отец поднял меня на седло. Я почувствовал запах махорки, пороха, лекарства и казенного сукна – видимо, это был запах войны...

Мальчишки бежали за нами, обгоняя всадников и с надеждой заглядывая им в глаза. А я был самым счастливым пацаном на свете. Отца

и его спутников (они оказались из соседнего айла) встретила самая старая женщина нашего рода Жайсан-эне с чашей чистой воды, а за нею следовали все айльчане. Так у нас испокон веков встречают воинов, возвратившихся с поля боя.

Вскоре мы вновь переехали во Фрунзе. Помню, как однажды мы писали диктант со слов «до Берлина осталось сто километров».

Через несколько дней я проснулся от ликующих криков и выбежал во двор, залитый майским солнцем. Люди обнимались, целовались и... плакали.

Вечером весь дом смотрел салют. На крыльцо вышел двадцатидвухлетний Тендик, старший сын выдающегося кыргызского писателя Касыма Тыныстанова, расстрелянного в 1937 году. Тендик вернулся с фронта в мундире лейтенанта. При свете падающих разноцветных ракет я увидел, как по его тонкому и смуглому лицу катятся слезы. Вскоре Тендик Тыныстанов скончался в госпитале от боевых ран, и тогда я понял, почему он плакал в День Победы.

Четыре года войны... Для истории мизерный отрезок времени. Но за те четыре грозных года я познал жизнь в десять раз больше, чем за все свои последующие годы. И думаю, не только я, но и все наше поколение, опаленное Великой войной.

До тех, кто жил в глубоком тылу, не доходили звуки канонады; мы не видели настоящих танков и пушек. Но война была рядом. Мы чувствовали ее, простаивая в длинных очередях за хлебом, чувствовали, когда наши матери, надев тяжелые кирзовые сапоги и неуклюжие ватники, уходили в ночную заводскую смену, водили тракторы, тяжелыми кетменями копали арыки, по колено стоя в студеной воде, поливали колхозный картофель. Война была с нами, когда приходилось надевать перешитую отцовскую одежду... И мы просто выросли, словно одежда эта обязывала все понимать и жить думами взрослых.

Наша война была в нас самих. Мы побеждали свою человеческую слабость. Действительность для нас стала суровой и жестокой: голод был голодом, гибель близких безвозвратной, горькой утратой. Детство закончилось в считанные дни...

Вторая мировая война так потрясла человечество своей жестокостью и масштабами разрушения, что три поколения людей разных континентов до сих пор не может оправиться от эмоционального шока. О муках и страданиях, о гибели и утрате, о разрушенных городах и судьбах накоплено много произведений искусства и литературы, созданных самими участниками кровавой трагедии XX века.

Война – главная тема писателей и моего поколения. Изображая тех, кому «все было отпущено сверх меры: любовь и гнев, и мужество в бою», невольно измеряешь, какую сумму жизненных познаний вывел твой герой из трудной судьбы, как перенес жестокие испытания, не согнулся ли под «сверхмерным грузом», свалившимся на плечи его славного поколения, не сдал ли тех позиций, которые были завоеваны ценою жизни, крови, лишений, самоотверженного труда, и насколько он может служить примером для детей и внуков.

Если же пишешь о тех, для кого война стала историей и умещается на нескольких страницах школьного учебника, то их мысли и дела оцениваешь по шкале ответственности перед памятью тех, кто всегда застыл на площадях Победы, по ком еще очень долго будут звонить колокола.

Может, эта высокая мерка и заставляет смотреть на жизнь под острым углом зрения, хочется, чтобы наши дети и внуки любили свою Родину и никогда не были бы равнодушными к ее судьбе.

Уж больно дорого за нее заплачено!..

Через тринадцать лет после Великой побед наши души потрясло еще одно Великое событие. В 1958 году состоялся XX съезд КПСС, осудивший так называемый «культ личности Иосифа Сталина». Произошло низвержение идола. Гибель богов. На лицах потомков «врагов народа» заиграли блики зари, в грустных глазах заблестели слезы надежды на справедливость.

От родителей своих, переживших страх и горечь 30-х годов, мы унаследовали травмированную хромосому с хронической жаждой истины и справедливости. Из этих слагаемых и суммировалось мировоззрение тех, кого называли «шестидесятниками». Мы писали о том, что видели и испытали сами, что было можно – публиковали, а что «нельзя» – оставалось в тайниках наших душ. Сегодня мы извлекаем из памяти сердца кровоточащую боль, сильнее ощущаем трагическую нелепость утрат и страданий своего народа, горше и обидней за тех, кто ушел в землю, так и не ощутив знамение истины и справедливости.

На наших глазах распалась Великая держава, созданная диктатурой большевиков ценою крови и жизни миллионов людей.

К сожалению, жизнь человека строго регламентирована. Представители моего поколения едва ли успеют осознать суть этого исторического явления, пропустить через мозг и сердце, преподнести в виде художественной картины жизни и мудрого обобщения.

«Иных уж нет, а те уже далече, как Саади некогда сказал».

Видимо, это сделают уже те, кто идет за нами.

«Я крестил вас водою, но идущий за мной сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым», – говорил Иоанн Предтеча. Хочется верить, что «идущим за нами» не придется в угоду «красной» и прочей пропаганды грешить против истины и перед Богом.

Я полагаю, что это будут произведения сродни творениям Золя, Драйзера, Твена, Диккенса, А.Островского, Достоевского, Л.Толстого, раннего Серафимовича, Горького, Бунина, Куприна и др., созданных в эпоху становления капитализма.

Бурный рост частной собственности, обильно окропленный рыночными отношениями, в конечном счете, приводит к тому, что человечество начинает терять чистоту души, веру в добро с последующей ностальгией по ней. И вот тогда жизнь рождает апостолов, напоминающих о Боге и его бессмертных заповедях, начинающих ржать в сердцах людей.

В описанных мною историях нет вымысла, да и действующие лица порою названы своими именами.

Есть люди, о которых в народе говорят, что «его коснулась крылом черная птица». Это о судьбах попавших в водорот исторических трагедий, переживших взлеты и падения эпохи, в котором они жили. Может, я не скромн (простите, коли так), но мне показалось, что и в моей судьбе, в моих поражениях и победах, страданиях и радостях, как в молекуле вещества, отражена жизнь моего поколения и моего времени.

В своих произведениях я пытался рассказать не столько о событиях, сколько о том, что происходит в душах, во внутреннем мире участников этих событий.

Рассказы и повести, вошедшие в предлагаемый сборник, написаны в разные годы. Но я счел нужным расположить их по не датам их созданий и публикаций, а по хронологии событий, что, полагаю, даст читателю возможность ощутить течение времени и ход истории.

*С уважением
автор.*

РАССКАЗЫ

КОГДА ГИБНЕТ ЧАПАЙ

Борису Андреевичу Бабочкину

– Тихо, товарищи-граждане! Чапай... думать будет! – Раздался выстрел, но гомон не утихал.

– Кому говорят – Чапай думать будет?! – крикнул Петька еще громче, но выстрела не последовало. Петька опешил. Поднял кусочек бумаги, в которую была завернута сера, снятая со спичечных головок, положил на выступ камня и ударил еще раз. Послышался слабый треск. Петька увидел, что бумага прогорела, а часть серы осталась не взорванной.

– Чапай! Порох мокрый! – вытянулся Петька.

– Почему мокрый? – грозно спросил Чапай и глянул ему в глаза.

– Спички отсырели, я обмакнул их в керосин, чтобы громче трахнуло!

– Найти сухой порох! – распорядился командир.

– Дай сюда-а! Я сломал его! – закричал толстощекий Бекжан, вырывая у кого-то длинный прут.

– Прекратить драку! – крикнул Чапай и поднялся. На нем была вышедшая из моды меховая шапка матери. Легкое пальто, наброшенное на плечи, держалось на единственной пуговице, застегнутой у самого горла. Это была «бурка». Чапай, опершись на деревянную саблю, обитую жестью от консервных банок, молча шурился на свое войско, оценивал силы, строил план предстоящей битвы, думал, кому доверить пулемет, ибо бессменная пулеметчица Анка (Светка Сорокина) сегодня утром уехала в пионерский лагерь.

Августовское солнце так нагрело железные крыши, что даже голуби не решались ходить по ним и, надувшись, сидели внутри чердака, в тени. Но Юсуп не снимал ни папахи, ни бурки, иначе какой же он Чапаев!

– Товарищ командир, они сломали коня! – доложил Петька.

– Кто сломал?

– Бекжанка.

– Застрелить!

– Ага-а! В кино такого не было! – возразил толстощекий Бекжан.

– Молчать! – крикнул Чапай.

Петька и еще два бойца подвели Бекжана к дереву, отступили на три шага и взяли на мушку.

– Огонь! – скомандовал Петька.

– Кх! – выстрелили солдаты.

Преступник слегка пошатнулся, закрыл глаза, прикусил коротенький толстый язык и медленно рухнул на землю.

– Убрать! – приказал командир.

– Убрать! – повторил Петька, и мальчишки потащили расстрелянного к скамейке, но тот, не успев как следует остыть, вырвался из рук.

– А кем я теперь буд-уду?! – протянул он.

– Шпиком! – отрезал Чапай.

– Фи-и! Тогда не буду играть! – надулся Бекжан и отошел в сторону.

– Ой, ты-ы, что ты обиделся? – спросил Петька.

– Да я не из-за расстрела... Другие чо, так им ничо, а я чуть чо, так сразу чо-о... – в глазах Бекжана появились слезы. – Не хочу я шпиком...

– Расстрелять еще раз! – приказал Чапай, но толстощекий мальчуган уже шел домой, волоча за собой полконя.

– Ладно, пусть уходит! Петька, раздели провизию! – распорядился Чапай.

Петька разделил хлеб на шесть частей, большой кусок протянул командиру.

– Чапай не ест хлеб. Он ест конфеты! – гордо сказал командир, вытащил из-за пазухи красный леденец в виде мотоцикла и с хрустом откусил переднее колесо вместе с ногой мотоциклиста.

Мальчишки жевали хлеб и смотрели на Юсупа, а тот, сбив папаху на затылок, с треском откусывал крепкий, как стекло, леденец и гордо смотрел на них.

А враг не дремал...

В соседнем дворе был свой Чапай, и вот уже второй год между мальчишками двух дворов шла жестокая война. Те считали себя красными, а этих белыми, а эти считали себя красными, а тех белыми.

Баталии и мелкие стычки участились с тех пор, как снесли глиняный дувал разделявший оба двора. Строители, свалив старый забор, начали возводить стены из кирпича, подняли на полметра от земли и почему-то приостановили работу, и жители обоих дворов общались между собой, легко преодолевая этот небольшой барьер.

Мальчишкам недостроенный забор служил святой границей. Не дай бог, если кто-нибудь переходил его! Его могли поймать, связать, запрятать в сарай и держать до тех пор, пока не приходила за мальчуганом мать или кто-нибудь из взрослых.

И у тех и у этих был свой денежный фонд, собираемый с войска. Когда капитал достигал определенной суммы, мальчишки гурьбой шли в кино на «Чапаева». Может быть, они действительно надеялись, что красной кавалерии удастся спасти храброго командира? Но и на этот раз Чапай погибал. Выйдя из кино, они шли, понуря голову. Только сейчас утонул Чапай, только сейчас у самого берега Урала упал храбрый Петька, и речная студеная вода захлестнула его. Мальчишки кричали, свистели, торопили, но наши не успели.

Только один мальчуган – восьмилетний Марат – не верил в гибель Чапая. Ребята убеждали его, подробно, в лицах рассказывали содержание фильма. Но Марат не верил. Он утверждал, что Чапаев спасся, позвал наших, и они разбили беляков. Нет, Чапай не мог погибнуть! Это не умещалось в его сознании.

Юсупа – бессменного Чапая – Марат любил и искренне преклонялся перед ним. Во-первых, Юсуп был старше всех, учился в четвертом классе, получал одни пятерки, мама ругала его даже за четверки. Дома у них было пианино, на котором он здорово играл. Иногда Юсуп долго не выходил, тогда мальчишки подходили к крыльцу и звали:

– Юсуп, Чапай! Выходи! Беляки наступают!

В дверях появлялась мать Юсупа – красивая молодая женщина в длинном блестящем халате с широкими рукавами.

– Вы что кричите, мальчишки?

– Нам Юсупа, враг наступает!

– Юсуп обедает. А потом с папой пойдет на концерт.

– Пусть даст нам коня своего...

– Конь должен отдохнуть... – Она улыбалась ярко накрашенными губами и скрывалась за дверью.

Мальчишки нехотя брели от дома, садились на песок, где возились малыши, спорили о чем-нибудь или шли на волейбольную площадку теннисным мячом играть в футбол.

– Ну что! Струсил, да! – кричали с того двора. – Струсил! Стру-у-усили! Хэ-э-э-э!

Но мальчишки не отвечали.

Марат думал, что он бы никогда не смог быть таким Чапаем, как Юсуп, да и мальчишки не стали бы подчиняться ему. Однако у него была своя мечта: хоть одну игру побыть Петькой, но почему-то его никогда не назначали. Петькой всегда бывали Алик Петров или шустрый Андаш – такова была воля Чапая: ординарца он выбирал по своему усмотрению. Однако несколько дней назад и Петька номер один, и его дублер заболели корью, и Петькой наконец-то был назначен Марат.

Сегодня он с самого утра чувствовал себя Петькой – беспрекословно, четко выполнял любые задания.

Чапай отправил в рот заднее колесо мотоцикла вместе с багажником. И в тот миг у его ног плюхнулась «граната» – кусок сухой глины.

– К бою! – крикнул Чапай. – Петька, к пулемету!

Мальчишки бросились к снарядам и открыли ответный огонь. Бой завязался. Противник вел обстрел из-за укрытия, видимо, рассчитывая застать враг врасплох. Гранаты плюхались о стенку, гулко стучали по фанерному щиту, где был установлен пулемет.

Куски глины падали Марату на голову, за шиворот, больно секли лицо, но он ничего не видел, не чувствовал. Игра казалась ему правдой.

– А-а, боитесь! – кричал он, кидая комки глины, и, охваченный пылом сражения, не заметил, что боеприпасы кончаются.

Враг наседал и в любую минуту мог броситься в атаку, разломать укрепления и утащить фанерные щиты.

Но Чапай не растерялся.

– Петька! Ко мне! – крикнул он.

Марату под ураганным огнем пришлось ползти назад.

– Возьми гранаты и ползи на улицу! – распорядился Чапай.

Положив в шапку десяток гранат, Петька пополз к щели между домами. Шапка с боеприпасами мешала передвигаться, ее пришлось держать в зубах.

Юсуп побежал домой, через окно выпрыгнул на улицу и пополз к Марату.

Противник увидел, что войско осталось без командира, и ринулся в наступление.

Осажденные начали оттягиваться в глубь двора.

– Пошли! – скомандовал Чапай, с криком «ура!» выскочил из засады и открыл огонь.

Петька чувствовал себя как в настоящем бою. Сжав зубы, он спокойно целился и поразил цель. Вот он попал кому-то в спину, мягкая глина разлетелась с брызгами, оставив между лопаток мальчугана серое пятно.

Противники сперва растерялись, но, увидев, что с фланга вышли только двое, часть огня перенесли на них. Боеприпасы кончались, вокруг валялось много камней, но они были вне правил «войны».

Вдруг Чапай охнул, на его бедре появилось серое пятно.

Марат увидел, как Юсуп с искаженным лицом поднял с земли камень и стал приближаться к забору.

– Чапай! Чапай! брось камень. Нельзя камнями! – закричал Петька, но тот словно не слышал.

– Юсуп! Не надо! Не надо! – кричал Марат, стараясь прикрыть его огнем.

Юсуп вплотную подошел к забору и швырнул камень. Раздался звон разбитого стекла.

– А-а, гады! Камнями начали? Да? – закричали противники и все выбежали на улицу. Их было не менее десяти.

– Бежим! – крикнул Юсуп и бросился наутек.

В первую минуту Марат бросился за ним, но потом понял, что не успеет спастись: противник через щель выйдет наперерез.

Марат слышал за спиной топот бегущих босых ног. Вдруг он остановился, повернулся лицом к преследователям и пошел на них.

Те растерялись и остановились. Петька тоже остановился, но потом начал медленно пятиться назад. Ему снова показалось, что это не игра, а настоящий бой, и по-настоящему было страшно.

Преследователи приближались.

– Брось железный камень! – сказал чужой Петька.

– Он не железный! – ответил Марат.

– Сдавайся! – приказал чужой Петька.

– Нет! – крикнул Марат, бросил гранату и рванул к щели. Вслед полетели куски глины.

Одна больно ударила по плечу, другая по ноге, мальчишки бросились за ним.

– Бей его! – крикнул чужой Чапай.

Марат, пригнув голову, медленно пробирался через щель между домами; он бы мог двигаться быстрее, но нарочно медлил. Надо

было выиграть время, спасти Чапая, чтобы тот добежал до наших, собрал их и обошел противника. Куски глины больно ударили по спине, по плечу. Петька, сжав губы, терпел. Но Чапая все не было, не было и привычного «ура», а гранаты все летели.

– Вы за что его бьете?! А?! – закричала какая-то женщина.

Мальчишки разбежались. Война кончилась.

Петька, весь измазанный в глине, медленно вышел из щели, слабым движением руки стряхнул с головы песок. Из ссадины на правом колене сочилась кровь.

Двор был пуст. Чапая тоже не было.

А Юсуп в это время, закрывшись в ванной, отмывал грязное пятно на штанине.

– Чапа-ай! – сквозь слезы позвал Петька.

Какое-то непонятное чувство душило его. Хотелось плакать громко-громко, бить ногами землю, точно так же, как плачет младшая сестренка, когда мать не берет ее с собой.

Спина болела сплошной тупой болью, ныли плечи, ноги и еще болело что-то в груди, там, внутри, заставляло дрожать все тело. А Чапая все не было. Не было и ребят. Наверное, увидев, что Юсуп разбил стекло и убежал, они тоже попрятались по домам и не видели, что Петька застрял в щели. Но Чапай-то видел все. Видел! Марат грязной ладонью тер глаза, он не хотел, чтобы мама заметила слезы.

С тех пор как папа куда-то уехал ночью, она часто плакала, сидя у его кровати. А Марат лежал смирно, притворившись спящим, и не мог понять, почему она плачет.

– Ах, боже мой! Ты что? Со свиньями купался? – всплеснула руками мать, когда Марат вошел в дом. – А ну, иди сейчас же умойся!

К вечеру у мальчика поднялась температура. Пришлось вызвать врача.

Когда пришел седой человек и начал осматривать его, Марат не спал, но не мог открыть глаза, хотя вовсе не притворялся спящим.

– Может, корь, Валерий Данилович? – тихо спросила мать.

– Нет, не волнуйтесь. Просто жар. Думаю, что к полуночи спадет... Дайте ему немного аспирина и гранатового сока.

– Хорошо... А как ваш сын, выздоровел?

– Пока ничего. Легкие у него неважные... – задумчиво сказал доктор. – Небось трудно вам с этим сорванцом?

– Да... Совсем от рук отбился...С утра до ночи во дворе. Недавно убежал в парк смотреть какой-то концерт. Милиционер снял его с забора и привел домой...

Потом они еще о чем-то говорили тихо-тихо, и доктор ушел.

Марату снова хотелось плакать, но вскоре он уснул.

– Мамочка! Ма-ама! – вдруг позвал он среди ночи.

Мать бросилась к нему. Мальчик бредил.

– Мама! Чапая убили! Убили моего Чапая! – закричал он, спрятав голову на теплой груди матери и заплакал.

– Что с тобой, мой жеребеночек? Кого убили?

Но мальчик больше ничего не говорил, только всхлипывал и дрожал.

– Не уходи от меня, – сказал он.

– Не уйду, мой малыш! Никогда я не уйду от тебя, мой малыш. А ты не плачь. Видишь, пока ты болел, я нашла еще одного солдатика. Теперь их стало шесть, скоро найдутся все остальные, и снова их будет десять, видишь...

На подоконнике, вытянувшись стояли оловянные солдатик и смотрели, как плачет их предводитель.

Но ни женщина, склонившаяся над Петькой, ни солдаты не понимали, что он впервые познал горечь поражения и поверил в смерть своего Чапая.

Женщина была матерью.

Солдаты были оловянными.

1963 г.

МОЙ ХЛЕБ

Летом 1941 года в соседнем дворе решили повесить Адольфа Гитлера. И ... повесили.

Мать рвала на себе волосы, ногтями царапала землю и выла. А он лежал в беседке на столе, очень длинный и синий. Он был года на два старше меня, очень тихий, добрый и покладистый. Мы назначили его Кашеем Бессмертным, беляком, шпионом, Батькой Махно, самураем и даже Собакой Баскервилей.

В тот день я не участвовал в игре, не знаю, как и почему он согласился на роль фюрера, видимо, опять же по своей доброте.

Мальчишки, как и весь тогдашний мир, разделились на два враждующих лагеря и начали войну.

Когда «фюрер», согласно традиционному исходу всех игр наших, «капитулировал» и «попался нашим», высший мальчишеский трибунал приговорил его «к смертной казни через повешение».

На шею «Гитлера» набросили петлю, привязали к стволу акации. Но вдруг ветка, за которую он держался руками, треснула, и он повис. Сперва, мальчишки решили, что он дурачится – уж больно смешно закатил глаза и высунул язык, а потом, когда он страшно задрывал ногами и вытянулся, испугались и побежали звать взрослых.

– Мы повесили Гитлера, а он умер, – сообщили они.

Когда прибежали взрослые, мальчика уже не было. Вместо мальчика висело его тело...

И мы сразу притихли, перестали играть в войну. В нашу мальчишескую жизнь ворвалась настоящая война.

Мимо нашего дома проходили новобранцы. Они были по-разному одеты, разных возрастов и разных национальностей. Мы смотрели на них с завистью – они шли на настоящую войну, по-настоящему уничтожать врагов, защищать Родину. Нам казалось, что это делается так же легко, как во дворе пединститута: два шага вперед – укол штыком, два шага назад – приклад к ноге. К тому же накануне по несколько раз мы ходили на фильм «Если завтра война», где из каждого стога сена выползал танк с красной звездочкой, а под каждой березой пряталась наша пушка; видели, как лихо водили свою машину «три танкиста».

В один из дней ушел на фронт и мой отец. Мы с мамой провожали его до товарной станции Пишпек. Серый товарный поезд, переполненный людьми в серых шинелях, стуча колесами, ушел в туман. В нашем доме стало пусто и тихо. За окном по ночам выли сирены, по улицам бегали люди в противогазах со значками МОПРа и ОСОВИАХИМа. Мы, мальчишки, разбегались по домам или прятались в подвалах, так как говорили, что того, кто попадетя, ведут в баню и моют вонючим мылом.

Я понял, что до сего времени жил в каком-то придуманном мире сказок об Иванушке-дурачке и Василисе Прекрасной, в мире заводных грузовичков и пикапов, надувных слонов и поездов, бегающих по замкнутому кругу; увидел, как беспардонно ругаются и дерутся в очередях за хлебом, услышал, как плачут, когда приходит похоронка.

... Выпал первый снег. Ударил первый мороз. Я несколько часов простоял в очереди за сахаром и отморозил себе уши. Вечером мама смазала мои побелевшие уши гусиным жиром, перевязала бинтом, и я был очень доволен, что стал походить на раненного танкиста, которого видел в кино.

Мама решила купить мне шапку-ушанку, собрала трехдневный карточный хлеб и отправила меня на базар, строго наказав продать каждый кусочек по десять рублей. А чтобы базарные жулики не отобрали мой хлеб, велела стоять рядом с тетей Соней. Тетя Соня была женой какого-то наркома, имела четырех детей. Нарком ушел на войну, а через месяц пришла похоронка. Тетя Соня каждый день ходила на базар продавать хлеб и колбасу, которую получала как вдова фронтовика-орденоносца.

Хлеб продавали в особом месте. Здесь, разложив в тарелках куски по двести граммов, на стульчиках сидели женщины. Хлеба было много. Покупателей мало. Когда проходил покупатель, женщины продавали свой хлеб по очереди, видимо, таков был уговор. Куски были стандартные, к тому же из одной пекарни. Тут же лежала линейка-миллиметровка. Хочешь проверить – проверяй. Я простоял возле тети Сони целый час и не продал ни одного кусочка. Очередь шла очень медленно. Я тут решил обхитрить всех: пошел бродить со своим хлебом по самым людным местам базара...

Вдоль дощатой стены была выставлена галерея картин, исполненных маслом на клеенке. По ослепительно голубой глади, между лилиями плавали белоснежные лебеди, на берегу ржали золотогривые белые кони, в лодках сидели толстые, розовощекие блондинки с голубыми лентами на макушке и играли на гитаре; грудастые русалки с ямочками на щеках и с рыбьими хвостами сидели на прибрежных камнях и расчесывали свои мокрые волосы. А вот весь сюжет песни «Распрягайте, хлопцы, коней». На каждое четверостишие – картина. Тишь да гладь – божья благодать в натуральном виде... Перед полотнами толпились зрители и покупатели.

– Кому хлеба? – тихо спросил я.

Никто не оглянулся в мою сторону. Все были заняты созерцанием клеенчатых шедевров. Пришлось идти дальше.

– Тетка, сколько просишь за брюки? – спросил парень.

Здесь продавались брюки кустарного производства.

– Девятьсот двадцать пять!

- А за сколько отдашь?
- За восемьсот пятьдесят.

Я не мог понять, почему она просит 925, если хочет отдать за 850 рублей.

Ширину штанины мерили спичечным коробком. Если уложится более шести раз – значит, шире тридцати сантиметров, то есть «фраерские», будут прикрывать кончики ботинок, как матросские клеши.

- Давай за семьсот? – торгуется парень
- Еще чего! – злится продавщица.
- Они же узкие, с колбасной фабрики.
- А что тебе, юбку на каждую ногу?! – отвечает тетка. – Брючки, брючки кому? Чистый коверкот.

– Мужика у тебя нет своего, вот и злая ты.

– Ка-зеты! Ка-зеты! Кому газеты! – кричит истерично девушка. Это Зинка. Ее знает весь базарный люд. Зинка – дитя базара. В свои пятнадцать лет она выглядит дородной тетей... У нее короткие толстые ноги. Большой живот. Большие шарообразные груди, одутловатое лицо. Челка спадает на самые брови, из-под которых смотрят глупые глаза. Говорили, что она приехала откуда-то с Крыма. Родители и братья Зины погибли вместе со своей деревней. Когда немцы облили их дом бензином и подожгли, девочка спряталась в гробе, где хранились бочки с соленными огурцами и квашеной капустой, просидела там десять дней, ела соленые огурцы и квашеную капусту. Ее обнаружили наши солдаты и отправили к нам, в глубокий тыл. Через год Зина внезапно начала полнеть и врачи установили, что у нее шизофрения и нарушение каких-то обменов на почве нервного потрясения. Летом Зинка продавала холодную воду, а зимой – старые газеты.

- Ка-зеты! Ка-зеты! Кому газеты?!
- Колесики! Колесики! Модельные колесики!

Я подумал, что дяденька этот продает какую-то диковинную игрушку на колесах, протиснулся сквозь толпу, чуть не растеряв свой хлеб, и увидел, что в его руках обыкновенные мужские туфли кустарного производства.

- Сколько твой модель? – спросил покупатель в галифе.
- Тыщу.
- Ты что, объелся, дядя?

– Объелся, – согласился дядя. – А ты глянь, работа какая. Подошва спиртованная. Чистая кожа! – он звонко пощелкал по подошве.

Покупатель взял туфлю, чуть подбросил, словно пробовал на вес, пощелкал по подошве, понюхал, послонявил палец, потер носок, прогнул подошву раза два, вытер рукавом и хитро прищурился:

– Так сколько ты просишь?

– Во... восемьсот... – почему-то неуверенно сказал хозяин.

– Триста! – отрезал покупатель.

Хозяин выпучил глаза, как жаба.

– Ты что, издеваешься?!

– А ты что, дурнее себя ищешь? Подошва-то картон! – отрезал покупатель.

– Эх, ты, карто-он! – хозяин потянулся за туфлей, но тот и не думал отдавать.

– Лаком замазал! Знаем мы эти штучки! Сам сапожник!

– Ну, ладно. Знаешь, так молчи. Чего кричать-то! Каждый как может. Война ведь, – сказал хозяин.

– Пройдем в милицию, – очень просто сказал покупатель и пошел.

Сапожник двинулся за ним, словно тот привязал его за шею и тянул за собой.

– Слышь, отдай ботинок. У меня же дети. Голодные. Жена в больнице с тифом лежит.

– С каким еще типом? – усмехнулся покупатель.

– С брюшным, конечно. С каким же еще. Эпидемия. Слышь, братишка. Отдай ботинок. Куда мне, старому, в милицию? Ночи не спал, шил. Отдай. В долгу не останусь.

Они отошли в сторону от людей и на меня не обращали внимания.

– Дадут тебе срок за аферу, будешь знать!

– Не надо, сынок. Ты же человек. Прости меня, грешного. Отплачу. Говорю же тебе.

– Сколько? – вдруг спросил «покупатель», пошарив глазами вокруг себя.

– Червонец, – ответил продавец.

– Ну, ладно, давай, уговорил, – согласился покупатель.

Сапожник отдал ему десять рублей, получил свою туфлю, завернул в тряпку.

– То-то, дорогой. Знай, что на хитрую задницу завсегда найдется что-нибудь с винтом, – сказал «покупатель».

– Это я знаю, – грустно отозвался продавец. – Так война же...

– В том-то и дело, что война, – «покупатель» похлопал сапожника по плечу и скрылся в толпе.

Сапожник некоторое время смотрел, пока тот не исчезнет с глаз, а потом развернул свой товар.

– Колесики! Колесики! Модельные! – закричал, как ни в чем не бывало.

– Сколько туфли?

– Тыщу прошу...

– Колесики! Колесики! Модельные! А ты, что зенки свои вылупил косые? – заметил он меня.

– Я хлеб продаю.

– Вот и гуляй со своим хлебом! Колесики! Колесики! Колесику кому?

Я пошел гулять со своим хлебом...

Старик-татарин гадал на бобах, цыганка на картах, слепая женщина водила пальцем по серой книжке с выпуклыми точками. У нее были короткие, сжатые в гармошку пальцы и желтые ногти. Четким громким голосом она предвещала кому-то скорую встречу. Старичок с бородкой держал на коленях длинный ящик с конвертами. На указательном пальце его сидел слепой щегол. На груди прорицателя висела дощечка, на которой химическим карандашом без знаков препинания и с дикими грамматическими ошибками было написано:

«Граждане!

Кто хочет узнать свою судьбу или судьбу своих радных мужа жаны детей найдите сатветствующий вопрос в списке назавите ну-мер и божия птичка расскажет Вам всю правду.

Стоимость 10 (десять) рублей.

Деньги вперед.

Сам я глухо-немой!»

Далее шел перечень вопросов:

«№1. Вернется ли мой муж живым?

№2. Почему нет писем?

«№3. Встречусь ли я з женой?

№4. Жив ли мой сын?» и т. д.

Женщина указала на второй номер. Прорицатель начал водить пальцем вдоль ящика. Щегол наклонился и клювом вытянул конвертик. Я стоял и ждал, когда заговорит эта божья птичка. Распечатали конвертик и кто-то начал громко читать.

«Дорогая гражданочка, в сердце твоем есть тревога, так как давно не получала вестей с фронта. Твой дорогой человек жив, но получил ранение и лежит в госпитале. Ждите и надейтесь на скорую встречу...» и т. д. Женщина повела головой и краешком платка вытерла слезы...

Подошел старик с седой бородой. Слепой щегол вытащил конверт. Распечатали. Там было напечатано одно лишь слово: «Мужайтесь». Старик отдал конверт, махнув рукой, сказав: «Брехня!» – и пошел по слякотной луже. Гадальщик посмотрел ему вслед. Видимо, он все слышал, да притворялся глухонемым, чтобы с ним не спорили.

– Ка-зеты! Ка-зеты! – Зинка прокричала где-то рядом.

Слепая гадалка прервала свое дело.

– Зина! Зиночка! Поди сюда, касатка! – громко позвала она, оставившись в землю, словно оттуда вызывала добрую фею.

– Чего вам? – появилась Зинка.

– Поди, касатка, купи мне пирожок с ливером и кружку патоки! – она протянула тридцать рублей, видимо, всю свою выручку.

Зинка взяла деньги и растворилась в толпе. Зинке можно доверить деньги. Зинка – ребенок, обмануть не хватит ума, а бежать ей некуда.

– Пацан, почем твой хлеб?

– По десять.

– Давай за девять? Видишь, какие рублишки? Хрустят.

– Нет. Мне шапку надо купить, – сказал я.

Чумазый цыганенок с кудлатой грязной головой приставал к каждому, просил рубль, обещая за это сплясать «на пузе», «на голове», хотя на базаре была слякоть, а там, где он стоял, жижа, размешанная тысячами базарных ног.

Но почему мой хлеб никто не покупает?

– Кому хлеба?

Где-то пиликала гармошка. Слышался дружный смех. Люди стояли в кружок, лузгали семечки и хохотали. В центре два мальчика шпарт частушки.

Вышла баба в калидор
и глядит на небо:

«Не идет ли капитан,
не несет ли хлеба?»

Хохот. А я не могу понять, почему баба глядит на небо, если капитан принесет хлеб по земле.

Я на днях ходил в кино
И смотрел «Багдадских вор».
Пока смотрел «Багдадских вор»,
Здесь вор бумажник спер!

Хохот. В шапку летят медяки. А я стоял и завидовал им: они артисты, ими довольны, им платят деньги. Так можно за один день набросать на две шапки. Я решил вернуться на хлебный базар. Там все-таки хлеб покупали.

Над базарным шумом, как иерихонская труба, звучала песня.

«Раскинулось море широко», – пел человек в полосатой тельняшке, на груди поблескивала медаль «за отвагу». Он напоминал гигантского краба с огромными клешнями: вместо ног – самодельная тележка на подшипниках. Большими сильными руками он опирался на деревянные ходули, похожие на терку штукатурки. Он пел очень громко и хрипло. Крепкая шея его краснела, толстые вены надувались и переплетались на бордовой груди. Когда ему давали деньги, он прерывал песню и двигался дальше.

– «Напрасно старушка ждет сына домой...» Спасибо, браток! «Ей скажут – она зарыдает...» Спасибо, отец! «А волны бегут от винта за кормой...» Спасибо, сестричка. «Бегут и вдали пропадают». Дорогие братья и сестры, помогите в беде бывшему матросу Черноморского флота. Дайте на пропитание защитнику Родины без обеих ног!

Нет, он не просил подаяния. Он требовал, чтобы помогли ему в беде, дали денег за то, что он воевал. Мне вдруг подумалось, что мой отец вернется таким же калекой, будет петь о том, как они воевали, а я буду ходить за ним и брать с людей деньги. У моего отца был красивый голос, и, придя с работы, он сажал меня на плечи, ходил по комнатам и напевал.

Я собрал всю мелочь и хотел отдать инвалиду, но как-то не смог решиться. Не от жадности, конечно, а просто в детстве я был очень застенчивым.

– Сынок, поди сюда! – прохрипел моряк.

Я подошел.

– Жрать страшно хочется, организм требует, а денег не хватает, может, продашь за восемь? – взмолился он.

Я был рад, что могу сделать для него что-то хорошее, и протянул ему поднос с хлебом. Он выбрал горбушку и прямо на хлеб положил восемь рублей.

– Спасибо, сынок.

А мне вдруг захотелось отдать ему весь хлеб бесплатно, но вовремя вспомнил о матери и о том, что еще целую неделю придется мерзнуть в летней фуражке, удержал себя от этого благородного поступка и двинулся дальше.

– Слышь, сынок, может еще пару кусков отдашь по восемь? А? Ног-то у меня нету, а жрать все равно хочется. Организм требует, – настоящий моряк Черноморского флота просил о помощи, и я не мог отказать.

Он выбрал пару кусков, спрятал за пазуху и откуда-то из-под себя начал доставать деньги. Нас окружили зеваки. Кто-то справедливо заметил, что я молодец. А кто-то без моего согласия схватил кусок и бросил на поднос восемь рублей, пока я успел отреагировать, хапнули еще два куска.

– А ну, оставьте малого, хапуги! – заорал на них матрос.

– Пойдем, сынок, я рассчитаюсь с тобой! – он, разгребая толпу своими клешнями. Повел меня куда-то в сторону. Я пошел за ним.

Мы пришли за синюю деревянную будку, где, пошатываясь, мочились двое пьяных. Один из них подмигнул мне: «Прости, мол, так приходится»– и продолжил свое дело. Матрос забрал у меня оставшийся хлеб, спрятал за пазуху и мелочью отсчитал тридцать два рубля.

Я не сразу смекнул, что и эти три куса он купил по восемь рублей. У меня немного защемило сердце. Я хотел сказать, что остальное хотел бы продать по десять рублей, но промолчал, так как в детстве я действительно был застенчивым.

– Ты советский пионер? – спросил он, видимо, заметив мое замешательство.

Я сказал: «Да».

– Тогда молодец! – сказал он и похлопал меня своей сильной красной лапой.

Я знал, что мама все же будет ругать меня. Не донести домой целых двенадцать рублей – все равно, что целый кусок отдать бесплатно. Но на душе было как-то приятно оттого, что сделал нечто

хорошее: бедный инвалид не будет тащиться по слякотной земле и надирать горло – я накормил его хлебом.

Где-то слышался Зинкин голос. Она кричала, что кто-то взял газету и не заплатил. Мои карманы были набиты мелочью – сорок рублей. Монеты звенели при каждом шаге и оттягивали карманы. Ремень у меня был слабый. Поэтому пришлось держать брюки руками; а ноги сами привели меня на базар леденцов, где продавались сладкие пистолеты, пушки, петушки и разное зверье. Мы часто приходили сюда с отцом, и я уходил всегда «вооруженный» до зубов. Правда, тогда эти леденцы были слаще, прозрачно-красные и гладкие. Теперь же они стали коричневыми, шершавыми, кисловатыми и дороже ровно в десять раз.

- Петрушки! Петрушки!
- Машины! Мотоциклы!
- Пистолеты! Маузеры! Браунинги!
- Верблюды! Одногорбые! Двугорбые!
- Трактора!
- Слоны!

Продавцы обступили меня, наперебой предлагая свой товар.

- Трактора, мальчик!
- Верблюды, мальчик!

У меня разбежались глаза, и я замешкался. Думал, возьму у одного, обидится другой. А потом вдруг вспомнил, что несу домой на двенадцать рублей меньше положенного, а если куплю леденец – принесу еще меньше, и дома мне придется держать ответ. Инвалида, положим, она, может, и простит. Только надо объяснить как следует и подробно. Сперва конечно, поругает, а потом будет целовать мою голову, говорить: «Дурачок мой добренький», а потом напишет отцу о том, как я помог инвалиду. Только надо объяснить ей все это. А вот за леденцы будет ругать. Во-первых, дома есть сахар, во-вторых, неизвестно, из чего стали варить эти леденцы, к тому же очень нужны деньги, так как шапка стоит триста рублей. Подумав обо всем этом, я сделал вид, что вовсе не собирался что-либо покупать, и пошел прочь, глотая слюну.

Слепая гадалка, закрыв свою книгу, «глядела» куда-то в сторону и жевала пирожок с ливером, макая его в коричневую патоку; дяденки с щеглом уже не было, то ли ушел отдыхать, то ли засекли его на этом деле; возле гадалыщика-татарина сидел тот самый ста-

рик, который вытянул конверт со словом «мужайся»; он кивал головой и улыбался, видимо, на бобах выходила какая-то надежда.

Тети Сони уже не было на хлебном базаре, видимо, продала свой хлеб и ушла домой.

– Хлеб! Хлеб, граждане! – прохрипел знакомый голос.

Я оглянулся и замер: моряк Черноморского флота продавал мой хлеб, на расстеленной газете лежали все шесть кусков. Стало быть, его «организм» ни одного кусочка не употребил, хотя ему «больно хотелось жрать». Я вспомнил, как он сказал, что «грошат не хватает», а сам вытащил из-под себя целый мешочек денег. Сколько леденцов можно было бы купить на них!

– Хлеб. Десять рублей кусочек! – хрипел он.

Я раскрыл рот и подошел поближе. Он увидел меня и замолк. Видимо, хотел сказать: «Каждый живет, как может. Война». Но почему-то ничего не сказал, глянул выше моей головы, словно никогда меня не встречал и, с какой-то жестокостью сжав челюсти, сказал:

– Хлеб! Кому хлеб? Хлеб кому?!

А мне вдруг стало как-то очень невесело. То ли стало жалко двенадцать рублей, то ли оттого, что дома ждало тяжелое объяснение с матерью. Идти домой не хотелось. Хотелось плакать. И я пошел бродить по базару. Люди толкали меня со всех сторон, грязными башмаками наступали на ноги. Вокруг говорили, говорили, говорили и говорили. Говорили на разных языках, словно обсуждали проект новой Вавилонской башни. А я шел и шел. Казалось, черная река несет меня по какому-то подземному царству сумрачных теней.

– Верблюды! Одногорбые! Двугорбые! Верблюды!

Я вновь очутился перед коричневыми леденцами. Язык мой сразу стал мокрым и тяжелым : «Куплю два петушка по рублю. Съем. Маме скажу, что все продал по восемь рублей инвалиду – защитнику Родины. Сегодня будет ругать. Завтра будет целовать. Напишет отцу. Обман! Какой тут обман? Нет тут никакого обмана. Каждый живет, как может. Война. Леденцов больно хочется. ОРГАНИЗИМ требует. А грошат маловато. Почему я не подумал об этом раньше?!»

Я, как танк, разрезая толпу, ринулся к леденцам. Купил два петушка по рублю. Один тут же отправил в свой жаждущий организм

и пошел к выходу. Петух хрустел на зубах, как стекло. Пока я добрался до калитки, где стоял инспектор базара, ловил каждого, кто шел что-либо продавать, и брал налог, я съел и второго. Я остановился. ОРГАНИЗИМ требовал еще!

«Пойду, куплю пистолет. За пять рублей. А маме скажу: «Потерял». Нет. Отобрали! Мальчишка вырвал и убежал. Я гнался, а он убежал». Я опять, как танк, пробирался к леденцам.

«Куплю слона! За десять рублей. Спрячу в сарае, завтра понесу в школу и буду сосать до конца уроков. Маме про инвалида не скажу. Все равно не поверит. Украли у меня деньги. И все! Украли, да еще ударили по спине. Сильно. Ногой. Я кашляю. У меня плохой язык. У меня, может, начнется туберкулез. Вырастет горб, как у того дяди, которого не взяли на фронт», – мне так стало жалко себя, что на глаза навернулись слезы.

– Верблюды! Одногорбые! Двугорбые!

Я слышал зов. Он звучал как колокол. Я шел к верблюдам.

«Куплю верблюда. И одногорбого, и двугорбого. Куплю пять штук. Спрячу. Буду каждый день съедать по верблюду. Мама! Шапка! В конце концов мы не такие уж бедные, чтобы продавать хлеб и покупать шапки. Пусть продаст папин костюм, пальто, туфли, калоши и купит мне шапку. Много шапок. С ушами. Без ушей. С козырьком. Без козырька. Вернется папа? В чем он будет ходить? А кто знает, что он обязательно вернется? А вдруг его тоже убьют? Тогда все это будет мое. А если вернется без ног, ему туфли не нужны! Неужели мама не может одеть меня? Одного. Единственного любимого сына! Я похож на отца. Все говорят. Мама тоже. А эти деньги мои. Кровные. Я их заработал. По карточке мне хлеб полагается? Полагается. А мой ОРГАНИЗИМ требует сладкого. И все!

Мама? В конце концов жулики могли отобрать все мои деньги. Хапнули и убежали. Вон их сколько шатается по базару. Куплю на все деньги верблюдов. Одногорбых и двугорбых! Жулики отобрали все деньги и ударили по спине. Я кашляю. У меня будет горб, как у верблюда. И все!»

Впереди толпа людей. Они стоят вкруг и молчат. «Может, тут продают что-нибудь по чище леденцов? Куплю. Денег-то навалом».

Мой ОРГАНИЗИМ требовал сладостей и зрелищ. Я пробился сквозь толпу и... попятился назад. В центре круга, в кожаной ци-

линдрической сумке сидел человек, вернее, все, что осталось от человека, так как у него не было ни рук, ни ног. Только короткий, как обрубок, торс и огромная голова в офицерском картузе. На туловище была наброшена новенькая кожаная курточка, подпоясанная боевым ремнем. Белая сорочка. Черный галстук. Рядом стояла коляска с ручным механизмом. Говорили, что эти коляски изобрел не кто иной, как сам Рузвельт. Все стояли, смотрели и молчали. Усатый человек гигантского роста, как крейсер, разрезал толпу, снял свою огромную каракулевую папаху, наклонился и положил в коляску красную тридцатирублевую бумажку. Голова отрицательно покачала.

– Заберите. Заберите. Он не хочет! – сказали в толпе.

– Зачем забирайт? Я жи эму нэ кинжал даю, я эму дэнги даю, пускай возьмет сэбэ! – обиделся усатый человек.

– Большое вам спасибо, товарищ. Но он обидится, – сказала женщина в старомодном бостоновом пальто с потертым каракулевым воротником. Она была очень стройная, высокая, с крупными красивыми чертами лица.

– Жена, – сказали в толпе.

– Денег у нас хватает. Живем вдвоем. Детей нет, – сообщила жена. – Какой же, говорит, я мужик, если сложа руки буду сидеть дома. Веди, говорит, пускай люди видят, какой ценой достается свобода...

Мне вдруг показалось, что это мой отец. Он сидит в коляске Рузвельта, а я, как рикша, качу его перед собой по всем городам земли. Чтобы все видели, какой ценой достается свобода. А он сидел и смотрел на людей, и в глазах его было то, чего не передашь словами, не споешь в песне и не расскажешь в самой страшной сказке. В них была отвоеванная жизнь, уцелевшая человеческая совесть. И от этого взгляда становилось холодно. Старуха, что стояла возле меня, покачала головой и перекрестилась словно перед ней был сам Иисус Христос. Только не распятый, а четвертованный за то, что воевал за жизнь и свободу людей.

Я осторожно выбрался из толпы и медленно побрел домой, чтобы рассказать маме, как продал хлеб инвалиду по восемь рублей, а на два рубля купил леденцовых петушков. Может, тогда я не совсем осознавал, что со мной происходит. Просто мне хотелось быть очень честным и очень добрым.

МОЯ ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Моего отца на фронт не взяли: он хромал. Вреда он людям не приносил, да и пользы тоже. Иногда выпивал, но не шумел, становился смиреннее теленка, ласкал меня, хохотал, с каждым соглашался, каждого слушался. Но мать не терпела отца пьяным – выгоняла его на улицу, так что он нередко оставался без ужина. О скандалах в нашей семье мало кто мог подозревать: калитка заперта, во дворе злая собака. Сам отец делился своими невзгодами лишь со старым Мырзабеком, единственным своим приятелем и собутыльником. Когда матери не бывало дома, они закрывались в нашем сарае, и до меня долетали слова Мырзабека:

– Муж, который боится жены, – не человек, запомни... Он всего-навсего чучело. Я бы на твоём месте... Эх! Ну да что там. Наливай, выпьем за твою храбрость... которую ты проявишь в очередной схватке. – И он начинал хохотать, а отец вторил тонким хихиканьем.

Толку от поучений Мырзабека было мало: мать продолжала безраздельно господствовать в доме, не скупясь на проклятия для отца и на затрещины для меня. Теперь-то я понимаю, что не всегда она была такой, что сердце ее ожесточила горькая нужда военных лет.

Но все это забывалось, когда я встречал Зайру, маленькую, худенькую девочку, с которой я сидел за одной партой.

Отец Зайры воевал где-то на Волге, а мать, совершенно неожиданно для айльчан, вышла замуж за одноглазого продавца Маамыта и уехал с ним в Казахстан. Зайра осталась с бабушкой, наотрез отказавшись идти к отчиму.

Каждый день я должен был ходить за молоком. И куда бы ни послала меня мать, ноги сами несли меня к дому Зайры, который стоял на самом конце нашей улицы. Пока бабушка Аалкан доила корову, мы с Зайрой толковали о разных разностях. Назад я возвращался счастливым... А по вечерам, когда во всех домах начинали топить земляные печи, я старался увильнуть от любого поручения: ждал Зайру. Со спичками было туговато, и как-то она забежала к нам за огоньком, миновав соседние дома. Один раз только и забежала, но ждал я ее после этого постоянно.

Зайра была моложе меня: когда я учился в седьмом классе, она училась в шестом. Оба класса занимались в одной комнате и у од-

ной учительницы. Кажется, такую систему называли «карликовой». Старшие классы учились порознь. Мы с Зайрой мечтали после окончания десятилетки поступить в пединститут. Но мне была невыносима мысль о том, что, начиная с восьмого класса, мы будем видеться лишь на переменах. Постепенно я пришел к выводу, что должен остаться в седьмом классе на второй год.

Никто, в том числе, конечно, и Зайра, не подозревал, почему я сразу же после зимних каникул начал опаздывать на уроки, а то вовсе их пропускать, являться с невыполненным заданием, допускать в контрольных самые грубые ошибки. Учительница только руками разводила, ставя мне очередную двойку. Вызывали к директору, он пытался вернуть меня на путь истинный, жаловались родителям, за что я получил не одну взбучку. Ничего не помогла – я упорно гнул свою линию и добился своего – меня оставили на второй год.

Наступило лето...

Наш аил расположен в очень живописном месте. Земля чудесная, плодородная, единственный недостаток – нет воды. По другую сторону аила течет большой арык, но летом он быстро высыхает, не допоив посевы. Сейчас, конечно, и ГЭС построили, и канал провели, но тогда с водой было нелегко. Зимой пили снеговую воду, в остальное время приходилось отправляться с ведрами к реке. Тащиться два-три километра по каменной тропе – удовольствие небольшое. Поэтому, стоило мне услышать в доме звяканье ведер, я тут же давал деру. А мать удивлялась:

– Вот беда, куда же делся этот черный шайтан? Минуту назад здесь околачивался. Будто в воду канул, будь он проклят!

А если меня заставали врасплох, я изворачивался как мог: начал ныть, жаловался на поясницу и вывихнутую ногу, хватался за живот... пока в дело не вмешивался отец. Но иногда бывало совсем иначе.

Ведерки Зайры походили на две большие круглые чашки. Едва она появлялась с ними на дорожке, я вихрем мчался домой.

– Апаке, принести воды?

– Что такое? Какая муха тебя укусила?

– Ну, дайте принесу, апа... Ведь вреда от воды не будет.

– Вчера ремнем еле-еле на реку отправили, а сегодня что стряслось? Плетка, сынок, на тебя действует, как лекарство. Воды пока хватит, притащишь вечером.

Но мне не до разговоров. Вмиг разливаю воду по казанам уношусь, оставив мать в полном недоумении. Поднимая босыми ногами облака пыли, я догоняю Зайру.

– Зайраке, ты куда? – спрашиваю я, хотя знаю, куда она идет.

– За водой. А ты?

– Я тоже... мать стирает. Пошли вместе, ладно?

– Ладно.

Спускаемся к реке. Здесь визг, хохот, веселые крики: купаются в Джергалане наши сверстники. Зову туда Зайру, но она как-то таинственно улыбается и качает головой:

– Не-ет...

Станный народ эти девчонки! Раньше, когда учились в начальной школе, мы с Зайрой и купались вместе, и даже в альчики¹ играли. Теперь она очень изменилась. Какое там в альчики сразиться – при других и не разговаривает со мной. Стесняется, что ли? Притом не только меня и моих товарищей, но, кажется, и всего света. Непонятно... Я вздыхаю про себя, искупаться все-таки было б неплохо.

Когда мы взбираемся на косогор и разросшиеся колючки скрывают нас от ребят, Зайра снимает свою жилетку из зеленого бархата с тремя большими перламутровыми пуговицами, подкладывает под коромысло. Плечи у нее маленькие, остренькие, на них лежат короткие черные косы.

– Устала, да?

– Нет, нет... я просто так... – Она пробует улыбнуться.

Но все равно я отбираю у нее оба ведерка.

– Люди впереди, отдай, – беспокоится Зайра. Я подчиняюсь. Мне тоже стыдно при мысли, что кто-то заметит с ведрами девочки. Но прохожие удаляются, и я снова овладеваю ее коромыслом. Зайра всегда идет чуть впереди и на крутых подъемах подает мне тонкую смуглую руку. Но через пару шагов она отдергивает пальцы. Я люблюсь крохотными сережками Зайры, которые дрожат и трепещут, как маленькие золотые рыбки. Эти сережки с простыми цветными стекляшками кажутся мне невесть какими драгоценностями. Мне хочется потрогать пушистые мягкие волосы на ее затылке и висках.

¹ *Альчики* – игра, напоминающая бабки.

Пришла и осень. Жатва закончилась совсем недавно. В полях пусто. И у реки пусто, хотя с самого утра в этот день необычно жарко. Мы с Зайрой задержались у Джергалана: бросали камушки в воду, пытались поймать подплывавших к берегу рыбок. Неожиданно блеснуло на краю горизонта – словно огненной камчой хлестнули по небу. Мы оба вздрогнули – одна из последних в этом году гроз подкралась к нам совершенно незаметно.

– Ага, струсила? – засмеялся я, хотя очередной удар едва не оглушил и меня. Побледневшая Зайра кивнула.

– Я такого грома еще не слышала...

– Ничего, – самоуверенно заявил я. – Ты еще много такого увидишь...

О! Если бы я мог в ту минуту подозревать, что Зайра никогда больше не увидит ни этих огненных змей, извивавшихся в небе, ни того, как в провале между сизо-черными тучами вдруг покажется солнце и огромный сияющий сноп озарит пенящийся Джергалан, позолотит осенние предгорья и вдоль хрустального хребта заскользит к Исык-Кулю, который там, вдали, незаметно сливается с этим огромным, грохочущим небом. Да, если бы я знал...

Мы побежали к большой скале, под которой была пещера. Колхозники брали оттуда песок, и в ней можно было укрыться от дождя. Тяжелые, как слезы верблюжонка, капли уже поднимали на тропе пыль. А тропа извивалась, как живая змея, и, казалось, становилась все длинней и длинней. Ливень разразился, и молнии, преломляясь в его крутящихся струях, выглядели особенно жуткими. Полные ведра мешали нам, и мы вымокли до нитки. В пещере я сразу же снял и выжал рубашку.

– Простудишься, Зайраке, выжми платье. – Но Зайраке как-то странно усмехнулась и молча прислонилась к стене.

– Холодно. Заболеешь, – настаивал я.

– Ничего, – она снова усмехнулась и прикусила нижнюю губу.

Ее мокрые, слегка вьющиеся волосы прилипли к щекам, ко лбу, легкое платьице с синими цветами прильнуло к телу, обтягивая хрупкую, стройную фигурку. Зайра дышала тяжело, и я невольно обратил внимание на то, как высоко поднимается ее грудь... Грудь... И тут я все понял. Свершилось чудо: передо мной стояла не девчонка, а девушка... И эта девушка была Зайра – та самая, которая так недавно играла с нами, мальчишками, в альчики.

Казалось, что детство кончилось именно в эту минуту, с этой минуты начиналась иная пора, начиналось нечто иное, что-то новое, трепетное, необыкновенное... Предчувствие какой-то удивительной и в то же время непонятной радости охватило меня. А сам я стоял и смотрел на нее, как дурачок. Чему я обрадовался тогда? Может, тому, что Зайра стала другой, взрослой, а может, тому, что я сам уже мог считать себя не мальчишкой, а вполне самостоятельным парнем. Не знаю...

Видимо, что-то в моем взгляде смутило Зайру, она вспыхнула и стыдливо прикрыла руками грудь.

– Пойдем домой... – сказала она.

Я набросил на ее худенькие плечи свою мокрую рубашку и покосился на ведра, стоявшие у входа в пещеру. В них со стенки падали коричневые капли жидкой глины и медленно, как утренний туман, растворялись в прозрачной воде.

– Смотри, – кивнул я.

– А мы выльем...

– Как выльем? Ведь дома ждут воду. Зачем же тогда мы ходили к Джергалану?

– Вода не нужна, – тихо сказала она, отвернувшись и, склонив голову, начала выковыривать из стены пещеры маленькие камушки. А ее маленькие сережки затрепетали, как золотые рыбки. Я вспомнил, что и у нас сегодня воды было больше, чем нужно. Мне показалось, что Зайра слышит, как колотится мое сердце. А она резко повернулась ко мне лицом, посмотрела как-то озорно и непонятно, подошла к выходу и подставила камушки, что лежали в ее ладонях, под капли дождя.

– Смотри! – Дождевые капли с шелканьем падали на камушки, смывая с них глину: тырс, тырс, тырс...

– Зайраке, ты продрогла? – спросил я шиплым, не своим голосом.

– Нет, – ответила она, хотя и дрожала всем телом.

Наши глаза встретились.

– Зайра...

– Турусбек...

Ее мокрые волосы коснулись моей щеки. Казалось, что я стремительно уношусь на огромных крыльях в неведомый, сказочный мир, а вокруг радостно пляшут молнии, и гром – уже не гром, а хор седобородых, знающих все тайны земли и неба.

Ливень хлестал землю. По склонам побежали кофейные ручьи. Перед пещерой образовалась огромная лужа. Мы стояли и смотрели на пузырьки, которые неожиданно появлялись на поверхности воды и столь же неожиданно исчезали, давая место пузырькам, рождающимся вновь.

– Э-э-э! – донеслось откуда-то сверху, и голос утонул в шуме дождя.

Зайра осторожно высвободила свои руки:

– Нас ищут..

Я возвратился с неба на землю. Зайра подбежала к ведрам, опрокинула их, и мы, взявшись за руки, побежали вверх. Ноги увязали в липкой, расплывавшейся глине, навстречу бежали мутные ручьи. На горе сквозь косые струи дождя мы разглядели несколько всадников.

– Шайтанчики непутевые! – сердито обругал нас один из них. – Все решили, что вы оба утонули в речке! А ну марш домой!

Мы долетели до аила и разбежались по домам. Дома меня ждала нахлобучка, на которую, впрочем, я мало обратил внимания. Мысли мои бродили там, в холодной пещере, у Джергала. Нет, невозможно было уснуть в эту ночь! На рассвете я натянул отцовский вельветовый чепкен, нашарил в темноте дверь. Небо было усыпано светлячками звезд. Я стоял, подставив лицо небу. Звезды одна за другой начали угасать. И только Чолпон, утренняя звезда, омытая, казалось, вчерашним ливнем, с каждой минутой становилась все ярче, все радостней. Она словно улыбалась мне лукаво и чуть смущенно. Как Зайра. Как моя Зайра.

Прозрачная тишина окутала мир. Чист, легкий был предрассветный воздух. Пахло землей, с поля тянуло ароматом полевых цветов с привкусом полыни. Не помню, сознавал ли я тогда, что не везде в этот час было так же тихо, спокойно, ясно, что где-то страшно гремят, воют и взрываются снаряды, неся с собой смерть и увечья. Не помню, но сердце мое переполняло счастье жить, счастье мечтать, счастье представлять себе, как с восходом солнца я отправлюсь к домику на окраине и навстречу мне зазвенит негромкий смех, распахнутся, как окна, глубокие ласковые глаза... Да. жизнь славная штука! Вон она, моя звездочка, моя судьба – она совсем близко, сто-

ит лишь протянуть руку, чтобы достать ее... Я только сейчас заметил, что наш дворовый пес давно облизывает мою ладонь своим теплым влажным языком.

– Пошел! – я вытер руку о чепкен и хотел дать псу пинка, потом вдруг погладил его по голове, заглянул в собачьи глаза. Пес улыбнулся.

– Ты что шатаешься спозаранку? Небось объелся колхозного урюка, вот и бегаешь, – послышалось за моей спиной.

Мать всегда поднималась рано. А я не предполагал, что утро наступает так быстро.

– Делать тебе нечего, дармоед, возишься со своим грязным псом, а ну привяжи его! Завтра буду стирать, вот тогда ты у меня побегаешь за водой! Седлай лошадь, отец на базар поедет! – Она вернулась в дом и принялась будить отца, который накануне напился с Мырзабеком и вовсю храпел, как буксующий грузовик.

Я вынес седло, вывел нашу костлявую клячу, к тому времени подъехал Мырзабек.

– Салом алейкум, джигит. Ну, проснулся твой грозный отец? День сегодня базарный, надо торопиться, опоздаем – намылит ему шею жена... хэ-хэ-хэ... – прохрипел Мырзабек и зашел в дом.

– Все понял? – переспрашивала мать. – Купишь пачку чая, килограмм соли и кусок мыла. Главное – мыло. Два месяца не стирала. Смотри, не пропей шкурку-то, сам знаешь, продать больше нечего...

– Я еду с ним, можешь не волноваться, – утешил ее Мырзабек.

– В том-то и дело, что ты с ним едешь, – проворчала мать.

В те годы такие вещи, как чай, мыло, сахар, соль и керосин, были дефицитом и стоили довольно дорого. Вместо чая заваривали поджаренную до черноты морковь, вместо керосина жгли какую-то смесь, которая каждую минуту могла взорвать лампу, а кусок черного стирального мыла стоил столько же, сколько тридцать куриных яиц.

После утреннего чая отец с Мырзабеком взяли козлиную кудрявую шкурку, кое-какую мелочь и, напутствуемые ворчаньем матери, отправились в город.

Мы с матерью принялись лепить кизяки. Я ведрами подносил навоз, намокший за ночь, а мать лепила вдоль дувала зелено-

вато-коричневые кругляки. Мне хотелось скорее закончить эту неприятную работу и побежать на окраину села, где живет Зайра. Но мать, обычно довольно расторопная, как назло, работала медленно, то и дело поправляла платок, заставляла закатывать ей рукава, которые каждую минуту спускались и мешали работать. Я покорно закатывал ей рукава или стоял с полным ведром и ждал, стиснув зубы.

Я то и дело подглядывал в сторону дома Зайры, но улица была пуста. Вдруг на самом конце улицы появилась одинокая сгорбленная фигура. Это шла, опираясь на свою палку, бабушка Зайры. Я сразу узнал ее. Она шла медленно, временами останавливалась, глядела на солнце, палкой отгоняла собак, которые сопровождали ее громким лаем.

– Помогите вам аллах, дочка, – поздоровалась она, проходя мимо нас. – Муж твой дома?

– Нет, а что?

– Внучка-то моя под ливень вчера попала. – Старуха пожевала сморщенными губами. – Всю ночь кашляла... а теперь и вовсе горит. – Аалкан рукавом вытерла слезившиеся глаза и желтые худые щеки.

– Ладно, апа, вернется из города – зайдет, – равнодушно сказала мать и занялась своим делом.

Я испугался. Зайраке больно. Нужно сию же секунду увидеть ее и сказать что-нибудь хорошее. А если у нее серьезная болезнь? Чем ей сумеет помочь отец, хотя в айле его и называют почтительно «знахарь-аке»? Я был свидетелем того, как заболевшие люди беспрекословно выполняли советы моего отца; велит пить воду – пьют воду, скажет пей масло – пьют масло. Все ему верили. Да и я, пожалуй, верил, когда он, набрав в рот святой вод, лечил мне зубы.

До самой темноты не удалось вырваться на улицу: мать, нетерпеливо дожидавшаяся возвращения отца, злилась и срывала злость на мне. Только перед ужином я все-таки улизнул. Но в домике Зайры было уже темно и тихо. Я долго простоял под ее окошком, рука сама поднималась – постучать, но я все же сдержал себя. Раньше бы я постучал, а что здесь особенного? Даже позавчера бы мог постучать, но сегодня уже не мог. Я ушел, так и не повидав ее.

ЖАЙСАН-ЭНЕ И АНДРЕЙ СПАСИТЕЛЬ

– Если увидишь черную змею, убей ее! – сказала Жайсан-эне.

Я решил, что она просто изрекла очередную мудрость, и продолжал топтать за ней, держась за облезлый хвост тощего мерина, который с трудом нес на себе высохшую старуху с полосатым курджуном, набитым яблоками и курагой. В начале войны всех коней взяли на фронт. В аиле остались лишь старые клячи да молодняк допризывного возраста.

– Как только убьешь, положи ее вот сюда! – Жайсан-эне достала литровую бутылку, заткнутую промасленной пробкой из скатанной газеты.

– А что там внутри? – спросил я.

– Барсучий жир! – ответила старуха. – Все пацаны живодеры. Или городские не такие? – она обернулась ко мне и, лукаво поджав губы, ждала ответа.

Я хотел было возразить, но тут же вспомнил, как мы топили в канаве бродячих кошек, били из рогаток воробьев и, зажав тушку между пальцами, одним махом отделяли голову от туловища. А потом в углу двора жарили шашлыки, пекли ворованную с соседского огорода картошку.

– Ну, чего молчишь? – спросила она.

– Мы тоже живодеры! – ответил я.

Старуха скупо улыбнулась и покивала головой, видимо, осталась довольна. Разумеется, не тем, что городские пацаны такие же живодеры, как и сельские, а тем, видимо, что я сказал правду.

Жайсан-эне самая уважаемая женщина аила, самая мудрая и самая добрая. Аильчане идут к ней за всяким советом, зовут благословить новобрачных и новорожденных.

Муж ее, Кашимбек, не был ни бием, ни баем, говорят, даже грамотой не владел, но, будучи от природы человеком речистым и предприимчивым, фактически управлял всем родом иссык-кульских тенизбаев. О нем знали не только в округе, но и в Караколе, в Пишпекке, в Казахстане и Китае. Говорят, что именно он откуда-то первым привез семена опиумного мака, вырастил первый урожай, научил сородичей собирать чудодейственное зелье, а потом в сопровождении джигитов через перевал отправлялся в Китай и сбывал товар. Возвращался он с табуном лошадей, с курджунами, набитыми шел-

ком, бязью, фарфоровой посудой, чаем и пряностями. До революции в наших краях опиум считался не дурманом, а лекарством, торговля им свободно велась на ярмарках. Да и на моем веку помню, что до конца пятидесятых годов собираемый сырец шел государству для изготовления лекарств.

Так вот, в годы коллективизации Кашимбек сдал «излишки» своего скота в коммуну и повел очень скромный образ жизни. Все, что он успел накопить, теперь тратил на обучение своих сыновей Коке и Хайритдина. Ребята выросли, получили высшее образование, вступили в ряды ВКП(б), были в первой плеяде киргизской советской интеллигенции. Хайритдин с головой ушел в просвещение: открыл первые национальные школы, составлял киргизские учебники, активно участвовал в работе по переходу с арабского алфавита на латинский, тесно общался с «красными профессорами», слушателями бухаринской академии – Торекулом Айтматовым и Эркином Эсенамановым, встречался и беседовал и с самим Николаем Ивановичем Бухариным, когда тот приезжал в Киргизию, что, разумеется, не могло не отразиться впоследствии самым роковым образом на его судьбе. Хайритдин кочевал по ГУЛАГам вплоть до XX съезда КПСС. Брат Коке бесследно исчез в зловещем 37-м году.

Жайсан-эне ждала сыновей до самых последних дней своих, поминала в молитвах. Садясь за дастархан, она брала кусочек хлеба и съедала его, непременно сказав: «Дай Бог, чтобы следующую лепешку мы ели вместе с Коке и Хайритдином».

Так она осталась совсем одинокой. Ее Кашимбек к концу 20-х годов вышел, что говорится, в «средняки», но вскоре был все равно «раскулачен», арестован и приговорен к смертной казни. Он скончался в следственной камере, не выдержав пыток, и тем самым, сэкономил для Отечества девять граммов свинца, которые должен был унести в землю и вечно хранить в своем виске. О смерти старика сообщил стражник, когда старая Жайсан-эне принесла передачу. Сородичи Кашимбека собрались у ворот пржевальской тюрьмы, умоляли отдать тело покойного, чтобы захоронить его на кладбище предков, что в двенадцати километрах. «Не положено!» – был ответ. Каждый труп был на строгом счету. Социализм – это учет! На сороковой день после кончины старца айльчане собрались на холме Тепке, откуда были видны темный силуэт большого города и красные стены тюрьмы, опустили на колени и прочли молитву за упокой души...

– Ай! Ай! Вон она, гадина! – закричала Жайсан-эне, резко остановила коня и прикрыла лицо концом белого платка.

Подняв над головой палку, я выбежал вперед. Тропинка была пуста.

– Выше! Выше смотри! Туда, где красный камень, – сказала старуха, не открывая лица.

Небольшая черная змейка лежала на красном песчанике, грелась на утреннем солнце. Почувяв мои шаги, гадюка устремилась к скале, но тут же откатилась назад, поняв, что вперед хода нет. Теперь она решила принять бой: развернулась и бросилась на меня, чуть не цапнув за ногу.

Я едва успел отскочить в сторону и огрел ее по спине. Гадюка с перебитым позвоночником завертелась на месте.

– Убил? – спросила Жайсан-эне, не глядя в мою сторону.

– Сейчас! – я начал добивать змею.

– Если голова цела – отойдет за шесть дней, – сообщила старуха.

– Знаю, – ответил я, продолжая колотить жертву.

– Ну, молодец! А я думала городские этого не знают!

Признаться, в городе этих премудростей я, конечно не знал. Но за год жизни рядом с пацанами из айла прошел почти весь курс сельского университета.

– Если убил, возьми ее за хвост и опусти головой в бутылку, – приказала Жайсан-эне.

Я опустил змейку в бутылку. Она продолжала извиваться, разбрызгивая по стенам сосуда барсучий жир. Старуха взяла бутылку, вновь заткнула газетной пробкой и спрятала в курджун.

– Это лекарство святого Улукман-аке.¹ Когда змея растворится в масле, буду растирать суставы, – пояснила Жайсан-эне.

– А почему ты отвернулась, когда увидела змею? – спросил я.

– Не могу видеть, как убивают живое существо.

– Даже гадюку? – удивился я. По мальчишескому поверью, змеи и воробьи были врагами человечества и посему подлежали уничтожению.

– Все, кого создал Бог, должны жить, – отозвалась старуха.

– А почему же мы убили ее?

– Чтобы излечиться! – ответила Жайсан-эне.

¹ Улукман-аке – так киргизы называют Авиценну.

Было лето тысяча девятьсот сорок второго года. Еще казалось, что война идет где-то очень далеко. Радио здесь не было, газеты приходили с большим опозданием. Глухомань. Первые похоронки были, видимо, еще в пути. Люди ходили в прежних одеждах, и хлеба, и мясо было вдоволь. А мы с Жайсан-эне через Сухой хребет шли к дальнему родственнику по случаю женитьбы его сына.

Со свадьбы мы вернулись на третий день все тем же кратчайшим путем – через Сухой хребет. Курджун наш трещал от сырого и вареного мяса, боорсоков, конфет.

Бабка благословила новобрачных, получила несколько метров голубого плюша и шелковый платок. Возвращались мы сытые и довольные и, разумеется, не подозревали, что уже через месяц придет в аил беда. Закружит «черная птица» и начнет уносить айльчан, одного за другим – убитых горем, лютым холодом, голодом и брюшным тифом...

Отец ушел на фронт в сорок втором. Окончив офицерские курсы в Чарджоу, он теперь воевал где-то в степях Украины. Отец был членом Союза писателей СССР. Много лет спустя, после войны, стало известно, что в республиканской секции СП лежало письмо за подписью А. А. Фадеева о том, что писателей призывать на фронт следует исключительно добровольцами, использовать при штабах и на корреспондентской работе. Однако тот, кто стоял в те годы во главе киргизской писательской организации, спрятал это письмо.

Первый киргизский драматург и поэт Жусуп Турусбеков, первый прозаик Мукай Элебаев, первый детский писатель Кусеин Эсенкожоев, первый публицист Жекшен Ашубаев, поэт и педагог Жума Жамгырчиев... В числе первых они оказались на передовой, а вскоре пришли на них похоронки. Из шести писателей-иссыккульцев, ушедших на фронт, вернулся, получив ранение, лишь мой отец.

После того, как он ушел на фронт, мама с тремя детьми переехала в аил, где и приняла нас одинокая Жайсан-эне в свою двухкомнатную мазанку. Мать, успевшая к тому времени окончить первый курс педтехникума, преподавала в сельской семилетке историю, географию, русский и киргизский языки.

В декабре 1942 года на берегах Иссык-Куля начался тиф. К началу следующего года смертоносная болезнь доползла до восточных берегов и стала подниматься вверх по течению рек Тюп и

Джергалан. Первыми заболели наши учителя. Они ездили за зарплатой в райцентр и, видимо, оттуда привезли тиф в аил.

Два дня мать жаловалась на головные боли. На третий день заболела и Жайсан-эне. А через неделю у обоих начался сильный жар. Бабка начала бредить. Я подавал им теплую воду с добавлением столовой ложки молока – это было единственное лечение и питание. В один из дней к нашему дому подкатила крытая полуторка. В железную будку внесли все наши постели и одежду – прожарили и обрызгали каким-то вонючим раствором. Жайсан-эне и маму на санках увезли в райбольницу. Присматривать за нами было поручено родичам. А я оказался довольно хватким пацаном: смотрел за малышами, научился месить тесто, печь в казане лепешки, резать лапшу, жарить пшеницу и ячмень, молотить на ручных жерновах, варить и заквашивать джарму... Видел бы отец. Как его сыночек, недавно еще бойко читавший стихи Маршака и Агнии Барто, устраивавший ревучие бунты и отказывавшийся идти в детский сад лишь по той причине, что, провозжая его в путь-дорогу, в кармашек белоснежной рубашки положили вдруг печенье без зубчиков – а стало быть, не московского производства, – теперь, шмыгая облупленным от ветра и холода носом, в застиранной и короткой матроске, сидит в низкой глиняной завалюшке, прокопченный кизячным дымом, пропитанный запахом войлока и кислого молока, и, зажав в маленьком, задубевшем от цыпок кулачке рукоятку, вертит каменные жернова жаргылчака.

Мать с бабкой вернулись домой через месяц. Трое других, с кем их увозили в больницу, так и не вернулись, умерли.

Я долго не мог узнать ни мать, ни Жайсан-эне. Они были бледные, сильно похудевшие, остриженные наголо и похожие на двух пацанов. Маленькая сестренка в страхе прижалась ко мне и заплакала. И лишь с наступлением сумерек удалось привлечь ее к себе родным голосом...

А потом пришел голод. Лежим третий день, ждем смерти. Сознание то пропадает, то вновь включается. Костлявая подошла к нашему запорошенному сыпучим снегом домику и стучится в заиндевелое окно. Скребется у входа – просится войти, наглет: вот-вот своим костяным плечом выдавит дверь, ворвется, подхватит кого-то из нас и унесет в небо, а потом вернется за остальными... Двухлетняя сестренка сопит еле слышно; тихо, как замерзший ще-

нок, скулит пятилетний брат; двадцатишестилетняя мать неподвижно лежит на спине, глаза закрыты, по щекам ее, как у заблудившегося верблюжонка, текут крупные слезы – сегодня утром она показалась мне удивительно красивой. Смуглое лицо стало белоснежным, еще ярче вычерчивая тонкий, совсем не монголоидный профиль; контрастнее стали тонкие брови; угольно-черные, еще не отросшие как следует волосы ниспадают на мраморный лоб; глаза стали шире и светятся каким-то особым, нездешним блеском. Она медленно провела рукою по моему лицу, и мне показалось, что кто-то подменил ее теплую родную ладонь. Жайсан-эне надавила на мамино запястье указательным пальцем. На одутловатой руке осталась ямка.

– Голод, – сказала старуха, зачерпнула оловянным ковшиком теплой воды, заставила выпить. Короткие волосы у Жайсан-эне торчат, как у пацана. Резкие морщины на лбу и вокруг рта делают ее похожей на злого забияку.

– Мы все умрем, – всхлипывает мать. – Мы-то, ладно, пожили. Детей жалко...

– Это ты-то пожила? Намного ли ты старше своего первенца? Не успела родиться – революция началась, выросла сиротой, вышла замуж – начались репрессии, постреляли всех родичей, муж в бегах, скрывал свое происхождение... чуть вздохнули – Гитлер! Вот кончится война, вернется муж – тогда и заживешь счастливо. Только не плачь и не падай духом, – утешает Жайсан-эне.

Могла ли она знать, что война действительно кончится победой, а через три года после нее опять пройдет волна репрессий – и мать овдовеет, а мы осиротеем...

– Мое сердце чувствует что-то хорошее, – говорит Жайсан-эне. – Оно меня редко обманывает. Накануне ареста Кашимбека три дня подряд стучало. Ждало несчастье. Пришли из Гэпэу... А в прошлом году стучало – ждало радостную весть. Так и случилось. Помнишь, вернулся с войны рябой Асылбек, рассказывал о том, что Сталин не пустил Гитлера в Москву.

В аиле было два Асылбека, оба одного возраста, оба ушли на фронт в первые же дни войны. У одного из них на переносице были следы перенесенной оспы. Он-то и вернулся из-под Москвы с протезом вместо руки. Его возвращение айльчане восприняли как искру надежды на то, что с войны возвращаются и живыми.

20 мая 1943 года по всей долине вдруг выпал снег, ударили неожиданные морозы. Первые ростки хлеба померзли. Посеяли зерно, оставленное в пищу. Семена взошли лишь в июне, к осени созреть не успели и в молочном виде остались под снегом новой зимы. Оставшиеся без хлеба айльчане забили последний скот, скудные запасы пришлось отдать на «военные налоги». Тех, кто отказывался платить, уводила милиция, здоровых – в трудармию, больных – в тюрьму.

Не лучшая участь была и у финагента, не сумевшего собрать, вернее, вырвать военный налог в виде денег или продуктов. И люди отдавали последнее, обрекая себя на голод и смерть.

Восьмидесятилетнюю Аяткан, что жила на краю села, загрызли голодные собаки. Видимо, старуха вышла из дому оправиться. Пока возилась, случился голодный обморок. Утром обнаружили обглоданные кости и клочья одежды. В тот день с фронта пришло долгожданное письмо от ее сына. Он сообщал, что был в госпитале, а теперь едет домой на поправку. Почтальон-то и обнаружил останки старухи.

Отблески красного солнца искрились на застывших кристаллах заиндеветых окон. Угасал короткий зимний день, а вместе с ним угасали и мы: старуха, молодая женщина и трое ее детей.

Сейчас не помню, о чем именно думал я в тот умирающий день. Может, вспоминал, как было хорошо, проснувшись утром, обнаружить под подушкой огромное красное яблоко или же пистолет, стреляющий бумажными пистонами. Отец любил делать такие сюрпризы. Вечером, ложась спать, я уже ждал утра, которое принесет что-то хорошее и радостное... А здесь, в глухом айле с погасшими очагами и пустыми казанами, утра ждали с большим страхом; услышав лай собаки, настораживались: не горькая ли весть с фронта? Не финагент ли за военным налогом? Не вестник ли с сообщением о чьей-то смерти? А может, кто из сородичей, заметивший дым из трубы нашего дома? У такого гостя глаз наметанный, он точно рассчитает момент, когда мы усядемся за дастархан. А уж коли зашел – надо усадить его и поделиться последними крохами – таков неписанный закон, унаследованный от кочевых предков.

Где-то против ветра протявкала собака. Мать отвернулась к стенке. Брат головой укрылся моим черным пальто с тремя серебряными лычками на рукаве. Сестренка затихла. Черная прядь редких волос на щеке чуть шевелится – в такт дыханию. Значит, еще жива.

Старуха лежит на спине, скрестив на груди свои смуглые сухие руки с синими венами – точь-в-точь, как мумия египетского фараона. Губы ее едва шевелятся. Я подполз ближе, решил подслушать, о чем говорит человек перед смертью. После нескольких слов молитвы на арабском языке Жайсан-эне быстро заговорила по-киргизски. Словно боялась, что до своей кончины не успеет высказаться.

– Всевышний создатель, выслушай мою последнюю просьбу. Если дни мои сочтены и кончилась вода, которую ты предназначил мне, благодарю за то, что создал меня и держал на земле столько лет. Много счастья хлебнула я из золотой чаши, но столько же горя хлебнула из черной чаши. Не суждено мне было иметь детей, груди моей не коснулись губы и язык младенца, а на старости лет ты отнял у меня мужа, не разрешил бросить на его могилу горсть земли, угнал на чужбину сыновей, которых воспитала, любила, как родных. Никто, кроме тебя, не знает, живы они или гниют в земле с пулей Гэпэу? На старости лет ты оставил меня одинокой, хотя, клянусь тебе, душа моя чиста и совесть свою я не запятнала ничем. Ты послал мне в утешение юную женщину и ее малолетних детей, а теперь хочешь отнять их... Молю тебя, оставь их живыми. Если тебе нужна в жертву живая душа, забери меня. Если умру я – никто не осиротет, а дух мой, скитаясь, найдет своих родных и любимых. Сохрани эту беднягу с малышами! Она ведь ничего хорошего еще не видела, еще не ела досыта, не насладилась любовью и счастьем. Прости меня, всевышний! Молю тебя и заклинаю...

Жайсан-эне вновь перешла на молитву, и я так же, как она сама, уже не мог понять ее речь.

Я тихо отполз в сторону, потрясенный услышанным. Я никогда не думал, что Коке и Хайритдин, которых она упоминала каждый день и ждала, не теряя надежды, рождены не ею... вспомнил, что в народе ее нередко называли байбиче Кашимбека. Байбиче – это значит старшая жена, стало быть, у него была и младшая жена, которая по всей вероятности и родила этих ребят. В европейском понимании две жены – это несовместимое соперничество, ревность и семейные склоки, патриархальный гнет и деспотизм. На самом деле это не так. Вторую жену, как правило, приводили в дом исключительно с согласия первой, причем в особых случаях. Причиной могла служить бездетность первой, болезнь, возрастной или ранний климакс, заключение военного или родового союза и про-

чее. Проявление ревности или неприязни между женами считалось признаком плебейства и дурного тона. Хозяйкой дома считалась старшая жена; дети, рожденные от второй, называли ее матерью, а она, в свою очередь, брала на себя все заботы. Поскольку двоеженство могли себе позволить в основном имущие, то жили они в двух, а то и в трех юртах...

Старуха лежала в той же позе и продолжала шевелить губами. Может быть, продолжала молиться, а может, уже бредила. Я воочию представил ее былую жизнь. Две белые юрты. Табуны. Младшая жена доит гладких кобылиц. Горная река. А куда она, интересно, делась? Может, умерла, а может, ушла с другим?

– Уйди, уйди, смерть, из моего дома. Не трогай малышей. Не торопись, – во всеуслышание умоляла Жайсан-эне.

Я съезился. Между лопатками пробежала струйка холода.

Что-то шевельнулось на самой макушке, словно кто-то схватил за чуб и потянул вверх, к небу. Меня обуял дикий страх. Показалось, что костлявый скелет ходит по комнате, принохивается к матери, сестре, братишке, ко мне, выбирает, кого унести первым. Надо бежать! Я встал на четвереньки, пополз к двери. Держась за косяк, поднялся на ноги. Весь дом пошатнулся, пошел вокруг меня. Выждал, когда остановится кружение, и вышел во двор. Резкий запах студеного снега, ослепительно-мощный сноп света чуть не сбили меня с ног. И вновь все закружилось вокруг: серые умирающие мазанки с бездымными трубами, красное холодное солнце, бездонное синее небо, голые вершины деревьев, словно я был центром вселенной, центральным столбом карусели. Люди, лица. Счастливые. Улыбающиеся. Девчонки с голубыми бантиками. Пацаны в коротких штанах и испанках, пионеры в красных галстуках с железными зажимами на горле. «Пять колец, три костра – пионер готов всегда!». Звонкий смех. Визг. Писк. Шум фонтана. Где-то гудит граммофон. Вальс «На сопках Маньчжурии». Отец, улыбаясь, ждет моей «реакции» – в руке у него самое большое, рублевое мороженое. Оно круглое. Сверху, снизу – вафельные колесики. Когда они пропитаются сладким пломбиром, станут очень мягкими и ужасно вкусными. Я счастлив, хватаю мороженое, облизываю его по окружности. Мать стоит рядом в белой беретке с брошью, держит отца под руку. Господи! Какие они у меня красивые самые, самые красивые в этом парке! Самые красивые во всем мире! Мороженое стекает по моим лип-

ким пальцам, ладоням. Очень сладко и очень холодно. Кто-то облил меня жидким мороженым с головы до ног. Леденеют волосы, черепная кость, мозги... холодное мороженое струится между лопатками, по животу, между ног, льется из штанин на землю, и потому она такая белая.

Не могу открыть глаза, ресницы слиплись от сладкого молока. С трудом потер глаза, на белом снегу мои черные руки, невероятно толстые пальцы. Подняться не могу. Начал осознавать действительность. Сейчас я умру, труп мой застынет на снегу, и голодные собаки съедят меня, как старую Аяткан. А может, и хорошо, что найдут здесь... Если найдут, обязательно зайдут в дом и, может быть, успеют спасти кого-нибудь. Рукава короткого бушлата, из которого я вырос еще в позапрошлом году, задрались вверх, обнажив красные от холода и худые от голода предплечья с острыми локтями. А, может быть, я тот самый жеребенок, которого минувшей весной родила каурая кобылица; из огромных черных глаз ее, как у плачущей женщины, струились слезы... Я лежал мокрый и склизкий на теплой зеленой траве, а мать ревниво поглядывая на собравшихся мальчишек, прижав короткие острые уши, грозно раздувала ноздри, недовольно ворчала глубоким грудным ржанием, теплым шершавым языком облизывала мою голову, от которой шел пар. А потом я поднялся на тонких руках и ногах, шатаюсь, подошел к ней и мягкими замшевыми губами припал к черному и гладкому, как футбольная камера, вымени... Надо встать. Встать любой ценой. Надо подняться в рост. Иначе – конец. Руки мои коснулись шершавого ствола карагача. Это – живая изгородь. Надо дотянуться до перекладины. Еще. Еще немного. Пальцы мои коснулись гладкой круглой перекладины. Ну! Еще чуть-чуть, и я смогу перевалить свой корпус и остаться на виду. Нет. Не могу. Неужели все?! По щекам моим катились горячие слезы и тут же леденели. Не хочу умирать! Обидно! Лежу лицом вниз. Во рту и ноздрах сухой снег. Щеки одубели и ничего не чувствуют. Несколько секунд щипало уши, и вдруг, я перестал ощущать их существование... Потянуло ко сну... О-о, наконец-то кончатся мои мучения, и я уйду в далекую даль откуда нет возврата. Везжаю на санях, слышу, как скрипят по сухому снегу полозья, ритмичный топот тяжелых копыт, фырканье лошади. Откуда лошадь? Мы же проводили их на фронт! Толпа мальчишек, поднимая босыми черными ногами клубы пыли, бежали за ними до само-

го шоссе. А бедные кони и не подозревали, куда их гонят. На пристани весь табун погрузили на пароход «Сергей Киров» – единственное судно, курсировавшее по Иссык-Кулю. Аильчане поднялись на холм, откуда было видно озеро, стояли до тех пор, пока черный дым парохода не скрылся за горизонтом...

Вдруг, чьи-то могучие руки подняли меня за плечи и перевернули на спину. Сквозь белую пелену я увидел пару огромнейших копыт, лохмы рыжей шерсти и заорал от ужаса. Но голоса своего я не услышал.

– Помер, что ли? – спросил женский голос по-русски.

– Та не-е... Вроде дышит трошки... дите... – ответил мужской голос.

– Ты его снегом. Снегом посильней, – посоветовал женский голос. Я почувствовал, как большие шершавые руки начали растирать снегом мое лицо, шею, уши, руки, грудь.

– Вот теперь и в хату можно! – мужик поднял меня, как пушинку, понес в дом.

– Н-ноо! – крикнула женщина и тронула сани вслед за нами.

Когда мужик внес меня в дом, мать подняла голову и тихо вскрикнула. Приподнялась и Жайсан-эне. Видимо, они и не заметили, как и когда я вышел из дома.

– Это ваш мальчик? – спросил мужик по-киргизски с сильным акцентом. – Едем по айлу, вокруг ни души! Глядим, стоит парень, думаем, спросим у него, подъехали, а он уже в снегу лежит. Еще чуток – замерз бы насмерть! – пояснил он.

– Спасибо вам! – сказала моя мать по-русски.

– Крыша у нас провалилась, кругляк не продадите? – спросил мужик по-киргизски.

– Кругляк-то есть, но деньги нам не нужны, – ответила старуха. – Пища кончилась во всем айле, до базара не дойти. Умрем с голоду.

– Ну, шо мать, отсыпем ячменя? – обратился мужик к жене, что молча стояла за его спиной.

– Шо? Шо? – не поняла женщина.

– Деньги, говорит, не нужны. Хлеба, говорит, давай, – пояснил мужик.

– А сами шо будем есть? Да крестному надо полпуда отдать. Дай им денег, хай купят сами, – взвинулась жена.

– Та где ж они купят, помрут вместе с детишками! – возразил мужик.

– А ты шо, Христос-спаситель? Своих вон спасать надо! – огрызнулась жена и вышла из дому.

Мужик молча взял пустое ведро, стоявшее у порога, посмотрел на свет – нет ли на дне дырки, вышел во двор.

Мы с матерью ждали затаив дыханье, ведь мы хорошо понимали, о чем шла речь. Со двора доносились возбужденные голоса.

– О чем они ругаются? – спросила Жайсан-эне.

– Жена не хочет давать ячмень, – пояснила мать.

Дверь широко растворилась, в комнату ворвались клубы морозного воздуха, а за ними – мужик. Он поставил ведро в центр комнаты. Мы с матерью поднялись на четвереньки и поползли к побитому, выдавшему виды ведру, словно это был родник с живительной влагой. Ведро было полно. Жайсан-эне зачерпнула полную горсть золотистого зерна, понюхала, словно хотела удостовериться в том, что оно настоящее, высыпала назад, подошла к мужику, схватила его за руку.

– О-о, ты мой Андрей! Спаситель наш! Спасибо тебе, мой родной! Буду молиться двум пророкам Исе и Мухаммеду! Они услышали мой голос и прислали тебя. Это я знаю. Это они! Откуда они прислали тебя, Андрей! – взмолилась старуха.

– Мы из Михайловки, но я не Андрей, – засмеялся мужик. – Я – Спиридон.

– Все равно Андрей! – махнула рукой Жайсан-эне (в нашем аиле всех русских мужиков называли Андреями). – Там во дворе палки тальника. Есть готовый, есть – растет. Бери, сколько сможешь.

Вскоре послышался мерный стук топора, скрип и шорох падающих стволов тальника.

Жайсан-эне насыпала на круглый деревянный стол две горсти ячменя, очистила от мелких камней и длинных зерен черного овса. Мать промыла зерно в холодной воде. Так она в городе промывала рис для плова. Я почувствовал острый запах жареного мяса с луком, перцем и морковью, и память моя уплыла в тусклое небытие. Видимо, повторился голодный обморок.

Когда я открыл глаза, была ночь. Во дворе было тихо. «Андрей», видимо, нагрузил сани кругляком и укатил в свою Михайловку. На днище перевернутой пиалушки горел ватный фитиль масляного

светильника – чырак. В доме было тепло, уютно. Мать с ложечки кормила братишку ячменной кашей. Жайсан-эне подседа ко мне.

– Вот, мой родной. Сперва две ложечки отвара, а потом одну ложку ячменя. Больше нельзя. Съешь много – сразу умрешь. Вот мы и спасены, мой родной. Я же говорила, что сердце мое чует доброе... Вот и послал нам Бог оруса Андрея... Дай Бог ему благополучия и сытости... летом обязательно съездим к нему в Михайловку, детей его поцелуем, – приговаривала старуха, пока хлебал жидкий отвар и, давясь заглатывал свою порцию каши.

В наших краях, вдоль всего Иссык-Куля, расположились русские поселения: Курское, Орловка, Хутор, Покровка... – основная часть которых появилась в начале века. Видимо, в тот период, когда премьер Николая II Петр Столыпин решил спасти Россию от голода, переселив безземельных крестьян на окраины империи. Жайсан-эне рассказывала, как они появились в том месте, где впадает река Джергалан в Иссык-Куль. Как-то примчались два джигита и сообщили, что от Тюпа к нашему айлу движутся телеги, запряженные волами и огромными гривастыми конями. А в телегах бородастые оруссы. Аильчане тут же подняли своих джигитов, оседлали лучших скакунов, вооружились кольями, дубинками, ружьями. «Исполнившись ратного духу», двинулись на встречу непрошеным гостям. Завидев обозы пришельцев, джигиты с дикими криками, визгом и свистом ринулись вперед, окружили и... остолбенели. Перед ними, понуря головы, стояли обросшие босоногие мужики и бабы в рваных одеждах, изможденные голопузые дети, волы с окровавленными шеями; гривастые лошади с кривыми, разбитыми ногами и впалыми боками едва держались на ногах.

– Кто такие? – обратился Кашимбек.

Вперед вышел проводник и заговорил по-татарски:

– Этих людей пригнал голод. Белый царь не хочет их кормить, – сказал он. – Будьте милосердны, не обижайте их, и аллах вознаградит вас!

Джигиты, готовые в любую минуту броситься в бой, ждали условного сигнала.

Пока шли переговоры, старики и женщины крестились, мужики сжимали в руках топоры и приклады имеющихся ружей. Военственные, нетерпеливые джигиты на резвых конях не сулили ничего доброго.

- Что будет, если мы не примем их? – спросил Кашимбек.
- Война, – ответил татарин. – У них есть бумага от царя.
- Что они будут здесь делать?
- Будут сеять хлеб и разводить птицу, – ответил татарин.
- А свиней? – спросил Кашимбек.

Проводник о чем-то переговорил с русскими стариками и ответил:

- Свиней у них нет. Они съели их в дороге!
- Что с ними делать? – обратился Кашимбек к своим аксакалам.
- Пусть строят себе дома. Пусть держат воду в чистоте и берегут наши пастбища, – был ответ.

Кашимбек развернул коня. Джигиты покорно двинулись за ним, явно огорченные тем, что не удалось показать свою удаль и захватить трофеи, «попробовать» чужих женщин...

Жайсан-эне разрешила нам съесть еще по одной ложке ячменной каши.

Из трубы нашего дома струился синий дымок, уходил в звездное небо – признак того, что в доме продолжается Жизнь...

1992 г.

ВОРОВКА

– О-о! О-ууу! Держите ее! Держите! – кричал верховой, размахивая белой шапкой. Он мчался по вспаханному полю. На солнце сверкала его лысая голова.

Школьники, окучивавшие картофель, выпрямились и застыли, как испуганные козлята.

– Агай¹, кого держать? – спросила девочка.

Учитель пожал плечами.

– А кто это? – спросил он, в свою очередь.

Дети наперебой принялись гадать, что это за всадник. Одни кричали, что это Начальник Воды, дядя Таштан, так как всадник был в зеленом чапане, другие решили. Что это дедушка Бакен. Кто-то заключил, что это вовсе незнакомый человек, ибо его чапан был не такой старый, как у дяди Таштана, и не такой новый, как у дедушки Бакена.

¹ *Агай* – обращение к учителю.

За годы войны женщины научились так искусно лепить заплата-ты, что чапаны, рубахи и штаны на людях напоминали географические карты с белыми пятнами. Всадник приблизился, и дети в один голос закричали, что это Начальник Воды – дядя Таштан. На зеленой вельветовой груди его, как эмблема, сверкала заплатка, из белого шелка. Дети узнали и жеребца по кличке Туйгун.

– Что же не поймали?! – закричал Начальник воды.

– Кого? – спросил учитель.

– Воровку!

– Какую воровку?

– Э-эй! – махнул рукой Таштан. – Здоровенная такая! Волосы длинные, распущенные! Каждая нога с толщиной с мое туловище!

Учитель подозрительно прищурился: в аиле еще бытовало суеверие, что ведьмы – албарсты являются в облике женщины с распущенными волосами и угадать ее можно только по походке, так как ходят они пятками вперед.

– Может, показалось тебе, Начальник воды, а? – снисходительно улыбнулся учитель.

Дети тоже засмеялись снисходительно.

– Да пусть покарает меня святой хлеб, если вру! Пусть я женюсь на родной матери, если вру! – забожился тот.

– Чш-ш! Здесь ученики! – предупредил учитель, так как дальше могли посыпаться еще более непедагогические клятвы.

– Ой, кокуй о-о-ой!² – махнул рукой дядя Таштан. – Я думал, здесь люди, а здесь, оказывается, ученики. Эти книги не дают вам верить ни богу, ни человеку!

Учитель разозлился:

– Какая воровка? Откуда ей взяться среди бела дня? Может, школьница была?

– Ой, кокуй о-о-ой! Какая школьница? Воровка по всей поруме³. Вот такая здоровая!

– Шпионка от немцев! – догадался один из учеников.

– Зачем ей шпионить? Война-то кончилась, – ответил другой ученик.

– Вызвала меня председательша наша и говорит: «Вам, аке, подчиняются все колхозные арыки». – «Да, – говорю, – я есть Началь-

² Междометие выражающее крайнюю досаду..

³ Искаженное от «форма».

ник Воды». – «Простите, – говорит, – товарищ Начальник Воды, что пришлось вам ходить вдоль арыков без спецодежды». – «Да, – говорю, – пришлось, да не только вдоль арыков – по самой воде». А она говорит: «Ничего не поделаешь – война была. А теперь вот выписали специально для вас особые сапоги. Не промокают. Заграничные». – «Спасибо, – говорю, – за уважение». – «Ничего, – говорит она, – хороших работников мы уважаем».

– Так и сказала? – без особого интереса спросил учитель.

– Ну, положим, не совсем так, но так звучали ее слова. Хороших работников везде уважают. «Слыхала я, – продолжает она, – что вы умеете лечить лошадей». – «Да, – говорю, – умею». – «Так вот, – говорит она, – ведите к себе хромого жеребчика Туйгуна, вылечите и катайтесь на нем». Получил я сапоги резиновые, голенища длиннющие, до самого паха достают, вернулся и говорю: «Спасибо вам и Советской власти за уважение». А она говорит: «Ничего, аке, хороших работников мы...»

– Э-э, ты про воровку давай! – перебил его учитель, посмотрев на солнце.

– Сейчас дойду и до воровки. Так вот, сегодня повел я, значит, жеребчика на водопой, вчера он клевера объелся зеленого. Думал, подохнет скотина. Нет. Вроде выжил жеребчик. Решил дать немного соли, привел домой.

Учитель давно перестал его слушать и следил за учениками, которые вновь приступили к работе. Отойти от рассказчика и заняться своим делом он не мог: Таштан был намного старше. Сам учитель когда-то окончил курсы ликбеза и еще что-то, прошел всю войну и теперь преподавал военное дело, физкультуру, черчение, немецкий язык, русский и даже географию.

Начальник Воды продолжал свой рассказ и никак не мог добраться до основного события.

– Гляжу, кто-то копошится в сарае. Решил, что соседка пришла за огнем. Начал привязывать Туйгуна. Оглянулся, вроде баба вышла из сарая и побежала за дом. Ну, думаю, наверно кто-нибудь из застенчивых невесток.¹ Зашел за сарай, а там лежит куриная голова. Подумал, что собака притащила. Гляжу, а это голова моей соседки. Я своим курам головы чернилом крашу. Думаю, что бы все

¹ По обычаю, жена не должна показываться старшему брату мужа.

это значило. Вышел из сарая. Баба уже прошла через мой огород, побежала в поле и скрылась под стогом. Я на Туйгуна и за ней. Переворошил весь стог. Будто сквозь землю провалилась. Я к другому стогу. А оттуда как выскочит баба в два обхвата и драпать. Волосы лохматые. Красной тряпочкой повязаны. Платье длинное. Только голые пятки сверкают!

– Пятки, говоришь? – насторожился учитель.

– Пятки!

– Понятно... – Учитель почесал затылок.

– Ой, кокуй о-о-ой! Опять не веришь? Пятки-то обыкновенные были!

– Ну и что?

– Что? Вот я и бросился за ней. А жеребчик-то хромой совсем! Сильно гнать нельзя. Подохнет скотина, отвечать придется. Видел собственными глазами, как она побежала в эту сторону.

– Может, не сюда?

– Клянусь черной землей!

– Может, показалось?

– Ой, то-бо-оо!² – Начальник Воды вытащил из кармана голову курицы, покрашенную фиолетовыми чернилами, и бросил к ногам учителя.

Дети обступили их тесным кругом и начали рассматривать куриную голову. Таштан, довольный тем, что, наконец, произвел впечатление, вытащил из кармана замусоленный пояс от старого женского платья и отдал учителю.

– Вот! – сказал он.

Несколько мальчишек уже рыскали по прибрежным кустам осокли. Учитель тоже начал ходить вдоль арыка.

– Вот сюда она побежала. Я даже заметил, как мелькнул ее зад. Вот такой! – показал он руками.

– Аксакал! Здесь ученики! – одернул его учитель.

– Вот такой! – Таштан уменьшил размеры зада.

Дети разбрелись по всему полю, обшарили каждый кустик.

– Может, она... того... умеет исчезать, а? – спросил Начальник Воды.

– Так не бывает! – отрезал учитель.

² *Ой, тобоо!* – Ой, боже мой!

Мальчишки, как осы, носились по полю, возвращались к учителю и докладывали, что никакой воровки нет.

– Неужели почудилось? – в страхе спросил Таштан.

– Ну, конечно, почудилось! – обрадовался учитель. – Что? А то: видел, бежала, волосы длинные, пятки голые! И жеребчика загнал – весь в мыле!

– С чего бы это, а? – изумился Начальник Воды.

– Мало ли с чего? Спал, может, плохо! Думал о ком-нибудь.

– Да, да, – закивал тот. – Всю ночь не спал, коленки мерзли, жил с женой, такого не было...

– Ну вот! Прогнал жену, а теперь мучаешься!

– Не гнал я ее! Двадцать лет прожили, а детишек все нет. А как без них-то? Вот и затосковали мы. Решили отделиться друг от друга. Может, выйдет за другого – пошлет ей бог счастья. Да и я, может, встречу свою судьбу. А оно видишь, как получается.

– Вот, к примеру, ложишься спать голодным, а тебе снится бешбармак¹, верно?

– Верно, – согласился Начальник Воды.

– А если мучает жажда – свежий кумыс снится!

– Точно!

– А бывает, раскроются ночью ноги, снится, что ходишь босиком!

– Неужели это все в книгах?

– А как же! Так и называется «Сон и сновидения».

– Ты только не рассказывай никому, ладно? А то позора не оберешься.

– Ладно, – согласился учитель. – А что ты дашь мне за это?

– Бери мой чапан; старый, зато заплата – чистый шелк.

– Потом пахнет от него за три версты! Пусти воду в мой арык.

– Придет твой черед, будет вода, – строго сказал Таштан.

– Ну ладно, с тобой не договоришься... Дети, – обратился он к ученикам, которые давно делали вид, что работают, а сами подслушивали разговор взрослых.. – Дети, объявляю перерыв на пятнадцать минут. Воду из арыка не пить! Заболеете поносом! Понятно?

– Понятно! – хором ответили ученики, тут же повалились на траву и начали вытаскивать из сумок еду.

¹ *Бешбармак* – национальное мясное блюдо.

Начальник Воды нахлобучил колпак и повел Туйгуна вдоль арыка. Вдруг жеребчик шарахнулся в сторону, а дядя Таштан вскрикнул и замахал руками.

Все бросились к нему.

– Вот она! Я же говорил! Вот она!

Женщина лежала поперек арыка. Голова и ноги ее торчали из воды, прикрытые прибрежной осокой. Туловище почти полностью было под водой. Она лежала как мертвая, видимо, оледенела от страха.

– Вставай, ведьма! – Таштан потрогал ее рукояткой камчи.

Ведьма не шелохнулась.

Начальник Воды, пробормотав первые слова молитвы, полез в воду. Ведьма вскочила на ноги и, подхватив длинный подол, побежала вниз по течению. Дети со свистом и гиканьем бросились за ней, оставляя позади коричневые пузыри. Учитель, сильно припадая на раненную ногу, ковылял за всеми, на ходу отдавая приказания.

– К мосту! Не давайте выйти из арыка!

Чувствовалась его боевая закалка.

Вдруг ведьма резко повернулась и пошла прямо на дядю Таштана, оскалив большие белые зубы. Тот невольно попятился назад.

– Начальник, не бойся, я здесь! – закричал учитель.

Услышав голос командира, дядя Таштан почувствовал себя бодрее, и, расставив руки, стал медленно приближаться к ведьме. Дети конвоировали ее, вооруженные палками, кусками глины, хворостинками. Глаза их блестели, как у тигрят. Расстояние сокращалось. Ведьма раскачивала смуглыми полуобнаженными плечами и смотрела затравленной волчицей. В ушах ее поблескивали огромные серьги в виде полумесяца. Золотые.

– Руки вверх! – сказал учитель.

Ведьма покачала головой. Серьги сверкнули на солнце.

– Сдай оружие! – приказал учитель.

Сверкнули серьги.

Начальник Воды изловчился и, как снежный барс, набросился на ведьму, однако тут же взвыл и брякнулся в воду. Пока он барахтался, ведьма выкарабкалась на берег. Двое мальчишек бросились к ее ногам и крепко обхватили за голени. Ведьма упала. Дядя Таштан замахнулся камчой.

– Эй! эй! – закричал учитель.

Но Таштан все же успел стегнуть ведьму. Когда он замахнулся еще, подоспел учитель и вырвал камчу.

– Женщину бить нельзя! – сказал он.

– Какая женщина! Это же воровка! – не унимался дядя Таштан.

– Сейчас разберемся, – хладнокровно сказал учитель, усевшись на камень.

Начальник Воды слизывал с укушенной руки кровь и что-то злобно бормотал – ругался про себя.

– Кто вы такая? – спросил «следователь».

Женщина не ответила.

– Хынды хок! Гитлер капут! Хальт! – кричали мальчишки со всех сторон.

Учитель поднял руку. Все замолчали.

– Воровка она! Курицу мою украла. Наседку! Хлеб украла! Руку мне прокусила! В город ее! В тюрьму! – наседали Таштан.

– Вы нанесли советскому гражданину материальный ущерб с сопровождением телесного повреждения. Мы вынуждены привлечь вас к уголовной ответственности! – сказал учитель.

Воровка, казалось, не понимала ни единого слова.

– Ханды кок! – не выдержал какой-то мальчишка.

На него цыкнули, и он замолк.

– Слушай мою команду! – учитель поднялся. – В связи с чрезвычайным происшествием окучивание картофеля прекращается!

– Ур-ра! – закричали дети.

– Тихо! Ашим и Толемуш! Вы останетесь здесь и сообщите бригадире о случившемся. Остальные поведут ее в правление. Ясно?

– Ясно!

Таштан связал женщине руки, сел на Туйгуна и, предупредив детей, чтобы не подходили близко, так как она может укусить, двинулся вперед. Ватага мальчишек и девчонок, как стайка лилипутов, пленившая Гулливера, следовала за ними, поднимая желтую пыль. Учитель захромал рядом с подветренной стороны.

В аиле уже знали о том, что в дом дяди Таштана залезли грабители, похитили все драгоценности, а хозяина ранили автоматной очередью. Предполагалось, что это дело рук его бывшей жены. Когда воровку, как слона, повели по улицам айла, из домов высыпали старики, старухи и детвора, и вся эта процессия двинулась к правлению колхоза, сопровождаемая дружным лаем айльских собак.

Председателя в конторе не оказалось, и бригадиры все были в поле. Вскоре, однако, на лошадях, и телегах и тракторах начали возвращаться с работы колхозники. Воровку окружили тесным кольцом и глазели на нее как на преступницу, которую сейчас выведут на казнь. Таштан уже в который раз во всех подробностях рассказывал о случившемся. И каждый раз начинал с того момента, когда председательница в знак уважения к хорошему работнику выдала ему резиновые сапоги и хромого жеребенка, который вчера объелся зеленого клевера.

Дети, в свою очередь, рассказывали своим сверстникам о том, как они поймали шпионку, которая ни на каком языке не говорит, хотя все понимает. Между тем наступили сумерки, и седобородые, посоветовавшись, решили запереть ее пока что в красном уголке, а завтра передать в руки властей.

Поскольку Таштан был заинтересованным лицом и жил через дорогу, то ему и была поручена охрана. Воровку ввели в низенькую комнату. Не найдя надежного замка, продели в дверные ушки плетеную веревку из конского хвоста и завязали так крепко, как умеют завязывать только скотоводы.

Таштан вернулся домой. В сарае вместо двенадцати будущих цыплят лежала пустая скорлупа – кошки сделали свое черное дело. Теленок, привязанный к стойлу, рвался к матери, пускал слюни и жалобно мычал. Хозяин стреножил голодного Туйгуна, выгнал в огород и решил подоить корову. Но скотина, еще не привыкшая к нему, брыкалась и не допускала. Он хотел позвать соседку, но вспомнил, что вчера ее муж, косолапый Качкынбай, напившись бузы, с вилами гонялся за ней и кричал, что дома беспорядок, а она ходит доить чью-то корову. На душе остался неприятный осадок. Он и сам не мог понять, отчего этот осадок: может, потому что, Качкынбай был немного младше, а может, потому что, к холостому да еще зажиточному мужчине все мужья относятся с завистью и подозрением. Одним словом, хозяин Воды твердо решил, как только закончатся поливные работы и начнется сбор урожая, сбрить бороду, надеть на Туйгуна серебряную уздечку, накрыть белой попоной и двинуться на южный берег Иссык-Куля в поселок Тон, где жил его давний друг Бексултан, который обладал незаурядным умом и знал толк в женщинах: он-то обязательно подберет ему подходящую вдовушку, еще способную родить... Таштан вошел в дом, отыскивал старший

платок жены, повязался точно так же как она, натянул фартук, насыпал в тазик отрубей и, наклонив голову, подошел к корове. Скотина блеснула большими карими глазами и потянулась к тазику. Пока она, шумно вздыхая, слизывала угощение, Таштан начал доить. Но как только отруби кончились, корова забеспокоилась, начала шлепать себя по бокам грязным хвостом, нервно дергать животом. Пришлось перестать доить и отвязать теленка. Тот бросился к матери и спрятал свою мордочку в ее теплом вымени, а корова, словно добрая, дородная женщина, обласкала детеныша, облизала своим длинным теплым языком.

Таштан еще раз спросил у бога, почему он не дал ему того счастья, которым так щедро наделил даже животных.

Никогда еще дом не казался ему таким пустым и неудобным. «Женщина. Порой злое, крикливое и не всегда умное создание. Но как неудобен мир без нее! Как холоден и не обжит без нее дом! Как скрежещет и пусто гремит посуда, когда она не в женских руках! А учитель, конечно, большой дурак. Поучает меня, что женщину бить нельзя. А сам-то до войны и выпивал, и гонялся за женщиной с камчой. Вернулся с войны, как будто подменили его. Не пьет. Не курит. Без жены никуда не ходит, по-русски шпарит, как на родном. По утрам бегаёт вокруг дома, а потом стоит и, как огородное пугало, размахивает руками, а зимой докрасна натирает свою грудь снегом. Недаром говорят: слушай, что говорит мулла, да не делай то, что он делает. Сказал, что женщина пригрезилась мне оттого, что тоскую по ней. Да-а! Умеют ведь врать эти грамотные...» Таштан поймал себя на том, что забыл о случившемся. А что, если воровка сбежала через окно или кто-нибудь развязал веревку? Ему ведь было поручено сторожить ее!

Начальник Воды взял старую двустволку и направился к конторе. Веревочный замок был цел. Он подошел к черному окну, зажег спичку и просунул в щель разбитого стекла. Воровка спала на старом облезлом диване, обнажив крепкие смуглые ноги. При свете спички вспыхнула и затрепетала золотая серьга.

– Эй! – тихо постучал он.

Женщина не ответила. «Может, умерла?» – вдруг подумал Таштан. – Хлеб, что украла, съесть не успела. Ребята вытащили почти весь каравай, намокший в воде, и тут же съели. А дохлую курицу, видимо, потеряла, когда убегала. Весна – пора тяжелая:

старые запасы съедены, а новый хлеб еще не созрел. Воровать-то голод заставил.

Таштан сходил домой, принес крынку парного молока и кусок хлеба.

– Эй! – он постучал сильнее. Потоптался на месте и зажег вторую спичку.

Она подняла голову. В темноте заблестели ее золотые серьги и черные глаза.

Таштан оставил на окне еду и отошел в сторону.

Воровка поблагодарила на каком-то непонятном поющем языке и начала есть в темноте, а потом выставила пустую крынку в окно и затихла.

Таштан повесил ружье на плечо дулом вниз и до утра ходил вокруг конторы, в деталях вспоминал о случившемся, думал о своей жизни и о женщинах...

...Айымкан. Как не говори, а хозяйка она была хорошая. Правда, немного сварлива. Но бывают ли несварливые женщины? В последние годы стало трудно с ней. Чуть что – в слезы. «Я несчастна, я больна. Хочу ребенка». Как будто он, Таштан, не хотел ребенка. Ездили в город. Доктор сказал, что супруги здоровы и вполне могут иметь детей. Прошло еще три года. И война закончилась. А потомства все не было. Вспомнился последний разговор.

– Давай хоть раз поговорим открыто, – сказала она.

Таштан уселся подле нее и начал чинить сапог.

По натуре своей Айымкан была женщина вспыльчивая и невыдержанная, а тут вдруг заговорила очень спокойно, рассудительно, видать, готовилась к этому разговору давно.

– Бил ты меня не раз. Однажды довольно крепко, правда, могла бы я избежать этих побоев, но я и сама виновата. Наше несчастье сильнее наших обид, а потому прощаю тебе все.

– Ей! Кто научил тебя умным словам? – удивился Таштан.

Но жена продолжала:

– Утром ты смотрел на играющих мальчишек, и в глазах твоих были слезы. В старое время я бы сама разрешила тебе взять токол¹, но сейчас это запрещено.

Муж молчал и жевал просмоленную суровую нитку.

– Я уеду к родителям и дам тебе свободу. Только ты не торопись, найди себе подругу, которая бы не только рожала, но и цени-

¹ Токол – младшая жена.

ла тебя. А мне купи плюшевое пальто, хромовые сапоги, чаю и сладостей для родителей, чтобы злые языки не говорили, что ты выгнал меня.

Через несколько дней супруги собрали своих седобородых родичей, зарезали барана и сообщили о своем разводе. Седобородые выслушали обе стороны и пришли к выводу, что супруги делают верный шаг, ибо считали, что бездетность – несчастье большое. Таштан продал одну из коров, одел Айымкан с ног до головы, накопил подарков для ее родичей, разделил все имущество на две части и проводил ее в Джеты-Огуз.

Возвращался с тяжелым сердцем. Он бы исполосовал камчой любого, кто сказал про Айымкан худое слово. Но пришлось расстаться с ней – так была сильна тоска по ребенку, особенно весной, когда вся долина начинала цвести и благоухать жизнью. Даже в самом воздухе, казалось, звенит земная любовь и земное рождение: на полях прибавились первые побеги, на деревьях набухли почки, из куколок вылетали нежнокрылые бабочки, птицы пели о любви, на крышах ворковали голуби, на полях паслись грациозные кобылицы, на улицах айла высыпала голопузая детвора, а старики, улыбаясь, любовались ими, грелись на солнце. И он, Таштан, с утра до вечера хлопотал там, у большой реки, пускал в долину живительную влагу, поил все живое. А дома никто его не ждал...

И теперь, сидя на крыльце конторы один на один с ночью, он думал о том, что человек, видимо, никогда не научится ценить свое счастье. Не иметь детей – несчастье, конечно, большое. Но жить без семьи разве лучше? И если рядом есть женщина, которая плачет и смеется вместе с тобой, это ведь тоже хорошо.

Долго сидел Таштан, опершись на свое ружье, в котором не было заряда. Он проснулся от скрипа двери. Сноп света ударил в глаза. Солнце поднималось.

– Доброе утро, аке! – это явилась на работу председатель колхоза Майрамкан Оморова.

– Здравствуйте, аксакал,¹ тоюс,² доченька, – поднялся Таштан. – Тут вот вчера мы поймали кое-что... Тоюс воровку. (Слово «то есть» он употреблял, когда говорил с официальными лицами.)

¹ Аксакал – букв: седобородый; обращение к старшему по возрасту или по должности.

² Тоюс – искаженное то есть.

- Знаю, – улыбнулась Майрамкан.
- Что прикажете с ней делать?
- Не знаю, аке, – засмеялась женщина.
- Может, допросите? А вдруг она того... ышпыянка заграничная.
- Мы не имеем права допрашивать, аке.
- А кто имеет?
- Милиция...
- А где ее взять?
- Кого?
- Мыльйсу.
- Отвезите ее в город и сдайте в отделение.
- А вдруг ее в тюрьму посадят?
- Там разберутся. Возьмите у бригадира телегу и отвезите...

К тому времени у «Красного домика» собралась толпа любопытных. Таштан разогнал всех, вывел воровку, связал ей руки, усадил в телегу и двинулся в райцентр.

Аильная детвора и несколько старух провожали их до шоссе. Мальчишки свистели, кидали огрызки, цеплялись за телегу, дразнили и ругали воровку. Конвоир обещал надрать им уши, грозно размахивал камчой, но ребяташки не унимались – они знали, что дядя Таштан очень любит детей и просто разыгрывает из себя злодея. Когда доехали до шоссе, конвоир сошел с телеги, вытащил из кармана горсть альчииков, дал каждому мальчишке по штуке и уговорил их вернуться домой. Телега затарахтела по шоссе, покрытому синим гравием.

А солнце уже светило над самой головой.

То, что было дальше, никто, кроме самого Таштана, не знает.

Вернулся он очень поздно, всю ночь в его окне светилась керосиновая лампа, а из трубы струился синий дымок... На второй день с утра до вечера он возился во дворе, наводил порядок. Когда кто-нибудь проходил мимо и спрашивал, куда он дел воровку, отвечал, что скоро все узнают, куда он ее дел. Вечером зарезал барашка и созвал седобородых. И пока в казане варилось мясо, издавая аппетитнейший запах, гости играли в карты, говорили о войне, об урожае, о довоенном изобилии и нынешней бедности. Казалось, что они просто собрались поесть мяса. А когда мясо было съедено и подросток обошел всех с теплой водой и полотенцем, хозяин встал во весь рост и обратился к гостям:

– Палец, отрезанный по общему совету, не болит. Судьба послала нам женщину. У нее нет ни детей, ни мужа, ни очага. Война заставила скитаться ее по земле в поисках куска хлеба. Она не нашей крови и не нашей веры. Но она добрая и здоровая, и, если она народит мне детишек и будет хозяйкой в этом доме, для меня будет достаточно. Если братья согласны с моим решением, окажите мне поддержку по законам отцов наших. Время сейчас трудное. Война кончилась, но вдовы еще не сняли траурных платьев, глаза наши не высохли от слез, никто еще не ел досыта. Сегодня я зарезал своего единственного барана. Придет день – в долгу не останусь, ибо в любом доме рано или поздно будут и поминки, и свадьбы, и рождения.

Все молчали. Таштан ждал приговора. Наконец поднял голову самый седобородый из седобородых – восьмидесятилетний Токой.

– Брат мой, – начал старец, – первое богатство – это здоровье, второе богатство – белый¹ платок в доме. Супружеская жизнь – это сказка, которую никто не расскажет до конца. Если создатель послал тебе эту женщину и она вошла в ум твой и сердце, поступай, как велит тебе желание. Ты говоришь, что она одинока, не имеет своего дома, значит, в поступке твоём нет корысти. Судьба вознаградит тебя за то, что ты проявил великодушие к несчастной скиталице и с белым сердцем ввел ее в свой святой дом. А то, что она другой крови, другой веры – в твоих руках сделать ее нашей любимой дочерью и доброй снохой. Все люди равны перед создателем. Если крепок молоток, то и войлочный гвоздь в землю войдет. И если она будет встречать твоих братьев добрым поклоном и с чайником горячего чая, значит, жизнь твоя спокойна, и мы будем рады за тебя. А нам остается пожелать вам счастья и поддержать хлебом и мясом. Ты честный Начальник Воды. Твоей работой довольны и родичи, и начальство. Да будет белый платок счастьем твоим!

– О-мийн! – старый Токой провел ладонями по лицу, и все сидящие провели ладонями по лицу.

На голову невесты набросили большой белый платок, налили в белые чаши чистой горной воды, и один из старцев, считавшийся муллой, хотя он довольно приблизительно знал коран и не понимал ни одного арабского слова, произвел обряд бракосочетания, что,

¹ *Белый цвет* – символ чистоты.

впрочем, свелось к тому, что он спросил согласия сторон на совместную жизнь и пронес чашу с водой вокруг голов молодых; таким образом, брак свершился. Правда, «мулла» никак не мог выговорить имени невесты, которую звали Маргаритой, и все время называл ее Марипатой. А Марипата исподлобья зыркала огромными черными глазами и обнажала крупные белые зубы.

К свадьбе готовились недолго. Родственники общими силами собрали трех баранов и мешок проса. Правление колхоза выделило мешок муки. Наварили бузы.² Напекли лепешек и два мешка боорсоков. Кто-то принес бурдючок кумыса, который тут же спрятали под кровать на случай приезда особых гостей. С тех пор как почти весь колхозный табун увели на фронт, кумыс употребляли в качестве лекарства.

На свадьбе было сытно, а значит, и весело. Невеста, одетая в новое сатиновое платье, в хромовых ичигах с остроносими калошами, сидела за ширмой в окружении молодых и кланялась всем, кто захотел смотреть на нее. Старухи гладили ее по голове, целовали в лоб:

– О, ананайын!³ Совсем как наша. И глаза черные, и волосы черные, и прическа как у наших дочерей! Дай бог тебе полный полдол детей!

В первые дни друзья Таштана подтрунивали над ним, просили рассказать, как он договорился с ней о женитьбе, было ли между ними что-нибудь такое там в дороге, на каком же языке они общаются по ночам и не собирается ли он пешком ходить вокруг Иссык-Куля, гадать на картах, воровать кур и лошадей. Начальник Воды не сердился и на соленые шутки находил пересоленные ответы, поэтому очень скоро остроты иссякли. Хотя на самом деле он и сам не знал, почему выбрал именно эту женщину, может, из благородства, а может, потому, что она была очень не похожа на тех, каких он привык видеть со дня своего рождения. Маргарита освоилась с новой жизнью, научилась печь хлеб, доить корову, изъясняется со старухами и детьми, пуская в ход жесты и свою богатую мимику.

Кончилось лето. Прошла осень. Настала зима. Начальник воды лишь изредка выезжал к большой реке, чтобы обколоть лед, сковав-

² Буза – напиток вроде браги.

³ Ананайын – миленькая.

ший шлюзы. По пути заезжал в соседний колхоз и привозил жене сладости. Длинными вечерами он любил сидеть дома у очага, а Маргарита тихим голосом пела очень грустные и непонятные песни...

Однажды Таштан был уверен, что у него родится сын. Он был счастлив. Казалось, сам бог наконец заметил его страдания и послал женщину, во чреве которой начала жить великая надежда. Таштан считал дни, ждал того светлого момента, когда в собственных ладонях будет держать маленькое теплое существо, ночами подолгу смотрел на лицо Маргариты и очень осторожно, чтобы не разбудить, гладил ее живот, приставлял ухо, так как слышал, что повитухи таким образом определяют двойню.

– Ну, чего ты? – спрашивала он сквозь сон.

– Может, там... двое?

– Хэ, чего захотел! – бурчала она и поворачивалась на другой бок.

– Ты спи... спи... это я так... – извинялся он и долго смотрел в голубое небо, где мерцали далекие звезды, улыбался в темноту и думал о том, как все-таки хорошо жить на свете. «Как интересно устроен мир, – думал он. – Мой отец жил и ждал моего рождения, а потом ждал, когда я вырасту и стану человеком; теперь я жду, когда родится мой сын и станет человеком, а потом мой сын будет ждать появления своего сына, и так вечно. И род мой будет жить вечно! И кровь моя будет переходить из века в век! И я буду жить вечно...» Вся предыдущая жизнь его с маленькими радостями и большими лишениями, казалось, была всего-навсего подготовкой к большому празднику. Уходя из дома, Таштан строго наказывал жене не поднимать тяжелые вещи, не утруждать себя работой. Но она слегка посмеивалась над его страхами и делала все: хлопотала по дому, носила воду, молола муку, месила тесто и пекла хлеб, она очень любила горячий хлеб, испеченный в жаровне. А потом свертывала толстую сигарку и курила очень крепкий самосад. Иногда Таштан представлял, как бы повела себя Айымкан, если бы вдруг забеременела. Она бы, конечно, слушала каждое его слово и выполняла все просьбы. Но Маргарита была другой женщиной. Из другого племени и вела себя по-другому. А он не смел возразить – он ждал от нее единственного: здорового ребенка.

Беда пришла неожиданно. Начальник воды, как всегда, встал чуть свет, оседлал старого мерина (Туйгун излечился и резвился где-то на горных лугах), натянул длинные резиновые сапоги, взял кет-

мень и двинулся к большой реке, чтобы открыть шлюзы, распределить воду по основным арыкам, идущим через поле. Весна выдалась сухая, и первые побеги ждали влаги. Он хотел было вернуться домой к обеду, но воды было мало, а у большой реки рыскали браконьеры, которые ради двух-трех рыб могли перекрыть воду. Надо было ждать, пока напьется картофель, а на ночь пустить воду на пшеничные поля.

Отпустив воду на пшеницу, он двинулся через перевал. На гребне он невольно остановил коня и залюбовался. Красное солнце уходило за горы. Перед ним простиралась долина. Каждое поле, разделенное строгими линиями каналов, имело свой оттенок зелени. Вода спокойно разливалась по земле и блестела, как красная ртуть. И над всем этим возвышалась гигантская тень Начальника Воды на гигантском коне.

В совхозный сельмаг он приехал в сумерках, купил брошку с зеленым глазком – она любила блестящие побрякушки, – пришло мерина, чтобы добраться домой до наступления темноты.

Въехав во двор, он увидел, что корова пьет воду из котла, а теленок с веревкой на шее, с надутым животом лениво помахивает хвостом. Таштан в смутной тревоге вбежал в дом. Жены не было. Побежал к соседям. Никто не видел ее. Вернулся домой. На круглом столе записка. Как он не заметил раньше! Ученическим почерком по-кыргызски два слова: «Спасибо за доброту!» Он побежал к Качкынбаю. Его дочери дома не оказалось, заигралась где-то. Пока нашел ее, уже стемнело. Девочка рассказала, что Рита-джене позвала ее в полдень, угостила рафинадом и попросила написать эти слова. Больше она ничего не знала.

Что могло случиться?

Может, она, оправившись от каких-то своих бед и переживаний, затосковала по своей былой свободе? Может, привыкшая жить только сегодняшним днем, ничего не загадывая на завтра, привыкшая босиком бродить по земле со своими пожитками, а вечером петь и плясать у костра, захотела вернуться к своему прежнему беспечному существованию? А ребенок связал бы ее по рукам и ногам и заставил жить на одном месте, и она решила избавиться от него? Тогда зачем же выходила замуж? Может, из боязни попасть в тюрьму? Словом, ни сам Таштан, ни кто другой не могли в свое время объяснить ее приход в этот дом. Как она очутилась в этих краях?

Почему оторвалась и ушла от своих ветхих балаганов на колесах, от грязных, сопливых, нечесанных детишек, сварливых грубых старух, от подружек, бродящих по базарам в поисках наивных людей, желающих узнать свою судьбу?

Таштан переживал глубоко. Одни сочувствовали ему, другие, в основном женщины, злорадствовали, осуждая за то, что он ввел в свой дом бродяжку, тогда как вокруг было много порядочных вдов и девушек на выданье. Он обошел все ближайшие поселки. Каждое воскресенье ездил в город на базар, искал воровку, унесшую в своей утробе его счастье. В отделении милиции ответили, что найти ее «практически невозможно». Во-первых, никто не знал ее фамилии, нет ни документов, ни фотографий; во-вторых, согласно инструкции она не подлежит розыску: ее уход считается отказом от родственных связей. Может, она решила поехать куда-то к родным и вернуться, как только родит? Пришла осень, но она не вернулась...

Начальник Воды стал нелюдим, перестал брить голову и готовить себе пищу. Вокруг жили родные, близкие, братья и сестры по крови, но он чувствовал себя одиноким. С утра уезжал к большой реке, распределял воду, а домой возвращался поздно вечером. Уходя к реке, двери не запирали на замок, боялся, что она вернется в его отсутствие и не сможет войти. Придя домой, он находил на столе миску с обедом, принесенную детьми Качкынбая. Ночами, лежа в холодной постели, начал думать об Айымкан. Почему он согласился на развод и отпустил ее? Может, за это и наказал его бог? Слышал, что она все еще живет у родителей, сватались к ней. Но она не дала согласия...

Однажды, придя с реки, он застал у себя жен старших родственников. Они прибрали дом, выбросили накопившийся хлам, вытряхнули, просушили одеяла, кошмы и дорожки из козьих шкур, вымыли посуду, выстирали, заштопали одежду, сбили масло, сварили хороший ужин.

– А ну, сядь-ка с нами, Начальник воды! – приказала рябая Ырыджене. Это она для удобства общения прозвала его Начальником воды, так как женщина не должна произносить имена близких родственников мужа. – У тебя есть радость – ты звал родных на помощь! На голову твою упала беда – ты забыл о нас, – начала она. – Мы ждали. Не дождалась и с белым сердцем пришли сами... Не стыдно ли тебе убиваться из-за бабы? Предки твои были воинами, по-

рою теряли в бою весь свой род, а не падали духом. Ты мужчина, а мужчина может найти столько жен, сколько суставов на руке и ноге. Неужели эта бродяга так запала тебе в душу, что ты решил откататься от родных, от народа?

– Да я не о ней... ребенок, – начал было Таштан.

– Э! Знаем! Знаем! – перебила его Ырыс-джене. – У чинары могут обломаться ветви, но, если жив основной ствол, весной расцветут новые ветви. Еще не кончилась вода, которую суждено тебе выпить за свой век. Ты еще можешь зеленеть и цвести. Поручи нам. И мы найдем тебе достойную хозяйку.

Таштан долго молчал, а потом поднял голову.

– Война унесла родного брата. Он не оставил потомства. А мне, видимо, суждено доживать свой век бездетным. Род моего отца прервется. Но я рад, что есть у меня родные и близкие, которые подставят плечо, если я буду падать, станут мне костылями, если захромаю, похоронят меня на родной земле, когда закончатся мои дни. Спасибо вам. Спасибо народу. Я до последних сил своих буду поить вас и землю водой из большой реки, каждый год вы будете рожать детей, а земля даст новый урожай. И это будет моим утешением. И если хотите, чтобы мне было лучше, то приведите Айымкан назад. Мы прожили с ней двадцать лет. Видать, суждено нам вместе коротать и оставшиеся дни.

Женщины не возражали – Начальник Воды говорил «с белым сердцем».

Вскоре Таштан и его близкие родичи поехали к родителям Айымкан. Таштан поклялся, что отныне и до самого последнего дня своего будет с ней, если даже начнется всемирный потоп.

Вернувшись домой, они зажили прежней жизнью. О неудачной попытке Таштана заиметь сына старались не вспоминать, словно ничего такого и не было, а просто однажды, когда он затосковал, приснился ему такой сон.

Начальник Воды каждое утро шел к большой реке распределять воду, возвращался вечером, довольный и усталый, громко рассказывал, как поссорился из-за воды с бригадиром или отстегал камчой браконьеров. В ненастную погоду он просил разжечь в очаге огонь, растереть суставы скипидаром и память поясицу.

– Старый ты уже! Сменил бы работу. Ревматизм – дело нештуйное. А ты с утра до вечера по колено в холодной воде, – советовала Айымкан.

– Не могу! – отвечал Начальник Воды. – Не я, так другой будет ходить по воде. Ревматизм – родная сестра мираба. А вода любит хорошего хозяина! – и, кряхтя, грел ноги.

* * *

Прошли годы. Начальник воды совсем старый стал и сидел теперь дома. Работал бы еще, да суставы начало крутить, ездил несколько раз на курорт, но лучше не стало. Что ни говори, восьмой десяток пошел. Особенно тяжело становилось осенью, когда шли дожди. В такие дни старый Таштан почти не вставал с постели, а старая Айымкан сидела подле него и вязала шерстяные чулки.

– Айым! – позвал он однажды.

– Что тебе, старик?

– Какое сегодня число?

– Первое января.

– Ты положила монету?

– Положила.

– Принеси-ка сюда, – попросил он.

Старуха принесла кожаный мешочек.

– Пересчитай!

– Двадцать пять штук, – сообщила она, пересчитав серебряные рубли.

– Значит, ему двадцать пять в этом году... Не забудь отдать ему эти деньги, когда он придет. Я видел хороший сон. Он обязательно вернется...

1970 г.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ, ИЛИ КРАСНЫЕ УШИ

В нашем аиле никогда не было пожаров. Так, во всяком случае, утверждают старики, а они, как известно, помнят все. И дело не только в том, что здесь никогда не играли с огнем, а в том, что гореть-то было нечему. Люди жили в серых глиняных домиках. А земля, как известно, не поддается обыкновенному огню.

Глиняные домики осели и развалились под тяжестью времени и недостатка. Вместо них выросли великолепные дома из жженого кир-

пича, крытые шифером, с деревянными верандами, забором и большими воротами. Огонь стал страшнее потопа. И тогда айльчане на всякий пожарный случай купили артиллерийский бинокль, на окраине села выставили деревянную вышку, а дядю Качкынбая избрали пожарником.

Рано утром, когда все вокруг наполнялось ревом скота, лаем собак, бляением коз и овец, а дядя Уркунчи, глухо покрикивая: «Еш! Еш!», семенил за стадом на своем одноухом осле, дядя Качкынбай ехал ему навстречу и, как танк, разрезал толпу животных, приветствовал пастуха, восседая на седой кляче.

Добравшись до своего рабочего места, он отпускал своего скакуна на волю, взвалив на плечо курджун с бурдюком кумыса и сигаретами «Памир», залезал на вышку, устраивался поудобней, тянул соломинкой кислый напиток, курил, смотрел на синие горы, на дымчатые поля лекарственного мака, где давно уже виднелись разноцветные фигуры женщин и темные силуэты мужчин и, наверное, ни о чем не думал. Я завидовал пожарнику. Он сидел высоко над землей, видел, что творится за синими горами, мы подкрадывались к вышке, брались вдвоем втроем за один из столбов и начинали раскачивать, а на наши головы градом сыпалась отборная ругань на ломаном русском языке. Исчерпав свой запас крепких выражений, он переходил на кыргызский с упоминанием наших родителей. И тогда мы уползали в кусты.

Возвращался дядя Качкынбай с заходом солнца.

– Спишь на солнце, а трудодни идут? – спрашивал мой отец. Он страдал ревматизмом и всегда сидел у ворот.

– Идут, – соглашался пожарник.

– Ох и дармоед же ты, мне бы такую работу, – завидовал отец. – Всю жизнь на хороших должностях, везет тебе.

– Подожди, вот загорится твой дом, тогда увидишь, – отзывался дядя Качкынбай.

– Не загорится.

– Ничего-о, когда-нибудь загорится, – обещал пожарник.

И загорелся!...

Мы с младшим братом решили поймать удода и снять с него головы веер. Удод важно расхаживал по нашему двору, распутив свой пестрый хохолок. Когда он влетел под крышу соседнего дома и раздался писк, мы притащили лестницу. Едва я успел просунуть

руку в гнездо, откуда пахнуло дохлятиной, как увидел, что из окна дома валит черный дым. На дверях висел замок.

Я побежал к пожарной вышке. Я представлял, как будут завидовать мне мальчишки, я первым увидел пожар, а дядя Качкынбай, наверное, разрешит подняться к нему и посмотреть в бинокль, и я увижу, что творится за синими горами.

– Дядя Качкынбай! Горит! – закричал я. Пожарник дремал.

– Что там еще горит? – Он приподнялся на локтях.

– Дом горит!

– А где отец?

– Спит. Вчера же свадьба была у соседей.

– А мать где?

– В поле!

– А сосед где?

– Спит. Вчера же свадьба была у них.

– Значит, спят? – спросил он.

– Спят, – подтвердил я.

Дядя Качкынбай снял шапку, почесал лысую макушку, но, видимо, ничего не заметил – он чуть ли не с рождения был близоруким, но сам не знал об этом, так как кроме жирных черных заголовков газет ничего не читал и, считая себя крупным человеком, на мелочи не обращал внимания.

– Значит, горит, говоришь?

– Горит.

– Может, скоро и другие дома загорятся?

– Загорятся.

– И все сгорит?

– Сгорит...

Он подтянул широкие штаны, спустился с вышки, подошел ко мне, поднял руку. Я инстинктивно почувствовал, что сейчас он большой теплой рукой погладит меня по голове, и потянулся к его биноклю. А он своей теплой большой рукой схватил меня за ухо и повернул его на сто восемьдесят градусов.

– Но другие-то дома не горят! – заорал он мне в лицо.

Я завизжал от боли и присел.

– Будешь еще панику наводить? Будешь еще обобщать?

– Не бу-ду-у! – завопил я, так как ухо мое уже было повернуто на все триста шестьдесят. Он разжал пальцы, вытер свою потную руку об штанину.

– Ишь ты какой нашелся. Все горит, все спят, один он не дремлет. Это что, в школе тебя так учили?! – Он дал мне подзатыльник и полез на вышку.

Я, всхлипывая, пошел прочь, унося с собой горечь и красные уши.

Пожарник отыскал в соломе кусок сломанного плуга, продел в отверстие веревочку, повесил на перекладину и начал бить тревогу, хотя люди в поле давно заметили зловещий дым и бежали к аилу. Пожар потушили. Жертв не было. Дом сгорел.

Я давно знаю, что творится за синими горами. Но, убейте меня, до сих пор не знаю, за что пострадали мои уши...

1971 г.

УЛЫБКА

В маленьком, занесенном снегом аиле, укрывшемся в одной из расщелин Тянь-Шаня, в сером глиняном домике под серой глиняной крышей умирала старая женщина. Умирала она давно. Так давно, что и сама не помнила, когда начала умирать. Может, с того дня, как родила первого ребенка, может, с той ночи, когда стала женщиной, а может, еще раньше... Иногда ей казалось, что она давно уже умерла и лежит в большом светлом мазаре¹; из окон струится свет, на стенах играют солнечные блики, а за окнами шепчутся тополя.

В ее сознании путались прошлое и настоящее, осень и весна, день и ночь. Она лежала с закрытыми глазами и открывала их только тогда, когда далекий голос звал выпить чай.

Старуха приподнимала голову и высохшими, как саксаул, руками брала пиалу с горячим чаем (ладони не ощущали ни жары, ни холода), пила, не мигая, смотрела перед собой и почти не видела девочку, которая бросала ей в пиалу кусочки хлебного мякиша. Больная пила чай и не замечала, что там хлеб, потом она протягивала вперед жилистую руку. Девочка подставляла голову, старуха шершавой ладонью гладила ее волосы.

– Сама-то пила? – спрашивала старуха.

¹ Мазар – мавзолей, гробница.

- Пила, – отвечала девочка.
- Отец приходил? – спрашивала старуха.
- Приходил...
- Что принес?
- Мясо и сладкие пряники.
- И опять в горы ушел?
- Ушел. Сказал, отару спустит вниз, комиссия будет пересчи-

тывать.

- А чего пересчитывать? Волков не было, джута² не было... Можно было не отвечать – бабушка говорила сама с собой.
- А мать твоя?

На этот вопрос надо было отвечать, но девочка молчала.

- А мать что, спрашиваю?
- В городе...
- В городе... А ты написала, что она стерва?
- Нет...

– Напиши! Даже волчица не бросает своих красноглазых волчат... А мать твоя – стерва. Красивой жизни захотела. Знала бы, что в утробе моей росла змея, сама бы брюхо вспорола...

Теперь опять можно было не отвечать. Девочка убирала пиалу, чайник, хлеб и прятала в шкаф.

– В город захотела. Посмотрим, как она проживет в своем городе. Там даже за воду деньги надо платить... Э-эх, несчастная! А когда я умру, с кем останешься? – вдруг спрашивала старуха.

- С отцом...
- С отцом... Будешь по горам, пасти овец?
- Буду...

– Будешь? Ноги будут в цыпках и кривые, как клещи, замуж не возьмут, – предупреждала старуха.

- А я не пойду замуж.

– Пой-де-ешь! Все живут парами. Детей рожают... Да и отец твой пока терпит, потому что переживает. Привыкнет – возьмет себе другую жену. Она будет бить тебя. И никто не заступится. Меня-то не будет. Э-эх, бедняга! В какой черный день ты родилась...

Девочка вышла из дому, принесла охапку дров, кизяк и бросила в печку.

² Джут – бескормица и падеж скота.

- Дом хочешь спалить? – повернулась бабушка на звук.
- Буран будет...
- Откуда знаешь?
- По телевизору сказали...
- Кто сказал?
- Красивая тетя сказала...
- Красивая тетя! Все красивые тети обманщицы. Чужих мужиков любят. Ты тоже, пока маленькая – хорошая, вырастешь – будешь обманывать...
- Не буду...
- Бу-удешь. Все девочки хороши, откуда берутся плохие женщины?

Сегодня бабушка говорила больше обычного, значит, чувствовала себя лучше.

Девочка подошла к старухе, укутала ее теплым платком.

- Ты что кутаешь меня? Не пойду я на улицу! – обиделась бабушка, как будто была способна ходить по улице.
- Двери открою, а то печка не тянет, дым...
- Простужусь – может, умру раньше...

Однако когда девочка распахнула дверь, старуха головой укрывшись одеялом и затихла. С улицы ворвался студёный ветер, закружил по комнате, заставив дрожать тряпье, вытеснил острый запах кизячного дыма. Старуха чуть приоткрыла одеяло и высунула голову так, чтобы можно было дышать. Свежий морозный воздух пощекотал ноздри, пробрался в грудь, отчего у нее приятно закружилась голова и навернулись слезы. Старуха погрузилась в полудрему...

А девочка опять вспомнила о ящике, спрятанном в сарае. Неделю назад, когда она точно так же распахнула дверь, чтобы проветрить комнату, и бабушка уснула, к дому подъехал всадник. Это был почтальон Батырбек...

- Эй, большая девочка! – позвал он (так обращаются к девочкам-подросткам). – Что же посылку не забираешь? От матери, наверно, – сообщил он.
- Бабушка не разрешает! – ответила девочка.
- Нельзя быть такой жестокой! Все же мать она тебе родная, не посылать же назад. – Батырбек вручил ящик и отъехал.

Девочка отнесла ящик в сарай. Посылка действительно была от матери. Но бабушка приказал ничего от нее не принимать.

И вот этот ящик уже целую неделю лежал спрятанным в сарае...

Девочка закрыла дверь, взяла большой нож и начала строгать лучину для растопки, а сама все думала о посылке. Что там? Конечно, что-нибудь сладкое и, может быть, красивое платье или кожаные ботинки, такие же красивые, как у Закен: подошва гладкая, коричневая, а у самого каблука выдавлена цифра 30. А может, там что-нибудь такое, о чем она не подозревает... Но сколько надо ждать, пока умрет бабушка? А когда она умрет, набегут со всех сторон родственники, начнут плакать, голосить и хозяйничать в доме, резать баранов, развешивать в сарае красное мясо и обязательно обнаружат посылку.

Может, мама тоже придет, хотя бабушка запретила ей приезжать на похороны. Мать тогда прижалась лицом к ногам бабушки и твердила одно: «Прости меня... прости меня... прости меня...» Бабушка подняла свою сухую руку и сказала: «Жогол» – «Уходи». А мать, словно этого и ждала, схватила маленького сына, прижала к груди и выбежала, забыв большой платок, в котором были завернуты ее вещи и одежда мальчика. Девочка схватила узел, выбежала вслед за матерью, но мать уже села в машину с черными клеточками по бокам и хлопнула дверцей. Девочка бросилась за ней, но машина обогнула дом и исчезла. Девочка в отчаянии забегала вокруг дома. Не могла же мама, родная мать, бросить ее и уехать! А потом увидела завесу пыли далеко от аила. Машина, блестя лакированной спиной, увозила маму. Девочка упала и зарыдала, обняв землю. Аильчане, высыпавшие смотреть, как Сонун уезжает в город, окружили девочку и молчали: пусть наплачется – легче станет. А потом подняли на руки, понесли в дом и наперебой бранили мать, которая ради красивой жизни бросила родное дитя...

Отец вернулся поздно ночью, когда аил спал. Он молча гладил большой неуклюжей ладонью голову девочки и долго смотрел на огонь... Бабушка лежала на кровати и кашляла. Казалось, что кашляет она потому, что ей стыдно перед зятем. «Что могла сделать? Я же очень старая и очень больная», – говорил ее кашель. А девочке почему-то было хорошо в этот вечер – отец никогда раньше не ласкал ее, редко с ней разговаривал, а сейчас она чувствовала, что у него нет ничего ближе и дороже ее. Приятно было ощущать, что вся нежность сильного человека обращена к ней одной.

...Девочка разожгла печку. Почти в тот же миг зашумел чайник, который начал было остывать. И тут ей пришла в голову хитрая мысль. А что, если открыть ящик, посмотреть и снова закрыть?! Бабушка спала и шевелила губами, наверное, и во сне ругала свою непутевую дочь. Девочка тихонечко вышла в сарай, вытащила ящик и осторожно открыла его. Сверху в конверте лежало письмо, адресованное ей. Девочка некоторое время раздумывала и все же вскрыла конверт: «Доченька! Из глаз моих каплет кровь, когда я думаю о тебе. Может, тебе внушают, что я бросила тебя ради городской жизни, а может, говорят, что я бросила твоего отца, потому что он не окончил институт? Это не так, моя малышка. Я хотела забрать и тебя вместе с маленьким Таалайбеком, но пожалела твоего отца. Он бы умер от тоски и одиночества. Он очень хороший человек и не заслуживает того, чтобы отнимать у него все. Таалайбеку нужна материнская грудь, а ты уже большая и сможешь жить с отцом и бабушкой. Да и бабушку я не смогла оставить одну. А отец твой для нее теперь чужой человек... Сейчас ты еще маленькая, а когда станешь большой, поймешь, что жизнь человека – это не весь отрезок времени между рождением и смертью! Это, может быть, всего один час, минута, когда ты вдруг почувствуешь себя птицей, захочешь бросить все и улететь, очертя голову, на край света. Бабушка твоя – моя родная мать – никогда не могла понять этого и не поймет. Она всю жизнь работала в поте лица. Жизнь для нее была борьбой за кусок хлеба. Она никогда не могла забыть о своих заботах, не могла от души посмеяться со своими друзьями, с мужем, не могла забыть о том, что после этого придется тащить на спине мешок с кизяком, топить печь, кормить детей, ругаться с подвыпившим мужем. Всю жизнь она сэкономила каждую горсть зерна, каждый рубль и всю жизнь бедствовала. Мечтала иметь дюжину белых простыней и никогда не имела больше трех. Пока она покупала четвертую, первая изнашивалась. А купить сразу двенадцать не решалась – боялась, что завтра не останется денег на хлеб...»

Письмо было очень длинное – на нескольких тетрадных страницах. Мать сообщала о том, что живет пока у чужих людей, так как еще не получила квартиру, что работает она на фабрике, где делают конфеты. Девочка прочла все, хотя не все поняла. Мать умела писать. У нее была толстая тетрадь в блестящей гладкой обложке, где она чернилами рисовала цветы и сочиняла песни. Девочка не

однажды открывала эту тетрадь. И хотя каждое слово там ей было понятно, все они, вместе взятые, хранили какую-то тайну. Так было и с письмом. Как будто все понятно, и в то же время не все. Ясно было одно: поступок матери – не каприз и не глупость. В нем таился какой-то очень сложный смысл. Хотя бы потому, что мать не оправдывалась перед дочерью, она стремилась объяснить нечто такое, чего, очевидно, не понимали ни бабушка, ни отец, ни айльчане. Хотя, может быть, отец все понимал, да не мог ничего поделать.

Ясно было и то, что мать поступила так, как поступают очень редко и только по особым причинам.

Мать писала, словно была очень довольна своей жизнью, но девочка почувствовала, что не так-то уж ей сладко, хотя она и работает на конфетной фабрике.

Девочка аккуратно сложила письмо, спрятала за пазухой. В ящике были конфеты, теплые чулки и трикотажное платье. Отдельным свертком лежали белые полотняные простыни. Мать писала: «Купила тебе красную шапочку, но ее пошлю после, увидит бабушка – бросит в печку, а рубашку и чулки носи так, чтобы она не заметила. Будут деньги – куплю тебе шубку беленькую с черными крапинками. Говорят, это такой материал, который можно стирать. Четыре простыни – для бабушки, скажи, что нашла в старом сундуке...» Мать не знала, что бабушка почти перестала видеть.

Девочка вспомнила, что бабушкины простыни пожелтели от времени и стирки, и решила их заменить, пока та спит. Она вернулась в дом, на цыпочках подошла к старухе, осторожно сняла с нее ватное одеяло и старую простыню. Бабушка что-то пробормотала, свернулась в калачик и стала похожей на маленькую замерзшую собачонку. Почувяв запах свежей простыни, она открыла глаза, начала шупать ее пальцами.

– Эй! – позвала бабушка.

Девочка не ответила.

– Эй! Я знаю, что ты здесь! Где взяла простыню?

– В старом сундуке, – ответила девочка.

– В старом сундуке. Я же для себя берегла.

– Вот и постелила вам...

– Убери! В могилу мою постелишь! – отрезала бабушка.

У девочки расширились глаза. Бабушка была похожа на старую ворону: лицо заострилось, жидкие седые волосы были распущены.

– Чего стоишь, как полено? Положи в сундук. Зачем разрежала белую материю?

– Ничего я не резала...

Чем больше бабушка раздражалась, тем больше становилась похожа на старую ворону.

– Десять метров было... Пятнадцать лет хранила... Хоть на том свете посплю в чистом белье...

Девочка вспомнила, что в старом сундуке хранился рулон белой материи. Мать говорила, что это бабушкино приданое. Только теперь она поняла ее назначение: это приданое не к свадьбе, а к похоронам. Девочка открыла сундук и принесла рулон, тщательно завернутый в марлю и перевязанный. Старуха пощупала рулон, удостоверилась, что «приданое» в сохранности, и успокоилась.

– Так бы и сказала. А то: не резала. Туповатая, видать, будешь женщина. – Старухе было неловко, что зря ругалась, но признаться в этом она не хотела. – Опять стоишь, как полено. Отнеси на место! Насмотришься, когда помру, будут заворачивать меня...

Казалось, старуха была обижена на всех за то, что много прожила, состарилась и теперь должна умереть.

Девочка положила сверток в сундук. Теперь можно было не слушать бабушку, заниматься своими делами и обсасывать конфету, которую все еще держала за щекой. Она достала из сумки тетрадь в клеточку, учебник по арифметике и начала решать примеры на умножение.

– А что он еще сказала? – вдруг спросила старуха.

Девочка вздрогнула – неужели узнала о письме? Бабушка сидела, свесив ноги с кровати, и теперь была похожа на старую колдунью, которая угадывает мысли, предрекает судьбу. Она смотрела в ее сторону, поджав бескровные губы, и ждала ответа.

– Сказала, будет буран, и все?

У девочки отлегло от сердца – бабушка спрашивала о дикторше с телевидения.

– Она сказала: «Будет снег и будет холодно...»

– Бога нет! – брезгливо сказала старуха, словно кого-то подозревала. – А сами погоду предсказывают.

– А погоду не у бога узнают.

– Не у бога?... А кто им говорит? Твой покойный дед погоду угадывал по звездам... Пока не пил. А как запил, ничего не мог угадать.

Теперь бабушка была похожа на обыкновенную старуху. Когда она начинала говорить о своем покойном муже, становилась обыкновенной старухой.

– Никакого бурана не будет! Врет она! Все врет...

Разговор снова перешел в ворчанье. Бабушка опять стала похожа на старую ворону, и девочка вновь принялась за уроки.

– Красивая. Прическа красивая! (Это о дикторше.) А красивые бабы – дуры все... Вон мать твоя... У, чтоб ей!... Тоже красивая была. А теперь, небось, высохла в щепку в городе-то. Там даже за огонь надо деньги платить, – ворчала старая ворона.

Девочка решала примеры на умножение. В трубе гудел ветер. Погода готовилась к чему-то важному и набирала силу. Старуха слушала вой ветра и видела силуэт девочки.

«...Сидит себе и пишет. Точь-в-точь как мать. Та тоже любила сидеть за этим столом, поджав под себя ноги. Сидит себе и не знает, что завтра будет оплакивать меня. А попробуй сейчас сказать ей что-нибудь. Будет слушать и ухмыляться: поговори, мол, старая, поговори. А я знаю, что все это не так. Это книжки выворачивают им мозги...»

...Буран приближался. А зятя все не было. Не застанет ли его пурга в пути? Ему бы она рассказала все. Он бы понял. Сегодня ночью старуха видела сон. Снилось ей, будто лежат они с мужем в широкой степи на огромном стоге сена. Молодые, красивые. Он положил руку свою на ее грудь, обнимает упругое тело, пахнущее свежескошенным лугом. Ее черные длинные волосы разбросаны по плечам. И ей нисколько не стыдно своей наготы, не ежится она под его взглядом. А над головой небо. Оно синее-синее, высокое-высокое.... Вот на горизонте показались две беленькие звездочки. Это бегут два сына – близнецы Асан и Усен (они погибли под Сталинградом). Они совсем маленькие. Они бегут, держа за уголки белую простыню, накрывают родителей и убегают. Сверкают детские ягодицы и пятки, зеленые от свежей травы. А они с мужем, обнявшись, летят в синее-синее небо мимо облаков. А там, внизу, на земле, поют женщины, поют громко и слаженно... Старуха проснулась, долго лежала, смотрела на потолок, хотя ничего не видела. Она поняла, что часы ее сочтены. Пыталась вспомнить взрослые лица Асана и Усена и не смогла вспомнить. Забыла. За свой долгий век она видела столько смертей, порою самых неожиданных, что давно привык-

ла к мысли о смерти, как к чему-то обязательному и неизбежному, что может прийти в любое время и, подобно нищему, постучать в любую дверь. Смерть казалась ей вечной тишиной, умиротворением, избавлением от земной суеты. Солнечные блики не будут раздражать глаза. Человеческий плач не будет отягощать душу и тянуть в омут.

Старуха слышала, как ветер треплет калитку, как гуляет по крыше, поднимая снежную пыль. Буран начинался. А зятя все не было. Неужели она так и унесет с собой все свои думы, и никто никогда не узнает о них? А сказать ей было что. Сколько накопело на душе за три четверти века. Она хотела сказать, что бог, который создал человека – большой дурак: бездушная земля и камни вечны, а человек начинает умирать с самого начала своей жизни – каждое движение его тела, мысли, души направлены на то, чтобы не умереть, но он умирает; жизнь человека бесконечно длинна и безотраднa. А разве нет? Была девочка, мечтала встретить хорошего человека, выйти замуж, встретила, вышла, вскоре услышала, что он ходит к толстой тете, которая никогда не знала, что такое белые простыни... Мечтала родить сына, родила двух, вырастила – обоих унесла война... Мечтала иметь дочь, родилась красивая девочка, выросла, вышла замуж, на неделю съездила к тетке во Фрунзе, вернулась, забрала маленького сына, оставила мужа, дочь, больную мать, уехала в город – разбила семью. То ли спятила баба, то ли напилась какого-то зелья... А что было еще? Был муж. Он умер (старики часто умирают раньше). Утром уехал на сенокос. Вечером привезли труп. Говорят, выпил, и кровь ударила в голову. Господи! Что находят люди в этом диком напитке?! Неужели эта горькая жидкость приятнее детской ласки, теплее женского тела? А почему люди тянутся к ней? Сама она никогда не пробовала хмельного. Суеверие? Страх? Нет. Женщина пить не должна и все. В годы войны, когда муж ушел в трудовую армию, солдатки и вдовы готовили бузу, звали ее в компанию, пили, ели, а потом плакали. Иные, чего греха таить, встречались с чужими мужчинами – утоляли свою бабью тоску. Но она, хоть и бывала в этих компаниях, держалась строго – женщина должна знать только мужа. Мужа она боялась и уважала. Когда пришло известие о гибели сыновей, муж рыдал в голос, как девчонка. Стал нелюдим. Однажды налил водки, протянул жене: «Выпей, легче станет». Женщина поднесла пиалу к губам – может, действительно легче станет?

В нос ударил острый неприятный запах. Она поставила водку на стол. Это был первый случай, когда она не подчинилась его воле. Он выпил всю водку сам и помотал головой.

– Горькая? – спросила она.

– Горькая, – ответил он.

– А кто заставляет пить? – спросила она.

– Гитлер, – ответил он, встал и ушел.

После этого она не задавала подобных вопросов. И теперь, на смертном одре, старуха почему-то вспомнила об этом разговоре. Почему он так сказал тогда? Неужели это горькая жидкость может заглушить горе? После войны пустили слух, что пиво не алкоголь, значит, его употребление грехом не считается. Пили все, а она не пробовала.

При этих воспоминаниях больная почувствовала, как пересохло в горле – мучила жажда. Жажда мучила ее давно, несколько лет.

Как-то муж послал ее за пивом. Она купила полный бидон, и, когда несла его через поле, оно плескалось и выливалось через край. А он отбросил в сторону кетмень, широко расставил ноги и жадно пил. Пиво текло у него по усам и попадало на сухую землю. Она, щурясь от солнца, смотрела на него и видела, как ходит его кадык... Больная проглотила слюну, ей показалось, что сейчас глоточек такой жидкости мог бы утолить жажду раз и навсегда...

После смерти мужа она не однажды хотела испробовать пиво, да так и не решалась – стеснялась дочери, зятя, соседей.... А сейчас все это было безразлично. Все равно в мире нет ничего святого. Даже самого бога костерят, и никто за это не наказан. Все равно твое тело, мысли, совесть, стыд, страх, любовь – все твое существо превратится в прах... Дышать становилось труднее. Во рту, в горле, в груди становилось горячо. Очень хотелось пить. Попросить чаю? Нет. Это не то. Глоточек, один бы глоточек пива, и все – кончилась бы жажда!...

Старуха подняла сухую, как саксаул, руку (так она просила пить). Девочка встала, налила чаю. Бабушка помахала рукой. Девочка отставила пиалу, выдвинула из-под кровати тазик. Старуха покачала головой.

– Ну что? – спросила девочка.

– Пива...

У девочки расширились глаза. – Бабушка бредила.

– Деньги там... в кошельке, – сказала старуха.

Нет. Бабушка не бредила. Она была похожа на обыкновенную больную старую женщину.

– Зачем вам пиво?

– Пить.

– Пить?

– Иди принеси.

Девочке пришлось набросить шубу и идти к продавщице. Когда вернулась с двумя бутылками пива, бабушка лежала с закрытыми глазами.

– Есть? – спросила она, не открывая глаза.

– Есть.

– А продавщица что?

– Я сказала – для отца...

– Умница. Подогрей...

Девочка поставила холодные бутылки к печке, села за круглый столик и принялась за уроки. Бутылки же вспотели, по их стенкам, как слезы, покатались струйки, рисуя на полу мокрые круги. А девочка, видимо, забыла о них. Она решала примеры: шестью восемь – сорок восемь плюс семнадцать...

– Подогрела? – спросила старуха. Она сидела на кровати и опять была похожа на старую ворону.

– А?

– Если бутылки сухие, значит согрелись...

Девочка осмотрела бутылки – слезы высохли.

– Ну, что ты возишься?

– Открыть не могу.

– Дед твой зубами открывал...

Девочка попробовала – не вышло. Она долго возилась с железной пробкой, наконец открыла ножом, налила в пиалу. Старуха вытянула губы, словно пила горячий чай, осторожно сделала маленький глоток – пиво показалось невкусным, подержала в руках, а потом закрыла глаза и выпила до дна. Вернула пустую пиалу и откинулась на подушку. Она смотрела так, словно только теперь совершила то, к чему готовилась всю жизнь, чтобы отомстить за все свои муки.

– Налей еще.

Девочка налила полпиалы и поставила перед ней.

– Чего смотришь, иди спи!

Девочка собрала тетради, юркнула в постель и тут же уснула...

Старуха ощущала такое облегчение, как будто никогда не болела, а просто прилегла отдохнуть после тяжелой работы, будто она вовсе не старуха, а такая же молодая и красивая, как полвека назад...

Во рту все еще держался горьковатый привкус. А по всему телу расплзлась сонная теплота.

Качалась и скрипела калитка. Выл ветер. Там была ночь и пурга...

Старуха отпила еще два глотка. Она уже не чувствовала прежнего тепла, но ее руки и ноги словно налились молодой силой. Казалось, что сейчас она может уйти в степь и бродить там до восхода утренней звезды – Чолпон; пойти туда, где шумит река, где цветут пахучие желтые цветы, где ходили они с будущим ее мужем, обнявшись, и лошадь покорно шла за ними; там целовались они, и лошадь трогала их плечи теплыми замшевыми губами, трогала ее руки, в которых были цветы. Потом они шли дальше, вдоль берега, и лошадь брела за ними, блестя выпуклыми глазами, шумно щипала прибрежную сочную траву... Возвращались к утру, и никто не знал об этих ночах. А ночи были сказочные. Почему она не вспоминала об этих ночах прежде? Может, жизнь, которой она жила каждый день, была настолько не похожа на ту сказку, что не хотелось сравнивать, иначе захочется броситься со скалы. А он? Разве он был плохим мужем или плохим отцом? Пил? Не он первый, не он последний. Пил с горя. Значит, не пить не мог. Обижал? Ну и что? Будешь есть один мед – затошнит. А там, у реки, сейчас хорошо. Шумят сосны. Цветут пахучие желтые цветы. Они кланяются человеку в ноги. А большая раздвоенная сосна, на которой можно сидеть долго-долго, смотреть на бурлящий под тобой поток и ни о чем не думать... Остались ли на ней зарубки, которые он тогда сделал перочинным ножом? На второй день там заблестела янтарная смола. Он сказал, что сосна плачет от боли. Прилепили к ране сосны подорожник и перевязали. Раны? Они заживают...

Старуха осторожно встала с постели. Ноги дрожали от слабости и непривычки – два года не поднималась. Она нащупала свою одежду, повязалась платком, оделась, осторожно открыла дверь и шагнула в темноту...

На краю села у конторы качался фонарь. Пурга заметала дорогу. Дома стояли укутанные в белые, снежные простыни. Где-то скулила озябшая собака.

...Старуха шла по цветущему клеверу. Жужжали медовые пчелы. Дочка любила высасывать сладкий нектар из розовых пестиков трехлистного клевера, росшего по обочинам дороги, по которой должен был возвратиться он. Они ждали и искали стебелек с четырьмя лепестками – загадывали, скоро ли он придет. Завидев далекий силуэт отца, дочка бежала навстречу и кричала: «Это я нашла счастливый клевер. Я!» Он брал дочку на седло. По скуластому, чуть тронутому оспой лицу скользила смущенная улыбка, и он слегка трогал жену камчой: «Ну как?» – «Ничего...» – отвечала она, брала поводок, вела коня к дому, отвязывала курджун. Там уже обязательно было что-нибудь для нее: яркое платье или красивая косынка, словом, что-нибудь очень яркое. Так он выражал свою любовь. Он целовал дочку, а она ощущала его поцелуй на своей щеке. Дочка! Как она там, бедняжка? В городе-то за все деньги платить надо. А она плохая хозяйка. Может отдать последнее, а сама будет сидеть голодная. Сладко ли ей живется? Небось приходят к ней подвыпившие мужики, пристают. Своего-то нету.

...Пчелы жужжали. Пахло цветущим клевером. Там, на краю села, сияло и раскачивалось солнце. Клевер был такой густой и высокий, что с трудом давался каждый шаг. Бросила?! Может, в книгах написано, чтобы так поступали. Зять? Он еще молод. Он еще найдет свое счастье... Солнце било в глаза. Она шла к тому месту, где горная река, словно набухшие вены на человеческой руке, разветвлялась по широкой долине и поила жаждущую землю. Там стояла большая раздвоенная сосна, на стволе которой были две зарубки, сделанные полвека назад влюбленным юношей. Старуха прошла мимо солнца. Солнце, раскачиваясь, осталось за спиной. Руки, лицо, шея горели, ломило в пояснице, словно весь день она пробыла на сенокосе непокрытой головой. Женщина решила отдохнуть и опустилась на землю. Пчелы жужжали. Клонило ко сну. Она легла на спину и раскинула руки. По небу плыли облака. Небо было синее-синее, облака – белые. Облака спускались все ниже и ниже, делились на мелкие кусочки, превращались в белые листочки и летели на землю. Точь-в-

точь как много лет назад в День Победы, когда над аилом пронесся самолет и осыпал землю листовками. Детишки бегали по степи ловили их. Листовки покрыли землю белым. Женщина слышала топот сапог. Два сына – Асан и Усен – в солдатской форме шли в ногу. Они держали за уголки большую листовку, которая превратилась в белую простыню. Сыновья накрыли ее и пошли дальше. «Спасибо, дети мои!» становилось тепло и так приятно, словно чьи-то очень большие сильные руки качали и убаюкивали ее. О, жизнь! Слезы катились по ее щекам и задерживались на мочке уха, превращались в жемчужины. Она закрыла глаза. Диск солнца, раскачиваясь, улетел в небо. На лице ее навсегда застыла улыбка...

1968 г.

СКАЗАНИЕ О МАТЕРИНСКОМ СЕРДЦЕ

Этого сухощавого старика с умными сверлящими глазами мало кто любил в нашей деревне, он, как и многие престарелые люди, был ворчлив и капризен, очень редко говорил с людьми, но если заговаривал, то с таким едким сарказмом, что односельчане старались меньше попадаться ему на острый и беспощадный язык.

А мы с ним были большими друзьями: стоило мне дать ему почувствовать, что я преклоняюсь перед его мудростью и белой бородой, как он становился добрым-добрым и начинал читать мне назидания, а это мания всех кыргызских стариков.

Мы сидим с ним в юрте одни, уже перевалило за полночь, в открытый тундук нашего войлочного жилья, прищулив свои глазки с серебряными ресницами, подмигивают далекие звезды.

Шипит горная река, наполняя все вокруг сдавленным шепотом. Звук падающей воды отражается от всех близлежащих скал и невозможно определить, где именно ворочает огромные куски гранита и бесится дерзкий, горячий, как юноша, горный поток.

Старик довольно долго мучил меня разговорами о значении матери, о том, что никакой сын не в силах отплатить матери за те труды, которые она посвящает своему чаду.

Сатыбек говорит всегда медленно, монотонно. Человек, не знающий языка, мог бы подумать, что он читает Коран.

Его тусклый, гортанный тенор звучит в унисон с шумом горного потока. Старец часто говорит пословицами, афоризмами, стихами. Вот и сейчас он как-то незаметно перешел на стихи...

«Послушай, сын, твой дед сейчас
О сердце материнском поведет рассказ.
События, как небо, далеки,
И помнят их одни седые старики.

Давно, давно один могучий хан.
Быть может Искандер, а может Тамерлан,
Джигита бросил юного в зиндан.

За то, что воин смелый полюбил
Звезду, что лучезарней всех была светил.
(Их ночью евнух толстый подследил.)

Рассвет встречал влюбленный под окном,
Где хана дочь давным-давно забыв о нем,
Спала предутренним девичьим сном.

Потом в зиндане мрачном смерти ждал
И глаз три дня, три ночи сокол не смыкал,
К зиндану подошел сам аксакал...

– Кого б хотел пред смертью повидать?
Проси, плебей, – спросил он, – брата или мать?
(Таков всегда был ханский шариат.)

– Одно, одно терзает мою грудь:
Хотел бы я, мой хан, идя на смертный путь,
На вашу дочь последний раз взглянуть.

– А чем за взгляд ты можешь заплатить?
– Я все отдам, – вскричал в отчаянии джигит.
И хан решил над жертвой подшутить:

– А сможешь сердце матери родной
Ты вырезать живьем и бросить предо мной?
– Могу... – сказал тот с гордой головой.

Быстрее архара к дому побежал...
Мать к сыну бросилась, а сын кинжал
Вонзил ей в грудь и сердце взял.

Прощальный бросив взгляд на теплый труп,
Стрелой помчался к хану, но споткнулся вдруг,
Упал, и сердце выпало из рук...

Потер колени, отряхнулся, встал...
« – Ах, бедный мой сынок, не больно ли упал?» -
Вдруг голос сердца слабо прозвучал.

Сын прошептал: «Прости меня, аллах»...
Блеснули слезы на его щеках,
Но сердце матери кровило на руках...

Дочь хана упросила помиловать юного воина, но узнав, что ради нее он убил родную мать, велела немедленно казнить... – как бы нехотя сказал, Сатыбек .

Старик замолк. В юрте воцарилась гробовая тишина...

Алые языки костра давно утонули в землю. Изредка вспыхивал огненный зрачок угольев, превращающихся в тлен. Старик сидел неподвижно, подобно каменному изваянию степных мастеров...

О чем он думал?.. Может вспомнил далекие, далекие, но всегда близкие черты своей матери, может в его тускнеющей памяти воскрес какой-нибудь детский проступок, случившийся почти век тому назад...

1957 г.

ЗА СЕКУНДУ ДО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

(Биографический рассказ)

Окна дрожат от марша оркестра. При каждом ударе медных тарелок в унисон звенит стекло полуоткрытой форточки. Наш дом расположен в ста метрах от Правительственной площади, в двухстах метрах от КГБ и его подвалов с высокими железобетонными заборами.

Город залит весенним солнцем. На площади идет первомайский парад. На трибуне местные вожди в суконных гимнастерках, высоких картузах: местный «Сталин», рядом местный Маленков, всевозможные «маодзедунчики»... Приподняв правую руку, согнутую в локте, они лениво приветствуют демонстрантов. Идут спортсмены общества «Динамо», за ними «Трудовые резервы», «Большевик», «Урожай». Ребята в традиционных трикотажных майках и черных сатиновых трусах. За ними колонны министерства пищевой промышленности. На грузовике с прицепом огромный стенд. Толстыми чайными колбасами написано «Слава Сталину!» В следующей машине шоколадными конфетами в обертках выложено «Слава ВКП(б). Каждая буква с человеческий рост. На других машинах звезды, серпы, молоты и прочая символика. И все это выложено пищевыми продуктами. Цехи мясокомбината демонстрируют свою продукцию: на перекладинах мерно покачиваются копченые свиные ляжки, гирлянды колбас, убойный цех везет красные туши. Диктор, сообщив о трудовых достижениях, орет: «Слава славным труженикам пищевой промышленности!», «Слава Сталину! Ур-ра-а!!!»

– «А-а!» – отзываются труженики пищевой промышленности и отплясывают перед центральной трибуной под гармонию. Лица красные. Нетрезвые. Довольные. Через усилитель звучит частушка:

«Римский папа с грязной лапой
лезет не в свои дела.
И зачем такого папу
Только мама родила?!»

«Маодзедунчики» смотрят на местного «Сталина», как он реагирует на идеологический «удар по Ватикану». Тот искренне смеется. Вожди хохочут «от пуза».

Тем временем наносится второй удар.

Мы читали план Маршалла,
Хохотали все до слез,
Я барбосу показала,
До утра смеялся пес!

– Ух! – пляшет веселая толстуха.

Сокрушив оплот загнивающего капитализма и все его пережитки, трудовой коллектив колбасного цеха удаляется под аплодисменты трибуны.

На площади труженики шелкомотальной фабрики.

«Сталин! Сталин!» – написано разноцветными шелками.

Никому, в том числе и мне, разумеется, и в голову не приходит, что «вождь и учитель» в это время впал в маразм и к следующему Первомаю его не будет в живых, а «маодзедунчикам» придется с верхней трибуны спуститься в нижний ярус.

Вчера вечером я случайно узнал, почему наша посылка в Карагандинский лагерь вернулась с уведомлением о том, что «адресат не найден». Мы решили, что отца перевели в другой лагерь и ждали вестей. Я просил мать послать запрос в Караганду, в МГБ, но она ссылалась на какие-то сведения, которые надо уточнить, собиралась с кем-то проконсультироваться. Я очень злился, просил номер почтового ящика лагеря, но она все обещала, тянула...

А вчера, разбирая книги, я обнаружил записку, адресованную мне неизвестным лицом. Он писал, что с отцом моим находился в одном лагере, часто общался с ним, лечил и, что умирая от истощения (страдал колитом желудка), отец завещал, чтобы я стал инженером-строителем и ни в коем случае не занимался литературой и общественными науками. «Отец просил, чтобы вы росли серьезным юношей, берегли маму и заботились о младших», – писал неизвестный. Письмо было написано по-русски, очень грамотно, хотя в оборотах речи и вежливое «Вы» говорили о том, что писал его восточный человек, но ни в коем случае ни кыргыз.

Много лет спустя я нашел этого человека. Им оказался Хабибулла Кадыров – сын выдающегося узбекского писателя Абдулло Кадыри, репрессированного в 1937 году.

Студент второго курса медицинского института Хабибулло в 1942 году был осужден на 10 лет, отсидел «от звонка до звонка» за хранение романов своего отца – «Скорпион из алтаря» и «Прошлые дни».

Прочтя письмо, а вернее завещание отца, я был так потрясен, что не в силах был прослезиться. Вновь и вновь вчитывался в каждую строчку. Письмо было написано простым карандашом, на сероватой бумаге, углы были немного стертые, видимо, автор долго носил его с собой, выжидал момент, чтобы отправить на волю. Соленые пятна. Это следы маминых слез. Я сложил листок, положил на место – решил не говорить матери о том, что узнал о письме. Но почему, узнав о гибели отца, она скрывает от меня, выслушивает мои упреки, страдает в одиночку? Этот вопрос я задал ей через четыре года, когда пришла посмертная реабилитация. «Боялась, что, узнав о смерти отца, ты потеряешь веру и станешь преступником», – ответила мать.

Отца моего арестовали 10 января 1950 года, на 10 лет отправили в Караганду добывать для родины уголь за буржуазный национализм и связь с космополитами Москвы и Ленинграда. Он был одним из авторов первых кыргызских рассказов, повестей, пьес и критических статей, переводил русскую и зарубежную классику, составил первые учебники по родному языку и литературе, был учеником, сосланного в наши края гениального русского лингвиста Евгения Дмитриевича Поливанова и выдающегося кыргызского литератора Касыма Тыныстанова (оба были расстреляны 5 ноября 1938 года).

Вернувшись с фронта в конце 1944 года, отец заведовал сектором «фольклора и эпоса «Манас» при кыргызском филиале АН СССР. Черная эпидемия ждановского доклада дошла и до наших гор. Тут же, как грибы из навозной кучи, возникли лихие критики, начали гуртоваться в мелкие «литературные шайки» и крупные банды. Начали выявлять затаенных «врагов народа», как и 10 лет назад, требовали «признания своих ошибок» и покаяния, вплотную прижали к колючей проволоке.

Забирали моего отца очень спокойно, я бы сказал, даже интеллигентно. Примерно в десять часов ночи постучались в дверь. Это было 10 января 1950 года, в последний день зимних каникул. Отец читал последний номер журнала «Советская этнография». Я дочитывал роман Джованьоли «Спартак». Младшие: брат и две сестренки спали в детской. Мать пошла открывать дверь...

В прихожей послышались мужские голоса. Она тут же вернулась и тихо сказала отцу: «Мужайся, они пришли». Отец опустил

журнал и приподнялся на локтях. Вошли пятеро: подполковник в папаше, майор, капитан и высокий лейтенант в новеньком мундире и еще дядя Паша – наш сосед, как я потом узнал – понятой. Подполковник показал ордер на арест, заставил отца расписаться, дали ему возможность одеться, посадили в угол на стул, произвели обыск, забрали все написанное от руки и на машинке, книги с автографами, фотографии, роман М.Ауэзова «Абай» с дарственной надписью автора отложили отдельно. Всюду заставили подписать «Изъято у меня при обыске». Роспись и число. Обыскали мой портфель. Ничего не нашли. Но вот лейтенант из большого отсека вытащил книгу «Манас великодушный», открыл обложку, на титульном листе был автограф переводчика и составителя устного пересказа Семена Липкина. Накануне Семен Израилович с Мухтаром Ауэзовым приехали во Фрунзе, и будучи у нас дома, подарили мне свои книги. По тому, как МГБшник отреагировал на роспись С.Липкина, я понял, что все они хорошо знают, что надо искать. Отец расписался. Сейчас мы знаем, что в 37-м делалось это грубо, солдафонски и бесцеремонно. Люди в кожаных куртках и следователи НКВД обращались с арестованными как с действительными преступниками и врагами народа. В пятидесятых эти работники были, видимо, иные. А в глазах майора я даже заметил сострадание¹. Отцу дали возможность попрощаться с нами. Он поцеловал спящих сестреноч, братишку, меня, маму. «Это ненадолго, разберутся – отпустят», – сказал отец, слегка обняв ее вздрагивающие плечи, и пошел к выходу. И вдруг братишка, который до сих пор молча следил за обыском и шмыгал носом, как тигренок, кинулся на длинного лейтенанта и закричал²:

– Куда вы забираете моего папу? Он ни в чем не виноват!

Лейтенант с трудом отцепил пацана, кивнул мне, я перехватил братишку за пояс, оттащил в сторону, но тот начал вырываться и кричать.

¹ Позже я узнал фамилию майора – это был Коломейцев. С его дочерью Валея пять лет учились в университете, вместе встречали студенческие «Новые годы» и Первомайские праздники.

² Длинный лейтенант – Ж.Асанкулов. Позже был председателем КГБ республики. В 1991 году, когда было найдено место захоронения выдающихся государственных деятелей, расстрелянных в 1937 году, мне пришлось с Ж.Асанкуловым выбирать место перезахоронения казненных и установки мемориала, павшим в годы культа личности.

– Отпустите его! Он не виноват! Он хороший! Это мой папа!
Майор покачал головой и отвернулся.

Мы с матерью проводили отца до калитки. Там стоял краше-
ный «Виллис». Эту машину я видел почти каждый день, проходя
мимо здания МГБ. Отец еще раз поцеловал нас с мамой. Старый
автомобиль тихо зашуршал по сухому снегу, прошел 150 метров,
повернул влево к воротам. В морозной зимней тишине было слыш-
но, как загремели запоры железных ворот и два красных стоп-огонь-
ка скрылись из глаз, как две кровавые звезды...

Я учился в русской школе с детьми в основном рабочих и воен-
ных. А потому в классе никто не знал, что я в одну ночь стал сыном
«врага народа». Занимались мы в третью смену, я приходил домой
ночью, и каждый раз, открывая дверь, был уверен, что отец сидит за
столом, пьет чай, и, улыбаясь, поднимается мне навстречу. Но увы!
недаром в народе говорят, что ГЭПЭУ – это «барса-келбес» – доро-
га, по которой не возвращаются.

В среде местной интеллигенции, далекой от литературной жи-
зни, ходили слухи, что на нашем чердаке обнаружили радиостан-
цию, имевшую связь с вооруженными силами США, ленинградс-
кими евреями и кремлевскими врачами, задумавшими отравить
Сталина. Многие знакомые и отцовы друзья, которые буквально
«торчали» в нашем доме, теперь обходили нас стороной, при встре-
че делали вид, что не замечают или вовсе никогда не знали такую
семью. Мы с матерью никого не осуждали, знали, что каждый боит-
ся за вою судьбу.

Вскоре арестовали друга и постоянного соавтора моего отца –
Зияша Бектенова. Об этом шепнул мне его сын в пионерской ком-
нате, где мы готовили к Первомаю акробатический этюд. Лучший
друг советских детей с дочерью Светланой на руках улыбался нам
со стены – девочка с челочкой в матроске обнимала отца за шею и
олицетворяла наше счастливое детство. А акробатический номер
заключался в том, что мы с моим другом, теперь уже друзья по не-
счастью, держали перекладину, на нее забирались еще двое, брались
за руки, на их плечи с помощью физрука взбирался пятый, обычно
какой-нибудь шустрый пацанчик, поймав равновесие, отдавал са-
лют, и мы хором кричали: «Спасибо товарищу Сталину за наше
счастливое детство!» Кричали мы абсолютно искренне, так как были
уверены, что действительно очень счастливы, хотя бы по сравне-

нию с неграми Америки, которых линчевали, сжигали, били толстопузые капиталисты, курящие толстые сигары. Империалистов, эксплуатирующих детский труд, как правило, изображали в облике премьер-министра Англии Уинстона Черчилля.

А мы – сыновья «врагов народа», держа перекладину, благодарили за свое детство именно того самого, кто по второму заходу начал уничтожать интеллигенцию. А те, двое, что стояли на перекладине? Откуда им было знать, что благодаря тому же генералиссимусу, их отцы сложили головы на Волоколамском шоссе?

Я был уверен, что об аресте моего отца никто в школе не знает. Но однажды в класс вошел наш директор Сан-Саньич в тот самый момент, когда мы, разнузданные отсутствием учителя, устроили очередной содом. Директор отчитал комсорга – Эдика Гузаирова, старосту – Васю Климченко, а потом вдруг позвал меня по фамилии и сказал вполголоса: «Кому, кому, а тебе следовало бы вести себя потише...»

Ребята не поняли истинной сути этих слов – я оцепенел. А вскоре как потомок «врага народа» я был разоблачен полностью. Это случилось в военкомате, когда мы получали «приписные свидетельства».

Всем классом мы прошли медкомиссию, заполнили свои анкеты, сдали автобиографии. В просторном дворе комиссариата выступились ребята из четырех соперничающих школ. В центр вышел бойкий капитан, объявил, что сейчас появится подполковник Насибуллин, проведет с нами беседу, и вдруг громко произнес: «Допризывник такой-то (назвал мою фамилию) шаг вперед!»

Я, шлепнув переднего по плечу. Сделал шаг вперед по всем правилам строевой подготовки.

– Где твой отец? – спросил капитан.

Я опустил голову.

– Я спрашиваю, где твой отец? – громко повторил капитан.

– Арестован в январе 1950 года, – ответил согласно заполненной анкете.

За спиной послышался шум.

– За что арестован?

– Не знаю, – ответил я.

– Твой отец арестован как враг народа! Держи свою анкету! И заполни ее соответствующим образом! Смирно!!! – вдруг заорал он истошным голосом...

Все вытянулись. На крыльце военкомата появилась грузная фигура подполковника Насибуллина.

– Здравсьте, товарищи допризывники!

– Здра! Желаем! Варищ лковник! – гаркнули ребята.

– Вольно... А этот чего тут торчит? – кивнул подполковник на меня.

– Биографию не заполнил! – ответил капитан.

– А-а, марш на место! – скомандовал Насибуллин и начал свою беседу, которую, разумеется, я не слушал. В голове стоял шум. Слезы подкатывались к самому горлу. Ребята поглядывали на меня с сочувствием. Я играл во все популярные спортивные игры, кроме баскетбола, выступал за школу, за район, за город по футболу, волейболу, по лыжам, был в сборной республики по малому и большому теннису, был капитаном команд, все ребята города знали меня в лицо. Завтра о тайной части моей биографии узнают девчонки 3-й, 28-й и 12-й женских школ, которые знали меня как бесшабашного весельчака и организатора веселых вечеров. Теперь они будут смотреть на меня, как на сына «врага народа», как на несчастного человека. Как я теперь выйду на площадку стадиона? Как появлюсь на школьных вечерах? И если бы в эту минуту был пистолет, я бы выстрелил себе в висок, но перед этим, разумеется, прикончил бы капитана. В ту ночь я не спал до утра, терялся в догадках, каким образом этот беспардонный солдафон из пятисот ребят вышел на мою анкету? А почему он «не нашел» анкету моего друга Эмиля Бектенова, ведь фамилии наши, так же, как фамилии наших отцов, начинаются на «Б» и стоят рядом. Мы с ним советовались, как заполнить графу анкеты. Написали одна и то же, с той лишь разницей, что его отец был арестован 5 мая 1950 года. И вдруг – осенило! В нашем доме жила пожилая медсестра, которая знала о том, что произошло в нашей квартире в ночь с 10 на 11 января 1950 года. Выйдя в зал медкомиссии, я увидел ее и очень смутился, т.к. специалистов мы проходили в чем мать родила. Она же, может быть мое смущение поняла по своему и заглянула в мою анкету, и, вполне возможно, что в присутствии капитана рассказала обо мне, чтоб чем-то привлечь к себе внимание. А может быть она не думала, что капитан окажется болваном? Словом, когда я поздоровался с ней, она виновато отвела глаза.

Позавчера пришел контролер-электрик. Проверил счетчик. Покачал головой. Написал счет и отрезал свет. Керосиновых ламп к тому

времени уже не было в городском быту, пришлось вспомнить военные годы в глухом аиле: сделали фитилек из ваты, перевернули пиалу верх дном, налили растительное масло. Мы сидели вокруг плошки, готовили уроки. Братишка то и дело шмыгал носом, отчего фитилек шевелился, как живой, по стенам прыгали наши огромные тени, стоило кому-нибудь кашлянуть, и фитиль гас, заставляя искать спички. Мать заболела и надолго легла в больницу. Никто к ней не ходил. В первые дни я носил ей незатейливые передачи: сладкую булочку, жареную картошку, а потом ходил «без ничего». Я подходил к окну, звал, мать поднимала голову, улыбалась и делала знаки, чтобы шел домой и смотрел за младшими – она стыдилась того, что сын приходил с пустыми руками. А что я мог принести, если уже третий день мы ничего не ели? Вчера отыскал в кладовке несколько пустых бутылок из под масла и шампанского, очистил от тараканов и длинноногих черных жуков, вымыл, сдал, купил на рынке 2 кг. картошки, сварил, размял, смешал с соленой водой, каждому положил по ложке – вот и весь завтрак, к обеду ничего не ели, вечером выпили по стакану горячего чая. Годы войны научили меня переживать голод. Мне казалось, что вновь вернулся сорок третий год, только в других условиях и с некоторыми изменениями действующих лиц: вместо покойной Жайсан-эне появилась круглолицая сестренка – она родилась после войны, как раз в тот день, когда шел банкет в честь открытия кыргызского филиала АН СССР. Кто-то шепнул академику К.Н.Скрябину, что у научного сотрудника, сидящего рядом с ним, сегодня родилась дочь. Константин Иванович вдруг встал во весь свой гигантский рост, погладил свою седую бороду и произнес тост в честь новорожденной, отметив, что это весьма символично: в день рождения кыргызской академии наук родилась кыргызская девочка, которая должна быть очень счастливой.

Над землей буйствовало весеннее солнце. В окно свисали гроздья сирени, на площади звучали фанфары и ликующие крики, люди улыбались, несли на плечах детей с красными флажками. Труд! Мир! Май!

А в нашем доме царило горе и мрак. И никто этого не знал и знать боялся.

В драматическом театре аншлагом шли спектакли «Бесприданница» Островского и «Любовь яровая» Н.Тренева, переведенные моим отцом, но на афишах фамилию переводчика заменили. Я ду-

мал, что заменили и сам перевод, тайно пошел в театр, убедился, что текст тот же. Мать надеялась, что новый «переводчик» – один из лучших друзей и близких родственников отца – пришлет хотя бы часть гонорара. Но этого не случилось.

Бывают дома живущие тихо, замкнуто: не зовут гостей, не устраивают встречи нового года, не отмечают именины детей, а потому и их никто не зовет. В таком доме, наверное легче пережить отчуждение и одиночество. Но у нас всегда было шумно и весело, приходили писатели, артисты, сказители «Манаса», родственники. Отец был очень общительным, обладал броским художественным юмором и настоящим певческим голосом, часто подтрунивал над своим однокурсником – народным артистом СССР Абдыласом Малдыбаевым, говорил, что не стал артистом, чтобы не перекрыть ему дорогу. Словом, ни одна светская компания не обходилась без участия моих родителей. А теперь его бывшие друзья со мной не здоровались, делали вид, что я «вырос и изменился до неузнаваемости». Так, по крайней мере, оправдался один из них, когда я поздоровался и назвал его имя. Мне казалось, что все они неблагодарные предатели. И чем больше я думал о них, тем больше зрели во мне злость и обида. Порою хотелось добыть где-нибудь максимовский пулемет, установить его на чердаке, лечь на пузо и, как чапаевский Петька строчить и строчить по площади, пока не кончатся все ленты. Потом вынашивал более реальную идею: добыть малокалиберную винтовку, залезть на чердак, положить пару пачек патронов и щелкать их по одному, непременно попадая в лоб. На всякий случай начал ходить в секцию по стрельбе, участвовал в соревнованиях и выполнил норму 2-го спортивного разряда. Но было еще одно, как мне казалось, самое главное предательство...

В нашем дворе жила девочка. Обыкновенная, с худенькими ножками с тоненькой длинной шеей, с тонким голосом и очень большими серьезными глазами. Быстро сделав домашние уроки, я выходил во двор, садился на скамейку с книжкой. Читалось тяжело, никак не мог пробиться в ткань художественного замысла. Я ждал, когда появится ее тоненькая фигурка или же услышу за спиной ее смех. Я мог сидеть часами и прочесть от силы десять-пятнадцать страниц. А когда появлялась она, весь мир заполнялся ею. Мы часами сидели на скамейке, говорили о пустяках. На третий день после ареста отца, я вышел без книги, стал ждать ее.

Она вышла сразу, молча села рядом и впервые в жизни положила свою прохладную тоненькую руку на мои ладони. Она была со мной. Я был уверен, что со мной она будет всегда. Мы сидели молча и долго, пока не позвали ее домой. На второй день она не вышла. На третий день я ждал ее возвращения из школы. Она серьезно поздоровалась со мной и прошла мимо... Отец ее был майором МВД, работал начальником управления мест заключения и, безусловно, знал о делах соседнего ведомства.

В следующий раз я выждал, когда мать пошлет ее за хлебом, вышел навстречу.

– Что случилось? Ты обижена на меня? – спросил я.

– Нет, – коротко ответила она, глянула на меня чистыми голубыми глазами и... прошла мимо.

Ресницы ее мне показались очень колючими³.

Внутри меня что-то сломалось. Я чувствовал себя самолетом, потерявшим аэродинамику на очень большой высоте. Я падал со скоростью 9,8, умноженное на собственную массу. Кругом царили подлость и предательство. Мои плечи были не в силах выдержать тяжесть судьбы, брошенную сверху чьими-то могучими руками. Я все ниже и ниже гнулся к земле, и не было сил выпрямиться. В тот вечер, когда я узнал о гибели отца, я добыл пять рублей, пошел в забегаловку, купил 125 граммов «Московской» и выпил, зажмурил глаза. Водка показалась не горше чаши, из которой я хлебал теперь каждый день.

А сейчас, слушая фанфарный марш Первомай, я подумал: «Хорошо бы сейчас с горла выдуть бутылку водки и подохнуть, не приходя в себя».

Вчера вечером приходили мои одноклассники: Толя Новиченко и Толя Соловьев, звали в компанию. Девчонки из 28-й женской школы, как всегда, решили собраться по случаю Первомай, для чего надо было сброситься ребятам по 10 рублей, девчонкам по 5. Я, конечно, отказался, соврал, что пригласили родственники. Ребята немного потоптались, настаивать не стали. Помимо отсутствия денег, были еще две причины, которые не пустили меня в компанию: за

³ Мы встретились с ней через семь лет, будучи студентами, после XX съезда КПСС и развенчания культа личности Сталина. Она просила прощения, клялась в любви, ее родители писали из Киева, что готовы принять меня в качестве зятя, помогать материально. Но травма, полученная мною в январе 1950 года, оказалась неизлечимой.

два года я вытянулся, как шланг, вырос из отцовской одежды, штаны брюк удлинял неоднократно, использовал для этого «запас», лямки и хлястики, а теперь пришлось спустить их до самого пупка, на левой ягодице отсвечивала круглая заплатка, чтобы скрыть ее, до самой мотни натягивал свитер, который трещал в плечах и рвался. Пока было холодно, ходил в войлочных сапогах на кожаном ходу. Весна наступила внезапно. Все перешли на легкую обувь, а девчонки вовсе сняли «пильдеперсовы» чулки и гарцевали на каблучках. Не буду же я вальсировать в валенках!

Многие знали, что я сын ученого и писателя, а тут – заплатки на штанах, масляный фитиль место торшера, голод под звуки праздничного марша. Все это рождало во мне нечто злое и агрессивное, то, чего боялась моя мать, скрывая гибель отца. Таков был багаж, который я притащил к Первомаю 1952 года.

Парад кончился. Затухли фанфары. Заглохли восторженные крики толпы...

Я вышел во двор, залитый солнцем, утопающий в зелени, благоухающий цветущими яблонями, жужжанием медоносных пчел. Моя младшая сестренка с соседской девочкой – дочерью помощника нашего первого секретаря ЦК, разложив на скамейке свои куколки, «ходили» друг к другу в гости. Дочь помощника (он жил в нашем дворе) достала из пакета большое красное яблоко, с хрустом откусила, брызнув белым соком. Моя сестренка посмотрела, как она уплетает в обе щеки, проглотила слюну и хитро спросила:

– А кто тебе дал вкусное яблоко?

– Папа принес подарок с работы, вот, – девочка показала бумажный пакет с изображением девочки в юбке с голубым шаром.

– Тут шоколадка есть. Хочешь? – предложила дочь помощника первого секретаря ЦК.

– Нет, – моя сестренка покачала головой. – Мне тоже папа принесет подарок с работы, она наклонила голову, шмыгнула носом и вытерла слезы. Она давно не ела шоколад. Подарки никто ей не приносил.

Я почувствовал, как что-то горячее хлынуло внутри груди, и к горлу подкатил комок. Откуда знать несчастной малышке, что у нее никогда не будет ни отца, ни его «подарков с работы»? Откуда знать бедному ребенку, что два года назад отец ее подружки на стол своего шефа положил докладную записку за подписью министра МГБ

республики и тот, не моргнув глазом, написал: «Согласен», в результате чего девочка, рожденная в день рождения кыргызской академии наук стала дочерью «врага народа», а теперь и сироткой...

Я подозвал сестренку, заставил собрать игрушки, завел ее домой, строго наказал не выходить из дома.

В русском фольклоре есть застывшее выражение: «наполнившись ратного духу». Таким духом наполнялись былинные богатыри и полководцы, перед боевыми походами. Чем-то подобным «наполнялся» и я. Это было чувство злой агрессии, рожденное ненавистью к миру, окропленному подлостью и предательством...

Я, как медведь в клетке, метался меж четырех стен, на глазах изумленного братишки курил одну папиросу за другой.

Надо было что-то делать до наступления темноты. Я представил, какое унылое зрелище ждет меня вечером. В тот час, когда весь мир будет ликовать, праздновать весну, друзья мои будут танцевать с девчонками в приталенных ситцевых платьях и легких сарафанах, пить красное вино, гулять по городу, смеяться, сидеть в сиреневом сквере, любоваться фейерверком огней, я буду сидеть в полумрачной комнате, освещенной желтым фитильком, с плачущими от голода сестренками и братишкой... Я зашел на кухню. Отыскал большой нож с деревянной рукояткой, заткнул за пояс и шагнул за порог...

Спускались ранние сумерки. Фонари еще не горели. На танцевальной площадке парка имени Панфилова оркестранты настраивали свои инструменты. Через некоторое время здесь соберется молодежь города, будет шумно и празднично. Все раздетые, наглаженные, парни в широких брюках-клеш, в начищенных ботинках. Улыбки девчат. Смех. Флирт. Ребята чуть-чуть подвыпившие «для храбрости». О, проклятый праздник! Как ты давишь меня и топчешь!

Но ничего! Через час-другой и я буду здесь. Сейчас у меня будут деньги! Куплю хлеба, масла и сахара, покормлю малышей – устрою им праздник, куплю бутылку вина «Черная смородина», папиросы «Казбек» – устрою праздник себе. Шлепну полный стакан, закурю длинную папиросу. И все горькое забудется. И все радостное вспомнится. Куплю огромный кулек конфет «Раковая шейка» и пойду к сестрам Мигуновым, где собрались одноклассники...

Фуражку натянул на самые глаза. Улица пуста. Вдали показался силуэт человека в костюме и шляпе. Деньги, конечно, у него есть.

«Давай деньги, не то пырну!» Нож буду держать на уровне его печени, пока не вывернет все карманы. Нет, это надо говорить по-другому. Сейчас в городе появилось очень много амнистированных. Они снимают часы и отбирают деньги среди бела дня, в общественном транспорте, тихо приставив шило или заточенную отвертку к сердцу или печени сидящего рядом, и тот покорно отдает часы. Нож я спрятал в рукав, точно как балтийский матрос в фильме «Мы из Кронштадта». Нет, убивать, разумеется, я не думал. Даже в пацанских драках никогда не бил лежащего, никогда не брался за камень, если даже терпел поражение. Словом,, никогда не был жестоким.

– Слышь, дяденька, гони-ка сюда часы и деньги. Они тебе очень мешают! – вот так-то будет больше похоже.

Пока я репетировал встречу, дяденька подошел очень близко. Он был в светлом новеньком коверкотовом костюме-тройке, с ярко-зеленым галстуком, из кармана свисала серебряная цепочка от часов, на груди краснел орден «Красной звезды» и планки от медалей. Фронтовик. Но сейчас это не имело для меня никакого значения...

Я огляделся – вокруг никого. Он в пяти шагах. Я тряхнул плечом – в ладонях тяжелая рукоятка ножа. Ну! сейчас будут деньги и часы. Человек поравнялся со мной. Я проглотил слюну и... пропустил его мимо. Догнать и... со спины!.. Но впереди показалась шумная компания... Нет. Эта аллея не годится для дела. Я сам не заметил, как подошел к памятнику Панфилова. Легендарный защитник Москвы, возвышаясь над забором парка, вытянув вперед руку, отдавал дивизии последнее указание перед своей гибелью. Я зашел за пьедестал. Отсюда можно выйти внезапно, сделать свое дело и скрыться в парке. Ага! Вот он идет, мой голубчик. Он темно-синем костюме, слегка пошатывается. Костюмчик у него ладный, моего размера. Светлые лакированные туфли «моделя» скрипят – сразу видно, сшиты на заказ. Этого можно взять запросто. Надо заманить его за памятник, поменяться одеждами вместе с содержанием карманов. Стоп! А почему он сам идет на меня? А-а, все ясно! Тут есть темный закуток, где можно помочиться. Прекрасно! Тут мы его и застукаем. Полупьяный посмотрел на меня мутноватыми глазами, понимающе подмигнул: ну кА, мол, успел? И прошел к месту назначения. В сухих листьях зашуршала струя. Закончил. Идет, застегивает ширинку. Пусть застегнется. Были ваши – будут наши. В ладони тяжелая рукоятка ножа. Раз... Два... Я сделал шаг вперед и вдруг,

откуда ни возьмись, к моим ногам упал огромный каравай подового хлеба, сделал два оборота и, как огромная черепаха, перевернулась на спину. Я опешил. А может, даже обалдел. Что это? Откуда? Я поднял голову и увидел задние номера полуторки. В открытом кузове, прижатая к ящикам и коробкам, сидела женщина в белом халате и держалась за весы. Машина прыгала на выбоинах асфальта. Пьяный прошел мимо меня. Поправляя ремень. Я поднял хлеб и прижал к груди. Он был еще теплый. А запах! О-о! только у хлеба такой потрясающий запах! Я зажмурился. Голова закружилась, обожгло внутри, словно я выпил стакан водки, вспомнил, что в руке у меня нож, хотел тут же отрезать кусок. Но рука не поднялась. Понесу домой и там... с моими малышами... Не сам ли бог подбросил этот хлеб к моим ногам, чтобы спасти меня от греха?! А может, метущийся дух отца моего вырвался на волю и отвел мою руку от преступления?! А может, это воля генерала Панфилова и ребят, что полегли под Москвой?! Я задрал голову, посмотрел на бетонное лицо Ивана Васильевича. Славный комдив, подняв руку, отдавал последнюю команду перед своей гибелью. Навстречу мне шли люди. Но я никого не замечал. Я шел, обняв огромный подовой хлеб. По щекам моим текли слезы. «Ты помнишь, в детские годы слезы не знал я никогда, но тут я плакал без стыда...» О! Господи! Как точно сказал обо мне Лермонтов сто лет назад...

Вдруг в какую-то минуту мне показалось, что я иду не один, нас двое: один – юноша семнадцати лет от роду, сын «врага народа», голодный, обиженный, презренный, проведенный сквозь строй, окровавленный, опозоренный – он шел и плакал, обнимая теплый хлеб, а другой сильный и мудрый, трезвый и добрый – он шагал рядом, обняв младшего за плечи и говорил: «Ну что, малыш? Выстоял? Теперь ты будешь жить, и отец твой возродится в тебе и будет жить в своих внуках. Ты должен жить и бороться, чтобы люди когда-нибудь узнали истину и поклонились памяти его». Вот я и живу...

1992 г.

СУЛУУ

– Ты меня не любишь, не жалеешь, – сказала жена, едва я успел переступить порог.

В моей руке повисло помойное ведро.

Я хотел тут же закрыть дверь с другой стороны и ретироваться, но жена уже крепко держала меня за ворот пальто. Мокрая половая тряпка угрожающе дрожала в ее свободной руке.

– Ты меня не любишь, не жалеешь, – повторила она.

Черт возьми, откуда она знает Есенина? Нет. Она не знает его. Она говорила совсем другие слова, но смысл ее длинного монолога сводился к четырем словам с двумя отрицательными частицами: «Ты меня не любишь, не жалеешь».

– Стиральная машина не работает!

– Газ кончился!

– У сына расстроился желудок!

– Испортился холодильник!

– Айна сломала электросамовар!

– В спальне протекает радиатор!

«Боже мой, сплошная механизация!» – ужаснулся я.

– А ты бог знает, где шатаешься после работы. Хотя бы помог. Дети с утра голодные. Аину никак не докричусь, у Данияра понос. Ну куда пошел с грязными ногами? Что за безалаберный человек, а? Возьми ребенка, целый час надрывается!

Я снял ботинки, на цыпочках прошел в столовую, взял на руки двухлетнего сына, снял с него мокрые штанишки, начал раскачивать его и строить ему рожицы. Но мальчуган крепко уцепился за мое кашне и продолжал орать. В дверях появилась жена.

– О Кудаи! (Это она упомянула бога.) Что ты за человек? Сними свое пальто, щеки своим воротником натрешь ему! Руки у него грязные!

Пальто и кашне уже были вымазаны не то горчицей, не то чем-то еще. Я мужественно сжал зубы.

– Ну, что мне с тобой делать? – И она пошла, пошла развивать свой монолог, сводившийся к четырем словам с двумя отрицательными частицами: «Ты меня не любишь, не жалеешь».

Только она умела говорить так четко и лаконично.

– Ну, будет, будет... Сейчас наведу порядок, – проямлил я.

– «Наведу, наведу». Смотри, что в доме творится, только и умеешь болтать языком. Зарплату, конечно, опять задерживают?

«Толкнул же меня черт жениться на такой женщине. О, если бы я знал тогда, что двадцатилетняя кроткая девчонка через семь лет превратится в дикую пантеру!»

– Ну, что стоишь? Снимай пальто, вычищу! Иди на кухню! Каша пригорит! Оставь ребенка, опять руку обожжешь несчастному!

«О-о! Ну и наградила бог женой!»

На кухне страшный дым – каша давно сгорела. Я скорей наливаю в кастрюлю воду, надо вымыть кастрюлю и сварить новую кашу. Но сгоревшая каша приросла ко дну, я ожесточенно скребу его ножом и с ужасом замечаю, что содрал кусок эмали.

– Ты что там скребешь? Открой дверь. Айна пришла! – кричит жена.

В радиотехнике эта, кажется, называется дистанционным управлением...

Открываю дверь – на пороге дочка. Она в мокрой шубке, в грязных ботинках.

– Папа! Папа! А почему камбала похожа на пощечину! А, папа? – спрашивает она возбужденно.

– Тсс! Сейчас узнаешь разницу, – говорю я.

Айна притихает. У дочери, как и у меня, чуткое сердце, беду она чувствует заранее. Я снимаю с нее шубку, приглаживаю растрепанные волосы. Дочь обнимает мои колени:

– Папа, папа! А Вовка Жуков пластилин съел!

– Тсс... Тихо...

– Папа, а ты можешь съесть пластилин без хлеба? – шепчет Айнашка.

– Ну, где же каша? – слышится голос с дистанции.

– Сейчас.

Я снова бегу на кухню, прячу кастрюлю, ставлю на плитку большую кружку, наливаю молоко, ищу манную крупу. Но ее нет – она кончилась.

Из столовой доносится диссонирующее трио: звонко кричит жена, отрывисто ревет сын. Айна долго тянет одну и ту же ноту: э-э-э... – она поняла, что пощечина не очень-то похожа на камбалу.

Я затыкаю уши. Боже мой! И зачем я так рано сгубил жизнь свою? Жениться, конечно, надо, но нельзя так быстро размножать-

ся – двое детей за пять лет, а сколько их будет к концу следующей пятилетки?

Молоко поднимается, я, обжигая руку, несу кружку.

– А где каша?

– Каши нет...

– Съел?

– Сгорела... Ну, довольно, успокойся, Сулуу...

Так называл я ее семь лет назад, а теперь это слово употребляю в экстренных случаях, ибо «сулуу» – по-киргизски «красивая». Салия и Сулуу – есть какое-то созвучие, вернее, было какое-то созвучие лет семь назад, когда мы до утра могли бродить по пустым улицам, часами стоять на мосту и смотреть на уходящие поезда, когда она была кроткой девочкой, когда... словом, все это было тогда...

– Ну что, Сулуу? Заладил одно и то же! – резко говорит она, но я чувствую, что голос ее смягчился. Слово «сулуу» действует магически, но ненадолго. Салия дует на ложку с молоком, раскачивая ее перед носом сына. Мальчуган, раскрыв ротик, как воробушек, следит за ложкой и ждет. Но, сделав глоток, он ревет благим матом, извивается, как дождевой червяк, и хочет сползти на пол. Характером он пошел в маму... Салия пробует молоко, и ее голос звучит, как боевой клич:

– Это молоко-о?!

– Да, молоко...

– Это же кумыс... был!

– А кумыс тоже молоко, разве что кобылье, – я пытаюсь отразить удар хладнокровием.

– Сам ты кобыла, ребенка чуть не отравил!

Но это уж слишком! Так она никогда не оскорбляла меня. Я решаю прервать с ней всякие дипломатические отношения. «Грубьянка, а еще хочет, чтобы я любил ее и жалел!»

Я ухожу в другую комнату, беру номер «Огонька» и начинаю решать кроссворд.

Жена еще долго бранится, плачут дети, гремит посуда, но постепенно шум умолкает; меня тянет ко сну. В комнату вбегает дочка.

– Папка, пойдем кушать. Мама сказала, чтобы мы вымыли руки.

Я нехотя встаю, чешу затылок, не хочется мне видеть Салию.

– Ну, папка-а, пойдем, остынет. – Дочка тянет меня за руку.

– А мама остыла? – спрашиваю я ехидно.

– О-о, мама же не суп! – недоумевают Айна. Обедаем молча. Я замечаю, что в комнате наведены идеальный порядок и чистота.

– Айнашка, иди, налей воды в чайник и поставь, – обращается Салия к пятилетней дочери. Но это сказано мне. Айнашка еще не достает ни до крана, ни до плиты. Я шумно бросаю ложку в пустую тарелку иду ставить чайник.

Потом включаю телевизор: на экране «Баллада о солдате». Жена гремит посудой, убирает со стола.

– Мама, потуши свет. Кино, – говорит дочь.

Салия гасит свет. «Балладу о солдате» я видел, но хочется посмотреть еще раз, чтобы унести мыслями в иной мир, не думать о настоящей минуте, о жене, которая так мастерски умеет портить человеку настроение. Да. Но люблю ли я ее? Вчера, кажется, любил, идя домой, кажется, все еще продолжал любить. А сейчас? Сомневаюсь... В какую минуту я перестал любить ее? Ах да! Когда она нагрубила мне из-за этого молока. Откуда я мог знать, что вместо молока кипячу кумыс?

Между тем фильм идет. Жена сидит за моей спиной и молчит. Даниярчик спит у нее на коленях. Айнашка лежит на полу, на полосатой дорожке (она любит смотреть лежа), изредка шмыгая носом, и тоже молчит. Она очень серьезна сейчас и, кажется, все понимает.

Молчим.

На экране замелькали кадры – пошел технический брак, но мы молчим и ждем продолжения фильма.

Наладилось.

Солдат, совсем еще мальчишка, с мальчишеским хрипловатым голосом расстался с девочкой, которую встретил в пути... Они встретились впервые в жизни и расстались на всю жизнь.

И вдруг слышу за своей спиной всхлипывание, жена плачет. Я думаю, что она плачет от обиды, ведь я не разговариваю с ней.

Айнашка поднимает голову. Я вижу, как блестят ее черные глаза.

– Ма-а-ма, не плачь. Ну что ты пла-а-чешь? – тянет она. – Его же не убили еще.

– Его убьют, – серьезно отвечает Салия.

– Не убьют-ют, откуда ты знаешь?

– Дяденька сказал, что его убьют, – тихо отвечает Салия.

Я смотрю на дочь и глажу ее по головке, в темноте блестят ее голубые белки, а на каждой щечке по слезинке (она не выносит, ког-

да плачет мать). Потом она смотрит на меня. Я глотаю комок, подкатившийся к горлу.

Последние эпизоды фильма.

На экране немолодая женщина в черном платке идет на нас и смотрит глазами, полными материнской скорби... Конец фильма. Полтора часа шла картина, а мы не заметили, как прошло время.

Молчим. Я смотрю на спящего сына. Он спит, раскинув пухленькие ручонки, и очень похож на Салию. Я люблю смотреть, как он спит. Мне хочется отдать все, чтобы он спокойно спал. Ведь ради этого сложил голову мой отец, ему не суждено было увидеть внуков... Выключаю телевизор. А семейные неполадки кажутся мне ничтожными. Боже мой! На что мы тратим себя и свои нервы? Это все Салия! Но почему она молчит сейчас? Я поворачиваюсь к ней, она смотрит в пол. О чем она думает? Салия поднимает голову, наши глаза встречаются.

– Ты меня любишь?

– Да.

– Жалеешь?

– Да.

В моей руке ее жесткие, теплые ладони.

– Сулуу...

1963 г.

ИЩУ ДРУГА

Он жил здесь вторую неделю, но за все это время не проронил ни одного слова. Три раза в день он спускался на первый этаж, где размещались палаты с лежащими больными и столовая, молча съедая все, что подавали, вставал и молча уходил в свою палату.

Маленький рост, хрупкие плечи, тонкие руки с синими прожилками, широкие глаза с колючими, дрожащими ресницами придавали ему вид первоклассника, хотя ему было тринадцать лет, и он перешел в седьмой. Его привезли из далекого аила, поэтому все решили, что он не знает русского языка, а палатный врач – миловидная Апал Торгоевна в истории его болезни записала, что угрюмость, неразговорчивость и подавленное состояние – самые характерные симптомы врожденного порока сердца. Но когда пришел профессор и начал его осматривать, пустив в ход весь запас своих позна-

ний кыргызского языка, что впрочем, сводилось к двум словам «болит – не болит», мальчик на чистом русском языке сказал, что у него ничего не болит.

– А почему ты такой серьезный? – спросил Яков Семенович.

Мальчик поднял свои колючие ресницы, посмотрел на руки профессора и ничего не ответил.

– Твоя? – спросил профессор, чтобы как-то войти с больным в контакт, и показал на книжку. Это был «Жан-Кристоф» Ромена Роллана.

Мальчик кивнул.

– Тебе много читать нельзя, молодой человек, – сказал профессор.

Мальчик нахмурился.

– Ну, ладно, эту прочти, но с условием, что потом дашь ее мне. Хорошо?

Мальчик молча забрал книгу и спрятал под подушку.

«Ишь ты, гордый какой!» – подумал Яков Семенович и почему-то почувствовал в этом маленьком колючем человечке нечто очень близкое и знакомое.

Профессор сказал «готовить» и пошел осматривать следующего больного.

Родители мальчика прибыли в тот же день. Они долго извинялись, что не смогли приехать сразу: дома еще трое детей, началась уборка хлопка, да еще и погода, как назло, нелетная. Узнав, что сыну необходимо сделать операцию на сердце, мать заплакала, отец подошел к открытому окну и закурил. Посоветовавшись, они предложили вызвать родного отца мальчика (он живет во Фрунзе, медик, имеет новую семью, дочерей, но сына очень любит, помогает, заботиться о нем), ведь операция на сердце – это не аппендицит.

Родной отец приехал с женой и дочкой. Побеседовал с Яковым Семеновичем, ознакомился с кардиограммой, после чего обе семьи дали согласие на операцию и поселились в гостинице.

Накануне операции съехались все его братья и сестры, дяди и бабушки. Пришлось предупредить, чтобы они не отвлекали больного, хотя мальчик ни с кем не разговаривал.

– Ну, джигит, как дела? – спросил профессор.

Мальчик смотрел на него широко раскрытыми глазами и ничего не отвечал.

– Ты не бойся, и все будет хорошо... – Яков Семенович немного подумал и вдруг обнажил свою грудь – она была испещрена пуле-

выми и осколочными шрамами. – Шестнадцать ранений, Освенцим и прочее, но, как видишь, живу, – добавил он и быстро застегнул халат, так как за спиной послышались шаги Апал.

Мальчик сжал губы, достал из-под подушки книгу и протянул профессору.

– Прочел? – спросил яков Семенович.

– Два раза.

– Понравилась?

Мальчик не ответил, и Якову Семеновичу стало чуть неловко: когда книга не нравится, дважды не читают.

Операция прошла удачно. В первые дни у постели больного дежурили по очереди и мать, и мачеха, и отец, и отчим. Когда ему стало лучше, мужчины уехали. Женщины поселились в одном номере, и каждый день приходили в больницу. Мальчик быстро поправлялся, но по-прежнему был угрюм и неразговорчив.

– Почему ты такой невеселый, а? – ласково спросила Апал. – Теперь, ты здоров, скоро, как и все, будешь бегать, скакать на лошади... Или это не радует тебя?

Мальчик ничего не ответил.

– У тебя две мамы, два папы, братья, сестренки, все хорошие, добрые, любят тебя...

Мальчик как-то снисходительно улыбнулся.

«Странный мальчик», – подумала молодая женщина.

– Скоро отпустим домой, уедешь к своим, – она попыталась обрадовать больного.

Но он опять ничего не ответил, словно ему было безразлично, где жить: дома или в больнице. «Какой все-таки странный мальчик», – снова подумала Апал.

Через несколько дней вновь съехались все его родичи, шумно благодарили профессора за то, что он вернул сыну жизнь. Они завалили больницу цветами, распили во дворе шампанское и увезли мальчика.

В больнице шли обычные будни: осмотры, анализы, процедуры, беседы с родителями, прием новых больных детей, операции...

В один из таких дней Яков Семенович вошел в свой кабинет, устало опустился на диван, закурил. Ноги гудели. Плечи ныли – операция длилась шесть часов, дважды наступала клиническая смерть, но девочка будет жить. Будет жить... Как тот мальчик...

Перед глазами Якова Семеновича возникло не по-детски сосредоточенное, молчаливое мальчишеское лицо, на котором врожденный недуг навсегда оставил свою грустную тень. Профессор вспомнил о книжке Роллана, которую так и не успел прочитать; вызвал по телефону Апал, чтобы она узнала адрес мальчика и вернула книгу; достал ее из стола и начал листать страницы, которыми в детстве зачитывался сам. Из книги выпал маленький листок, очевидно, закладка. Яков Семенович поднял закладку и нахмурился: на ней четким детским почерком было написано: «Ищу друга».

«Какие нелепые слова, – подумал профессор. – Кто кому написал? Неужели этот маленький человечек так просто хотел найти того, которого порою ищешь всю жизнь и не находишь?»

Люди. Люди. Сколько их на свете. Порою их накапливается столько, что приходится закрывать города, чтобы больше не поселялись. В автобусах, трамваях, на улицах они толкают тебя в спину, задевают плечи, наступают на ноги. А сколько летают по воздуху, плавают по воде, ходят и ездят по земле, подчас вынуждены строить подземные дома и дороги... Мужчины. Женщины. Старые. Молодые. Родные. Близкие. Знакомые. Они всюду. Ты общаешься с ними, живешь, работаешь рядом. Спасаяешь их от смерти. Слышишь их голоса. Видишь их печаль и радость, рождение и смерть. Тысячи слов и телеграмм получишь в день своего юбилея, и еще больше их будет, когда умрешь. Но где тот, которого ищешь ты? Тот, который ищет тебя всю жизнь?..» Старый профессор не заметил, как вошла Апал Торгоевна и остановилась у порога.

– Вы звали меня, профессор? – профессор повернулся и посмотрел на нее очень далекими глазами.

– Апал. – Он впервые назвал ее просто по имени.

– Да, профессор.

– У тебя есть... друг? – обратился он впервые на «ты».

– У меня очень много друзей.

– Ты имеешь в виду приятелей. А друг бывает один – единственный.

– Ну... если единственный... то, видимо, муж, – смутилась Апал.

– Мы с ним дружим, – уточнила она.

– Разве так бывает? – грустно засмеялся профессор.

– Наверное... бывает.

– Жена дружит с мужем? Не правда ли, странное сочетание слов?

Женщина пожала плечами, не зная, что ответить.

– Кто сегодня дежурит ночью? – спросил Яков Семенович.

– Я.

– Идите домой, Апал Торгоевна, – приказал он. – А по пути зайдите к нам и скажите супруге, сегодня я буду дежурить.

– Вы не доверяете мне дежурство, профессор? – обиделась женщина.

– Нет, Апал, просто хочется побыть одному, – ответил старый профессор...

1971 г.

ОШИБКА

Осень приходит в город незаметно, крадучись. Как вороватая кошка. И солнце еще нагревает асфальт. И крыши домов, и деревья еще бросают тень, укрывая горожан от горячих лучей, но дни становятся все короче. Солнце опускается все ниже, теряя силу своего тепла. И вот приходит день, когда темнеет небо, начинается затяжной дождь, как будто кто-то на небе открывает шлюзы и пускает воду сквозь решето. По улицам текут мутные потоки. Шумят переполненные арыки. Дождь смывает с деревьев листву, оголяет ветки.

Точно так же пришла в город осень в этом году. Третий день льет дождь. Небо черное, с гор дует холодный ветер. Мокрые листья прилипают к сырой земле, подхватываемые дождевыми потоками, охапками застревают в арычных трубах.

За эти дни Асылбек осунулся, похудел. Вот уже три дня, как он не ходит после работы в бильярдную, а спешит в центральную больницу, где лежит его жена Джумагуль. Сначала он думал, что она просто простудилась, и не очень беспокоился, но позавчера молодой врач Алмамбетов, исследовав ее кровь, сказал, что Джумагуль серьезно больна.

– А что все-таки у нее? – спросил Асылбек.

Алмамбетов прикрыл дверь кабинета и долго молчал.

– Дети есть у вас?

– Трое... Старший ходит в седьмой класс, дочка в третий, младшему восемь месяцев... – ответил Асылбек.

– Да... – Алмамбетов озабоченно потер лоб. – У вашей жены белокровие...

– Белокровие?! – У Асылбека зарябило в глазах. – А может, это ошибка? Может, еще поправится?

– Пока у человека бьется сердце, мы не имеем права терять надежды... Но будьте готовы ко всему...

– Как же так, доктор? Наша наука покоряет космос и не может вырвать у смерти одну маленькую женщину? Это же парадокс, доктор!

Молодой врач положил руку на плечо Асылбека. И ничего не ответил.

– А можно ли пройти к ней?

– Накиньте халат. Мы поместили вашу жену отдельно. Пока чувствует себя хорошо, разве что температура. Я провожу вас...

– Спасибо, доктор... А профессор Алтынбаев уже осматривал ее?

– Нет. Он в Москве. Скоро вернется... – сказал молодой врач.

Когда открылась дверь, Джумагуль сдвинула брови, видимо, решила, что пришли делать укол, но, увидев мужа, улыбнулась и приподняла голову. Асылбек сел на табуретку и потрогал ее лоб.

– Руки холодные у тебя, – сказала она.

– Холодные? – он быстро убрал руку.

– Нет, нет... Хорошо, что холодные. Мне приятно...

Асылбек гладил лоб жены то одной, то другой рукой.

– Спасибо, что пришел... – сказала Джумагуль. – Как дети? Маленький, наверное, плачет?...

– О них не беспокойся, завтра приедет бабушка, побудет с ними, пока ты выйдешь...

– Выйду? – спросила жена.

– Скоро выйдешь, доктор сказал...

– Спасибо, Асылбек, спасибо тебе, что пришел...

– Мог ли я не прийти?...

По щеке Джумагуль скатилась слезинка.

Несколько дней назад между ними произошла ссора, одна из очередных бытовых перепалок, какие бывают между мужем и женой. Поводом могли послужить пять рублей, которые Асылбек тратил на покупку билетов на футбол или бутылку вина.

«Ох, и нудная! Неужели ей действительно жалко пяти рублей? Стоит ли из-за них поднимать шум и бранить меня при детях? Я ведь работаю, зарабатываю, почему бы мне не выпить с друзьями?» – с досадой думал Асылбек.

«Грубиян! Раскричался на то, что я спросила о пяти рублях. Подумаешь, спросила. Я ведь женщина. В конце концов, я забочусь о том, чтобы тянуть от зарплаты до зарплаты. Легко ли воспитывать троих детей! Дура я! Если бы я знала, что он будет таким?» – горестно размышляла она.

Порою, они выражали свои мысли вслух, и ссора разгоралась с новой силой. Впрочем, Джумагуль была остра на язык. Ее воспоминания о том, что он обещал до женитьбы (носить ее на руках, никогда не обижать и т. д.) и что вышло теперь, когда она стала матерью троих детей, кончались тем, что Асылбек брал свой серый плащ, велюровую шляпу и уходил, громко хлопнув дверью.

Пока муж спускался с четвертого этажа, Джумагуль, перегнувшись через перила, строчила, как из пулемета, в его спину:

– Забудь детей! Не показывайся на глаза! Уходи, не смей возвращаться!

Если бы это и вправду были пули, бедный Асылбек давно превратился бы в решето и сквозь него свистел бы ветер. Асылбек вел себя как настоящий мужчина, – спокойно продолжал спускаться вниз, как будто у него на голове был непробиваемый шлем, а на спине кольчуга. Спустившись на первый этаж, он поднимал голову и, как хороший снайпер, производил один только выстрел:

– Замолчи, толстуха!

Жена вмиг умолкала и, как раненая медведица, скрывалась за дверью квартиры, валилась на диван и долго плакала.

«В какой черный день я повстречалась с ним? Разве я виновата, что располнела? Может, думает, что я все съедаю сама и не даю детям? А куда он смотрел, когда мы встречались? Разве не видно было, что расположена к полноте? О-ой, мама!... Есть ли у меня время следить за собой? Смотрю за детьми, стираю, готовлю. Я бы тоже могла краситься и носить платья в обтяжку!»

Перестав плакать, она легонько шлепала детей за шалость, умывалась и принималась за хозяйство. Что поделаешь? Такова доля женщины.

Так было и в последний раз.

Асылбек взял свой серый плащ, хлопнул дверью, сказал свое: «Замолчи, толстуха!» – и ушел.

Он пошел в бильярдную, поиграл часа два с одним приятелем, после чего они направились в ресторан... Проснулся Асылбек у-

ром в низком домике где-то на окраине города. На столе стояли пустые бутылки, полная женщина в платье из панбархата жарила колбасу и игриво напевала. Приятель, нечесаный и опухший, пыхтел, зашнуровывая ботинки... Асылбек пришел домой поздно вечером и узнал, что жену забрали в больницу.

– Джумакай, я говорил с доктором, оказывается, это лучший ученик профессора Алтынбаева. Он сказал, что ничего серьезного нет, тебя вылечат... – Асылбек ладонью вытер жене слезы.

Джумагуль прижала его руку к своим теплым щекам. Джумакай!... Так он называл ее лет пятнадцать назад, когда они не были еще мужем и женой! Но со временем это ласкательное «Джумакай» почему-то забылось.

«Почему? Если бы ты хоть раз в неделю называл меня так! Я бы пошла за тобою в огонь и в воду! Ты сердишься, когда я недовольна твоим поведением. Может, я не всегда права, но ведь ты умнее и сильнее меня. Разве думали мы, что доживем до таких мелких, изматывающих нервы скандалов? Думали ли, когда для нас было счастьем молча ходить вдвоем и будущее казалось нам раем? Провожая меня домой, ты молчал, не выпускал мою руку и смотрел в мои глаза. Я говорила: «Асылбек, отпусти, мама заждалась». А ты все равно смотрел в мои глаза и не отпускал руку. А потом... Потом мы поженились. Обзавелись хозяйством, родились дети. И началось. Раздоры. Обиды. Прошлой осенью мы решили разойтись, а тебя неожиданно послали в командировку. Вначале я обрадовалась твоему отъезду, через неделю начала скучать. Через две недели хотела написать тебе, но не писала. А всю четвертую неделю я простояла у окна, смотрела на улицу. В день твоего приезда искупала ребят, хотела пойти на вокзал встречать тебя. А за час до прихода поезда раздумала. Не знаю, может, вспомнились обиды, а может, побоялась, что неправильно поймешь меня. Поэтому, когда ты вошел в квартиру, я ушла в другую комнату. А когда ты спросил обо мне у детей, хотела крикнуть: «Здесь я, здесь. Соскучилась! Ждала! Не уезжай больше никогда!» но почему-то не сделала этого. Ты, как чужой, пожал мне руку и ушел в свою комнату. Через неделю я забыла волнение, вызванное ожиданием тебя, так как началась прежняя жизнь... Рука у тебя мягкая, нежная, как тогда, как пятнадцать лет назад. О чем ты думаешь сейчас? Трудно будет тебе с тремя детьми. Что делать, коротка жизнь твоей Джу-

макай. Это я знаю. Еще бы хоть чуть-чуть... Один годик жизни, и ты бы узнал, как я могу любить!»

От этих мыслей у Джумагуль снова навернулись слезы.

«Бедняжка ты моя! – думал в это время Асылбек. – Сколько дней, сколько прекрасных дней и здоровья ушло впустую. Мы были подобно путнику, растерявшему на обочинах дороги свое счастье. Ведь мы когда-то любили, мечтали. Куда все это делось, словно покрылось ржавчиной. Кто виноват? В прошлом году, когда мы решили разойтись, я уехал на месяц в командировку. Тогда я уехал специально, чтобы удостовериться в том, что все перегорело. Думал, никогда к тебе не вернусь. Но через неделю заскучал по детям, через две захотелось увидеть тебя, третью неделю все думы были только о тебе, к концу четвертой недели считал дни и часы. Искал повод вернуться домой. Приехал, сошел с поезда и долго стоял на вокзале, казалось, что ты обязательно придешь встречать. И если бы ты пришла, при всем народе взял бы на руки и, как ребенка, унес домой. Но ты не пришла. А когда я вошел в квартиру, ты ушла в другую комнату. И все закрутилось по-прежнему... Теперь ты лежишь и тихо умираешь. Почему настоящие человеческие чувства, любовь, верность, цена счастья раскрываются только перед большим горем? И почему мы, люди, не умеем ценить время, самих себя, любить по-настоящему, если есть любовь, верить по большому счету, если есть вера, не омрачать свою жизнь, чтобы радоваться, любить, улыбаться солнцу!... Пожила бы еще год, полгода со мной, с нашими детишками. Какую бы я устроил тебе жизнь!» – к горлу подкатил комок, он отвернулся, незаметно вытер уголки глаз.

Они смотрели друг друга, занятые своими мыслями, и молчали.

В палату тихо и плавно входили сумерки, белоснежные простыни и шторы казались уже серыми. За окном шумел дождь, стучал по стеклам. С деревьев слетали желтые листья. Они падали, как бабочки со сломанными крыльями, и неуклюже опускались на землю.

– Поздно уже, – сказала она.

– Что поздно?...

– Стемнело, а дети одни...

– А-а... Да... Я посижу еще чуть-чуть...

– Дождь...

– Осень...

Дождь стучал по железной крыше, шумел в деревьях.

– Джумакай!... – Асылбек посмотрел ей в глаза, ему вдруг захотелось закричать: «Куда ты? Куда уходишь? Я же люблю тебя! Люблю тебя в сто раз сильнее, чем тогда, когда еще не были женаты, когда у нас еще не было детей». Но вместо этого он погладил ее руки и спросил: «Что завтра принести тебе?»

– Немного виноградного сока...

– Тебе не страшно здесь одной?

– Здесь дежурит хорошая медсестра... Поцелуй детей, скажи, что я скоро приду.

Асылбек поднялся.

– Асылбек... – Джумагуль задержала его руку.

«Ты очень хороший, я скоро умру, но я счастлива, что ты будешь жить», – хотела сказать она.

Он ждал.

– Дай тете Нюре пять рублей, пусть побелит кухню, – сказала Джумагуль.

Асылбек поцеловал ее и вышел...

...В ту ночь ни Асылбек, ни Джумагуль, не спали. Вспоминали первое знакомство, первый поцелуй, свадьбу и улыбались.

Наутро, чуть свет, Асылбек был в больнице.

– Сейчас шесть часов, посещение больных с восьми, – сказала медсестра.

– А можно посмотреть в окно?

– Она спит...

– Я не разбужу, я краешком глаза...

– Со двора, третье окно, слева.

Как только Асылбек показался в окне, Джумагуль подняла голову и улыбнулась. Она ждала.

– Ты почему не спишь, Джумакай?

– А ты почему так рано пришел?

– Начальник велел прийти пораньше. Шел мимо и заглянул.

– Не опоздаешь?

– Время еще есть. Как самочувствие?

– Немного голова кружится. Кровь вливали. Завтра приедет профессор. Ну, иди, замерзнешь в плаще, надо было надеть свитер...

– Ничего, я ведь джигит.

– Не слышно.

– Я джигит, говорю, а джигит должен быть выносливым! – засмеялся он.

– А-а... – Она улыбнулась. – Переодень сорочку, в шкафу есть новая, купила ко дню рождения...

– Спасибо, Джумакай...

– Опоздаешь на работу!

Он посмотрел на часы:

– В запасе два с половиной часа...

Джумагуль поняла, что муж пришел к ней так рано специально, и погрозила ему маленьким кулачком. Он улыбнулся, как ребенок, пойманный с поличным.

* * *

Профессор Алтынбаев, приехав из Москвы, собрал по обыкновению всех врачей и осведомился о состоянии больных.

– Поступила женщина со сложным диагнозом: белокровие, – сказал Алмамбетов.

– Белокровие?

– Все симптомы и анализы подтверждают...

– Покажите! – приказал старик.

Когда в палату вошли люди в белых халатах во главе с профессором, сердце Джумагуль учащенно застучало. Профессор достал часы на золотой цепочке.

– Что вы разволновались, дочка? – спросил он, взяв Джумагуль за кисть.

– Не знаю...

– Сколько вам лет?

– Тридцать пять.

– Дети есть?

– Трое... Младшего недавно пришлось отнять от груди...

– Та-ак... Отняли от груди, значит? Проверьте давление! – сказал Алтынбаев.

Проверили давление.

– Та-ак... Хорошо... Где история болезни?... Та-ак... Очень хорошо, – сказал профессор.

Джумагуль следила за каждым жестом и взглядом пришедших.

– Сделайте еще одно вливание крови, назначьте усиленное питание... Сахар, виноградный сок, кумыс – это вам очень полезно. Как вы живете? Обеспечены?

– Да... пожалуй...

– По детям соскучились?

– Соскучилась...

– Что ж, скоро будете с ними, – профессор и его свита вышли из палаты.

«Отпустят, чтобы успела проститься с детьми», – подумала Джумагуль.

– Если у этой женщины будет нормальная температура, выпишите ее, – сказал Алтынбаев.

– Почему, профессор? – удивился молодой врач.

– Обычное послеродовое малокровие, – сказал профессор.

– Но анализ крови говорит...

– А давление? О чем говорит давление? – перебил его профессор.

Все замолчали.

– Да, профессор, этого я не учел... Значит, не белокровие?

– Именно, что нет! – весело сказал профессор и крепко тряхнул своего ученика за плечо.

...Вечером, когда Асылбек подошел к окну, он увидел, что Джумагуль лежит, укрывшись с головой одеялом.

– Джумакай! – шепотом позвал Асылбек.

Молчание.

– Джумакай, я пришел! Слышишь? – постучал он в стекло.

Одеяло зашевелилось и вдруг... О, ужас! Из-под одеяла показалась бородастое лицо! Асылбек чуть не лишился чувств. Он припал к окну и несколько секунд смотрел на старика, как заклинатель змей.

– А где женщина? – спросил он наконец.

Старик пожал плечами.

– Джумакай! Неужели все?! – закричал Асылбек. – О, горе мое! Зачем я ушел утром? О, радость моя! Почему так быстро?... Они же говорили, что есть еще время?... – ничего не видя перед собой, бросился через лужи к входу, забрызгал брюки, плащ. Дверь была заперта!

– Откройте! – забарабанил он в дверь. – Где Джумакай? Что вы с ней сделали?

– Что с вами, гражданин? – появилась молоденькая медсестра.

– Где? Где она? – бормотал Асылбек и вдруг в изнеможении прислонился к стене.

По длинному коридору с узелком в руке шла Джумагуль. Она улыбалась...

* * *

...Прошло некоторое время, и однажды соседи вновь услышали знакомые голоса.

– Уходи! Не показывайся мне на глаза! – строчила женщина с четвертого этажа.

А мужчина невозмутимо спускался вниз, словно был одет в броню. Спустившись на первый этаж, он поднял голову, прищурился и сказал: «Толстуха!» – и ушел.

Женщина вмиг замолкла. Она вернулась в комнату, но не бросилась на диван и не заплакала, а подошла к окну. Муж, ссутулившись, шагал по асфальту, подняв воротник серого плаща.

Шел дождь... Падали желтые листья...

1961 г.

ГРАЖДАНОЧКА

В автобусе было душно, при каждом толчке люди наклонялись вперед, потом отшатывались назад.

– Эй, водитель, не дрова везешь!

Под надписью «Места для детей и инвалидов» сидела полная пожилая женщина в шерстяном платье неопределенного цвета. Ей было очень жарко. Она помахивала крепдешинным платочком с обвязанными краями и тяжело дышала. Она решила выйти из автобуса на следующей остановке и идти домой пешком. Вышла она из дома сегодня рано, когда было еще прохладно, и не учла, что майские дни капризны, как избалованные дети: утром дождь, в обед жара, а вечером опять дождь. Женщина сетовала на духоту и на свое теплое платье. Машина приближалась к остановке, а она никак не могла вытащить корзину с продуктами, застрявшую под сиденьем.

– Помогите вытащить сумку! – попросила женщина.

Корзина, туго набитая продуктами, поплыла над головами. Из нее посыпался какой-то порошок – не то сода, не то крахмал. Когда женщина пробралась к выходу, вдруг что-то треснуло. Это от ворота платья отлетела большая перламутровая пуговица. Но попробуй

найти ее в такой давке.... Пришлось выйти без пуговицы. Оказавшись на свежем воздухе, женщина облегченно вздохнула и укоризненно посмотрела вслед удалявшемуся автобусу, проворчала что-то и, придерживая рукой ворот, направилась к подарочному магазину, чтобы купить там булавку или какую-нибудь дешевенькую брошь, которая бы заменила пуговицу.

В магазине было много народу..., было так жарко и душно, как в автобусе. Женщина хотела рассказать продавцу о своем несчастье с пуговицей, но с разных сторон зашумели.

– Гражданочка! В очередь встаньте, все мы торопимся.

– Не за хлебом же, постоять можно! – сказала блондинка в розовом платье.

– Да не подарок, булавку надо, – попыталась возразить женщина, но ее слова потонули в шуме осуждающих голосов.

Пришлось стоять в очереди.

Женщины шумели, выбирали галстуки, портсигары, пепельницы, бритвенные приборы – словом, все мужское.

– Мне два галстука. Вот этот и этот. Еще вот эти орденские ленточки, – щебетала женщина в зеленом платье.

Продавщица, красивая девушка с быстрыми, озорными глазами, молниеносно заворачивала подарки и вручала покупателям. Блондинка выбрала серебряный портсигар и попросила гравировщика, работавшего рядом, сделать на нем надпись: «Любимому мужу в День Победы».

«Сегодня же День Победы!» – вспомнила пожилая женщина.

Между тем подошла и ее очередь.

– А вам что, гражданочка? – в упор спросила продавщица.

– Да... мне... все равно... что-нибудь... – растерянно пробормотала гражданочка.

– Ну, говорите скорей! Люди ждут. Вот так всегда, не обдумывают заранее, а потом стоят по полчаса, размышляют. А продавец виноват! – заторопила продавщица.

– Давайте что-нибудь... – еще более растерялась женщина.

– Галстук, что ли?

– Да-да, галстук...

Обруч с галстуками завертелся перед женщиной пестрой каруселью.

– Сколько? Два?

- Да-да. Пусть два...
- Молодому или пожилому?
- Да...
- Ну, кому? – застыла продавщица в нетерпеливом ожидании.
- Кончайте рядиться! Магазин скоро закроют, – торопили сзади.
- И тому, и другому...

Обруч уже не вертелся, но пожилой женщине казалось, что пес-
трая карусель все еще мелькает.

Продавщица завернула галстуки в хрустящую бумагу, перевя-
зала голубой ленточкой и, протянув сверток, занялась стариком в
соломенной шляпе, который перебирал галстуки, словно перед ним
были куски порубленного мяса.

– Сыну, он у нас фронтовик, в шестнадцать лет ушел, Берлин
брал... Берлин! – бормотал он. – И дочка у меня... Ей-то я купил,
купил...

Пожилая женщина вышла из магазина и вспомнила, что за-
была купить булавку, так и дошла она до дома, придерживая во-
рот рукой, а перед глазами вертелась карусель пестрых галсту-
ков.

Женщина вошла в комнату, поставила корзину, подошла к кро-
вати, села и развернула покупку: один галстук был белый, с мелки-
ми черными крапинками, а другой коричневый, с крупными ромби-
ками. Она долго смотрела на галстуки, а потом прижала их к груди
и горячо заплакала...

Женщина долго лежала. В комнату вползли сумерки. Двери оста-
вались открытыми настежь, сквозняком колыхало старые тюле-
вые занавески. Потом стало совсем темно. Громовой раскат заста-
вил женщину вздрогнуть, она подняла голову. Но это был не гром,
это был салют в честь Дня Победы. Еще раз грянул залп. Огни освети-
ли два портрета. Один портрет висел на стене. Это был человек в
буденовке, с петличками на воротнике. Другой портрет стоял на
комоде. Совсем еще юный парень в форме летчика. Женщина вста-
ла, подошла к окну.

Она стояла и смотрела на салют, в глазах ее поднимались и па-
дали огни...

1963 г.

ЛИВЕНЬ

(Киноновелла по пьесе «Дуэль»)

Дикий берег Иссык-Куля. Горы подступают к самой воде. Ветер треплет высохшие верблюжьи колючки, безлистный курай. На старом, заброшенном кладбище, прижав к груди ребенка, стоит древнее каменное изваяние. Осень. Вода в море темно-синяя, почти бурая. Зброшенный пляж. Потрепанные ветром зонты, навесы, поломанные скамейки. Стойки от бывших палаток. Перевернутые вверх дном лодки, заржавленные тросы, якоря. Купальный сезон давно кончился. Кажется, никого здесь нет. Но по берегу, утопая ногами в песке, бежит женщина с распростертыми руками и смотрит в небо. Ветер треплет ее легкое платье, распущенные волосы. По небу плывут вереницы перелетных птиц.

– Эге-ге-о-о! Пти-и-ицы! Вы ку-да-а? Я хочу с ва-а-а-ми!

Голос ее тонет в шуме прибоя и ветра.

– А-а-о-о!

Она вдруг остановилась – ей показалось, что кто-то услышал ее голос и отозвался со стороны моря.

– Эге-ге!

– О-о! А-а! – вновь послышалось с моря.

Женщина сняла косынку и начала размахивать ею.

На синих злых волнах, то появляясь, то исчезая, качалась легкая лодка, в ней стоял человек и тщетно пытался завести заглохший мотор. Человек в лодке и женщина на берегу заметили друг друга. Она показывала рукой на отмель. Он остановил мотор, сел за весла и что есть силы начал грести к берегу. Легкую лодку бросало, как щепку, но он упорно вел ее туда, где стояла женщина. Лодку приподняла большая волна и бросила на мель. Человек попытался снять ее, но мотор глубоко врезался в песок. Он спрыгнул с лодки, по воде бросился к женщине. Она, увидев человека, невольно попятилась к палатке, стоящей чуть поодаль: берег был пустынный, наступали сумерки, человек был незнакомый, женщина была одна.

– Что случилось? – спросил он, подбежав к ней.

Она удивленно покачала головой.

– Вы кричали?

– Я.

– Значит, вы звали на помощь?

Она покачала головой.

– Перепугали до смерти, – сказал он упавшим голосом. – А тут еще мотор заглох. Человек зовет на помощь – надо спасать. Морской закон.

Тут только она поняла, в чем дело, и рассмеялась.

– А я думала, вы зовете на помощь!

Он тоже все понял, успокоился и окинул ее взглядом, теперь уже не как человека, зовущего на помощь, а как молодую красивую женщину.

– И что же вы не бросились ко мне? – спросил он.

– Плавать не умею.

– А как вы собирались спасти меня?

– Очень просто. Стояла бы на берегу и звала к себе, и вы бы как-нибудь выкарабкались. Чаще всего человек тонет от страха.

Он засмеялся.

– А я понял вас иначе. Стоите на берегу, кричите, словно зовете на помощь...

– Я кричала не вам. Птиц увидела.

– Вы что, никогда не видели птиц?

– Видела в основном воробьев. Городских. Мелких и нахальных. И еще ворон. Гадких.

– Почему гадких?

– Они, как и люди, клюют все подряд. А эти? – она с восхищением посмотрела на небо. – Гордые. Чистые! – подошла к костру, присела на корточки и начала поправлять огонь и, может, на какой-то миг, занятая своими мыслями, забыла, что рядом стоит человек, который бросился к ней на помощь. Она подняла голову и посмотрела на него. Он стоял, обхватив себя руками, в мокрой тельняшке, замерзший, с его закатанных штанов на холодный, серый песок сбегали струйки морской воды.

– Вам что, холодно? – спросила она.

– Нет. Нисколечко, – ответил он, стуча зубами.

– А почему дрожите?

– Так просто. Люблю дрожать.

– Ладно пижонить, садитесь к огню, – разрешила она.

Он подсел к огню, начал выжимать штанины, вылил из тужески воду. Она пошла к палатке, откинула полог, обнажив борт красной машины.

- Ого! Ваша собственная? – спросил он.
- Её собственная! – она не без гордости кивнула на корягу, на которой висела замшевая куртка, соломенная шляпа, двустволка и бинокль. На песке стояли огромные болотные сапоги.
- Дикари, значит?
- Снежные человеки! – вздохнула она.
- И откуда вы такие?
- С Памира, там пасется наше стадо! – сообщила она, не моргнув глазом.
- Он засмеялся.
- Смешно, да?
- Юмор у вас больно свежий, – заметил он.
- Она посмотрела на него и ничего не ответила.
- Поздновато приехали. Сезон кончился. Холодно. Никого нет.
- А нам никто и не нужен, – грубо оборвала она. – В магазине надоели.
- Ага! Вы работаете в магазине?
- Догадливый товарищ.
- А ваш?... – Он кивнул на корягу.
- А наш – завмаг. Что вас еще интересует? – она цинично глянула ему в глаза.
- Больше ничего, – смутился он невольно.
- Слава богу. А вы кто такой? Комиссар Мэгре?
- Нет, я простой советский офицер.
- О-о! Это уже заманчиво. И награды небось имеете, значки всякие за отличную службу, за спасение утопающих, за сбор урожая, – начала она.
- Орден, причем Боевого Красного Знамени, – серьезно сказал он.
- О-о! Какой молодец! А за что вам их дают сейчас? Войны-то нет, – спросила она с иронией.
- За мирное сосуществование, – жестко ответил он.
- Вы служите в Иссык-Кульском флоте? – ехидно спросила она.
- Служил. В дальневосточном. А теперь нигде.
- Уволили?
- Уволили.
- Штрафник?
- Так точно!

– За что же вас?

– Мало ли за что. Все мы люди, все мы человеки. – Он посмотрел на ее стройные ноги, она невольно прикрыла их полой халата.

– Все понятно, обманывали девушек, курили японские наркотики.

Он невольно развел руками.

– Не хорошо, товарищ, так вести себя! – пожурила она.

– Да, да, вы правы, сеньора.

– А семья-то у вас есть?

Он покачал головой.

– И родителей нет?

– Откуда? – развел он руками.

– Так вы еще и подкидыш?

– Да. Как сейчас помню. Это было в новогоднюю ночь. Меня подкинули к дверям директора общественной столовой. Он меня и выкормил.

– Ну, а почему не женились до сих пор?

– Развелся.

– Развелся. Ай-яй-яй! А с виду такой спокойный! А-а, хотя все вы здесь разведенные. Курортники! – она махнула рукой, начала поправлять огонь.

– Да, конечно, но, к сожалению, я действительно разведен, – сказал он серьезно.

– Характерами не сошлись?

Он молча покивал головой.

– А-а, знаю я вас. Ходите по пятам, стихами голову морочите. А потом: адью, характерами не сошлись и – привет родителям.

– Позвольте, откуда вы все это знаете?

– Я же цыганка! – сказал она низким голосом.

– Да ну? – удивился он.

Она обнажила плечо. Достала из кармана карты, прошлась цыганской походкой.

– Понятно?

– О-о! Вполне. Выходит, у вас не только поклонник, но и талант?

– Поклонник есть, а вот талант! – она показала кукиш. – Гадать умеете? – вдруг спросила она, видимо, решив изменить тему разговора.

Он хотел сказать, что не умеет, но она держала вытянутую руку с картами и смотрела ему в глаза. Он взял карты, встал на колени.

– На кого? – спросил он таинственно.

– На крестового, – ответила она ему в тон.

Он разбросал карты.

– Ого-го! Вам чертовски везет! Король ваш очень пожилой и... очень, очень добрый человек. Имеет... что же он имеет? – открыл еще одну карту, – имеет собственную машину!

Она засмеялась. Засмеялась искренне. Впервые за все время разговора.

– Что вы смеетесь? Карты врут?

– Нет. Не карты. Ну-ну. Продолжайте.

Он продолжал раскладывать карты.

– Он вас уважает, та-ак. Что еще? – открыл карту. – О, ужас! Он вас любит! А вы, в свою очередь?... – открыл карту. – А вы, в свою очередь, очень довольны своей жизнью и безумно счастливы?

– Вы что, прорицатель? – к ней вернулись прежняя наигранность, ирония.

Посмотрел на нее в упор. Как гипнотизер:

– Извините. Я телепат!

– Ой, как страшно. А может, товарищ телепат, вы знаете, что такое счастье?

– Я знаю все! – категорично заявил он.

– Рассказывайте немедленно! – приказала она.

– Прежде всего я должен посоветоваться со своим подсознанием. – Он посмотрел в небо, словно прислушиваясь к своему внутреннему голосу. – Мое подсознание говорит, что счастье – это мечта. Когда человек достигает ее, он становится счастливым.

– А потом?...

– А потом у него появляется новая мечта.

– И вы что, были счастливы? – спросила она почти серьезно.

– Был.

– И долго?

– Тридцать лет.

– Ах как долго!

Он, видимо, решил не продолжать этот разговор и вытащил из кармана сигареты.

– Давайте лучше покурим, – он протянул пачку и держал ее до тех пор, пока она не взяла сигарету, потом подал огонь.

– А вы были счастливы? – спросил он вдруг.

Она не стала прикуривать, словно ее застали врасплох, посмотрела ему в глаза, бросила сигарету в песок.

– Не помню! – резко бросила она, встала, прошла к палатке, вынесла бутылку с вином, посмотрела на море, подседа к нему. – Хотите согреться?

– Спасибо, мне нельзя.

– Совсем?

– Совсем.

– Вы что, лечились?

– Лечусь.

– Ну что ж, извините, – с сочувствием сказала она.

Где-то далеко-далеко послышался рокот мотора. Она прислушалась. Подошла к берегу, сняла с коряги бинокль. Посмотрела в море. На волнах, то появляясь, то исчезая, качалась моторная лодка. Он подошел к ней, взял бинокль. Посмотрел.

– Это ваш муж?

– Любовник.

– Ого!

Он посмотрел на нее с изумлением.

– Не верите?

– Верю. Но сейчас это как-то иначе называется. Друг. Товарищ. Или еще как-нибудь.

– Надо вещи называть своими именами, – жестко сказала она, ушла в палатку и начала прибирать посуду.

Он не знал, как быть дальше, некоторое время смотрел на нее, а потом взял бинокль и уставился в море. Лодка приближалась.

– Вам лучше уйти, – сказала она, не поднимая головы.

– Отелло?

– Хуже.

– А может остаться? Бросить ему вызов за любовь прекрасной цыганки? – он шутливо засучил рукава и штанины.

– Не советую, – сказал она серьезно.

– Выходит, карты наврали?

– До свидания.

Она достала из кастрюли кусок теста, начала раскатывать его. Он стоял немного растерянный от столь неожиданного поворота разговора, а она занималась своим делом, словно здесь никого не было. Он подошел к огню, забрал сигареты.

– Чао!

Она не ответила и продолжала раскатывать тесто. Он постоял немного и пошел к своей лодке. Она подняла голову и смотрела вслед, пока он не отплыл от берега и не пропал за волнами. Лицо ее стало очень серьезным и суровым. Потом она подошла к берегу и стояла до тех пор, пока не подошла другая моторная лодка, в которой был Искандер. У него было прекрасное настроение, так как он вернулся с большим уловом. Искандер бросил конец веревки. Нази ловко подхватила ее на лету и подтянула лодку. Он спрыгнул прямо в воду, подошел к ней, легко поднял на руки, начал целовать в глаза. Нази расслабила руки и выпустила конец веревки. Когда он поставил ее на ноги, лодку довольно далеко унесло волнами. Искандер захохотал громко и открыто, сбросил с себя одежду, обнажив крепкую стройную фигуру, бросился в воду, доплыл, взял конец веревки в зубы и потащил лодку к берегу. Она стояла на берегу и громко хохотала. Он вышел на берег.

– Почему ты смеешься?

– Ты похож на собаку.

– Спасибо.

Они вытащили лодку. Он достал ведро. Там трепыхались серебристые рыбины. Он стал показывать одну за другой, специально выбирая по нарастающей величине. Она чмокнула его в щеку.

– А теперь, малыш, сделай мне солнце изнутри.

Она побежала к палатке, налила в бокал коньяк и подошла к нему. Он взял у нее бутылку, хлебнул несколько больших глотков прямо из горла.

– Хорошо пошло! – Он вылил то, что было в бокале на ладонь, и растер себе грудь. – Штормяга. Лодку бросает, как дуру, и как назло голый осман пошел на клев! – подсел к костру, увеличил огонь. На лице его заиграли красные блики.

– Перевернешься когда-нибудь...

– Не такое видали. – Он похлопал себя по груди.

Она принесла большое махровое полотенце и теплый халат.

Он вытерся, оделся и растянулся на коврике.

– Блаженное солнце в жилах моих, как говорил Омар Хайям, – открыл кастрюлю, из которой дыхнуло горячим паром. – Скоро у тебя?

– Через минут десять будет готово...

– Подай гитару! – попросил он.

Она принесла гитару. Искандер начал наигрывать и тихонько петь грустную песню.

– Ты что молчишь?

Она пожала плечами.

Море становилось мрачным. Сумерки спускались все ниже и ниже.

– Хочешь кофе?

– Покрепче!

– Коньяк?

– Еще крепче!

– Что?

– Тебя...

– Перебьешься, – сказала она тихо.

– Что с тобой? – насторожился он.

– Так, ничего... – Она опустила лапшу в кастрюлю и стала ждать, когда сварится. Он некоторое время смотрел на нее, а потом упал на спину и начал тихонечко наигрывать на гитаре и мурлыкать.

Небо стало почти черным. По мрачному морю бегали белые барашки воды.

– Ты был когда-нибудь счастлив? – вдруг спросила она.

– Я-то, – засмеялся он. – Много раз. Вот и сейчас тот самый случай. Дикий берег. Море. Прекрасная женщина, и у нее красивые ноги... – Он немного поиграл на гитаре. – А почему это заинтересовало тебя?

– Не знаю...

Она сняла с огня кастрюлю, налила ему супу, подала хлеб.

Он взял вторую ложку, подал ей. Она покачала головой. Ей не хотелось есть.

Он помолчал. А потом начал есть сам.

– Перед отъездом я была у врача... – сказала она.

Он продолжал есть.

– Он сказал, что я... никогда не буду матерью. – Она сидела к нему спиной и не видела, как он отреагировал. А он перестал есть и замер.

– Ты слышишь меня?

Он молча поднял на нее глаза.

– Почему ты молчишь? – спросила она.

– А что надо говорить? – спросил он.

– Не знаю...

Он отодвинул тарелку, подошел к ней, поцеловал в затылок. Она прижалась к нему спиной, как бы ища в нем точку опоры, он обнял ее большими крепкими руками.

Между тем спустилась ночь. Море потемнело. Волны, как самоубийцы, бросались на берег и откатывались назад, унося с собой круглую гальку.

Шумел прибой... Кланялся прибрежный камыш. Была ночь. Шел дождь. Блестели скалистые склоны гор. Море пенилось. Ветер трепал одинокую палатку, стоящую на берегу. Светилось маленькое окошко.

...Утро. Солнечное. Яркое. Море играло веселыми бликами. Небо чистое, синее. Горы были светлые, голубые, вымытые ночным дождем.

Дикий, скалистый берег. Двое резвились на берегу. Бегали друг за другом. Барахтались в воде. У них было отличное настроение. Такое же безмятежное, как это море и это небо. Они громко хохотали, играли, как дети.

Он с разбегу прыгнул в море и надолго исчез под водой. Она начала беспокоиться, побежала к лодке, схватила спасательный круг, но в это время из воды стали медленно выплывать зеленые лохмотья, а потом показалась голова бога моря. Он был в короне из водорослей, усы и борода тоже из водяных растений. В руке трезубец. Она звонко засмеялась. Он вышел из воды, поднял ее на руки и чуть не уронил. Она слегка ушибла колено, захромала и притворно заплакала. Он поцеловал ушибленное колено, и боль прошла. И в этот момент что-то ослепило ее со стороны гор. На самом верху, очень далеко, она увидела силуэт человека. Он стоял на скале неподвижно, как каменное изваяние, и смотрел на них. Увидев человека, она перестала смеяться. Искандер ничего не заметил и продолжал хохотать. Они упали на песок, он начал целовать ее, она увернулась. Искандер стянул с ее плеча бретели купальника.

– Нет! Нет! – Она глазами показала на человека, стоявшего на вершине горы.

Искандер, увидев человека, замолк и вопросительно посмотрел на нее. Она недоуменно пожала плечами.

– Эгей-гей! – крикнул Искандер и погрозил кулаком, но тот остался неподвижным.

– Дай-ка ружье! – приказал он.

Когда она принесла ружье, человека уже не было. Искандер начал шарить глазами по склонам гор и увидел ягодицы, обтянутые серыми брюками, – человек поднимался выше и скрылся из глаз.

– Псих какой-то! – Искандер взял ружье, загнал два патрона, повесил на корягу. – Если появится, пугани из пушки, – посоветовал он, оделся и начал собираться на рыбалку.

* * *

Нази сидела на берегу и чистила рыбу. Вдруг за ее спиной послышались шаги. Она вскочила. Бросилась к коряге, где висело ружье.

– А! Это вы, товарищ телепат? – успокоилась она, увидев его.

– Он самый. Здравьте, – улыбнулся он.

– Привет.

– Осман? – спросил он, увидев большую серебристую рыбину с голубыми пятнышками.

– Причем голый! – ответила она. – Это вы торчали на вершине?

– Видимо, я. А что?

– Да так. Ничего.

– Помешал вам?

– Нисколечко.

Он сел рядом. Начал помогать чистить рыбу.

– Скучно вам здесь?

– А где не скучно?

– В городе, например.

Она безнадежно махнула рукой.

– То же самое. Разве что шуму побольше. Никуда от этой скуки не денешься. В детстве казалось: добегу до горизонта, а там будет что-то новое, другой мир, другое солнце, что ли... – Она вспоролла острием ножа живот рыбы.

– За горизонтом – новый горизонт...

– Вот именно. Замкнутый круг, а в середине скука.

- А зачем в таком случае кричать журавлям? – спросил он.
- Все-таки летят куда-то... А вы сами небось балдеете от скуки.
- Да нет. Некогда.
- Вон как! И что же делаете целыми днями?
- Любуюсь Иссык-Кулем. Слушаю музыку.
- И все?
- И еще – сплю.
- О-о, какой молодец! А я вот сегодня и глаз не сомкнула.
- Сказки слушали?
- Вспоминала, была ли я счастлива когда-нибудь.
- Ну и каковы успехи?
- Плачевные...
- Неужели вы никогда ни о чем не мечтали?
- Мечтала, да вспоминать смешно.
- Почему смешно?
- Дура была, вот и смешно. Мечтала стать актрисой. После десятилетки пошла в театр, к главному администратору. Лысый дядечка такой, с красными губами, говорит: «По системе Станиславского и Немировича–Данченко театр начинается с вешалки», – и устроил меня гардеробщицей. Однажды позвал к себе и давай за колени хватать. Еле вырвалась.
- А что понимает администратор, надо было идти к специалисту.
- Ходила и к специалисту. Тенор оперетты. В нашем городе все девчонки по нему сохнут. Заставил меня читать какую-то басню дурацкую, а сам смотрит масляными глазками... Противно стало...
- И на этом все? Больше не мечтали?
- Было однажды еще, но это была страшная мечта.
- То есть как страшная?
- Мечтала спастись от тюрьмы. Вот и страшно.
- Вы были в тюрьме?
- Могла бы, да он спас! – Она кивнула в сторону моря. – Не успела поступить на работу в магазин, обнаружилась большая недостача. Уже и в суд решили передать. И вдруг пришел он и все уладил. Мы с мамой обняли его и заревели, как две дуры.
- Стало быть, мечта ваша сбылась! – торжествующе сказал он, так как чувствовал, что он был прав.
- Сбылась...
- Значит, вы были счастливы в ту минуту?

Она ничего не ответила, махнула рукой и продолжала чистить рыбу, видимо, и сама удивилась тому, что вдруг рассказала об этом человеку, которого видит второй раз. А он еще больше взволновался, заговорил горячо – его концепция счастья получила подтверждение в самой жизни, и это обрадовало его.

– Конечно же, это было счастье! – Он посмотрел на сияющее море. – Люди иногда забывают, что были счастливы, но этот миг, как вспышка молнии, озаряет все вокруг...

– Ослепнуть бы от этой вспышки! – встала она.

– То есть как? – опешил он.

– А чтоб не видеть жаб и носорогов, что ползают по земле!

– Но тот, кто пришел тогда к вам и спас, не был носорогом.

Она немного помолчала, видимо, не хотела отвечать, но он смотрел на нее с видом победителя, поэтому она решила держать бой до конца.

– Это была ложь! – жестко сказала она.

– Ложь!

– Потом он признался, что спрятал два рулона бостона, устроил переучет и разыграл роль спасителя.

– Почему он так сделал? – удивился он.

– Любит меня очень, вот и сделал! – бросила она.

Он был так ошарашен ответом, что не знал, как и говорить дальше.

– И вы... считаете это... нормальным? – наконец спросил он.

Она пожала плечами.

– Это же... это же подлость! Как вы могли после этого... оставаться с ним?!

– А что я должна была делать? – цинично спросила она.

– Как что?! Бежать!

– Куда? – с иронией спросила она.

– В ледники! В пустыни! Ко всем чертям, наконец!

– О-о, какой горячий товарищ к нам пришел! Это уже интересно! – она цинично осмотрела его с ног до головы и расхохоталась.

– Почему вы смеетесь?

Она продолжала смеяться.

Он тоже невольно рассмеялся.

– Хорошо вы меня разыграли! А я, глупец, поверил! – признался он.

– Ладно притворяться-то! – отрезала она и принялась за свое дело.

– Я? Притворяюсь? – удивился он.

– А то я, что ли? – грубо оборвала она.

– Кем же я притворяюсь?

– Порядочным. Вот кем. Все вы одним миром мазаны. Ради этого изощряетесь.

– Вы меня оскорбляете!

– Да? А почему вы подглядывали за нами и явились, когда он ушел?

Он не смог сразу ответить.

– Видимо, я... хотел видеть вас, а не его, – сказал он тихо.

– А-а! Вам показалось, что я могу уйти с вами? – торжествующе закричала она. – Не на ту нарвался, голубчик! Смотри, какие у меня ноги. – Она встала во весь рост, сбросила с себя легкий халат. (Ноги у нее действительно были стройные) Понял? А теперь иди, облизывайся! И чтоб духу тут не было твоего. Понял?

Он встал, посмотрел на нее как на больную.

– Вы очень плохо думаете о людях! – сказал он, уходя.

– А ты завидуешь тем, кому хорошо! – крикнула она вдогонку.

– Это вам-то хорошо? – усмехнулся он.

– Да! Да! Да! Хорошо! – истерично перебила она его. – И это не ваше дело!

Он подошел к лодке, оттолкнул ее в воду и прыгнул в нее, начал заводить мотор.

Она бросилась в воду, схватилась за лодку и потащила к берегу.

– Довел до слез и сматываешься? Ты видишь, я плачу! – лицо ее было залито слезами. Она заговорила быстро, почти захлебываясь, так как боялась, что он уедет, не дослушав ее. – Не хочу знать, кто ты, какой ты человек. Но расскажу тебе все. Должен же кто-то знать правду. Все вы, словно сговорились, осуждаете только одну меня. Хоть бы кто-нибудь спросил, почему я не могу уйти от него. Жена его подняла шум. Меня разбирали на собрании: я разрушаю семью, позарила на его деньги, машину. Да пропади все это пропадом! Ничего мне не нужно от него! Я просто боюсь! Боюсь остаться одна. С самого детства боюсь этого. У меня был плюшевый медвежонок. Когда он утонул в речке, я заболела. Мама купила мне другого, точно такого же, но я не смогла привыкнуть к нему.

Отца своего я не помню, ушел, когда я была маленькая. Мама моя была молодой и красивой. К нам приходил один человек, принес конфеты, цветы, но в глазах у него было одно и то же. Я научилась узнавать это. Я возненавидела его, грубила. А когда мама заболела, он не стал ходить к нам. Мама очень плакала. И я поняла, как страшно быть одной, что одиночество страшнее позора... И когда Искандер спас меня от тюрьмы, я почувствовала крепкую его руку. Весь мир мне показался голубым и бездонным, как это небо. Все люди улыбались мне и казались добрыми. И даже тот администратор с мокрыми губами вдруг показался просто жалким и несчастным человеком. Я летала над голубой землей с распротертыми руками, как журавль. Я знала, что он никогда не бросит своих детей, семью, но это не имело для меня никакого значения, – я ждала своего ребенка...

Азиз вышел из лодки, присел на борт. Она поняла, что он не уйдет, и заговорила тихо, спокойно. Он молча слушал.

– А потом он признался в своей подлости... И весь мир перевернулся. Я увидела, что босая ходила по горячим углям, не замечая ожогов, ходила голая, не зная стыда. Пошла к врачу и... маленькое существо, которое начинало жить под моим сердцем... погибло... И все стало безразличным и пустым. Я ушла от него... Хотела забыть. Я могла стать воровкой, проституткой, кем угодно, и я вернулась... к нему... С кем-то другим серьезных отношений быть не могло... Разве вернешь то, что сгорело до тла. А притворяться не хотелось... Я знаю: рано или поздно я надоем ему... Мама умрет, и я останусь одна... детей у меня никогда не будет... Каждую осень я зову его сюда, чтобы ни от кого не прятаться, купаться в чистой воде, побыть одним. Вот и все...

Она встала и пошла к палатке, спокойно, словно ничего не случилось, включила транзистор. Звучала бравурная джазовая музыка. Она легла на живот, уткнулась в горячий, пахнущий йодом песок, разбросала руки, как распятый Христос, и замерла.

Он сел на корму лодки, закурил, не зная, что ей ответить, как себя вести.

Море было ласковое. Спокойное. Небо чистое. Безмятежное. Горы замерли, как на цветной фотографии.

Когда она подняла голову, он был уже далеко. Почти на самом горизонте, как парус, маячила его белая рубашка. Она подо-

шла к воде, опустилась на колени и вымыла в озере припухшие от слез глаза.

Мимо стоянки проплыл прогулочный «Альбатрос».

«Хороши весной в саду цветочки. Еще лучше девушки весной», – неслась над морем лихая старая песня.

На палубе парходика курортники отплясывали фокстрот.

* * *

Далеко в море Искандер ловил рыбу. Лодка была обложена удочками всех видов. Клев был очень хороший, потому у него отличное настроение. Он мурлыкал какую-то песенку, едва успевал вытаскивать рыбок. На дне лодки трепыхались чебачки. Он начал наживлять крючок. Червяк был большой и извивался между пальцев. В это время одну из лесок сильно потянуло. Искандер в спешке откусил лишний хвостик дождевого червя, долго чертыхался и отплевывался. Большая рыба ударила его хвостом, шлепнулась о борт. Искандер чуть не перевернул лодку, но рыбу удержал. Он засунул палец в жабры, торжествующе захохотал, поцеловал ее в лоб, взял большой нож, хряпнул ее рукояткой по голове и бросил на дно. Сазан начал хватать воздух, судорожно поднял раздвоенный хвост. В это время с берега грянул выстрел. Искандер вздрогнул и поднял голову. Нази стояла на берегу и звала его. Искандер быстро собрал удочки, начал поднимать якорь, но он, видимо, запутался в водорослях и не поддавался. Грянул еще один выстрел. Он перерезал веревку и что есть силы погнал лодку к берегу, добрался весь мокрый, в кровь разодрал ладони, выпрыгнул из лодки и подбежал к Нази.

– Что случилось?

– Я хотела спросить, – сказала она.

– Что спросить? – Он в тревоге схватил ее за плечи.

– Почему ты так сделал?

– Что сделал? – закричал он.

– Спрятал бостон.

– Фу ты, господи! Перепугала до смерти. – Он слегка оттолкнул ее и вытер со лба пот.

– Ну почему ты так сделал? – не унималась она.

– Надо было, вот и сделал, – разозлился он.

– А зачем ты рассказал мне правду? – вновь спросила она.

– Знал, что ты простишь. Вот и рассказал. – Он сел на песок и отвернулся от нее. Ему был неприятен этот разговор.

– А если бы не простила?

– Так не бывает! – он влез в лодку и собрался уезжать. Он был так раздражен тем, что его оторвали, когда шел клев. – Все? – спросил он нетерпеливо.

Она не знала что ответить, замешкалась. Он начал отплывать от берега.

– Подожди!

– Что тебе еще? – раздраженно спросил он.

– Скажи, ты бы мог... жениться на мне?

Он вышел из воды. Серьезно и спокойно посмотрел ей в глаза.

– А почему вдруг ты спросила об этом?

– Не знаю. Ну, скажи, мог бы?

Опустился на корточки и задумчиво покачал головой.

– Почему? – Она схватила его за руку. Он обнял ее, как ребенка, и заговорил сдержанно, ласково:

– Понимаешь, малыш, любовь – это свобода. Маленькое украшение человеческой жизни. Она дает возможность забыть о мирской суете. Об этой проклятой атомной бомбе. Ты для меня – кусочек свободы. А если поженимся, свобода кончится и начнем искать отдушину. Где начинается семья, там кончается свобода. Все знают это и добровольно лезут в кабалу. Кретины! – Он чмокнул ее в плечо, пошел к лодке, достал большую мертвую рыбу, вручил ей и отчалил.

Женщина осталась стоять на берегу, обняв, как ребенка, большую дохлую рыбу...

* * *

Горел костер. Была ночь. Море дремало. Нази молча смотрела на огонь. Искандер лежал, положив голову на ее колени. Он тихонько наигрывал на гитаре.

– Директора нет. Покупателей нет. Зато есть рыба, тишина и ты... – Искандер начал мурлыкать песенку, сопровождая на гитаре.

– Давай уедем отсюда! – вдруг сказала она.

Он поднял голову и посмотрел на нее вопросительно.

– Плохо здесь, – пояснила она, глядя на огонь.

– Да ты что? Это же наше старое место! Ни ветра. Ни комаров. И рыбы навалом! – изумился он.

Женщина ничего не ответила, продолжала сидеть в той же позе и смотреть на огонь. Он понял, что она занята какими-то своими мыслями, и поэтому решил не возражать.

– Ну ладно... Завтра поищу другое место... Если ты так хочешь, – добавил он после некоторого молчания. Он взял хворостину, зажег ее, осветил мертвых рыб, лежавших у костра, прикурил...

Начался день.

Женщина сидела на берегу и чистила рыбу. Она с какой-то особой жестокостью вспарывала животы, промывала в морской воде и пригоршнями сыпала крупную соль. Иногда она поглядывала на вершину скалы, где вчера увидела Азиза, но там никого не было. Море было по-прежнему спокойно, лишь на вершинах голубых гор появились побелевшие тучки, которые медленно сползали к морю.

– Бонжур, мадам!

Женщина обернулась.

– Вас приветствует большой друг советских детей Бурбон Второй! – Азиз держал за лапу большую плюшевую обезьянку.

Женщина невольно заулыбалась, вымыла руки, подошла и взяла обезьянку.

– Симпатичный... Здравствуйте... А я думала – не придете.

– Но, как видите, я пришел не один...

– А почему вы пришли? – спросила она в упор.

– Да как вам сказать? Любим красивых женщин, вот и все!

– Вы считаете меня красивой? – смягчилась она.

– Очень и в этом мое несчастье, – серьезно сказал он.

Она засмеялась.

– Ну что ж. Пусть будет по-вашему. А жена у вас красивая была?

– Да она и сейчас, наверно, ничего.

– Что же вы оставили ее, в таком случае?

– Да как вам сказать? Все получилось как-то случайно и довольно нелепо, если прямо сказать... и женился, и развелся. Жизнь у меня и моих товарищей была немудреная. Патрульное плавание, занятие, а на берегу гитара, милые девушки. Однажды одна из них задержалась у меня немного дольше, чем ей разрешила мама. Утром просыпаюсь, а она ревет. Ну-ка, говорю, подъем! И прямо в загс. Друзья к моей женитьбе отнеслись как к очередной хохме. Вышел я

в море в первый раз после свадьбы и вдруг почувствовал себя невероятно благородным и прекрасным, да и счастливым тоже. Стало мне тепло от того, что где-то за этой огромной массой воды ждет меня нежное и слабое существо, у которого единственная надежда и защита – это я, могучий морской рыцарь, а не вертопрах какой-то. Ей всегда казалось, что я подорвался в море на старой mine, захвачен в плен японскими браконьерами и тэдэ. Когда я возвращался, она всегда плакала, так было все два года, что мы с ней жили. Потом что-то со мной случилось. Может, просто устал от такой любви, загрустил по своей прежней дурацкой свободе. К этому времени вернулся из армии ее прежний жених, и это стало для меня поводом к нелепым придиркам, ссорам. И однажды она собрала вещи и ушла к матери.

– И вы, конечно, обрадовались?

– Нет, испугался. Побегал за ней. Но она вдруг оказалась гордой. Я, говорит, люблю тебя и поэтому не хочу, чтобы ты терпел меня из жалости. Так все и закончилось. Что вы можете сказать об этой заурядной истории?

– Господи! Мне ли говорить об этом? Может, гораздо проще иметь какие-нибудь ни к чему не обязывающие привязанности, вроде вашей плюшевой обезьянки... – ответила она, глядя в море.

– Кстати, я привел Бурбона второго вам в подарок.

– Второго? А кому вы подарили Бурбона Первого? – спросила она с насмешкой.

– Он... Его нет... он... умер, – ответил он.

– Он был живой?

– Да, это был живой и довольно нахальный обезьян.

– И все равно умер? – спросила она, повязывая на голову обезьяны платок. – Загубили беднягу?

– Плавал на нашем катере. Попал в зону, зараженную радиацией, и скончался.

– А-а, где был экипаж?

– На катере, разумеется.

– А они не пострадали?

– Пострадали...

– А-а? Вспомнила! Где-то я читала или по «Маяку» передавали о трех моряках, спасших пассажирский теплоход. Что там было? Бомбу, что ли, уронили?

– Атомная подлодка разбилась. Патрульный катер обнаружил радиоактивную зону, рация вышла из строя, а чтобы дать световой сигнал пассажирскому теплоходу, пришлось пересечь эту зону.

– И все облучились?

Он покивал головой.

– И все погибли?

– Никто не спасся... – сказал он.

– Разве нельзя было миновать эту проклятую зону?

– Можно было миновать, конечно. Никто приказа не давал. Но на теплоходе была тысяча человек, и дети в том числе.

– Выходит, вам повезло?

– Почему вы так считаете? – спросил он.

– Вы же не дежурили в тот день!

– Дежурил. – Он закурил сигарету и встал.

– Вы?...

– Я, пожалуй, пойду. Стоит мне уйти куда-нибудь, начинаются поиски. – Он посмотрел на часы.

– Господи! Как ужасно! Какая я дура! – сказала она, видимо, вспомнив свое вчерашнее поведение.

Она прижала обезьянку к груди, ей захотелось обнять Азиза, сказать ему какие-то хорошие слова, попросить прощения за вчерашнее, но не нашла нужных слов.

– Пусть Бурбон будет с вами. Может, он заменит вашего старого медвежонка! – улыбнулся он и пошел к морю.

Она бросилась за ним.

– Не уходите, прошу вас! Сейчас придет он, и я... и мы...

Он отрицательно покачал головой.

– Да, да, конечно... Вы не хотите его видеть... Вы считаете его... – растерялась Нази.

Он быстро ушел.

Она была ошеломлена, не знала, как быть и что делать.

– Я буду ждать вас! – крикнула она ему вслед, посидела немного с Бурбоном, погруженная в свои сомнения, а потом вдруг вскочила, подбежала к берегу.

Лодка Азиза маячила далеко в море. Она сложила руки рупором и закричала в море что есть силы:

– А если ты не спасешь корабли?! Если даже не можешь устроить свою маленькую нелепую жизнь? Победить одиночество! Что де-ла-ать!

– А-а-о-о! – откликнулись горы.

Море ответило шумом прибоя.

Женщина вернулась к палатке, посадила на песок Бурбона, опустилась перед ним на колени.

– Нази! – послышалось со стороны моря.

Женщина замерла. Это был голос Искандера. В первую минуту она хотела спрятать обезьянку.

– Нази! Помоги мне!

Искандер стоял в лодке, держась за колено. Руки его были в крови. Она подбежала к нему, помогла выбраться из лодки.

– Нашел хорошее местечко, спрыгнул и задел за якорь. Рана вроде не глубокая, а кровячки натекло!

Она усадила его, побежала к палатке, принесла бинт, йод, обработала рану и перевязала.

– Ой-ой, – застонал он, – туго!

Она сняла повязку.

– А вдруг заражение крови, а? – спросил он.

– Боишься?

Он кивнул.

– А вообще ты думаешь о смерти? – вдруг спросила она, накладывая новую повязку.

– У меня есть дела поважнее, – ответил он.

– А мог бы ты умереть добровольно!

Он посмотрел на нее, потрогал ее лоб, как бы желая узнать, нет ли у нее температуры.

– Вот если бы пришел... – начала она.

– Кто пришел?

– Положим, бог. Пришел бы и сказал: Искандер, умри ты, иначе умрут тысячи других. Умер бы?

Вместо ответа он пошарил в кармане, достал таблетку от головной боли, протянул ей.

– Съешь. Помогает, – сказал он.

Она отодвинула его руку.

– А если бы встретил человека, который решил умереть за других? – спросила она.

– Значит, болван или псих. Славы хотел...

Он спрятал таблетку.

– Да зачем ему славы, мертвому-то?

– Денег нет, славы хочется. Мало ли психов.
– Ты рассуждаешь, как торгаш, – сказала она.
– Профессия! – обиженно развел он руками. – Но я говорю, как думаю, а другие фиговыми листочками прикрываются.
– Ладно. Успокойся, – сказала она.
– А ты сама могла бы ради кого-то пойти на жертву? – разозлился он.

– Однажды я это сделала, – ответила она спокойно.
– Когда же это было?
– Когда ты спрятал бостон.
– А ради кого же ты пошла на жертву? – ехидно спросил он.
– Ради матери. Она сказала, если тебя посадят, я умру. И я уступила тебе.

– О, господи! Да мать твоя знала, что все это липа.
– Вы сговорились?! – ужаснулась она.
– Ради тебя же. Она хотела, чтобы мы поженились, – пояснил он.
– Врешь! – Она вцепилась в его уши, глянула в глаза.

Он очень ласково и спокойно погладил ее волосы:

– Не надо, малыш, притворяться. Ты все знала!

– Я ничего не знала! – взорвалась она.

– А Новый год, помнишь? Когда мать твоя выпила и проговорила. Ты стояла у окна и рыдала. А я всю ночь просидел с вами, а жене соврал, что попал в милицию... – Он засмеялся и ласково потрепал ее щеку. – Э-эх, склероз у тебя ранний, малыш.

Она закусила губы, словно вспомнила что-то очень гнусное, неприятное, то, что всегда хотелось забыть, перевела взгляд на Бурбона, который сидел на песке, широко расставив руки, словно собирался аплодировать. У его ног плескался Иссык-Куль, прозрачный, чистый...

– Господи! Какие мы! Какие мы все грязные! – вырвалось у нее.

– Вот это уже разговор взрослого человека! – торжествующе сказал он. – Все мы немного гаденькие; все мы немного подленькие.

– Неужели это правда? Это ужасно!

– Ой, малыш, как ты отстаешь. В твои годы я уже знал кое-что. Знаешь, когда отец мой работал начальником, у нас было много друзей, родных, все пили, ели у нас, праздники, именины, подарки, телеграммы – все было. А когда он умер, нас быстро забыли. Один его лучший друг даже пытался поменять нашу квартиру, другой друг

приставал к матери. Ночами я сгружал на станции уголь, гнилые арбузы, даже мелкой спекуляцией занимался. Однажды я пришел к родственнику попросить взаймы десять рублей. Пришел, а девчонка бегает по двору, плачет. Дверь, говорит, захлопнулась, а в доме остался малыш, и газ включен. Я через крышу прыгнул на балкон, вывихнул руку, но открыл дверь. Пришли ее родители, благодарили. А после моего ухода обнаружили, что пропали золотые часы, и все подумали на меня – голодный базарный волчонок. В суд подали. А потом часы нашлись под диваном. Ребенок забросил. Я пришел к этому родственнику, выбил все окна. А меня поймали и избили до помрачения мозгов. До сих пор голова болит. Вот тебе люди! А ты хочешь, чтобы я умер за них. Никак не можешь забыть этот дурацкий бостон? Не надо корчить из себя ангела, малыш! Инстинкт существования, голод, жажда, секс, человеческий маразм все равно согнут тебя, и ты перестанешь удивляться подлости, потому что и сам будешь подготовлен к тому, чтобы совершить ее! – Он вытащил из кармана таблетку, которую предлагал ей, разжевал и проглотил.

– И это все? Больше ничего нет? Нет другой правды? – спросила она в страхе.

– Правда – это движение материи, малыш, движение материи! Ее разрушение! Встреча! Разлука! Рождение! Смерть! Все остальное – мораль и фиговые листочки. Люди придумали их, чтобы прикрыть свое грязное тело!

Солнце уходило за горы. На море падал багровый отсвет заката. Земля, теряющая к ночи свое тепло, показалась ей неуютной и враждебной. Женщине стало холодно и страшно.

Он поцеловал ее в плечо, пошел к палатке и увидел Бурбона, сидящего на песке. Он посмотрел на обезьяну, потом на Нази, промолчал, принес коньяк, налил в кружку и протянул ей. Она хотела выпить много, залпом, чтобы залить горечь, поперхнулась, закашлялась. Коньяк был теплый и горький. Женщина прижалась к его ногам и заплакала.

– Не надо плакать, малыш, слышишь? Только не надо плакать, пусть плачут другие. – Он начал обнимать ее и успокаивать. Видимо, и ему стало страшно оттого, что раскрыл ей глаза, сказал то, чего может и не следовало знать его юной подруге.

На море опустились сумерки. На песке сидела плюшевая обезьянка и улыбалась во весь свой нелепый рот.

- Что за чучело? – спросил Искандер.
 - Бурбон Второй, – ответила она с горечью.
 - Откуда он взялся?
 - Какой-то псих, видимо, потерял...
- Наступила ночь. По морю побежали белые барашки волн.

* * *

По голубому небу бесконечной вереницей тянулись перелетные птицы. Женщина сидела на берегу, обняв колени, и смотрела в море. Азиз стоял рядом. Он был в летней форме капитана морского флота. Видимо, он давно допытывался у нее какого-то объяснения, но она не отвечала.

– Если у вас конфликт из-за меня, я поговорю с ним. Пусть не ваяет дурака, – сказал он с досадой.

Она покачала головой.

– Ради бога, скажите хоть что-нибудь! – умолял он.

Нази резко повернулась к нему. В глазах ее сверкнули жестокие искорки, она хотела сказать что-то грубое, неприятное, но он улыбался доброй улыбкой, она невольно отвернулась к морю, а потом, видимо, что-то вспомнила, резко встала, бросилась к палатке, вернулась с обезьянкой и вручила ее хозяину.

– Отказываетесь от сиротки? – горько усмехнулся он.

– Он от меня отказывается...

– Неужели я в чем-то виноват?

– Да! Да! Виноваты! – закричала она. – Я все узнала!

– Что вы узнали?

– Вы преступник! – бросила она.

– Я? – изумился он.

– Именно вы! Может, на теплоходе, который вы спасли, была мать, продавшая честь своей дочери? Был человек, подло обманувший девушку и навсегда лишивший ее материнского счастья?! Были люди, которые оклеветали мальчика, избили его до сотрясения мозга, охмуряли овдовевшую женщину с детьми, пытались занять ее квартиру, а может, там, в каюте храпел лысый администратор с мокрыми губами – любитель юных дарований! А вы ценою собственной жизни спасли всю эту компанию! А может, еще...

– Довольно! – Он резко поднял руку. – Короче, вы хотите сказать, что люди не стоят того, чтобы за них умирали!

– А может, мир голубой – как это небо, а люди чисты – как исык-кульская вода? – спросила она.

– Нет, Нази. Мир не голубой и не черный. Он окрашен во все цвета спектра. Пока жив человек, будет в мире и любовь, и ненависть, и добро, и зло. И люди бывают разные. Но во все времена человек стремился к добру и очищению, мечтал выпрямить свой позвоночник, искривленный нуждой и рабством! Главное – не поднять и не опустить руки. Уметь постоять за нее даже ценою жизни...

– Красивые слова! Хоть бы вы их не говорили!

– Но это суть, Нази. И надо верить в нее.

– Да, конечно, вы имеете право так рассуждать. Вы – герой. Но ваш поступок – капля в море. Зато тысяча других никогда бы не сделала этого!

– Важно то, что это сделали мы...

Она поняла, что его невозможно переубедить, да и стоит ли это доказывать... Может, ему остались считанные дни...

– Ну почему вы такой глупый?! Почему не подумали о последствиях? Вы же молодой, сильный, и вдруг... такое... Господи, даже в голове не укладывается! – сказала она.

– Там была тыща человек и дети. А нас всего трое. Нерентабельно, – с горечью улыбнулся он.

– Странно вы рассуждаете...

– Видимо, иногда человек бывает вынужден так рассуждать. Может, так рассуждал Юра Гагарин, садясь в ракету, те, кто грудью бросались на пулемет, а может, они и не рассуждали. – Он тихо сел на песок, видимо, почувствовал себя плохо, но не хотел выдать своего состояния.

– Пока одни умирают за добро, другие продолжают творить свое черное дело, – сказала Нази.

– Это те несчастные, которые сами не знают, что добры, – ответил он, тяжело дыша.

– А тот, кто знает, счастлив?

– Счастлив, – ответил Азиз.

– Господи, неужели вы счастливы?

– Да, – ответил он твердо, после некоторого молчания. – Я успел совершить самое главное в жизни, все ведь очень просто...

Занятая своими сомнениями, женщина не заметила его состояния.

– Мне кажется, ваше счастье в том, что уходите, не успев разочароваться в людях, – сказала она как бы самой себе.

– Я бы... я бы очень хотел жить, – ответил он, хватая воздух.

– Что с вами? Вам плохо? – Она бросилась к нему.

– Сейчас... Сейчас все пройдет... Это на несколько секунд... Головокружение... Уже проходит, слава богу... – Он виновато улыбнулся.

Нази опустилась перед ним на колени, как перед богом.

– Прости меня! Я очень злая, жестокая тварь. Видимо, хотела отомстить за свои горькие обиды... Я ждала тебя сегодня. Я ждала тебя всю жизнь, но приходили другие и убивали меня. И вот пришел ты! Спасибо тебе... Почему люди боятся друг друга, хитрят, изобретают страшные бомбы, вместо того, чтобы любить, рожать детей, сеять пшеницу?! – говорила она.

Он целовал ее. И это была не только страсть к красивой женщине, а, скорей всего, жажда жизни и, видимо, прощение с ней...

Она увидела на его щеках слезы.

– Не надо... Не надо плакать, мой милый. Это мне, дуре, можно плакать, а тебе нельзя. Ты же сильный, могучий... Тебя знает вся страна... Все добрые люди земли... Тебя вылечат. Обязательно. Я читала где-то, кажется, в Югославии, нашли средство. Даже на Луну летают, а тут человек... Ты будешь жить, жить во мне, в моей совести, в моей гордости. В людях, которых ты спас. – Она прижалась щекой к его груди и слышала, как бьется его доброе, горячее сердце.

Море было спокойно. Низко над тихими волнами, как перед штормовым ливнем, летали ласточки...

На лазурном Иссук-Куле играли серебристые блики.

* * *

Искандер, мурлыча песенку, плыл на лодке.

Он нашел и подготовил для новой стоянки удобное место, поэтому у него было хорошее настроение. Он подплыл к палатке, тихо, на цыпочках вышел на берег.

– Ку-ку!

Никто не ответил.

– Мя-у!

Никто не ответил.

– Гав-гав!

Никто не ответил.

Он заглянул в палатку. Там было пусто.

– Ау!

Никто не ответил. Он начал искать ее вокруг. В какой-то смутной тревоге забегал по берегу. Но Нази нигде не было. Он залез на холм. Очень далеко на берегу увидел два силуэта. Искандер легко, как барс, соскользнул со скалы, прибежал к палатке, взял бинокль и посмотрел в их сторону.

Он держал ее за руку.

Искандер опустил бинокль. На его щеках заиграли злые желваки.

Он подошел к коряге, на которой висела двустволка, достал два патрона, загнал в обойму и пошел в их сторону, но тут же увидел, что Нази бежит к палатке. Искандер сел на камень, положил ружье, закурил и стал дожидаться ее.

Нази, запыхавшись, вошла в палатку, начала лихорадочно собирать вещи и укладывать в чемодан, подняла глаза, встретила с тяжелым взглядом Искандера и замерла. Она решила продолжать сборы, но не смогла – он смотрел на нее и ждал.

– Кто это? – спросил он.

– Человек.

– Видел, что не динозавр. Откуда он взялся?

– Упал с неба.

Искандер кипел от гнева и ревности, ему хотелось растерзать ее, но он сдержал себя – надо было выяснить все до конца.

– Зачем ты ходила к нему?

– Не знаю.

– А зачем вернулась?

– Чтобы уйти.

– Куда?

– Туда, где нет тебя.

Он некоторое время раздумывал, а потом сделал широкий жест рукой.

– Что ж. Иди, – сказал он мягко.

Она стояла и молчала.

– Иди! Иди! Топай!

Она решительно взяла чемодан, вышла из палатки. Он догнал ее, вырвал чемодан:

– Ладно! Подурила и хватит!

– Это не дурь, Искандер.

– Что случилось?

– Самое главное. Я встретила другого.

Он схватил ее за плечи и расхохотался.

– Ну, юмористка. Решила разыграть меня, да? Проверить свои чары? – Он заглянул ей в глаза, думая, что она рассмеется и признается, что пошутила. Но она была серьезна, и он понял, что это правда. Глаза его налились кровью.

Искандер спокойно пошел к коряге, снял ружье, пошел в ту сторону, где стоял Азиз.

– Не надо, Искандер. Это бесполезно, – сказала она.

Видимо, он понял, что она права, бросил ружье в песок и вплотную подошел к ней.

– Скажи, что наврала! – потребовал он.

Она помотала головой.

– Сука! – Он резким движением разорвал ей халат, пинком отбросил чемодан, вещи рассыпались по песку.

– А теперь иди! – заорал он.

Она сидела на песке и плакала. Ей было больно и обидно.

Он отошел к берегу и закурил.

– Зачем ты так? – спросила она.

– Убирайся вон! – сказал он, не глядя на нее.

– Ты жестокий. Только ты сам этого не знаешь. Если бы ты знал, никогда бы так не поступил.

– Уходи! – попросил он.

– Ты только притворяешься злым.

Он сплюнул погасшую сигарету, сел на корягу, уставился в море.

Она сидела и плакала. Он так дернул ее за руку, что она не могла собрать рассыпанные вещи и уложить в чемодан, поправить прическу, привести себя в порядок. Халат был разорван, пуговицы вырваны «с мясом».

Он встал, подошел к ней, взял ее руку.

– Больно, да? – вдруг спросил он.

Она кивнула. Он поцеловал ее руку, ласково, как ребенка, погладил ее волосы.

– Не стыдно тебе? – спросил он.

Она отрицательно покачала головой.

– Мало тебе одного мужчины? – спросил он.

– А тебе мало одной женщины? – спросила она.

– Я мужчина.

– А я женщина.

– Расскажи толком, что произошло? Где ты нашла его? – спросил он.

– Я искала его всю жизнь! – сказала она.

– Ладно, ладно! Только без лирики! – остановил он ее. – Кто он такой?

– Офицер.

Искандер замолк, видимо, боролся со своим уязвленным мужским самолюбием, а может, вспомнил ее вопросы и несколько странное поведение в последние дни.

– Он хочет жениться на тебе? – спросил он.

– Он скоро умрет, – тихо ответила она.

– А... куда же ты?

– Я буду с ним рядом... а потом уеду.

– Куда ты уедешь?

– Не знаю... очень далеко... Так, чтобы забыть все...

– Если ты уедешь – я сопьюсь, – сказал он.

– Не надо, Искандер. Это ни к чему.

– Хочешь, уедем вместе? Я брошу все. Все начнем сначала. Ты будешь учиться, заниматься своим пением. Я сделаю для тебя все! Нам будет хорошо с тобой! – взмолился он.

– Нам будет скучно вдвоем, – ответила она.

– Нет. Никогда не будет. Хочешь, заберем моего старшего сына. Она отдаст. Ты полюбишь его, как родного. Он очень хороший мальчик, послушный. Прости меня! Я давно должен был сделать это. Но легко ли в тридцать пять лет уйти от семьи, к которой привык, бросить детей, которых любишь. А сейчас я все решил. Я не могу потерять тебя. Прости мне все. Свои слезы, обиды! Я же ради тебя пошел на все, даже на подлость пошел ради любви к тебе, думаешь, я не мучился, просто не хотел признаваться! – Он стоял перед ней на коленях, целовал ее руки, колени, вымаливал прощение. – Не бросай меня! Я не могу без тебя, – умолял он. – Солнце мое! Свеча моя...

Она стояла на берегу с заплаканными глазами и улыбалась. Ее любили. И море, и земля, и горы – весь мир казался голубым – женщина поверила в счастье...

* * *

Азиз долго ждал ее на берегу. Солнце перевалило за полдень. Он взобрался на большой камень, посмотрел в сторону стоянки и увидел двоих. Он нес ее по песку на руках. Азиз пошел вдоль берега, поднялся по тропке в сторону санатория, который белел у подножия гор, среди гигантских сосен и елей. Он прошел мимо старого кладбища, где стояло каменное изваяние с ребенком.

Море плескалось внизу, переливаясь серебряной зыбью. Вдруг все стало расплываться, горы начали терять свои очертания. Азизу, видимо, вновь стало дурно – он присел на камень.

– Э-эй! – послышался голос со стороны санатория.

Азиз пришел в себя, поднял голову и увидел, что к нему бежит девушка в белом халате. Это была медсестра. Она принесла китель и набросила на его плечи. На груди поблескивала золотая звезда.

– Вас давно ждут! – сообщила девушка.

Он обнял ее за плечи, и она медленно повела его к санаторию.

* * *

Море было темно-синим, мрачным. По небу плыли черные лохматые тучи. Искандер деловито возился у машины. Нази укладывала вещи. Они торопились. Надвигался ливень. Над горами прокатился отдаленный рокот, похожий на гром. Он поднял голову, прислушался.

– Самолет, наверное. Теперь до весны не будет гроз. В горах уже снег лежит, – сказал он.

Над стоянкой пролетел вертолет с красным крестом. Нази начала вырывать кольшки от палатки.

– Оставь до следующего года. Ничего с ними не случится. Арча. Говорят, вон на том мазаре нашли тысячелетнюю могилу. Труп истлел, а гроб, как новенький. Тоже из арчи. – Он подошел к ней. – Вытри мне лицо, – подставил мокрый, испачканный мазутом лоб.

Она вытерла ему лицо.

– Ты что молчишь все утро? – спросил он.

– Все сказано, – ответила она.

Он решил не продолжать этого разговора, закрыл капот машины и завел мотор.

– Порядочек! Сейчас вымою руки... И махнем сквозь туманы настоящего к горизонтам будущего, как говорил... Кто говорил? – спросил он.

Женщина пожала плечами.

– Ла-рош-фу-ко! – поднял он палец. – Такое место отыскал! Заплачешь от восторга. – Он посмотрел в сторону моря и замолк.

К ним бежала девушка в белом халате.

Нази выпрямилась и в страшном предчувствии ждала. Девушка подбежала к ним. Она была тоненькая, как березка, белокурая, с чистыми голубыми глазами, почти девочка. Она растерянно оставалась, так как на нее смотрели два незнакомых взрослых человека. Искандер постоял немного и отошел к морю.

Девушка протянула письмо.

«Прости, что не дождался вчера. А может, и хорошо, что ты не пришла. Ночью мне сделали новое переливание крови, но не помогло. Видимо, это последнее. Я не успел посадить дерево... Оставить сына... Но скажу одно – верь всегда, что человек в существе своем добр и прекрасен. Я очень люблю тебя. Прощай». Было написано в письме.

– Он в сознании? – спросила Нази.

Девушка покачала головой.

– Вертолет за ним?

Девушка кивнула.

– Подойди ко мне! – сказала Нази.

Девушка подошла.

– У тебя есть жених?

Девушка покачала головой.

– Ты была с мужчинами?

– О чем вы? – обиделась девушка.

Нази отдала ей письмо. Девушка посмотрела на нее удивленно.

– Прочтешь, если тебе вдруг начнет казаться, что все люди подонки, – сказала Нази.

Девушка прижала письмо к груди и осталась стоять. Со стороны санатория нарастал гул вертолета. Вот он поднялся над стоянкой, заполнил собой и громом все небо. Вертолет сделал широкий

круг и ушел в небо. Нази спокойно прошла за ним на самый край пирса и стояла до тех пор, пока не затих гул. Море плескалось у ее ног. Искандер и девушка молча следили за ней.

На крышу машины, на деревянный пирс, на море, на песок начали падать крупные капли дождя.

– Ну все? – спросил Искандер тихо, с сочувствием.

– Все, – ответила Нази, решительно пошла к машине, взяла свой чемодан и Бурбона.

– Сейчас начнется ливень. Куда ты, сумасшедшая? – крикнул Искандер.

Нази ничего не ответила и пошла прочь.

По берегу шла женщина с чемоданом и обезьянкой. Ветер бил ей в лицо, хлестал ливень. Волны подкатывались к ее ногам. Но ей казалось, что она слышит какую-то мощную музыку. Каменное изваяние с ребенком, омываемое дождем, смотрело ей вслед, пока она не скрылась из виду.

Землю и море хлестал ливень...

1978 г.

ПОВЕСТИ



ТРОПА

Крупный пушистый снег медленно и густо падал на дремлющий аил. Со стороны реки поднялась красная лисица и, волоча пушистый хвост, обошла аил, приняхалась к дворам.

Было очень тихо. Лишь где-то изредка слышалось робкое твяканье щенка.

Лисица осмелела, прошла по улице и остановилась у большого двора. Но здесь нельзя было долго оставаться: деревья в белых чалмах, столбы и даже камни, торчавшие из-под снега, пахли человеком. В большом белом доме едва мерцал огонек. Лиса, поджав лапу, постояла и, когда в окне мелькнула тень человека, мгновенно исчезла.

Абылкасым пошуровал кочергой в печи и прошел из своей комнаты в класс. Здесь было тепло, но он подумал: если не подтопить, то утром, когда придут дети, класс быстро остынет. Он подбросил в печь несколько поленьев и, не закрыв дверцу, сел на табуретку. Дрова разгорались быстро, с треском, пламя отбрасывало на стену тень человека в большой ушанке. Абылкасым снял, шапку, погладил мозолистой рукой лысеющую голову, достал красный кисет, сложенную гармошкой газету, не торопясь скрутил сигарку. Крепкий табак, яркий огонь, мягкий снег, падающий за окнами, глухая тишина пробудили в нем далекие воспоминания...

Картины прошлого теснились и сменяли одна другую перед его глазами, как языки пламени в печи. Да, сейчас в этой комнате тихо, черные парты, до блеска вытертая доска молчаливы, но утром сюда прибегут детишки, поднимется гам, парты захлопают, дверь станет то и дело со скрипом открываться, впуская с улицы холодный воздух.

После второго урока класс начнет остывать, и тогда Абылкасым снова подтопит...

А потом...

Один скажет:

– Абыке, а Муктажбек опрокинул мою чернильницу!
– Да, а ты сам порвал мою книгу! – крикнет тот самый Муктажбек.
– Ах, чертенята, зачем вы ссоритесь, не надо ссориться! Это хорошо, – мудро скажет Абылкасым.
– Хорошо, Абыке, мы не будем больше ссориться, – сельские дети очень послушны и умеют ценить слово старшего.
Абылкасыма, несмотря на его возраст, в аиле и стар и млад зовут просто – Абыке. Да и сам он давно привык к этому уменьшительному имени, так как звучит оно почти ласкательно.

* * *

Более тридцати лет минуло с того дня, как пришел Абылкасым в этот аил. Никто здесь не знает, где он родился, кто его отец. Но сам Абыке считает этот аил родным, так как с детства живет здесь.

В низком глиняном домике на окраине аила когда-то жила старая Зыяда. Она родила восьмерых детей, но все они умерли – в разные годы, в разном возрасте. А когда скончался старик, бабушка Зыяда осталась одна. Может, она не управлялась с коровой и двумя козами, а может, ей надоело одиночество, но только однажды поехала она на соседской лошади в город. Через два дня вернулась с мальчиком лет тринадцати – звали его Абылкасымом.

– Это чей же такой? – спросила соседка.

– Э-э, милая, чей бы ни был, теперь будет мой. Бог не оставит в беде. Мальчик несчастен и одинок, вот я и взяла его.

Так в ее доме появился мальчик в рубашке и штанах не по росту, в огромных сапогах, в которых некогда ходил муж Зыяды. Никто этому не удивился – в те далекие двадцатые годы много бродило по земле таких сирот, как Абылкасым.

Сидя с аильчанами за чаем, Зыяда рассуждала:

– Он хоть и невзрачный на вид, но очень ласковый и расторопный, попросишь чего сделать, выполняет безотказно. Тысяча благодарностей аллаху за то, что дал мне на старости лет такого сына. Когда кончатся мои дни, я знаю, хозяйство мое не останется без надзора, не рухнет крыша моего дома, а в печи не погаснет огонь. А если бог будет милостив, и я буду жива, годочков через пять женю его, и будет у меня тогда и невестка и внуки, о аллах, только бы дожить! – Бабушка Зыяда краем большого белого платка вытирала со лба пот, наливала густого чаю и прихлебывала с

шумом, словно сильно вздыхала.— Только, видимо, правда, что бог обязательно чем-то обидит хорошего человека. Заживет ли рука у бедняжки!..

– А что с рукой?

Старая Зыяда отодвигала свою пиалу и таинственно шептала;

– Правая рука больна у него. Висит как плеть; может, когда болел или кто ударил бедного сиротку, не знаю, только в суставе плохо сгибается. Видели? – Она глазами показывала на Абылкасыма, неуклюже привязывающего во дворе теленка.

– А-а, несчастный... Выздоровеет, он еще ребенок. Вон у Монколая младший сиднем сидел, все говорили, что ходить не будет, а теперь ишь какой дылда вымахал. Если бог захочет, излечит,— подбадривали старуху соседки.

– Тихо! Идет!.. Э, сынок! Садись, попей горячего чая. Да ты замерз, родной. Не ходи босиком, надень дедовы сапоги, я же тебе говорила. Иди, не стесняйся, возьми боорсока к чаю, вот масло, родной. Да вытри нос. Скажи, сынок, будешь плакать, когда я умру? – вдруг спрашивала старая Зыяда.

– Буду, – кивал Абылкасым.

– О дорогой мой, спасибо тебе, ешь! Значит, и я счастливая старуха. Комолая коза осталась яловой в этом году, в воскресенье поеду на базар, продам и куплю тебе новый бешмет и штаны, пусть девчонки заплачут от восторга... Бери, не стесняйся, бери боорсоки... Это все твое... Хочешь – поешь, а нет, так оставь, попозже будешь есть... Скажи, сынок, будешь учиться, если поведу в школу?

Абылкасым кивает.

– О, родной мой! Правильно! Умница! О создатель! Помоги, чтобы и мой сын выучился, чтобы и я увидела его успехи своими глазами. Господи, придет ли такой день?..

– Бог даст здоровья, увидишь, байбиче, почему не увидеть! – подбадривали старуху соседи.

– О господи, если б дожила, считала бы, что при жизни попала в рай. Но не доживу, наверное, не доживу, – причитала старая Зыяда.

– Эй, милая, разве можно так? Успокойся, доживешь, обязательно доживешь, как же иначе? Всегда надо верить в лучшее, – подбадривали ее.

– Наелся, сынок? – спрашивала бабушка Зыяда. Абылкасым кивает.

– Тогда растопи печь, выстираю тебе рубаху. Завтра начинается школа. Говорила с учителями...

Когда директор школы ввел за руку Абылкасыма, занятия во втором классе были в самом разгаре.

– Дети, Абылкасым будет учиться с вами, познакомьтесь и помогите ему, – сказал директор.

Класс громко засмеялся.

Учитель потер подбородок, тоже улыбнулся, так как Абылкасым был выше не только восьми – девятилетних детей, но и его самого.

Абылкасым так смутился, что тут же сел за первую парту.

– Мне доску не видно, – запищала девочка за его спиной.

Снова раздался смех.

– Сядь на последнюю парту, дорогой, ты слишком большой. К тому же за каждую парту садятся не по трое, а по двое, – пояснил учитель.

Дети снова захихикали.

Абылкасым кое-как выбрался из-за маленькой парты и, прихрамывая, пошел к задним рядам. Все затихли.

Директор вышел.

Вскоре ребята привыкли к Абылкасыму и к тому, что он хромает, менялись перьями, карандашами, ели его лепешки на жире и толкно, смешанное со сметаной, которые он приносил в тряпочной сумке, сшитой заботливой Зыядой. Учитель заметил, что новичок освоился, и вызвал его к доске:

– Теперь возьми мел и пиши: «Пришла осень – запятая – урожай собрали», – начал диктовать учитель.

Однако Абылкасым остался стоять, опустив левую руку с мелом.

– Дети, пишите все, если увидите ошибку на доске, не шумите, а поднимите руку. Пиши, Абылкасым: «Пришла осень – запятая – урожай собрали».

Абылкасым не шевельнулся.

– Разрешите, я напишу! – поднял руку шустрый Бекеш.

– Тихо, Абылкасым сам напишет... «Пришла осень – запятая...»

Абылкасым продолжал стоять, опустив голову. Дети начали смеяться.

– Почему ты не пишешь, Абылкасым? Возьми мел в правую руку.

- Не могу правой!–
- Ты что, левша? Дети захохотали.
- Нет.

Смеялся уже весь класс.

- А почему ты не можешь писать?
- Руку не могу поднять...
- Почему?
- Не знаю...

Дети притихли.

– Хорошо, тогда попробуй писать левой рукой... «Пришла осень...»

- левой тоже не могу...
- А почему не можешь левой?

Абылкасым уставился в пол.

- Я не умею писать.

Класс взорвался смехом.

– Ой, байке, такой большой и не умеет писать, – удивилась курносовая девочка.

- Если не умеешь писать, как же будешь учиться во втором классе?

Абылкасым молчал.

- Хорошо... Иди на место... – сказал учитель.

Когда Абылкасым, прихрамывая, пошел через класс, ребята вмиг притихли.

– Может, переведем новичка в первый класс? Он, оказывается, даже не умеет писать, ребята смеются над ним, – доложил учитель директору.

– Да неудобно как-то, лет ему много, и ростом вымахал, слава богу. Старуха Зыяда привела его. Это, говорит, единственная моя опора и надежда. Выучите его. Позанимайся с ним после уроков, может, освоит... – посоветовал директор.

- К тому же правая рука у него висит, как будто парализованная.

- Учите писать левой... – посоветовал директор.

С этого дня учитель оставлял Абылкасыма после уроков, учил писать и читать, но, когда дошли до арифметики, учеба остановилась. Как ни старался учитель, мальчик ничего не понимал.

- Агай, может, не будем больше? – сказал однажды Абылкасым.

– Это программа второго класса, малыши щелкают такие задочки, как семечки, – пояснил учитель.

– Не знаю, агай, почему-то у меня болит голова.

Учитель внимательно посмотрел на мальчика и понял, что тот говорит правду.

– Ладно, на сегодня хватит. А ты немного отдохни и попробуй решить сам.

– Хорошо, агай.

Однажды во время перемены в классе вспыхнула драка, Абылкасым нечаянно наступил большим сапогом какому-то малышу на ногу, тот закричал и, рассердившись, сгоряча два-три раза стукнул его, однако тут же перепугался сам. Но Абылкасым не дал ему сдачи и отступил. Малыш, заметив это, стал его преследовать. Всем стало забавно – большой убегал от маленького. Два-три мальчугана присоединились к драчуну и начали бить Абылкасыма мокрой тряпкой и книгами. К счастью, зазвенел звонок, и дети разошлись по местам. Абылкасым добрал до последней парты, упал на нее и заплакал.

– О-ой, байке, смотрите, плачет...

– Такой большой...

– От малыша получил!

После этого случая мальчишки часто развлекались тем, что обижали Абылкасыма, ломали его ручку, карандаши, рвали тетради, рисовали на обложке всякие каракули.

Хромой Абылкасым стал отдаляться от ребят. В школу пробирался раньше всех, чтобы не встретиться с озорниками, во время перемен сидел в классе, после уроков уходил домой задворками.

Однако старания учителя не пропали даром. Вскоре Абылкасым научился читать, писать, стал решать задачи даже из программы третьего класса. Кто знает, может, со временем он бы добился и больших успехов, но одно событие положило всему этому конец, точно так же, как острая коса срезает хрупкий весенний стебелек, тянущийся к солнцу.

В классе училась девочка по имени Асипа. Была она баловнем большой семьи. Она бегала наравне с мальчишками, играла в альчики и училась хорошо. В школу всегда приходила в красном шелковом платье и в зеленом бархатном бешмете. А на бортах бешмета, как талисман, были пришиты пуговицы из старинных серебряных монет. Такого бешмета не было ни у кого. Однажды она скинула свой красивый бешмет и вышла во двор на урок физкультуры. Когда Кыдыкбек вошел в класс, там был один

Абылкасым – на уроках физкультуры он всегда оставался дежурным. Он смотрел в окно на играющих ребят и тихо смеялся. Кыдыкбек уже было размахнулся, чтобы швырнуть в дежурного мокрую тряпку, и тут заметил зеленый бешмет Асипы. Он давно заглядывался на серебряные пуговицы. Кыдыкбек на четвереньках добрался до бешмета, дернул пуговицу, но она была крепко пришита суровыми нитками. Абылкасым, увлеченный игрой ребят, смотрел в окно и смеялся. Кыдыкбек, как заяц, перегрыз нитки, спрятал за пазуху две пуговицы и потянулся за третьей, но тут зазвенел звонок, Кыдыкбек на четвереньках проскользнул к своей парте и, крикнув: «ку-ку», швырнул в Абылкасыма мокрую тряпку.

– Апаке, пуговиц нету! – заревела Асипа, прижав к груди свой зеленый бешмет.

– Кто взял?

– Не знаю, когда снимала, они были.

– Кто взял пуговицы?

– Не знаю.

– А кто дежурил?

– Абылкасым.

– Абылкасым, кто взял пуговицы?

– Не знаю, агай...

– Может, кто пошутил, дети? – сказал учитель, – Тогда отдайте!

Тишина.

– Пока пуговицы не найдутся, никто домой не уйдет.

Класс притих.

Вдруг к доске покатила серебряная пуговица. Откуда она выпала, никто не заметил.

– Где другая? – строго спросил учитель.

Дети уставились на Абылкасыма.

– Не знаю.

– Откуда упала эта пуговица?

– Не знаю.

– Агай, он здесь оставался один... На физкультуре он всегда остается в классе...

– Абылкасым, где вторая?

– Не знаю.

– Давайте обобщем его, агай! – сказал кто-то.

– Нет, дети. Этого делать не будем. Абылкасым, если ты знаешь, где вторая, скажи сам.

– Не знаю.

– Асипа, возьми пока эту пуговицу, вторая найдется, не плачь... Дети, идите домой. А ты останься, Абылкасым...

Дети с шумом выбежали на улицу. Кыдыкбек, не задерживаясь, отправился домой. Отойдя подальше, он вытащил из-за щеки серебряную пуговицу и швырнул ее через чей-то дувал...

– Абылкасым, ты взял пуговицу? – мягко спросил учитель.

– Нет, агай...

– А кто взял?

– Не знаю, агай...

– Ведь ты один оставался в классе?

Мальчик молчал.

– Раз уж оставался дежурным, надо было сторожить.

Абылкасым ничего не ответил.

– Стыдно, в классе ты старше всех, нельзя так делать... Где вторая пуговица?

Абылкасым продолжал молчать.

– Зачем тебе пуговицы? Приходи завтра ко мне, я дам тебе пять таких монет...

Абылкасым вытер рукавом слезы и вышел из класса.

В саду его догнали дети.

– Отдай пуговицу! Воришка! Отдай! Мне мама пришила их! Отцу скажу, если не отдашь! – Асипа схватила его за ворот.

– Нету у меня никакой пуговицы, – выдавил из себя Абылкасым.

– Отдай! Ты спрятал! Давай! Сейчас и твои пуговицы оторву! – Девочка с силой рванула его за воротник.

Абылкасым поскользнулся, упал, от его пиджака отлетели пуговицы.

– Молодец, Асипа! – закричали ребята.

Девочка, упоенная успехом, почуяв поддержку, сорвала с Абылкасыма кепку и начала колотить его по голове.

– Давай пуговицу, воришка! Отдай, говорю.

– Бей! Бей козырьком! Ребром! Молодец, Асипа! Смотрите, бьет большого парня! – подзуживали ребята.

Абылкасым кое-как поднялся с земли, вырвал кепку. Он мог бы одним ударом свалить девочку, но почему-то не сделал этого. Он

лишь оттолкнул ее и, прихрамывая, как раненый медведь, пустился наутек.

– Позор! От девчонки бежит! Позор! Позор! Трус! – улюлюкали мальчишки вслед.

Бабушка Зыяда выбежала навстречу.

– О господи! Что случилось?

– Мамочка! Мама! – зарыдал Абылкасым и спрятал голову на груди старухи.

– Что случилось, моя надежда? Что случилось, мой единственный? Что случилось, моя судьба? Скажи! Я загрызу любого, кто обидел тебя! – кричала Зыяда, и глаза у нее были злые, как у волчицы.

Кто знает, какую мать он имел в виду, то ли бабушку Зыяду, то ли вспомнил родную, но мальчик лишь всхлипывал, твердил одно слово «мама».

– Ты только скажи, кто? Может, обозвали тебя сиротой, может, хромым? Скажи, я убью его!

– Асипа побил его... – сказал кто-то.

– И-ий, какой позор! Вся голова в шишках! Что она, с ума сошла? И-ий, милый, все лицо изодрано! Что за разбойница! Идем! Я покажу им! – Старуха схватила сына за руку и повела к дому Асипы.

– Э, дорогая Батма, что это? Накажи свою девку! Посмотри, как избил моего сына. За что она обидела убогого? Я, бедняжка, нашла перед смертью себе опору и надежду! Что у меня еще осталось на этом свете? За что же вы все так обижаете нас? Ужели только за то, что некому за нас заступиться?

– Ваш хромой сирота сам виноват. Я бы спустила ему штаны да отстегала как следует. Срезал у Асипы две пуговицы; избил, пришла с разбитым коленом. Как может такого здорового парня побить маленькая девочка? Пусть найдут еще вторую серебряную пуговицу, которую я пришила. Это был талисман. Руки переломать надо такому хапуге и вору! Держите всяких бродяг, как будто делать нечего!

Старуха молча потащила сына домой.

– Пусть бог осудит их! Создатель не простит им жестокосердие! – сказала старая Зыяда.

Абылкасым вытер слезы, решительно оглянулся. Но старуха крепко держала его за руку.

– Не надо, дорогой, не надо, пускай. Оставь, бог сам осудит их. Бог виноватого накажет, правого оправдает. А ты – человек, молчи.

Абылкасым оглянулся еще раз и покорно захромал за ней.

После этой истории мальчик несколько дней сидел дома, не показываясь людям. В понедельник старуха положила в сумку яблоко, боорсоки, как бы сказав тем самым, чтобы он шел в школу.

Абылкасым взял сумку и вышел из дома. Но чем ближе подходил он к школе, тем тягостнее становилось у него на душе, какая-то неведомая сила тянула его назад.

Увидев одноклассников, бегущих на занятия, он понял, что больше никогда не пойдет в школу. Он свернул к реке, прошел мимо старого кладбища. На кладбище стоял разрушенный мавзолей.

В каком веке, кому он поставлен, никто не знал. Переднюю стенку мавзолея пересекала широкая черная трещина. Когда она появилась, тоже никто не помнит. И столетние старики и дети знали мавзолей только таким – оплывшим, серым, с широкой расщелиной. Черная трещина, была видна издалека. Абылкасым часто проходил мимо и не обращал на нее внимание, но сейчас в косых утренних лучах она казалась зловещей.

Он спустился к реке и до обеда пролежал на берегу, глядя в небо. Мальчик старался думать о чем-нибудь хорошем, но перед глазами зияла черная трещина – косой черный разрез на серой глине. «Почему не смог ударить Асипу? Мог бы свалить ее одним толчком. Но она... маленькая... Слабая... И... красивая... Самая красивая... Если бы это была другая!.. А эти пуговицы? О, как бы он хотел осыпать ее такими серебряными монетами! Нет, не монетами! Звездами. Алмазами!»

Солнце давно перевалило за полдень. Мальчик встал, умылся речной водой и медленно побрел домой.

Старая Зыяда ни о чем не догадалась.

– О миленький, ты пришел наконец! Поешь и разотри мне поясицу.

Абылкасым поел и начал растирать ей поясицу.

– О-о, мой родной! Это все от погоды, ноет вся спина. Какую отметку получил сегодня?

Абылкасым промолчал... Рано утром бабушка разбудила мальчика:

– Вставай, дорогой, солнце уже высоко, опоздаешь.

Абылкасым вышел из дому и опять побрел к реке. Положил под голову книги, долго смотрел на воду, и снова перед глазами рисовалась трещина – черная молния на сером фоне.

Шли дни. Абылкасым не ходил в школу, ходил к реке, старуха каждое утро ласково будила его и провожала в школу.

– О моя жизнь! Иди, жеребеночек, иди. Тебе обязательно надо учиться. Здоровье-то у тебя не как у всех. Был бы здоров, работал бы кетменем, водил бы трактор. Учись, иначе не прокормишь даже себя.

Абылкасым послушно брал сумку с книгами и едой, выходил из дому и шел мимо кладбища к реке.

Но долго так продолжаться не могло. Старушка рано или поздно узнает. И Абылкасым решил рассказать правду.

– Энеке, я что-то скажу, не обидитесь? – спросил он однажды утром, когда старуха снарядила его в школу.

– Говори, говори... Да разве я обижусь на тебя, моя надежда? – Старуха сдвинула с уха платок и опустила па кошму.

Но тут случилось нечто неожиданное – открылась дверь, вошел учитель.

– Здравствуйте, ала! Почему ваш сын не ходит в школу? – спросил он прямо с порога.

Старуха от удивления приоткрыла рот.

– Что?

Абылкасым спрятал сумку за спину и не знал как быть.

– Уже больше недели не ходит. Ребята видели его на реке.

Бабушка молча переводила взгляд то на сына, то на учителя.

– Я думал, он болен. Но сказали, что он ходит с сумкой, – уточнил учитель.

Мальчик стоял, опустив голову.

– Четверть кончается, он может остаться па второй год, апа! А в его возрасте сидеть во втором классе два года – засмеют.

– Как же ты, надежда моя? Выходит, обманывал старуху? – наконец спросила Зыяда.

– Энеке, простите меня! – Мальчик бросился к ее ногам.

– Кому же я теперь верить-то буду, если даже ты так?.. – как бы сама себе сказала старуха.

– Простите, эне, я больше никогда не буду так, – взмолился мальчик.

– Зачем ты расстраиваешь свою старую мать?

– Простите, эне, но в школу я больше никогда не пойду. Я не хочу их видеть, они мне не поверили... Они злые. Лучше я умру, – сказал Абылкасым не по-детски ... решительно.

На другой день весь класс приходил звать Абылкасыма на уроки, но он наотрез отказался ходить в школу.

«Что же делать, коли не хочет? Бог даст здоровье, как-нибудь проживет», – смирилась старая Зыяда.

* * *

И сейчас Абылкасым сидел в той же самой школе, куда впервые пошел переростком во второй класс, где научился читать и писать. Только сидел он теперь здесь в качестве ночного сторожа и истопника. Такова была воля судьбы. А сколько воды утекло с тех пор и сколько сменилось ученических поколений! Кстати, тот самый класс, куда много лет назад привел его директор школы, давно превратился в склад школьного инвентаря, и сейчас там лежали выцветшие и затертые классные доски, порванные географические карты, запыленные и измятые подобия земного шара и поломанные парты. Старое здание школы из необожженного кирпича осело и рядом с двухэтажным белым корпусом новой школы под черепичной крышей напоминало старого заезженного осла, который вдруг решил тягаться с длинноногим стройным рысаком. И детям трудно было представить, что некогда в том глиняном домике учились их отцы и матери, что был он чуть ли не самым большим домом во всей округе и, как белый парус, виден был с любой точки широкой джержаланской долины. Из этих маленьких и теперь уже покосившихся дверей выходили парни и девушки и уходили в большой мир, у этой же двери прощались с теми, кто уходил на фронт. Первым ушел директор школы. Ушел и навечно остался под Москвой, не вернулся. За ним ушел учитель Токторбай. Ушел и сложил голову где-то под Псковом.

Однажды в полночь старуха позвала сына. Абылкасым встал, молча зажег керосиновую лампу.

– Надежда моя, сейчас я видела сон, будто купают меня две старухи: рябая Батмакан да шербатая Ырысбюбю. Купают меня, а сами ссорятся между собой – никак не могут поделить мой черный плюшевый чапан. Значит, так тому и быть. Кончились мои дни. Это я поняла сразу... Скоро я уйду от тебя. Ты останешься хозяином этого

дома.– Зыяда говорила очень тихо и очень спокойно, казалось, ее гортанный голос уже звучит с того света. На стене прыгала огромная черная тень ее головы с жидкими седыми косичками. Абылка-сым начал всхлипывать.

– О, радость моя! Да буду я жертвой твоей. Ты очень добрый и хороший мальчик. И слава богу, что я умру раньше тебя. Я нашла тебя в самый последний год своей жизни, значит, я родилась счастливой. Мать всегда говорила мне: не столь важно, кем человек жил, важно, кем он умирает. А ты сейчас не плачь, зеница ока моего! Припаси эти слезы для моей кончины. Там вот под скатанными одеялами лежит большая трость, моего старика. Когда будут выносить из дома мои кости, возьми ее и поголоси, опершись на эту трость. Пусть слышат все, что старая Зыяда уходила не из пустого дома – есть кому поплакать над ней, есть кому расплатиться с ее долгами на этой светлой земле. А ты, мой верблюжонок, останься таким, какой ты есть. Бог вознаградит тебя за твои страдания и за твою доброту, за то, что создал он тебя увечным. Только береги себя от простуды и от злости, береги душу свою, чтобы не вползла в нее холодная змея зависти и зла. Как тут быть? Мать родила тебя убогим. Но ты никогда не обижайся на бога и не плачь. Если будешь завидовать тем, у кого все шесть частей тела здоровы, ты станешь злым. Некрасивому человеку нельзя быть злым. Такого человека земля не хочет долго носить на себе. В роду моем никогда не было красивых. Все были низкорослые, темнокожие да худые. Бабка моя всегда говорила нам: «Некрасивый человек должен светиться изнутри». Вот и я повторяю тебе эти слова. А когда состаришься ты и будешь прощаться, передай эти слова своим внукам и строго накажи, чтобы они передали эти слова дальше...

Хоронили старую Зыяду всей долиной. Из соседних аилов приехали друзья и дальние родственники, а те, кто жил еще далее, прислали своих представителей, и не потому, что старуха была чем-то знаменита или родовита, а потому, что смерть человека, особенно старого, здесь считается событием особым и важным, кем бы он ни был при жизни. Во дворе поставили юрту, в омовении тела участвовали пять старух – пять представительниц пяти близких родов. Они поделили между собой небогатые наряды Зыяды – они должны доносить одежды и дожить те годы, что

не дожидая их подруга. Потертый плюшевый чапан ее, конечно, достался рябой Батмакан – она была самой близкой собеседницей и помощницей Зыяды, да и на похоронах она работала и хлопотала больше всех.

Когда тело старухи предали земле, и все мужчины бросили на ее прах по горсти земли, и на старом кладбище рядом со старым, треснувшим глиняным мавзолеем вырос еще один старый холмик, дядя Монколой взял Абылкасыма за руку, вывел в центр круга и обратился к присутствующим.

– Родные и братья! Теперь скажите, каким человеком была Зыяда-апа при жизни? – спросил он.

– Хорошим! Хорошим она была человеком! – раздался голоса с разных сторон.

– Если она задолжала кому или обидела кого, пока жила на свете, скажите сейчас, не стесняйтесь. Покойная оставила после себя человека, который расплатится, если надо. Не смотрите, что он слишком молод и не очень здоров, у него есть братья, у него свой род, ибо пришел он в наш аил как сын, стало быть, мы не оставим его в беде! Таков наш обычай, – сказал дядя Монколой.

– Нет! Нет у нее никаких долгов! Никому она не сделала зла! – ответили ему с разных сторон серого холмика.

– Коли так, простим ей в душе своей ее земные грехи да попросим бога, чтобы принял он ее в свою обитель. Пусть вечным спутником ее и в том мире будет совесть! Пусть земля, где она лежит, пребудет в покое! – сказал дядя Монколой и провел ладонями по своему морщинистому обветренному лицу, и сородичи присели на корточки и тоже провели ладонями по лицу.

– Пусть вечным спутником ее в том мире будет совесть! Пусть земля, где она лежит, пребудет в покое!

Абылкасым хотел принести в жертву свою единственную корову, но аксакалы посоветовались между собой и запретили ему резать корову.

– Идет война. У тебя, кроме этой коровенки, ничего нет! – сказали они.

– Могу ли я пожалеть корову ее на поминки! Что скажет обо мне ее призрак? – спросил Абылкасым.

– Призрак ее обидится на нас, если мы съедим корову, – сказали аксакалы.

Собрали деньги с каждого очага: с тех, кто был в близких родственных отношениях – побольше; кто подальше – поменьше, и отдали собранную сумму Абылкасыму на проведение похоронных обрядов. Отныне Абылкасым будет считаться самостоятельным хозяином очага и будет вносить свою лепту на свадьбах и поминках айльчан.

Так Абылкасым остался один в своем глиняном домике, и каждое утро, и каждый вечер из серой трубы струился синий дымок – старый дом старой Зыяды остался жить.

Абылкасыму поручили пасти личный скот колхозников. Война продолжалась. Жить становилось все труднее. Из двухсот коров в канун войны в стаде осталось не более десятка, и теперь пастух был не нужен. Тогда ему дали в руки ружье и велели охранять колхозный зерносклад – работа тихая, спокойная. Днем он спал, ночью ходил вокруг склада.

Сверстники Абылкасыма подросли и, конечно, перестали его обижать, девушки повыходили замуж. Асипа вышла замуж и уехала в другой аил. Для младших он уже был представителем другого поколения, скучным и неинтересным. Правая рука Абылкасыма так и осталась висеть плетью, правую ногу он приволакивал – когда он шел, след левой ноги ложился прямо, а правой – вкривь. Кое-кто из сверстников его к концу войны ушел на фронт. Иные возвращались увечными, а вместо других приходили листки бумаги величиной с ладонь.

* * *

Послышался далекий крик петуха. Видно, наступила полночь, или та самая красная лисица забралась в чей-то курятник и переполюшила спящих птиц. Абылкасым бросил окурочек в печь, подложил еще дров и закрыл заслонку. Теперь в классе стало темно, только через трещину в чугунной дверце узкой полоской пробивался свет огня. Такая же трещина только черная – рассекала стену мавзолея. Глину сметал ветер, омывал дождь, но гробница продолжала стоять по сей день.

...Абылкасым не знал, за кого вышла замуж и куда уехала Асипа. На второй год войны в аиле начался тиф. Чуть ли не в один год умерли мать и отец Асипы. Она приезжала хоронить их. Потом раза два навещалась к младшему брату Сапаркулу. Помнится, в пос-

ледный приезд на руках у нее был мальчик. Когда Абылкасым видел ее на улице, закутывался с головой в большую шубу и уходил за склад. Но однажды судьба все-таки свела их.

Стояла снежная зима. Абылкасым, как всегда, в огромных валенках, закутавшись в шубу, ходил вокруг склада. Шел снег. Вдруг на краю аила залаяла собака, потом вторая, третья... Абылкасым взял ружье наизготовку и прислушался как будто никого. Но собачий брех слышался все ближе и ближе. Потом посередине улицы показалась одинокая фигура. Абылкасым вышел вперед.

– Эй! Кто там?

– Это я, дяденька – донесся женский голос

– Кто ты?

– Асипа.

– Кто?!

Сторож замолк. Да, это был ее голос. Она подошла поближе.

– Откуда ты в такую темень? – осевшим голосом спросил Абылкасым.

– Машина не смогла подняться па косогор, там все заледенело, колеса скользят. Ребенок закоченел совсем. Пошла пешком, да заблудилась. Подержите его, руки-ноги как ледышки, не гнутся.

Женщина протянула ему ребенка.

Абылкасым молча взял ребенка, укрыл полой теплой шубы. Мальчика трясло так, что дрожь передавалась сторожу. Постояли немного в темноте.

– Разве можно в полночь выходить в путь? – сказал наконец Абылкасым.

– Э-э, дяденька, по своей ли воле мы пошли...– вздохнула женщина, поправляя платок.– Не знаете, в нашем доме есть кто-нибудь?

– Брат твой вчера уехал, кажется, в райцентр...

Ребенок, видимо, согрелся, перестал стучать зубами и заснул.

– Там, на краю аила, я оставила чемодан, – сказала женщина.– Пойду за ним.

– Заблудишься, пойдем вместе...

– А склад?..

– Куда он денется? В такую стужу небось и воры спрятали головы под мышки и сидят-сопят.

Асипа шагала впереди, по колени проваливаясь в сугроб. Абылкасым плелся за ней, неловко придерживая малыша под шубой.

– Я вас побеспокоила, дядюшка...

– Иди, иди.– Он слегка коснулся ее плеча.

– Пустой чемодан... Одежда ребенка, и все. Руки замерзли, вот и оставила. Думала, пошлю брата, если он дома. Придется ночевать у соседей...

Абылкасым молчал...

– Моя сиротинка когда-нибудь отблагодарит вас. Бедняжка мой... Отец так и не увидел его, ушел на войну, когда он был еще в утробе. Хотела жить с его родителями, все-таки родной дед сына, но свекор вздумал выдать меня за какого-то младшего родственника. Я взяла ребенка и ушла... В сумерках вышли, уже совсем стемнело, а мы все на дороге стоим, ни одна машина не берет, так и замерзнем в поле. Кажется, здесь чемодан... А может, кто забрал? И-ий, нет вот он! Снегом замело! – обрадовалась Асипа.

Женщина подняла небольшой деревянный чемодан. Теперь Абылкасым, спрятав лицо в воротник шубы, пошел впереди.

– Мы пойдем ночевать к дяде Монколяю. Правда, у него собаки всегда были злые...– сказала Асипа.

– Я доведу вас,– отозвался Абылкасым.

– Да наградит вас бог, дядюшка,– сказала Асипа. Они направились к дому дяди Монколя. Большие валенки скрывали хромоту Абылкасыма, и потому, видимо, женщина не узнала его, но, когда он пошел впереди, вдруг замолкла и до самого дома не проронила ни слова.

«Почему молчит? Неужели узнала?»– Абылкасым осторожно оглянулся. Женщина шла по его следам, опустив голову.

Наконец добрались до дома Монколя. Собаки с седыми загривками встретили хриплым, простуженным лаем. Когда загремели засовы калитки, Абылкасым передал сонного ребенка матери и, не оглядываясь, захромал к складу. «Узнала или нет?» Если не узнала, то почему замолкла? И почему даже не поблагодарила, когда взяла ребенка? Даже головы не подняла...» – думал он.

На третий день к вечеру пришел мальчик и принес миску бузы.

– Мама сказала, чтобы вы выпили за мое здоровье, – сказал мальчик.

– А как зовут твою маму?

– Асипа.

Значит, в ту ночь она все-таки узнала его.

- А как тебя зовут?
- Нурлан... – ответил мальчик.
- А что она еще сказала?
- Ничего. Сказала: «Отнеси дяде, который сидит около склада».
- И все?
- И все, – ответил мальчик.
- Скажи маме «спасибо». Ладно?
- Ладно. А ты дашь пострелять из ружья?
- Потом, когда подрастешь.
- А ты можешь застрелить сороку?
- Зачем стрелять сороку? Она хорошая.
- А мой дядя Сапаркул застрелил собаку соседа. И они ругались.
- За что же он ее застрелил? – спросил сторож.
- За то, что старая, лаять не может уже.

Вдали показался Сапаркул. Он явно шагал к складу.

– Ладно, беги и скажи маме «спасибо», – заторопился Абылкасым, он отдал мальчику пустую миску и две пустые гильзы.

Сапаркул был родным братом Асипы и заведовал зерноскладом, поэтому Абылкасыму стало как-то неловко.

– И-и, батыр, бузу потягиваешь? – сказал Сапаркул; видимо, он все же успел заметить миску.

– Да, немного... было... – Абылкасым вытер усы.

– Сегодня можешь не сторожить склад. Приехал ревизор, до утра будем проверять и перевешивать зерно, иди спать, – сказал кладовщик.

– Я все равно ночью не сплю, может, пригжусь?.. – спросил сторож.

– Нет, нет, иди! Сами справимся. – Сапаркул открыл склад и зажег лампу.

Сторож топтался на месте и не решался уйти. Сапаркул никогда не приходил на склад в столь поздний час.

– Ну, чего стоишь тут, иди, говорю, домой, – раздраженно сказал тот.

Взяв ружье и шубу, Абылкасым захромал к себе. Придя домой, он растопил печь, починил старые сапоги, прибрал комнату, далеко за полночь погасил коптилку и лег в постель, но ему, не привыкшему отдыхать ночью, не спалось. То вспомнилась старая ласковая Зыяда, то улыбающийся учитель Токорбай, то зеленый бешмет с серебряными пуговицами, то маленькая Асипа с жиденскими ко-

сичками... потом черная щель поперек мавзолея... снег, покрывший всю землю... Одиноким силуэт Асипы. Ее сын. Как он тогда сладко сопел у него на груди, пригретый овчиной. Почему она не выходит замуж? Очень красивая, добрая... Многие ровесники ее погибли на войне. Молодой не возьмет, за старого не пойдет... А женщин сейчас много, мужчин мало...

Абылкасым долго ворочался. Его мучила какая-то смутная тревога. Наконец он не выдержал, оделся и вышел на улицу. Ярко светила луна, где-то пугливо заржала лошадь, изредка лаяли собаки. А вдруг Сапаркул закончил проверку и не может оставить склад без сторожа?

Абылкасым направился к складу.

Сапаркул с каким-то дюжим парнем в лютой мороз, сняв шубы, при лунном свете таскали полные мешки и грузили в сани, запряженные лошадью.

– Ассалам-алейкум! Бог в помощь! – сказал Абылкасым, подойдя к ним.

Сапаркул резко вскинул голову и замер. Дюжий парень выпустил угол мешка.

– Я же говорил, что могу пригодиться. А лампа что, погасла? – Абылкасым зажег спичку.

– Погаси! – закричал Сапаркул, бросил мешок и прыжком очутился рядом. От мокрого лба его шел пар.

– Зачем гасить? Темно же! – Абылкасым отбросил спичку, обжегшую пальцы, и чиркнул новой.

– Кому говорят, погаси! – Сапаркул схватил его за горло, вырвал спички и толкнул. Сторож упал на кучу пшеницы.

– Ты что? – опешил он.

Кладовщик и «ревизор», перегородив проход, приближались к нему.

– Вы что? Что я вам сделал? Что? – Абылкасым начал пятиться и спиной прижался к стене. Он понял, что его хотят убить.

– Ты что, хромой, решил следить за мной? – зашипел Сапаркул.

– Зачем мне следить за тобой, зачем следить? Ты же кладовщик, ключи у тебя, сам отвечаешь за все... – взмолился Абылкасым.

Сапаркул смекнул, что сторож ничего не подозревает, и кивнул своему дружку. Тот бросил железный лом в пшеницу.

– Да ты, оказывается, не понимаешь шуток, чудак. Садись, поговорим. Иди сюда! – сказал Сапаркул и как-то недобро засмеялся.

Абылкасым подался к выходу, но дружок преградил ему путь.

– Сядь, говорю! Есть разговор! – Кладовщик взял его за плечи и усадил на пшеницу.

– Теперь слушай! Я кладовщик. Так? Что хочу, то и делаю. Так?

– Сапаркул немного подумал. – Дома у тебя много зерна?

– Есть немного... А что?..

– Так, ничего. Сколько у тебя зерна?

– Есть ячмень, что осенью получил на трудодни, зиму как-нибудь перебыюсь, – ответил сторож.

– Перебыешься? Пока будешь перебиваться – с голоду опухнешь. Скажи, сколько лет уже носишь этот китель с плеча дохлого фрица?

– спросил Сапаркул.

– Не помню. Я купил его у одного фронтовика, – робко ответил Абылкасым.

– Возьми вот этот мешок, продай. Ты еще джигит. Ты должен ходить франтом в скрипучих хромовых сапогах. А ты как нищий ходишь, в лохмотьях.

– Да нет. Не надо мне... Я как-нибудь сам, – начал было Абылкасым.

– Давай, много не болтай! Бери этот мешок, и мы сейчас сами подвезем тебе на санях! – отрезал Сапаркул.

– Да зачем мне? Детей у меня нет. Стариков тоже, обойдусь. Хватит того, что заработал, – возразил сторож.

– Да ты, оказывается, совсем болван! Хватит, говоришь? Это тебе хватит, а другим-то не хватит. Вот уж сколько лет как не ели хлеба досыта! Верно? Сам видишь, как живет народ. Проклятая война! Так? Вчера активисты поговорили между собой. Только ты молчи, но болтай. В нашем аиле нет чужих, все родные, и ты нам стал братом. На складе было немного неоприходованного зерна, вот мы и решили поделить его между собой. Если будем брать днем, донесут, увидят чужие, донесут, а там гляди – появится уполномоченный. Говорят, он проверяет соседний аил. Все уже забрали свою долю. Так? Один ты остался. А так как ты хромой, твою долю решили отвезти к тебе домой. Не веришь – спроси у ревизора.– Сапаркул подмигнул «ревизору».– Он тоже свой человек. Так? Понял?

– Понял, но, может, я не буду брать, отдайте дяде Монколою, у него детей много...

– Ты что, боишься? Хочешь оторваться от парода? Не выйдет, дорогой! А бояться тоже нечего! Народное надо отдать народу. Так? Мы же колхоз, а это значит, что все это наше. Стало быть, сами знаем, как распоряжаться народным добром.

– Я понимаю, но, может...

– Я понял! – оборвал его Сапаркул. – Хочешь остаться в стороне и предать всех! Так?

– Да нет... просто я...

Абылкасым не заметил, как «ревизор» поднял с пола железный брус и как Сапаркул мигнул, чтобы тот не торопился.

– Если что случится, я ответственный. Ключи у меня, спросят – не отказывайся, скажи, что я дал тебе мешок пшеницы. Вот бумага, распишись, – Сапаркул достал измятый листок бумаги, написал: «Абылкасым – один центнер пшеницы». – Давай расписывайся. Вот смотри, и я и ревизор распишемся.

Абылкасыму казалось, что в действиях Сапаркула и его доводах нет ничего предосудительного. Кладовщик был человек грамотный, говорить и убеждать тоже умел. В душе сторож все же ощущал какую-то смутную настороженность, но, когда тот предложил расписаться, он заколебался.

– Давай, друг, не тяни, мы замерзли. Распишись и забирай свою пшеницу. Джигит никогда не должен сомневаться, – заторопил «ревизор».

Абылкасым послунял химический карандаш и крупными буквами вывел свое имя.

– Ну вот, теперь ты включен в список. Теперь, если даже не возьмешь, будет считаться, что ты взял. Так? Понял, да? А теперь давай!

Не успел Абылкасым промолвить слово, как те двое подняли мешок, положили на сани, где было около десятка таких же мешков.

– Сейчас и дяде Монколою отвезем мешок, нет, два мешка, у него детей много... – сказал «ревизор».

– Давай выходи! Закрою склад! – заторопил Сапаркул.

Сторож вышел из склада. Кладовщик повесил замок. Сани отъехали. Когда Абылкасым пришел домой, у ворот его лежал мешок с зерном.

«Если актив колхоза решил раздать зерно голодным колхозникам, значит, Сапаркул прав. Я расписался на бумаге. Значит, все

законно. Если продать весь мешок – будет много денег. Куплю сыну Асипы одежду. Пусть сиротка порадуетса перед Новым годом», – решил Абылкасым и затащил мешок в дом.

Новый день начался обычно. Едва рассвело, пришел Сапаркул и открыл склад, словно ночью ничего не случилось. Никто не спешил на мельницу, никто не ехал на базар. Казалось, весь аил строго хранит тайну.

– Эй, сынок, иди сюда, – позвал сторож, увидев сына Асипы.

– Что делает мама?

– Ничего... – ответил мальчик.

– А куда идешь?

– К тете Батмакан попросить муки для лапши...

– А почему в худых ботинках ходишь по снегу?

– У меня сапог нет. Мама ругается, говорит, не ходи на улицу, будешь кашлять.

– Э-э, ну понятно, – как бы обрадовался Абылкасым. Когда мальчик ушел, он поднял хворостинку, снял мерку с его следа и направился к Митьке-сапожнику. Так айльчане звали Дмитрия Шестопа-ла, который с самого детства жил здесь, прекрасно знал киргизский язык и все местные обычаи. Дети его – русоволосые, с веснушчатыми носами – учились в киргизской школе. Сапожничье дело он унаследовал от своего отца, а тот от своего. Шестопа-ла жили здесь около ста лет и славились своим мастерством на всю долину.

– Митька, сшей мне сапоги, – сказал Абылкасым, войдя в его белую хату.

– Какой размер? – спросил Шестопа-ла, продевая суровую нитку через ушко цыганской иглы.

– Не мне, мальчику. Подошву ставь кожаную, голенища выкрой не хромовые, а из свиной кожи... чтоб долго носить, – уточнил Абылкасым и отдал сапожнику хворостинку.

– Четыре пуда пшеницы! – оценил объем работы Митька и приложил хворостинку к колодке.

– Давай! Только ты побыстрей. У ребенка ноги мерзнут, не может на улицу выходить.

– У тебя что, ребенок завелся? – спросил тот удивленно.

– Да... Э-э... нет... племянник... Хочу сделать подарок к Новому году.

– На следующей неделе тащи четыре пуда и заберешь сапожки, – пообещал мастер.

И действительно, через неделю сапожник приехал на санях, запряженных ослом. Он развернул мешок – в них были великолепные сапожки.

– И-и-эх! Только для танцев – гопака плясать, – сказал сапожник, пощелкав по подошве. Абылкасым взял в руки сапоги.

– Ну, как? – Дмитрий нетерпеливо ждал похвалы.

– Хороши! – сказал Абылкасым.

– Подошва что надо, – толстая, спиртованная, голенища сверкают, как лакировочки, – сказал Митька. – Только давай скорей плату, а то вон детишки зубы на полку положили.

– Вот тебе еще полпуда за качество! – сказал сторож.

Хлопнули по рукам. Митька пересыпал пшеницу в свои мешок и отправился па мельницу.

Абылкасым долго вертел сапоги в руках, любовался ими, поставил на стол, и восхищенно смотрел на них, и сам себе казался очень добрым и красивым. Он хотел тут же позвать мальчика и надеть сапоги, но вспомнил, что скоро Новый год, и решил преподнести их к празднику, завернул сапоги в полотенце, спрятал в сундук. Потом несколько раз доставал их и вертел в руках, сам подбил железные набойки, прошил голенища двойным швом.

Вскоре по аилу пополз слух о том, что из района приехала комиссия, проверять колхозные дела. Абылкасым не придавал этим разговорам особого значения – мало ли бывает всяких проверок, на то и начальство, чтобы проверять.

Но однажды вечером в дом Абылкасыма вошли председатель колхоза Тайлапов, два незнакомца и Сапаркул.

– Ну-ка, дорогой, покажи свой дом. Ходят тут всякие слухи... – сказал Тайлаков.

Один из пришедших сел за стол и разложил бумаги.

– Говорят, на днях Митрий сшил тебе сапоги, и ты отвалил ему четыре с половиной пуда пшеницы? Это правда? – спросил Тайлаков.

– Правда, – ответил Абылкасым.

– Та-ак. Покажи-ка нам свои сапожки? – попросил Тайлаков.

Когда Абылкасым достал из сундука сапоги, все переглянулись.

– Это же детские сапоги! Зачем они тебе?.. – спросил Тайлаков.

– Нужны были... – ответил Абылкасым.
– Продать хотел? – спросил Сапаркул.
– Да нет. Тут... У моего племянника есть сын... Вот ему и купил.
– Чего врешь-то? Откуда у тебя племянник? Ты же круглый сирота. Чужой в аиле! – едко сказал Сапаркул.

Абылкасыму показалось, что его оглушили чем-то тяжелым.

– Мы сами разберемся, товарищ Сапаркул... Скажите, гражданин Абылкасым, за сапоги-то какой пшеницей заплачено? – спросил один из незнакомцев.

– Своей пшеницей, – ответил еле слышно Абылкасым.

– От той пшеницы осталось еще?

– Осталось... почти половина, – не своим голосом промямлил Абылкасым. Ему показалось, что все его внутренности оторвались от тела и рухнули на землю.

Он достал из угла мешок с оставшейся пшеницей. Все переглянулись. Сапаркул засуетился:

– Вот, товарищ начальник. Видите, та самая пшеница. Возьмите на анализ, если не верите. Та самая, кубанская, семенная!..

– А еще есть? – спокойно спросил незнакомец, набрав горсть зерна.

– Нет... больше нет. Есть немного ячменя, – ответил Абылкасым, немного придя в себя.

– Другого погребца нет? – спросил председатель колхоза.

– Нет...

Но пришедшие все же осмотрели дом, двор и сарай.

– Вы инвалид? – спросил один из незнакомцев.

– Наверно, так, – ответил Абылкасым.

– Какой группы? – спросил другой.

– Не знаю. К врачам не обращался...

– Распишитесь на этой бумаге. Возьмем вашу пшеницу на анализ. Запомните: выезжать куда-либо из аила запрещено. На работу не ходите. Не подчинитесь, примем другие меры, арестуем. Остальное расскажете следователю, – жестко сказал незнакомец, который сидел с бумагами.

Абылкасым расписался на бумаге. Пришедшие забрали мешок, сапоги и ушли.

Сначала Абылкасым, кажется, не совсем понял, что произошло, хотя почувствовал, что творится нечто страшное. Но когда он

вышел на улицу, сразу прозрел, словно с него сняли темные очки. Во дворе было полно людей, все о чем-то спорили, шумели. При появлении Абылкасыма все смолкли, уставились на него, как будто он появился перед ними голый или, по крайней мере, весь в крови.

Впереди стоял дядя Монколой. В прошлом году он бесплатно дал Абылкасыму два бревна, чтобы тот починил себе крышу. Сейчас этот добрый дядька смотрел на него так, словно готов был воротить и унести свои бревна. Рядом стояла тетушка Бюбюш, она каждый день доила корову Абылкасыма. Вон Джумалы – прошлой весной он помог Абылкасыму выстроить сарай. Он тоже стоял очень хмурый, качал головой и укоризненно чмокал языком. Даже маленький Джакен, иногда приносивший воду, поднял камень, готовый швырнуть его в Абылкасыма. Все молчали.

«Родимые, я не виноват, меня одурачили!» – хотел крикнуть Абылкасым и шагнул вперед, но горло сдавил спазм. Проглотив слюну, он без всякой нужды снял шапку, надел снова и опять снял ее. Люди молчали. Абылкасым, сильно хромая, вошел в дом.

– Негодяй! – крикнул кто-то.

Народ зашумел:

– Один как перст, зачем ему богатство, господи?!

– Он с кем-нибудь в паре, он не один!

– Чтоб он сдох, хромоногий! А я еще жалела его, помогала, одежду ему штопала, ох, негодяй!

– Нашли кому доверить склад!

– Как у него рука поднялась на семенное зерно?

– Э-э, бедняга! Это все война. Иначе не стал бы воровать!

– При чем тут война? В первую очередь он человек! Где его совесть?

– Он хотел, чтобы все мы погибли с голоду!

– Пусть его покарает дух бабушки Зыяды.

– Даже не покраснеет, не попросит прощения! Слышавший все это Абылкасым выбежал из дому:

– Родные, я!..

– Заткнись, ублюдок!

– Пусть аллах покарает тебя!

– Гада пригрели в своем аиле!

– Постойте, пусть скажет!

– Я... меня! Я не хотел! Я...

– Понятно! Зернышки сами приползли в твой погреб!

В толпе захохотали.

– Нет! Я подписал бумагу!

– О какой бумаге он говорит?!

– Заговаривается от страха!

– Да я...

– Бейте вора! – завопил кто-то в толпе. Несколько камней ударились в дверь, со звоном разлетелись оконные стекла. Абылкасым забежал в дом и закрылся на крючок. Люди долго стояли во дворе, шумели, проклинали вора.

– Ну, будет вам, расходитесь! Завтра следователь сам проверит. Устраивать самосуд никто не имеет права, – послышался глухой голос председателя Тайлакова.

Еще два стекла разбились вдребезги. В дом ворвался мороз. Постепенно говор утих, и наступила тишина.

Абылкасым долго сидел посреди комнаты и плакал. Может быть, впервые с того дня, как умерла старая Зыяда. Перед ним, как разрытая могила, зиял погреб, у стены валялись разбросанные одеяла, сундук был раскрыт, в разбитое окно дул ветер. Наконец он пробормотал:

– Да, да! – словно принял какое-то важное решение. Он вышел из дома, не прикрыв дверь, в сарае взял веревку, подошел к большому дереву, что росло во дворе. Это был раскидистый карагач, который почему-то всегда напоминал ему старую Зыяду. Две большие ветки были похожи на ее распростертые добрые шершавые, обветренные руки, да и сама кора так же, как лицо старой Зыяды, была иссечена морщинами. «Да, да... Пусть все видят... все», – Абылкасым захромал к дому, решил написать предсмертное письмо.

– Кому писать? – бормотал он. – Всему аилу? Председателю Тайлакову? Сапаркулу? Может, тем двум холеным незнакомцам?

Он зажег лампу, нашел клочок бумаги, огрызок химического карандаша и почему-то вывел:

«Асипа. Я не подлец. Твои серебряные пуговицы я не брал. Перед богом, перед смертью клянусь тебе. Меня обманули и толкнули в грязь. Я не могу защитить свою честь. Хватит! Если через год в этот день помянешь меня и попросишь прочесть молитву, буду благодарен тебе на том свете. Сыну твоему к Новому году я приготовил подарок, но мне не суждено было отдать его. Прощай! Будь счастлива!»

Абылкасым кончил писать и долго смотрел на маленький листок. Потом почему-то вычеркнул слова о новогоднем подарке и начал переписывать письмо заново. В дверь постучали.

Абылкасым вздрогнул, встал, подошел к двери.

– Кто там? – спросил он после некоторого молчания.

– Открой, Абыке, я!

– Кто ты?

– Ч-ш-ш, не кричи! Я, Сапаркул.

– Чего тебе надо? Может, пришел за моей душой? – со злостью спросил Абыке.

– Не кричи, надо поговорить, – глухо отозвался тот.

Абылкасым решил, что Сапаркул пришел сказать, что произошло недоразумение. Вывернул побольше фитиль лампы, открыл дверь, прошел в угол и молча сел. Вошел Сапаркул.

– Есть чем закусить? – спросил он и вытащил из-за пазухи бутылку водки.

Абылкасым не сдвинулся с места. Гость сам достал из шкафа кусок хлеба, соль, две пиалы и поставил на стол.

– Давай сперва прополощем глотки! – деланно засмеялся он.

Абылкасым глядел исподлобья и молчал. Сапаркул вел себя довольно странно.

– За твоё здоровье! – Кладовщик поднял пиалу, словно собиравшись выпить залпом, но, увидев, что тот не пьет, поставил пиалу на круглый стол.

– Что ж, не хочешь сейчас, выпьем потом, – Сапаркул вылил водку из пиалы в бутылку. – Ты, хромой, не дуйся на меня. Лучше послушай умного человека... В общем так: если скажешь, что пшеницу брали втроем, то будет групповая кража. Понял? За это дают большой срок. Так? Самое малое каждый из нас получит по десять лет! Итого тридцать! Так? Если скажешь, что был один, больше двух-трех лет не дадут. Это раз. Второе, если сяду я, ты никогда не выпутаешься. Так? Если я буду на свободе, у меня есть надежные люди, связи, они помогут освободить тебя. Долго сидеть тебе не придется. Освобожу. Понял? – спросил Сапаркул и ждал ответа.

– Где бумага? – спросил Абылкасым.

– Какая бумага? – не понял тот.

– Та, где я расписался.

– А-а, чудака, ищи ее в уборной! – нервно хихикнул Сапаркул.

У Абылкасыма чуть дрогнули губы.

– Ну, давай поднимем? – Сапаркул снова разлил водку.

Абылкасым посмотрел в угол – ружья там не было, оно лежало под лавкой.

– Ты инвалид. Так? Самое меньшее у тебя вторая группа, тебя могут и не осудить. Понял?

Абылкасым посмотрел на шкаф: где-то там лежал большой нож. Где же он?

– Хотя ты и слабак, но рассудок у тебя трезвый. Так? Взвесь все как следует. А для этого давай выпьем! Абыш, разговор пойдет легче... – Сапаркул подал пиалу. – Ну, чего нос воротить? – засмеялся он, стараясь быть ласковым.

Абылкасым не сводил глаз с толстого деревянного крюка, заменившего вешалку.

– Не забывай, что пшеницу нашли у тебя. У меня щепотки не было. А не пойманный – не вор. Опутать меня не сможешь – никто тебе не поверит. Так? Ну, давай, рука устала держать пиалу, выпей! – упрашивал Сапаркул.

– Про-очь! – в бешенстве заорал Абылкасым. Каким-то диким прыжком он метнулся в угол, сорвал багор, занес его над головой Сапаркула.

– Ты что, сдурел? Сдурел, что ли? – Сапаркул поднял руки, прикрывая голову, и начал пятиться к двери. – Эй-эй! Ты что?

– Про-очь! – орал Абылкасым в иступлении. Глаза его налились кровью. Он был страшен.

– Сумасшедший! Сумасшедший! Я же пришел посоветоваться с тобой. Я же пришел к тебе как к человеку.

– Про-очь! Душегуб!

– Ладно, ладно, я уйду. Ухожу, вот, вот! – Сапаркул добрался до выхода, задом открыл дверь и вывалился на улицу.

– Убью-уу!

Крюк ударился о дверь и раскололся. Абылкасым схватил обломок и начал в иступлении колотить порог, будто добивал змею.

– Про-очь! Негодяй! Прочь!

Обломок разлетелся в мелкие щепки. Абылкасым в бессилии упал на пол.

«О, справедливость! Где ты?! Где ты бродишь? Есть ты на этой земле? Или навеки схоронена под ней?» Он вдруг вспомнил предсмертные слова старухи. «О, бедная, несчастная старуха! Почему ты

обманывала меня? Почему ты лгала мне, что доброе приходит к “человеку само! Почему ты запрещала мне завидовать красивым и сильным? Почему ты хотела, чтобы я не знал ничего, кроме доброго. А люди-то злые. Злые и хищные. Вот они съели меня. Съели всей хищной стаей, рвут мое слабое тело в клочья, а я не могу защищаться. Будь ты проклята, лживая старуха! За что ты уподобила меня себе, дождевому червяку, который выползает из земли лишь для того, чтобы его растоптали или склевали! О, создатель! Почему ты не убил меня в утробе матери?! Зачем ты пускаешь на свет кривых и немощных? Ведь они все здоровы и сильны, поэтому и принесли меня в жертву. Я должен душой и жизнью платить за них, за их зло, за то, что они сильные и гадкие».

Так или, вернее, примерно так думал Абылкасым, если передать, поведать последовательно его крики, мысли и чувства. Он, как рыба, хватал ртом воздух, сердце его то сжималось и замирало, то бешено колотилось. Он не помнил, сколько времени пролежал на полу, по, когда поднял голову, было уже светло. В разбитом окне свистел морозный ветер. Лампа давно погасла. Руки и ноги одеревенели от холода. За пазухой шуршало письмо Асипе. На столе стояла недопитая водка.

Он поднялся и начал разжигать огонь. В остывшей печи не было тяги, синий дым бил по глазам, руки не слушались – не гнулись ооченевшие пальцы. Он заткнул разбитое окно одеялами, подошел к столу, залпом выпил пиалу водки. Мягкое тепло разлилось по его груди. Выпил еще пиалу, она показалась горше и горячей первой. Тело размякло, слегка зашумело в голове.

«Эту водку принес подлец Сапаркул. Значит, он меня боится!» Абылкасым грохнул полупустую бутылку об печь. «А как же он бежал от меня! – Абылкасым хихикнул. – Выходит, я тоже кое-что могу. Я ведь могу смешать Сапаркула с навозом. Он у меня вот где, – захмелевший Абылкасым сжал пальцы в кулак. Тело его согрелось, в жилах заиграла кровь. Он достал из-за пазухи письмо. – Нашел кому писать! У негодя такая же сестра. Может, она-то и научила его свалить все на меня, напомнила, как в детстве побила меня. Ворованную пшеницу, конечно, спрятали вместе. Ах, притворщица! Ведь в тот самый день, когда брали пшеницу, она посылала сына за муккой...» И вдруг его осенила еще одна догадка, он вспомнил, что именно в тот день она послала через сына миску бузы. «Точно. Мало

того, что это хмельной напиток, небось подсыпала в него какого-нибудь дурману да еще наколдовала! Ловко одурачили! А разве не она обвинила тогда в воровстве пуговиц? Видать, человек не меняется до смерти. Ведь из-за нее я не стал учиться. Из-за нее я не пошел дальше пастуха, ночного сторожа... Дурак я! Вот кто! Нашел кому писать предсмертное письмо! Зачем мне вешаться? Что я, сдурел, что ли? Постойте, вы еще узнаете, кто я такой! Только вот пацана твоего жалко. Он-то ни при чем. Ну да пусть! Если их посадят в тюрьму, ребенка я заберу и выращу сам. Держитесь теперь у меня! – Абылкасым изорвал письмо в клочья и бросил в печь, бумага вспыхнула, озарив его красным, гневным пламенем. – Я отомщу за все! Одурачили меня... Теперь не миновать суда, пройдоха! Не смогу доказать твою вину, я сам покараю тебя! Пусть даже это будет стоить мне свободы и жизни!» Абылкасым достал из-под лавки охотничье ружье, из которого за десять лет ни разу не стрелял. На дне сундука нашел один патрон. Если бить с близкого расстояния, то этого будет достаточно...

Он закрыл печь, надел ушанку, затянул покрепче ремень и вышел на улицу.

В предрассветной дымке через спящий аил ковыляла одинокая хромающая фигура. Утренний мороз щипал щеки, шуба покрылась инеем, но Абылкасыму было жарко. Из раздувающихся ноздрей он выдыхал горячий воздух, ветер трепал распахнутые полы шубы. «Хотели меня уничтожить! Ничего... Я еще постою за себя! Сдохну, но правды добьюсь. Пусть я слаб, пусть не языкаст, но умру за правду!» Ему казалось, что все злое и недоброе на земле исходит от Сапаркула и его сестры. Из-за таких, как они, он остался сиротой, из-за таких, как они он родился увечным, и теперь его презирают все, считают преступником.

Абылкасым ударом ноги открыл калитку. Выскочившая навстречу черная собака начала было лаять, но, получив пинок, с визгом убежала за дом. Он начал колотить в дверь, потом ударил плечом, крючок распрямился, так как дверь вдруг распахнулась настежь.

– Сапаркул! Пройдоха! Выходи, если ты человек! – заорал сторож.

– Что, хромой, за смертью своей пришел? – Из правой комнаты с камчой вышел Сапаркул, но, увидев ружье, опустил руку и спрятался за дверь.

– Выходи, я буду судить тебя! Я приговорил тебя к смерти! – спокойно и четко сказал сторож.

– Господи, что случилось? – из соседней комнаты выбежала Асипа в одной ночной рубашке. – Ты с ума сошел, Абылкасым.

– Да, я сошел с ума! Я дурак! Но я вам покажу всем! Скажи брату: пусть выйдет, если он не собака! – приказал он.

На крик выбежал перепуганный сын Асипы. Он обнял мать и заплакал.

– Бо-же! Да он пьян совсем! Ребенка испугал! – Асипа вцепилась в ружье.

Ребенок закричал еще сильнее.

– Оставь его, сестра. Он сдурел совсем. Он не слышит человеческих слов, – сказал Сапаркул из-за двери.

– Выходи сюда, негодяй! Я тебя продырявлю! Я поговорю с тобой на твоём родном языке, – сказал Абылкасым, наставляя ружье.

Сапаркул хлопнул дверью и выскочил на улицу. Абылкасым оттолкнул женщину, рванулся за ним.

– Убил! Убил! – завопила женщина, упав, она обхватила его ноги. – Дорогой, милый Абыке! Что случилось, скажи мне?! Скажи мне, милый Абылкасым! Пощади! Убей лучше меня!

Абылкасым, кажется, только теперь понял, кто молит о пощаде. Он тряхнул головой и ладонью провел по лицу.

– Постой, Абыке! Постой! Ребенка испугал. Зачем связался с Сапаркулом? Ведь ты старше его... Умнее... Ты же добрый! Ты добрый, хороший человек? – Асипа продолжала умолять, обняв его колени.

Ребенок всхлипывал. Абылкасым опустил ружье.

– Вот так, Абыке, так, я не ошиблась в тебе. Не надо быть таким злым. Лучше меня застрели, а брата оставь. Он зеленый совсем, его жизнь впереди. А я, несчастная, отжила свое, ни мужа, ни родителей! Никому я не нужна! А он пусть живет! Глупый совсем. Пусть поживет, поумнеет.

Ребенок, увидев, что Абылкасым успокоился, – немного притих.

– Не бойся, не бойся, сыночек. Это дядя... Дядя... Видишь, немного опьянел... Дядя хороший... Ничего не сделает, не бойся его. Помнишь, он дал тебе патроны. Он согрел тебя шубой, ты спал у него за пазухой. Помнишь? – Асипа прижала сына к груди. Тот дрожал и всхлипывал. – Ну, скажи мне, Абылкасым, что произош-

ло? – Я ж ему родная сестра... И он ничего не говорит и ты? Что вы наделали? – Женщина мягко отняла ружье. – Зайди в комнату, объясни все.

Абылкасым притих и, как дитя, покорно пошел за ней. Ребенок перестал всхлипывать и спрятал лицо на груди матери.

– Иди, сынок, ложись. Я поговорю с дядей, не бойся, родной. Это хороший дядя. Он тебе еще даст патронов! Иди, спи...

Мальчик, настороженно оглядываясь, ушел в другую комнату.

– Хочешь джармы, Абылкасым?

Тот отрицательно покачал головой.

– Чай поставить? Выпьешь горячего чая, тебе лучше станет.

– Я не пьян, – сказал Абылкасым, стараясь не смотреть на женщину. – Просто я очень сильно разозлился.

– Зачем ты выпил? У тебя здоровье плохое...

– Выпил от злости, – сказал Абылкасым, словно просил уже прощения.

– Тебе совсем нельзя пить, загубишь себя, – в голосе женщины послышалась искренняя забота.

Он поднял голову. Она стояла в легкой, почти прозрачной рубашке, прижав руки к груди, волосы были распущены. А глаза... глаза ее были добрые и доверчивые. Нет, такие глаза не могут ни притворяться, ни обманывать. Абылкасым отвернулся.

– Твой брат со своим дружкой толкнули меня в пропасть... Никто мне не верит. Нынче ночью я хотел убить себя, – Абылкасым ладонью вытер слезы. – Я написал тебе письмо, а потом порвал.

– Мне? Какое письмо? – удивилась женщина. Абылкасым понял, что сказал то, чего не следовало бы говорить, но теперь уже было поздно.

– Написал, что ты виновата во всем. О пуговице твоей написал...

Женщина опустила глаза, видимо, вспомнила случай из далекого детства.

– Ночью твой брат заставил меня взять вину на себя! Я чуть не убил его. – Голос Абылкасыма становился все тверже. – Скажи, до каких пор будете издеваться надо мной? Я ведь тоже человек! Я тоже хочу жить. Для того ли я родился, чтобы каждая дворняжка кусала меня?

Асипа смотрела на него удивленно. Абылкасым, тот самый Абылкасым, который получал тумачи от девчонок и мальчишек, – вечное посмешище айльчан, вдруг заговорил о чести и гордости! Женщина только теперь заметила, что стоит перед ним, мужчиной, в одной нижней рубашке. Она смутилась, схватила старый чапан, набросила на плечи и запахнулась. Заметив это, Абылкасым почувствовал себя еще увереннее.

– Я взял пшеницу, виноват, но за правду буду стоять до смерти. Расскажу суду все. Я отомщу за свою опозоренную честь.

Абылкасым увидел, что женщина плачет, и замолк.

– О несчастная моя голова! Опять беда! Держалась за единственного брата! Что теперь будет? Откуда взялась эта злосчастная пшеница! Неужто мы с сыном останемся теперь совсем одни? – запричитала она, обливаясь слезами.

Услышав плач матери, вышел Нурлан.

– О, сиротка моя, теперь ты лишишься единственного дяди! – плакала она.

Абылкасым растерялся. Уж он-то знал, что такое сиротство и каково человеку, когда он остается в доме один.

– О господи, апаке! В какой черный день ты родила меня? Даже могила не берет меня... Почему ты не забрала меня в землю?

Абылкасым надел свою драную ушанку, потом снял ее, снова надел и потоптался на месте.

– Ну, будет... будет... – пробормотал он, взял ружье и пошел к выходу.

Женщина даже не заметила, что он ушел.

Аил просыпался, кое-где из труб уже курился голубой дымок, в морозном тумане тут и там мелькали фигуры людей.

Куда делась злость Абылкасыма, он протрезвел совсем, и гнев его угас так же, как в степи под струями внезапного ливня гаснет пылающий костер. В ушах его звучал плач женщины. Кто знал, что этот гадкий Сапаркул так дорог ей!..

Как только ушел Абылкасым, в дом ворвался Сапаркул с приятелями. У двоих были дубинки, третий держал ружье.

– Где хромой? – сквозь зубы спросил Сапаркул.

– Не знаю, ушел... – ответила Асипа.

– Он не тронул вас, сестра? – спросил один из дружков.

– Нет, разве он посмеет? – отозвалась Асипа, вытирая слезы. В голосе прозвучала едва уловимая теплота. Но никто из пришедших не заметил этого.

* * *

Вскоре по всей долине прошли слухи о том, что из района приехал следователь, который будет допрашивать хромого Абылкасыма (в аиле был еще один Абылкасым), а кладовщик Сапаркул сбежал. А через день заговорили о том, что сторож во всем признался. Оказалось, что пшеницу он брал один. Сапаркул нашелся, никуда он не бежал, три дня беспробудно пил и жил у молодой вдовушки Майраш. Дело сторожа Абылкасыма передали в суд. Из района приехал милиционер.

Когда он повел арестованного, все айльчане – и стар и млад – высыпали из домов и молча смотрели на преступника. Его следы отпечатывались на свежем снегу, след одной ноги ложился прямо, а другой – в сторону. Когда дошли до дома Асипы, он гордо поднял голову и едва заметно улыбнулся. Но Асипы не было видно. Арестованный замедлил шаг.

– Останавливаться нельзя, – поторопил милиционер. Абылкасым еще раз взглянул на окна и захромал дальше. Они вышли из аила, пошли мимо старого кладбища, мимо старого мавзолея. Сверху донизу зияла трещина. На стрельчатой макушке примостилась белобокая сорока.

– Дайте мне ваш курджун, – сказал милиционер.

– Спасибо, дорогой, как-нибудь сам...

– В таком случае пойдете быстрее, там, на шоссе, ждет машина. Не могли проехать по вашей дороге, – сказал милиционер.

Абылкасым отдал курджун.

– На сколько лет меня посадят? – спросил Абылкасым.

– Сколько заработал, столько и дадут.

Дальше шагали молча.

Вдали, па шоссе, показалась машина.

– Наверно, к вам? – сказал милиционер, оглянувшись.

Со стороны аила бежала женщина, Абылкасым покачал головой. Кто мог за ним бежать? Но женщина махала рукой. Это была Асипа. Она подбежала и долго не могла вымолвить слова. Милиционер отошел в сторону.

– Абыке... – задыхаясь, сказала Асипа, – вот... возьми на дорогу. – Она протянула узелок.

Абылкасыму вдруг захотелось погладить ее волосы и найти такие слова, какие никто никогда не говорил. Но рука не поднялась, а слов он не нашел. К горлу подкатил комок, навернулись слезы. Даже поблагодарить забыл. Подошел милиционер, пощупал узелок:

– Что здесь?

– Табак. Немного слоенки, – сказала женщина. Милиционер вернул узелок арестованному.

– Спасибо, братишка, я не забуду твою доброту, – сказал Абылкасым.

Из машины, стоявшей на шоссе, вышел человек в синей шинели и направился к ним.

– Старший идет, – сказал милиционер.

– Спасибо тебе, Асипа. Спасибо, что поняла меня. – Абылкасым хотел улыбнуться, но к горлу подкатил комок и получилась гримаса. Он сжал ладонь женщины, отпустил и захромал за милиционером... Асипа стояла, прижав руки к груди, и смотрела ему вслед.

– Жена? – спросил милиционер.

Абылкасым отрицательно покачал головой.

– Ну, понятно, – многозначительно подмигнул милиционер. – Только долго ей придется ждать вас, – добавил он с сожалением.

Абылкасым ничего не ответил.

Они вышли на шоссе, подошли к машине. Там были два милиционера и один в гражданском. Машина тронулась.

Асипа стояла на краю аила и была похожа на одинокую березку, выросшую на опушке леса. Старая полуторка, тарахтя деревянными бортами, выехала на бугор, спустилась вниз и покатила по дороге. Фигура женщины становилась все меньше и меньше, таяла и наконец исчезла совсем...

На суде Абылкасым признался, что зерно он брал сам, и его осудили на восемь лет с конфискацией имущества.

Сапаркулу все это показалось очень странным. Вскоре он сдал склад и перешел работать в соседний аил. Разумеется, он даже и не пытался освободить Абылкасыма, так как мог запутаться сам.

Абылкасыма по слабости здоровья освободили от тяжелой работы. Ему приходилось подметать барак, чистить картошку, топить баню. Он написал Асипе несколько писем, но ни одного не бросил в ящик. Одно казалось очень мрачным, другое плаксивым, третье слишком бодрым, словно он гордился совершенным поступком. Он же не хотел вызвать у женщины ни жалости, ни сострадания, ни похвалы. Ему впервые в жизни хотелось высказать живому человеку все, о чем он думал все эти годы, чем жил, Абылкасым писал, обдумывая каждое слово, и потом перечитывал, рвал в клочья, садился за новое письмо. Но наконец, он написал письмо, которое все же опустил в ящик.

«Дорогая Асипа, как здоровье? Как сын, здоров ли он? Живу неплохо. Не голодаю, не мерзну, разве только угнетает меня то, что нахожусь не где-нибудь, а здесь, да очень тоскую по родному аилу. Может, ты и не ждала от меня писем, но увидимся ли с тобой еще? Я хочу рассказать тебе все. До этой проклятой истории я не мог подойти к тебе, не мог поговорить откровенно. Асипа! Может быть, на моем месте другой бы давно ушел из жизни, но я живу. В жизни своей я ничего не совершил. На великие подвиги не гожусь. Учебой ничего не добился. Семьи нет. Добра не накопил – да и зачем оно мне? Я не смог выйти на большую дорогу. Хромал узенькой тропкой. Помнишь? В детстве у тебя пропали серебряные пуговицы. Я их не брал, но мне никто не поверил. Это очень потрясло мою душу. Я возненавидел тебя. Но после, через много лет, когда встретил тебя в ту вьюжную ночь с замерзающим сыном, мое сердце словно сорвалось с места. Может, в меня проникло тепло дыхания твоего замерзшего ребенка, которого я донес до дому, спрятав у себя на груди? Я знал, что между нами ничего быть не может, ты красивая, а кто я? Я мечтал о том, чтобы сделать для тебя что-нибудь хорошее. А потом произошла эта история. Твой брат толкнул меня в яму... Оклеветал. Это случилось второй раз в моей жизни. Я всегда любил людей и верил им. Моя бедная мать всегда говорила, что бог сам накажет виновного и оправдает честного. Но я понял, что на небе нет никакого бога, а на земле человек сам себе бог и за себя надо драться. Потому я пришел тогда к вам с ружьем. Прости, что был груб с тобой, недаром говорят, что от гнева слепнут глаза. Но я ни о чем не жалею. Мечта моя сбылась. Я сделал для тебя все, что мог.

Теперь могу умереть со спокойной душой. Если когда-нибудь услышишь обо мне плохую весть и на глаза твои навернутся слезы, другой награды мне не нужно... Спасибо тебе за табак и за мясо, которое ты прислала сюда. Когда курю этот табак, чувствую запах сухого курая, которым по вечерам топят печи в нашем аиле. Жаль, что ты ни строчки не написала. Но имею ли я право спрашивать об этом?

Желающий тебе здоровья и благополучия Абылкасым».

О последних событиях Абылкасым узнал много лет спустя...

Асипа никому не показывала этого письма, она не знала, как быть и что делать. Только теперь, кажется, она поняла все, что произошло. Ибо раньше она думала, да и брат обрисовал все в таком свете, будто Абылкасым взял всю вину на себя лишь по той причине, чтобы его преступление не квалифицировалось как групповая кража. И не случись эта история, может, Абылкасым навсегда остался бы в ее глазах слабым, беспомощным существом, к которому не может быть иного чувства, кроме сострадания. Но теперь, когда она узнала об истинных мотивах его «признания», перед нею предстал совсем другой человек. На такое способен лишь тот, у кого большое, нежное сердце и чистые руки. Она верила, что брат не умышленно навел на Абылкасыма беду, он, конечно, не подозревал, что возмездие будет столь легким для него и столь жестоким для другого. Асипа ждала, что Сапаркул придет с повинной и спасет убогого и беззащитного человека, или, по крайней мере, каким-то образом облегчит его участь. Однако шло время, а брата все не было. Никто толком не знал, где он и чем занимается. Говорили, что он приходит ночевать к вдове Майраш и что одел ее с ног до головы – видимо, украденную пшеницу он израсходовал на нее. Пошли слухи, что Майраш беременна от Сапаркула.

Пришла осень. Убрали хлеб. Настала пора, когда, как говорят в городе, у белого верблюда от сытости трещит живот. Старик Монколой женил своего младшего сына и закатил свадебный той. Асипа, как одна из близких родственниц, с утра помогала готовить достархан с угощениями, а к вечеру, когда начал собираться народ, ушла к себе домой. Вдруг открылась дверь, и на пороге появился Сапаркул. Он был немного навеселе, в новом офицерском кителе без погон и в новых хромовых сапогах.

– Я думал, ты пошла на свадьбу, – сказал он. Поднял на руки племянника, поцеловал и опустил на пол.

– Там весь аил, – глухо отозвалась сестра.

– Ну и что? – насторожился Сапаркул.

– А как я буду смотреть людям в глаза? – с горечью спросила сестра.

Сапаркул ничего не ответил и скрылся в своей комнате. Он снял свои сапоги и швырнул в угол, лег па кровать, не раздеваясь. Долго ворочался, никак не мог заснуть, наконец встал и вошел в комнату Асипы. Сестра чинила брюки сына, глаза ее опухли, видимо, она плакала. Сапаркул стоял и молчал. Она не поднимала головы.

– Его бы все равно посадили. У него же нашли пшеницу... – сказал Сапаркул, словно оправдываясь.

– Это я знаю, – сказала Сестра.

– Я не подумал, что его осудят на столько, один знакомый милиционер сказал, что ему больше двух лет не дадут.

Асипа молчала.

– Я бы восполнил недостачу. Но ревизия приехала неожиданно... Не могу же я добровольно идти в тюрьму. А спасти его я не в силах, сам попадусь. Кто тогда будет кормить тебя с сыном?

Асипа укололась иглой. На указательном пальце выступила кровь.

– Как-нибудь продержались бы. Аильчане не дадут нам умереть с голоду, – сказала она.

– Так что же ты предлагаешь?! – почти в ужасе спросил Сапаркул.

– Делай так, как велит твоя совесть, – жестко ответила сестра.

– Неужто этот кривой бродяга тебе дороже родного брата?

– Не дороже. Но он человек, – тихо ответила сестра.

– Ах да! Правильно! Он человек! А я, выходит, не человек? У меня ребенок вот-вот родится! – истерически выкрикнул Сапаркул. – Все вы пропадете без меня!

– А я больше не могу так... Ты рад, что спасен, тот – горд, что совершил геройство, а люди-то ничего не знают. Одна я знаю все и мучаюсь больше всех. Выйду на улицу, кажется, все смотрят на меня, шепчутся, пальцем показывают на наш дом. Лучше бы я сама села в тюрьму и отсидела там все восемь лет...

– Что ж... в таком случае иди расскажи все прокурору! Пусть заберут меня. Только не думай, что его тут же выпустят. Он тоже влип по уши, – Сапаркул снял со стула свой новый китель и хлопнул дверью...

Асипа прождала брата до утра. Ей все казалось, что вот-вот вернется, расскажет о своем решении или, во всяком случае, найдет какие-то более веские доводы, оправдывающие его поведение, и хоть немного рассеет ее тревогу. Она никогда не видела брата таким грубым и дерзким. Но он не пришел. Его не было и в следующие дни, будто он с головой провалился в сугроб. Ждать стало невыносимо, и вот однажды ночью она вынуждена была пойти к Майраш.

В доме было темно. Асипа осторожно постучала в окно.

– Кто пришел? – старческим голосом спросил Садыбакас, свекор Майраш.

– Мне нужна Майраш, – робко отозвалась Асипа. Старик долго возился, кряхтел, открыл дверь в другую комнату и осторожно позвал сноху. Он звал ее так тихо, словно боялся разбудить ее.

– Чего вам? – сонно спросила Майраш.

– Прости меня, доченька, но к тебе пришли, – виновато сказал старик.

– Кто пришел, Сапаркул? – встрепелась женщина.

– Нет. Сестра его, – виновато ответил старик.

– Чего ей нужно? – грубо спросила Майраш.

– Не знаю, стоит под окном в одном платье...

– Гоните ее к черту! – приказала Майраш.

– Ты бы подошла к ней, может, случилось что, – робко предложил старик.

– Чего вам нужно от меня? – Майраш подошла к окну.

Асипа немного растерялась, но взяла себя в руки.

– Ты прости меня, дорогая, но я пришла узнать, может, ты знаешь, где сейчас мой брат? – тихо спросила она, чтобы не слышал свекор.

– Откуда мне знать, где ваш брат? Если бы знала, давно бы поцарапала ему лицо! – громко ответила Майраш.

– Тише ты, свекор услышит. Пожилой человек все-таки, – тихо сказала Асипа.

– Пусть слышит! Ваш братец сделал все, чтобы опозорить меня на весь мир, и сбежал. А я как дура поверила ему, ходила перед всем аилом с пузом! Я проклиная весь ваш подлый род! Проклинаю! Ненавижу-у! – завопила Майраш почти в истерике.

В глубине комнаты показался нелепый силуэт старика.

– Ай, ай, доченька, успокойся. Будет тебе. Простудишься. Иди ложись, я сам поговорю, с ней. Она-то не виновата здесь,– спокойно сказал старик.

– Не хочу ничего. Все вы подлые! Все! Все до единого! И ты тоже с ними заодно! Почему не отпустил меня домой, когда он умер? Зачем меня держишь тут? Разве я виновата, что не успела родить тебе внука. Месяц! Всего один месяц прожила я с ним. Неделю до войны и двадцать дней после. Зачем он возвращался домой, коли суждено было ему умереть от пули Гитлера? Отпустите меня, иначе я сойду с ума! Я не могу больше носить свое горе и свой позор. Будьте прокляты все! Все! Весь ваш род! – рыдала Майраш.

Старик молча взял ее за руку и, как маленького ребенка, увел ее в другую комнату. (Старый Садыбакас потерял на фронте единственного сына, который вернулся калекой и вскоре скончался от боевых ран. Старик остался с молоденькой снохой, очень любил ее и называл дочерью. Майраш рвалась в свой аил, но старик просил не покидать его одного. «Еще одну неделю, еще один день побудь рядом, мне осталось совсем немного»,– умолял он, и глаза его слезились. Впрочем, глаза его слезились всегда, и нельзя было понять, то ли он все время плачет, то ли никогда в жизни не плакал.)

Асипа постояла немного и отошла от окна. Когда она уже подошла к своему дому, ее нагнал старик.

– Ты уж не обижайся на мою сноху, прости ее! Это ведь все, что осталось для меня. Она хорошая, смотрит за мной, как за родным. Только вот брат твой нехорошо поступил с ней. Я ведь хотел, чтобы они поженились. Делал вид, что ничего не замечаю. Думал, поженятся, будут у них дети, она останется в нашем аиле, будет приходить в мой дом, как родная.– Старик вытер ладонью слезящиеся глаза.

– Простите, ата, я не хотела вас огорчить, – еле слышно прошептала Асипа и быстро ушла в дом.

После встречи с Майраш и ее престарелым свекром Асипа вовсе лишилась сна и покоя, никак не могла примириться с тем, что ее родной брат, которого пеленали в той же люльке, в которой выросла она, вскормленный той же материнской грудью, которую сосала она, стал подлым и трусливым человеком. Она хотела убедить себя в том, что он просто испугался или ошибся по молодости лет и сам еще до конца не понял, в каком качестве выставил себя в глазах других, и

надеялась, что в конце концов он осознает все это, придет сам и сделает так, как поступил бы на его месте честный человек. Но время шло, а его все не было. И чем дальше шло время, тем больше зрело в ней чувство неприязни к родному брату и тем ближе и роднее становился маленький, неуклюжий, неприкаянный человек, затерявшийся где-то далеко-далеко, в суровом чужом краю. Почему добрый и честный человек должен страдать оттого лишь, что не может бороться за себя, защитить свое благородство и чистоту? А может, Абылкасым еще и не понял себя и сам не знает себе цену, а потому сам себе кажется жалким и слабым? Но когда-то ведь он должен узнать истину!

Асипа еще больше ненавидела брата, когда начинала думать о Майраш. Как он мог обмануть молодую женщину и убитого горем дружного старика?

И тут она поняла, что Сапаркул брал верх именно там, где слабые, где не могут дать ему отпор. А это было гнусно! А коли так, то почему черное и подлое должно брать верх над светлым, трепетным, над человеческим доверием, надеждой, даже, может быть, над глубокой и искренней любовью? Можно ли прощать такое даже самому близкому человеку? И кто будет виноват, если чистое погибнет лишь потому, что никто не подал ему руку, не помог сохранить равновесие и устоять на ногах?!

И Асипа решила на то, чего боялась сама, хотя мысль эта возникла в ней и жила с того самого времени, как получила письмо Абылкасыма. Женщина стремилась уйти, спрятаться от этой мысли, но та преследовала ее всюду и, как июльский овод, назойливо звенела над самым ухом.

Асипа достала ученическую тетрадь в клетку, вырвала двойной лист и круглым четким почерком вывела:

«Товарищ прокурор, помогите мне вернуть брата...»

* * *

На рассвете к дому подъехали дрожки, в которых сидели двое.

– Я сейчас, быстро! – сказал один, вставая.

Это был Сапаркул.

Он вошел в дом, сложил свою одежду в чемодан. Зашел в дружную комнату, чтобы поцеловать племянника. Сестра спала. На столе лежало письмо прокурору, он прочел его, разорвал на две части и бросил на пол. Некоторое время он стоял в нерешительности, а

потом вдруг поднял обрывки письма, положил в карман, нахлобучил шапку и вышел на улицу. Видимо, он понял, что Асипа напишет другое, точно такое же... Он хорошо знал нрав своей сестры.

– Поехали! – сказал он сидящему в дрожках.

– В город?

– Нет! К Майраш!

Возница задергал вожжами, и дрожки загрохотали по пыльной улице.

Майраш, худенькая, хорошенькая, больше похожая па девочку, чем на женщину, бросилась к Сапаркулу и обняла его за шею.

– Ты пришел?! Почему так долго не приходил! А я-то, дура, ах, какая я дура... думала черт знает что! Прости, прости меня милый... – затрепетала она.

Он ничего не ответил, слегка приподнял ее и опустил на пол.

– Ты холодный...

– Мороз... – коротко объяснил он, снял шапку и тяжело опустился на табуретку.

Майраш схватила его озябшие руки и потянула к постели.

– Скоро утро, – сказал он, не поднимаясь.

– Ну и что!

– Солнце взойдет...

– Солнца боишься?

– Человек ждет на улице...

– Подождет. – Она нервными движениями начала расстегивать на нем полушубок.

Сапаркул достал из кармана письмо.

– Что это?

– Донос на меня. Я знал, что этим кончится, – сказал он мрачно.

– Потом! – Она спрятала письмо под подушку. Сапаркул посмотрел на портрет солдата, висевший на стене в бумажной раме.

– А свекор где? – спросил он.

– А ну его! Старый совсем стал. Плачет каждый день. Не уходи, говорит, от меня. Ты, говорит, у меня и за сына, и за внука. Вчера ушел в больницу. Наверно, положили его. Ну что ты стоишь, как тополь? – Она сильно потянула его к себе. Он поднялся и подошел к окну. Возница топтался около дрожек, похлопывая рукавицами.

Майраш хмыкнула и надула губы.

– Ты прочти письмо, – сказал он.

– Ах, отстань! – Женщина сунула руку под подушку, вытащила письмо и швырнула его на пол.

– Ложись в постель. Тебе нельзя простужаться, – сказал он.

– Уже можно! – дерзко ответила она. Он глянул на нее с ног до головы и только теперь заметил, что она вновь стала стройной и изящной.

– Что ты наделала, сумасшедшая? – спросил он, схватив ее за худенькие плечи.

– Ничего. Не надо было исчезать, – сказала она холодно, сняла с плеч его руки и отвернулась.

Сапаркул взял письмо, застегнул полушубок, нахлобучил шапку и вышел. Услышав, как хлопнула дверь, Майраш в одной рубашке бросилась за ним, догнала и схватила за подол.

– Нет! Не пущу! Побаловался, опозорил па весь аил, а теперь прощай, да?! – закричала она.

– Да... – сказал он, слегка оттолкнул ее и ушел.

– Поехали! – приказал он вознице.

– В город? – спросил тот.

– Нет. К прокурору, – ответил Сапаркул.

– Зачем? – изумился возница.

– На суде все узнаешь, – спокойно сказал Сапаркул.

* * *

Вскоре дело Абылкасыма было пересмотрено. Сапаркулу не стоило особого труда доказать свою вину.

Глубокой ночью маршрутный автобус из Фрунзе на минуту притормозил у обочины шоссе. Из машины вышел человек с маленьким узелком и захромал по проселочной дороге к аилу, который чернел в стороне. Человек дошел до старого кладбища и остановился.

Мавзолей был обнесен деревянным забором, на калитке висел замок. Абылкасым зажег спичку и с удивлением прочел надпись на дощечке: «Памятник древности. Вход воспрещен. Охраняется государством». Абылкасым долго стоял у старого мавзолея... Затем привычной дорогой поднялся к аилу. На участке, где стоял его дом, качалась кукуруза, словно здесь никогда и

никто не жил. Только большое дерево напоминало о многом. Оно ласково раскинуло ветки, как будто хотело обнять возвратившегося блудного сына. Абылкасым подошел к старому карагачу, прижался щекой к его шершавой груди. «Ты ждала меня, мать?» – спросил Абылкасым. В ответ, как тысяча бубенчиков, зазвенели листья.

Абылкасым не заметил, как дошел до дома Асипы. Здесь мало что изменилось, разве калитка чуть покривилась. Значит, нет мужского глаза. Окна были темные. Он закрыл глаза, и окна оказались светлыми. Абылкасым стремился в этот дом давно... Может, всю жизнь. А когда дошел наконец, почему-то растерялся. Руки тряслись. К горлу подкатил комок. Он постучал.

– Кто там? – спросил женский голос.

Абылкасым оцепенел.

Дверь открылась. Как молния, сверкнула электрическая лампа. Женщина и мальчик увидели на пороге смущенного, улыбающегося человека...

– Это я... – сказал он.

* * *

...Абылкасым, сидевший один в ночной школе, поднял голову. Огонь в печи затухал. Он подбросил дров, закрыл школу и вышел на улицу. Огромными хлопьями падал снег. В окне дома, что расположен напротив школы, горел свет. Он пошел к нему, оставляя на белом рыхлом снегу неровные следы.

1964 г.

ОСЕННИЕ ДОЖДИ

Старая, опытная машинистка редакции Айша-апа вдруг стала делать нелепые опечатки – пропускать буквы, а иногда и целые слова. Сперва это показалось простой случайностью, но со временем такое повторялось все чаще и чаще. Заметив ошибку, она нервничала, вынимала почти законченную страницу, бросала в корзинку и начинала новую, но, не напечатав и половины текста, замечала, что вместо одной буквы шлепнула другую, и слово приобрело совершенно невероятный смысл.

Вскоре ответственные материалы, идущие на первую полосу, начали отдавать не ей, старшей машинистке, а Гульсун, которая работала всего три года, постоянно обращалась за помощью, серьезно расстраивалась из-за мелких накладок, и опытной Айше приходилось учить ее уму-разуму, давать советы. В душе старой женщины зрела горькая обида. Гульсун, очевидно, чувствовала это и старалась как-то ослабить напряженность ситуации: пыталась рассказывать смешные истории о своих детях или выбирала одну из рукописей и, протянув: «У-у, это мне не под силу!» – отдавала ее Айше.

Внешне обе женщины соседствовали и работали как будто бы мирно, однако в небольшой комнатухе «Машбюро», как называли ее сотрудники, атмосфера накалялась с каждым днем.

Однажды, придя на работу чуть раньше, Айша заметила, что Гульсун перечитывает ту корреспонденцию, которую она отпечата-ла вчера вечером. Почти на каждой странице, как пулевые пробои, зияли опечатки, выправленные жирным карандашом.

Айша молча прошла на свое место и долго печатала, не поднимая головы. Ее худые, жесткие пальцы работали быстро и четко.

– Ох, устала! – сказала вдруг Айша-апа.

– У вас была сдельная? – спросила Гульсун, продолжая печатать.

– Зачем мне сдельная? Много ли надо одинокой старушке! Работать устала, каждый день одно и то же: так-так, так-так-так. Этот стук всюду. Идет поезд – кажется, колеса стучат, как машинка. Играет музыка, кажется, барабан выстукивает буквы: так-так-так...

Молодая машинистка прервала работу – она никогда не слышала, чтобы это молчаливая женщина говорила столь горячо.

– Вам надо отдохнуть, – сочувственно сказала Гульсун.

– Да и думаю, пора бы. Возраст уже подошел, – жестко ответила Айша-апа, в тон ей резко застучали клавиши: так-так-так...

Молодая женщина просто хотела посоветовать ей поехать куда-нибудь в аил или к морю, но старая женщина поняла это по-своему и потому, видимо, обиделась...

– Да вы меня неправильно поняли, Айша-апа, – попыталась оправдаться Гульсун.

– Какая разница, – горько усмехнулась Айша-апа.

– Моей свекрови уже шестьдесят, а она все еще работает, – чики-чик-чик.

Айша-апа ничего не ответила. Она явно была не в духе, и Гульсун решила больше не тревожить ее. К тому же пожилая женщина не очень любила, когда молодые давали ей советы.

Дуэтом стучали машинки, а когда обе вдруг замолкли, тихим, спокойным подголоском вступали стенные часы.

Но вот желтый маятник вздрогнул. «Бенн! Бенн! Бенн!» – разнеслось по комнате. Наступил обеденный перерыв. Гульсун на полуслове прекратила печатать, открыла маленькое зеркальце, подвела губы, достала из стола бутылку кефира, свертки и стала ждать, когда Айша-апа закончит страницу. Но старая машинистка словно не слышала боя часов.

– Айша-апа, перерыв, – тихо сказала Гульсун.

– Иди, иди, милая. У тебя же дети! – така-так-так-так, така-так-так-так.

Гульсун пожала плечами и вышла.

Айша, почти не глядя на клавиши, перепечатала страницы, принесенные молодым корреспондентом, и пошла к редактору.

Когда вошла Айша, редактор ел холодные пирожки с зеленым луком и правил гранки. Он поднял голову, и женщина положила на стол заявление, в котором просила отпустить ее на пенсию в связи с ухудшением здоровья.

– Может, вам съездить в «Голубой Иссик-Куль» или в Крым? Очень хорошие дома отдыха под Москвой. Хвойный лес, чистый воздух. Сейчас я позвоню в профсоюз, спрошу, что у них есть, – начал редактор.

– Нет, Акматбек, спасибо за заботу. Но мне, по-моему, пора. Можно ли остановить солнце, идущее к закату?...

И пока редактор подыскивал слова, чтобы успокоить ее, она вышла из кабинета, забыв оставить перепечатанную корреспонденцию.

* * *

В небольшом зале редакции собрались почти все сотрудники, начиная от редактора, кончая техничками – тетей Лизой и Зурухан-апой. Стол был накрыт зеленым сукном, на нем стояли цветы, торт, конфеты, шампанское и пишущая машинка.

Редактор произнес небольшую речь о том, как хорошо было работать с Айшой Мусаевной, просил ее не забывать своих бывших

коллег и чаще навещать в редакцию. После этого ей был преподнесен подарок – машинка. Кто-то из репортеров раза два щелкнул фотоаппаратом. Все аплодировали. Айша приняла подарок, поблагодарила, прослезилась. Откупили шампанское, пожелали женщине доброго здоровья, долгих лет жизни, на редакторской машине отвезли ее домой. На следующий день в газете появилась маленькая теплая заметка под названием «До свидания, Айша-апа!». И с этого дня Айша перестала ходить на работу.

Первые дни она никак не могла привыкнуть к мысли, что теперь не надо спешить, не надо подниматься каждое утро в одно и то же время, идти на автобусную остановку. Правда, несколько раз она по привычке рано вставала, торопливо одевалась, завтракала, поглядывала на часы, но потом спохватывалась, что идти ведь некуда, опускалась на диван и долго сидела неподвижно. А однажды даже доехала до редакции, но, увидев знакомого корреспондента, стоявшего у входа, проехала мимо, сошла на следующей остановке и весь день проходила по городу – дома делать было нечего.

Настали тихие, однообразные дни, никто не беспокоил, никто не приходил, да и сама она никого не хотела видеть.

* * *

Айша стояла на улице в толпе любопытных и смотрела, как рушат ее старый дом. Паренек лет восемнадцати, в новеньком, еще не испачканном комбинезоне, тронул рычаг бульдозера. Вид у него был суровый и даже грозный: он чувствовал, что собравшиеся мальчишки завидуют ему, и держал себя важно; похоже было, что ему впервые доверили самостоятельно управлять машиной. Бульдозер, как стальной носорог, урча, двинулся к дому; дойдя до стены, замешкался, потом рванулся назад. Над камышовой крышей поднялась пыль, дом покосился, будто в прощальном поклоне, и медленно осел. Столб серой пыли взлетел к облакам.

В этот дом она вошла юной невестой, у порога этого дома простилась с мужем, потом с сыном и теперь покидала его одинокой старухой.

– Ур-ра-а-а! – закричали мальчишки.

Айша заплакала...

Если бы могла она упросить людей не разрушать старые дома! Пусть строят новые, но зачем разрушать старые? Хотя не сломаешь старое – не построишь новое. Законы жизни неумолимы.

Она получила на проспекте Мира комнату с общей кухней и коридором и первые дни не могла привыкнуть к новой квартире: проснувшись среди ночи, не могла понять, где находится, потом вспоминала, что это ее новое жилье, и долго лежала с открытыми глазами.

В соседних двух комнатах поселилась семья Медера Рысалиева. Это был мужчина лет тридцати, приятной наружности, работал прорабом в СМУ. Он был изысканно вежлив, даже галантен, всегда подтянут, очень следил за своей внешностью. Бурул была лет на пять моложе мужа; она весь день хлопотала по дому, следила за детьми, было видно, что с годами она превратится в дородную тетю и добрую мать большого семейства. А пока она воспитывала двух девочек: пятилетнюю Анару и трехлетнюю Гульнару. Дети просыпались задолго до солнца и начинали пищать, плакать, просить варенье, бегать на кухню, в ванную, дергать цепочку; квартира наполнялась криком, топотом, и ко всему этому прибавлялся, как отдаленный гром, шум воды, стекающей в унитаз.

Первые дни соседи встречались только на кухне, но постепенно две женщины подружились; бывало так, что Бурул, сварив на ужин какое-нибудь блюдо – плов, например, посылала соседке полную тарелку отведать, а та, в свою очередь, отвечала тем же.

В новом доме была холодная и горячая вода, газ и другие удобства, что освободило Айшу от многих житейских забот. Она поздно вставала, и уходила в парк читать «Графа Монте-Кристо». Приходила домой только к вечеру.

Иногда заходила к ней Бурул, и они долго разговаривали о том, о сем. Забегали Гульнара и Анара, хватали что-нибудь со стола, ссорились из-за портретика сына Айши в серебряной рамке, из-за большой ракушки, некогда привезенной с Черного моря. Просили снять картину, висевшую на стене, против окна. На репродукции был изображен ледокол под северным сиянием – он шел полным ходом, разрезая толстый лед. Картина скорей напоминала плакат или обертку, но Айша не расставалась с ней и вешала всегда на самом видном месте – это сын ее купил когда-то на собственные сбережения, сбранные в гипсовой копилке.

Анара и Гульнара пытались открыть старый патефон. Мать прикрикивала на своих девчонок, шлепала их по рукам. Они затихали на минуту, а потом все начиналось сначала.

Бурул любила рассказывать о всяких происшествиях.

Это она рассказала Айше, что на третьем этаже их дома живет одинокий старик, которого считают миллионером. Когда-то он был парикмахером и вышел на пенсию, а недавно купил в ювелирном магазине за баснословную цену большие красивые часы.

Айша засмеялась, не поверила. Но как-то в воскресенье старик вынес на балкон две табуретки и поставил на них большие часы – в корпусе слоновой кости с витиеватыми узорами; два амурчика держали золотой диск циферблата. Эта роскошь и вправду стоила, видимо, больших денег. Однако на следующий день старик отнес эти часы в детский сад и сказал заведующей: «поставьте их в зале для музыкальных занятий. Пусть дети знают, что жил на свете добрый человек».

Беседы с Бурул длились до тех пор, пока не раздавался звонок. Это приходил Медер. Он частенько запаздывал, являлся с друзьями и, несмотря на поздний час, мог заставить жену готовить угощение. Иногда Бурул уходила к себе с детьми, так и не дождавшись мужа. Звонок раздавался часа в два ночи. Жена спала крепко, и двери приходилось открывать Айше. Медер вежливо благодарил соседку, стараясь дышать в сторону. За его спиной виднелась шляпа какого-то субъекта. Айша, сказав свое: «Ничего, ничего», – уходила к себе. А через несколько минут из соседней комнаты доносился приглушенный голос: сперва Медер просил, потом начинал настаивать, женский голос упрекал, жаловался, всхлипывал. Просыпались Анара с Гульнаррой и начинали плакать в голос. Потом девочки умолкали, видимо, их уводили в другую комнату, а шум уже доносился из кухни. Это Бурул грела ужин или жарила мясо для закуски, а если не было мяса, просто нарезала лук и посыпала солью, после чего наступала относительная тишина.

Медер чем-то напоминал Айше ее мужа Мукаша. Такой же замкнутый, всегда погруженный в себя, так что трудно было угадать, о чем он думает и как к тебе относится. Да, если бы Мукаш был иным, хотя бы чуть более открытым, наверное, Айша поняла бы, почувствовала... и, может, предотвратила бы разлуку...

А сколько было прожито с ним солнечных дней! Вспомнить хотя бы рождение сына... А как ликовали они, когда профессор не подтвердил первоначальный диагноз малыша, до этого они сидели у постели сына и каждый плакал потихоньку, чтобы не заметил дру-

гой. И вот Мукаш, видно, забыл обо всем этом, взял да и ушел к другой женщине. Было обидно за себя, за сына: жаль было слез, пролитых холодными зимними ночами, пока Мукаш учился в большом городе; жаль было тех ласковых слов, которые она написала ему; жаль было своей любви, нежности, отданной ему. Он не оценил этого, предал ее, и это было слишком жестоко. Может быть, со временем она изменила бы свое отношение к его поступку и сумела бы понять его; там, в большом городе, наверное, ему было очень тоскливо и одиноко, а он привык к заботе, к тому, что рядом всегда был любящий человек. Та, которую он встретил в городе, была милостивой, и чувствовалось, что за ним она пойдет в огонь и в воду. Да, не смогла простить. Кто же знал, что скоро начнется война, и он уйдет на фронт... У Мукаша была возможность получить бронь, но он попросился на передовую. Айша даже не пошла провожать его на вокзал – не хотела встречаться с его новой подругой, да и людей постеснялась, послала сына и передала теплые варежки...

Незадолго до войны он пришел к ней, просил прощения, хотел вернуться, плакал...

– Нет, – сказала Айша, – ты нам не нужен, ты нас предал!

Правильно ли она поступила тогда? Ведь человек просил прощения!

И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы не война...

Мукаш вернулся в родной город после войны. О гибели сына он узнал еще на фронте, видимо, написала вторая жена. Придя к Айше, он ни о чем не спрашивал, ничего не рассказывал, просил показать извещение о гибели Эркина, долго рассматривал групповой снимок, сделанный под Прагой, забрал портретик, где сынишка сидит верхом на стуле в коротеньких штанишках и ждет, когда из фотоаппарата вылетит птичка. Так и просидели весь вечер молча. Айша тоже ничего не сказала, давно привыкла нести свою скорбь одна. С наступлением темноты Мукаш ушел к себе домой, там у него росла дочь, которая родилась после его ухода на фронт. С гибелью сына рухнул последний мостик, соединявший двух людей...

Раньше, когда Айша была занята работой в редакции, она редко вспоминала мужа или, вернее, пыталась не вспоминать о нем, но с некоторых пор все чаще ловила себя на том, что воскрешает в памяти давно забытые события.

Может, причиной тому была жизнь ее соседей, проходившая у нее на глазах. Медер, очевидно, был человеком добрым и хорошим,

но с женой у него что-то не ладилось: Бурул то и дело жаловалась на его жестокость и невнимание к ней... Однажды Айша заснула, так и не дождавшись тишины. Медер вернулся поздно, сквозь сон она слышала мужской голос, плач Бурул и, кажется, звон разбитой посуды. Утром Айша удивилась тишине в доме; на кухне никого не было; она решила, что Бурул с утра ушла куда-нибудь со своими девочками. Но часа через два к ней вошла Анара и сказала, что мама просит ее зайти.

Бурул, закутанная в пуховую шаль, лежала на диване и плакала. Когда вошла Айша, она зарыдала и долго не могла успокоиться: вытирала кончиком шали покрасневший нос, глаза, щеки. Девочки стояли возле матери, притихшие. Анара наматывала на руку подол платица, а Гульнара, выпучив глазенки, прижимала к груди куклу с разбитым лицом. Девочкам было очень жаль маму.

– Я не могу больше, не могу! – стонала Бурул.

Ей, видимо, очень хотелось, чтобы пожилая женщина пожалела ее, посочувствовала.

– Подними голову, – строго сказала Айша, – перестань плакать!

Обе девочки подошли к Айше и прижались к ней.

– А что мне остается делать? – отозвалась Бурул.

– Иди работать! У тебя хорошая специальность.

– А дети?

– Они будут со мной, – сказала Айша.

С этого дня Айша стала заботиться о девочках. Она думала о том, какие платица сшить им к весне, купила книжку «Наш ребенок», вечерами читала и делала для себя записи. Ведь сейчас не те времена, когда Айша была молодой матерью. Теперь о воспитании детей написаны большие книги. Девочки с утра до вечера пропадали в ее комнате, ходили с ней в кино, в цирк... Бурул устроилась на швейную фабрику.

Получив пенсию, Айша купила девочкам две пары нижнего белья, красную и синюю зубные щетки, желтую и зеленую скакалки. Почему она не взялась за это дело раньше!

В понедельник Бурул пошла на работу, вечером вернулась возбужденная, рассказывала о том, как она растерялась, сев за машинку. Вся семья сидела на кухне, смеялись дети. Медер тоже смеялся.

Много было теперь хлопот у Айши: ходила на рынок за мясом, стояла в очереди за молоком, готовила вкусные обеды, следила за девочками, часами сидела в парке и вязала шерстяные носки. Дни

пролетали быстро. Айша порядочно уставала и ночью спала крепко. Теперь не было квадрата окна, на который она смотрела долгими бессонными ночами. Она много думала о будущем этих двух девочек: ей очень хотелось, чтобы Анара стала знаменитой балериной, а Гульнара – писательницей. У нее такие были задатки – она очень складно придумывала всяческие небылицы и умело подбирала рифмы. Теперь пожилой женщине хотелось жить очень долго, чтобы увидеть, кем станут эти малышки, а потом и их дети и внуки; хотелось гордиться тем, что жизнь свою она прожила не бесполезно: она, именно она, воспитала эти две знаменитости – балерину и писательницу.

Ей казалось, что жизнь наградила ее чем-то новым, долгожданым и очень хорошим. Девочки стали для нее такими же родными, как тот мальчик, который сидит верхом на стуле и ждет, когда из фотоаппарата вылетит птичка.

В доме стало светлее, будто с окон сняли тяжелые занавески. Вечерами можно было слышать смех, а в воскресные дни с утра начинал играть магнитофон, который молчал до сего времени лишь по той причине, что его владельцам было не до музыки.

После завтрака все семейство отправлялось в город, в кино или в цирк. Айша оставалась дома и готовила обед. Возвращались шумные, возбужденные, голодные. Обедали тоже шумно. Гульнара то и дело вспоминала, как дяденька в шляпе глотал шарики, а выплевывал копейки, или о том, как хрюшка танцевала фокстрот.

Глядя на них, Айша даже не верила, что она когда-то не знала эту семью. Ей казалось, что Медер – ее сын, Бурул – невестка, а Анара и Гульнара – ее родные внуки, что она никогда не была одинокой, никогда не бежала от людей, всегда любила их, была с ними.

«Я скрепила эту семью, я вернула детям счастливый смех», – думала Айша.

* * *

Беда пришла неожиданно.

Однажды утром Айша заметила, что Медер и Бурул не разговаривают друг с другом. Она решила, что причиной тому какая-нибудь легкая семейная ссора. Вечером Медер вернулся очень поздно. Дверь отворила Айша, от него пахло спиртным. Он пробормотал что-то вроде извинения и пошел в комнату.

На следующий день повторилась та же история. Айша решила не вмешиваться и уехала в Кара-Балты к своей приятельнице в полной уверенности, что молодые люди помирятся.

Но она ошиблась. Приехав домой, она нашла на столе записку: «Айша-апа, мы ждали вас и не дождались. Мы решили уехать на Север. Поработаем там, может, все у нас наладится. А пока в нашей квартире будет жить брат Медера. Он студент. Будем писать. Крепко целуем и обнимаем нашу добрую Айшу-апу».

Старая женщина беспомощно опустила руки. В ту ночь она не сомкнула глаз, смотрела на квадратные глазницы окон и плакала.

* * *

В квартире стало тихо, как в склепе. Айша осталась одна. Длинной вереницей потянулись скучные дни. За окном медленно падали и умирали желтые листья... Осень тихо и спокойно входила в город.

Уже несколько раз была перемыта и без того чистая посуда, перестирано все, что можно стирать, выкрашены полы, побелены стены, хотя до праздников было еще далеко. Теперь женщина не знала, за что взяться, – делать было нечего. Пробовала читать – уставали глаза, ловила себя на том, что читает одно, а думает о совсем другом: Гульке, Анарке и еще... еще о маленькой белокурой девочке, которая много лет назад – впервые жизни Айши – назвала ее бабушкой.

Это было в тысяча девятьсот сорок восьмом...

Рано утром кто-то постучал в дверь. Айша подошла к окну и увидела два силуэта. Один большой, другой маленький. Окна заиндевели от февральского мороза, и нельзя было рассмотреть лица.

– Кто там?

– Мы! Откройте, пожалуйста.

– Да кто вы?

– Откройте, мы что-то расскажем.

– Что вы расскажете?

– Здесь живет мать Эркина?

– Здесь! – Айша распахнула дверь.

Вошла молодая женщина, закутанная в старенький пуховый платок, она держала за руку девочку лет трех.

– Кто вы?

– Мы?... Это ваша внучка, – сказала женщина и сняла с девочки платок, обнажив белокурую головку.

– Какая внучка?

– Дочь вашего сына.

– Сына? Но его давно нет... он...

Потом они долго сидели, пили чай; девочка уснула. Женщина рассказала, что часть, в которой служил Эркин, два месяца стояла в их деревне. Они понравились друг другу. Уходя на передовую, Эркин оставил адрес матери, обещал писать, но не написал. Может, письмо затерялось, а может, просто не успел написать. Фашистская пуля сразила его. А через несколько месяцев кончилась война, и потом родилась девочка.

Айша долго и внимательно всматривалась в спящую девочку, но не могла найти ни одной знакомой черты, разве что брови и реснички были черные-черные.

Айша не знала, как быть и что делать. Верить или не верить? Верить хотелось очень, но мало ли что бывает в жизни? Каким образом Эркин, очень застенчивый и необщительный, почти мальчишка, за столь короткий срок мог полюбить женщину старше себя и жить с ней? У него же была невеста, которая любила его и ждала! А недавно в газете написали об одном аферисте, который являлся к вдовам, заранее узнав что-нибудь о погибшем муже, рассказывал всякие небылицы, входил в доверие, оставался жить, а потом в один прекрасный день собирал все, что можно унести, и скрывался в неизвестном направлении. Айша, правда, не думала, что приезжая была из таких. Судя по ее рассказам, Вера хорошо знала Эркина.

Приезжая с дочерью поселилась у Айши, устроилась работать на завод. Однажды она пришла позже обычного и сказала, что записалась в какой-то кружок. Через несколько дней она пришла еще позже и сказала, что ходила в кино. В следующий раз Айша заметила, что Веру провожал какой-то мужчина. Она понимала, что все это естественно, что не имеет права на ревность, ни тем более запрещать ей с кем-то встречаться, но душа ее восставала. Как-то она не выдержала и спросила:

– Что это за парень провожает тебя?

– Работаем в одном цехе, – ответила Вера.

– Он хочет жениться на тебе?

– Не знаю...

«Тогда зачем он ходит с тобой?» – хотела спросить Айша, но промолчала.

Вскоре парень перестал провожать Веру, а вместо него появился другой – в офицерском кителе без погон, с двумя орденскими ко-лодками.

Тогда Айша решила поговорить с Верой откровенно.

– Ты пойми меня правильно, – начала она, – мы должны погово-рять начистоту. Ты молодая, красивая, у тебя все впереди, а я, видимо, мешаю тебе. Ты должна думать о своем будущем. Я не оби-жусь, если ты встретишь серьезного человека и у тебя будет семья...

Вера ничего не ответила и начала плакать. Может, она хотела объяснить, что приехала сюда ради нее, Айши, – такова была просьба Эркина, но почему-то не смогла сказать. Видимо, она чувствовала, что Айша-апа в чем-то сомневается, никак не может признать в душе девочку своей внучкой, дочерью сына. Одним словом, через некото-рое время Вера с дочерью уехала. Обещала писать, но прислала лишь одно письмо – откуда-то из под Ташкента, сообщила, что устрои-лась на фабрику, живет в общежитии...

* * *

Айша решила перечитать старые письма. Их было немного: не-сколько пожелтевших писем от мужа, три письма от сына и эта вес-точка от Веры. Вот первое письмо, оно пришло прямо в техникум из какого-то поселка на юге, куда Мукаш уехал работать. Они тогда еще не были мужем и женой. Он писал о трудностях, и местных нравах, а о любви только одно коротенькое слово в конце письма: «Жди». Не-сколько открыток, присланных из разных мест, в них беспокойство о ее здоровье (Айша ждала ребенка), потом беспокойство о здоровье уже двоих: жены и сына. Писем из большого города не было: она их уничтожила, но единственное письмо с фронта сохранила...

Айша долго сидела над письмами, не читала их, а просто смот-рела на буквы, на знакомый почерк. Содержание она знала наизусть.

Письма от сына...

Первое письмо написано детской рукой, пришло из пионерско-го лагеря: буквы пляшут, как конан-дойлевские человечки. На трех страницах повествуется о том, что их отряд катался на лодках. Вто-рое письмо написано почерком уверенным. Оно пришло из города,

где проходили обучение мобилизованные. Третье письмо с фронта. А потом извещение.

Айша бережно сложила письма, завернула в целлофан, перевязала ленточкой и снова развязала: решила перепечатать их на машинке, ведь бумага от времени желтеет, а иные письма были написаны карандашом, и буквы поистерались. Айша поставила машинку на стол, протерла фланелевой тряпочкой, достала первое письмо от мужа, развернула, положила старую медную линейку на строчку, поудобнее уселась на стуле и хотела начать печатать, но тут увидела, что в начале письма нельзя уже понять ни одного слова. С трудом, по памяти разобрала Айша первые фразы, нажала пальцем на клавишу, раздался одинокий резкий стук, но буква не отпечаталась – лента была старой; она вставила новую ленту и медленно, буква за буквой выстукала первое слово: «Дорогая». Руки устало опустились, словно она проработала целый день.

Она опустила голову на холодный корпус машинки и долго сидела молча.

Когда Айша подняла голову, в комнате уже темнело. Она открыла дверь на балкон. Свежий осенний ветерок пахнул ей в лицо, растрепал седые волосы. Недавно прошел дождь, с крыши падали слезинки, будто и дом плакал о своей весне. Одно за другим зажигались окна. Внизу блестел асфальт, отражая свет уличных фонарей. На балконе дома напротив, где было студенческое общежитие, стояла девушка, на светлом фоне двери она казалась нарисованной тушью. Послышалась музыка. Мужественный голос пел:

Уймись, волнения страсти,
Усни, безнадежное сердце...

Когда голос умолк, над городом, над домами, над черным асфальтом, как туман, плыли грустные звуки виолончели.

Минует печальное время,
Мы снова обнимем друг друга,
И жарко, и страстно с устами сольются уста.

Мелодия ласкала засыпающий город, осенние листья, девушку, очарованную ночной тишиной и одинокой зеленой звездой.

«Что ждет тебя, девочка, там, впереди в жизни? я ведь тоже была когда-то такой же, я тоже могла молча стоять у юрты до восхода Чолпон – утренней звезды, подставив лицо горному ветру. Не ждет ли тебя такая же участь? – с этой мыслью у Айши задрожали губы, к горлу подкатил комок. Нет! Нет! Ты этого не испытываешь никогда! Никогда! Ведь ради тебя погиб мой сын. А сколько было таких сыновей! Чтобы могла стоять вот так, смотреть на звезды и думать о счастье...»

А впрочем, стоит ли рассуждать так? Может, девушке нет никакого дела до тех, кто погиб на войне? Конечно, знает она о них, читала в книгах. Может, все это представляется ей как простая смена поколений – одни ушли, другие пришли, как нечто такое, что случилось очень давно?

...Порыв ветра снова растрепал седые волосы Айши. С крыши упали крупные капли. Закружились желтые листья. Опять пошел дождь. С противоположного балкона неслась уже джазовая музыка. Девушка исчезла.

* * *

Холодало. На исходе был октябрь, Айша-апа заметно осунулась, снова началась бессонница. Пошла к врачу, ей выписали таблетки, она приняла большую дозу и уснула. Когда проснулась, в окно заглядывала луна, большая и ясная. В ванной журчала вода. Потом умолкло и журчание. Стало тихо. Айша вошла в ванную и открыла кран, снова зажурчала струя, журчание напоминало голос ручейков, бегущих с гор, где прошло ее детство, где она бегала босиком с подружками, срывала красные маки. Маки! Почему они хрупкие? Не успеешь сорвать – опадут лепестки. Наверное, поэтому в народе говорят: «Не срывайте красный мак – лепестки опадут, не растите девочек – замуж убегут».

В один из осенних дней раздался звонок. Айша встрепенулась и побежала к двери, даже забыв застегнуть халат. Она решила, что вернулась Бурул с дочерьми. Однако на пороге стояла улыбающаяся Гульсун.

Айша не сразу узнала ее в широком платье с огромными пуговицами. Молодая женщина похудела, глаза стали большие.

Лицо было чистое, свежее...

– А, Гульсун, откуда, милая? Что же стоишь у порога, проходи. Молодец, что пришла. Соломинку переломить над твоей головой, что ли?

– А зачем? – не поняла Гульсун.

– Народный обычай. Когда человек совершает благородный поступок, тут-то и нужен этот обряд.

– А-а!... – Гульсун рассмеялась.

Айша ушла на кухню и через минуту явилась с тарелкой боорсоков.

– На старости лет становлюсь суеверной. Кушай, милая, боорсоки, сама пекла...

Гульсун взяла румяный колобок.

– Ну, рассказывай, как живете, как детишки? Все же молодец, что пришла! А я уже решила, что забыли меня все!

Гульсун достала из сумки два больших апельсина, положила на стол:

– Муж привез из Москвы.

– У-ух, какие красавцы! Спасибо, Гульсун. Неужели такие в Москве растут?

– Да нет, привозные, наверное... – Она не уловила усмешки Айши.

– Как хорошо, что пришла. Ну, рассказывай, что там нового у вас. Слышала, редакцию хотят переселять в другое здание, не переехали еще?

– Да нет, наверное. – Гульсун пожала плечами.

– Ты что, не бываешь там?

– Да... – замялась Гульсун. – Я ведь ушла сразу же после вас. Старшенький мой в первый класс пошел. Муж теперь работает в управлении. Защитил диссертацию. А я стала домохозяйкой. Весь день с детьми. Если все будет хорошо, появится еще один. Как я с ними управлюсь – с ума, наверное, сойду!

Гульсун не решилась сразу сказать о цели своего прихода и, чувствуя неловкость, мысленно ругала себя за то, что ни разу не пришла к старушке раньше. Тогда бы легче было договориться. Айша понимала, чего хочет от нее Гульсун, но молчала.

А молодая женщина все говорила и говорила: рассказывала о том, что они скоро получат трехкомнатную квартиру с горячей водой и газом. Купили большой телевизор. Словом, у них скучать не придется.

Гульсун была убеждена, что действует очень тонко и дипломатично.

– Да-а, воспитывать детей – дело трудное и хорошее, – начала Айша спокойно, снимая шкурку с апельсина. – Жили здесь соседи.

Молодые, красивые, а моя приятельница, тоже одинокая старуха, решила помочь воспитывать детей. Так привязалась к ребятишкам – не могла без них... – Айша долго молчала и, почему-то отложив первый апельсин, начала чистить второй. – А они взяли и уехали... А старухе все кажется, что еще раз потеряла родных детей... Часто приходит ко мне, плачет...

Гульсун увидела, что Айша-апа вытирает слезы.

– Не могли же они ради какой-то старухи жить здесь, если их тянет в другие края...

– Простите, Айша-апа, я не хотела вас расстроить, – сказала Гульсун опечаленно.

Она ушла, так и не решившись объяснить, зачем приходила.

* * *

Солнечные лучи падали прямо на лицо, она прищурилась. Выпал первый снег. Ветки карагача гнулись под белой тяжестью. Вставать не хотелось, да и лежать не хотелось тоже. Женщина долго смотрела в окно. Солнце ушло – лучи уже падали на спинку кровати, где висело махровое полотенце с бордовым рисунком. Посмотрела на часы – они стояли. Вдруг показалось, что в окно тихонько постучали. Айша подняла голову – маленькая серенькая птичка перепрыгивала с ветки на ветку, сбрасывая снег, уселась поудобнее и долго поправляла перья, кокетливо вертела головкой, потом легко вспорхнула и улетела.

«Странно устроена жизнь», – подумала женщина.

Человек – словно это птичка: появляется из небытия, чтобы посмотреть на мир, полюбить, пострадать, посмеяться, поплакать, пощуриться на солнце, а потом – порх! – и нету его. Уходит опять в небытие. И что значат маленькие людские заботы, мелкие дразги и большие обиды в сравнении с могучим неиссякаемым вечным водоворотом природы, перед лицом необходимой жизни и неминуемого конца! Почему же она не сумела понять и простить мужа? Наверное, потому, что была молода, полна сил и чувств, могла по-настоящему любить и ненавидеть так же сильно! Говорят, мужчины не могут жить одни. Может, он, оставшись без нее в городе, не мог победить одиночества и потянулся к той женщине, а та, несчастная, конечно, пошла к нему навстречу не для праздного развлечения... О, если бы человек в тридцать лет мог таким же мудрым, как в шестьдесят!

Почему-то вспомнила соседа сверху – старого парикмахера. Он по утрам вывешивал на балкон старый матрац со ржавыми следами пружин, грел на солнце свою дряхлую спину, кряхтел, жевал махорку, в эмалированной кружке варил себе вегетарианский суп, заходил к Айше просить заварки – ему было лень кипятить чай для одного себя, а соседи были уверены, что он экономит на чае. Вспомнила фразу, которую он сказал как-то, придя за кипятком.

– Давайте согреем чай, он уже холодный, – предложила Айша.

– А! – старик махнул рукой. – Не все ли равно? Все горячее остывает в конце концов...

Стук в окошко опять заставил вздрогнуть, – снова прилетела серая птичка. Женщина невольно улыбнулась. Птица чем-то напоминала Веру – когда та приходила с работы, садилась у плиты, грела озябшие ноги и смотрела точь-в-точь, как эта птаха, и носик у нее тоже был слегка вздернутый. Если сын жил с ней, ласкал, значит, любил ее. А может, девочка родилась действительно от него! Но пусть даже не от него. Ребенок есть ребенок. Девочка бы никогда ничего не узнала и считала бы ее родной бабушкой. У Веры не было ни родных, ни близких – все погибли, она приехала к ней, к Айше, несмотря на дальнейшее расстояние, с большими трудностями добиралась в течение месяца, разыскала, значит, искала в ней близкого, родного человека. И если бы Вера встретила здесь другого, пусть даже уехала б, надо было оставить девочку, вымолить ее любой ценой, воспитать, вырастить, а потом нянчить ее детишек. Но почему она не подумала об этом тогда, двадцать лет назад, почему не смогла перебороть какое-то внутреннее сопротивление или, попросту говоря, предрассудок? Молода была? Надеялась, что вернется сын или муж? Пожалуй, да – где-то в глубине души теплилась тогда надежда на то, что впереди ждет что-то еще... Разве может быть так, что жизнь отнимает у здорового молодого человека все, даже будущего! Нет, нет. Пожалуй, тогда попросту не хватило капельки человеческой доброты. «Доброты», – уже вслух сказала женщина, приподнялась в кровати и долго сидела в каком-то странном оцепенении.

Надо разыскать Веру и ее дочь. Вот он. Ее последний адрес. Она писала из Ташкента. Устроилась работать на ткацкой фабрике. Живет с дочерью в общежитии. Теперь, возможно, ее там нет. Но должны же остаться какие-то документы о том, куда она уехала. Не исключено, что вышла замуж, сменила фамилию, вернулась на родину.

Но найти ее можно. Каждый месяц тринадцатого числа писательница Агния Барто вела по радио передачу, посвященную розыску родных. Надо написать ей, признаться в том, что когда-то совершила большую ошибку, попросить прощения, так и начать: «Дорогая Агния Львовна, пишет Вам женщина из далекой Киргизии, в жизни своей я совершила две боьшие ошибки. Прошу Вас помочь мне исправить хотя бы одну из них...» И Вера обязательно откликнется, а если с ней что-то случилось, то непременно откликнется ее дочь. И они – старая женщина и девочка – найдут друг друга.

Солнце поднялось уже высоко, и лучи его падали теперь на стену, где висела картина – корабль шел между глыбами арктических льдов, разрезая синие воды...

Нет. Жизнь еще не кончена! Надо встать и идти. Идти к людям.

Айша встала, умылась холодной водой, подошла к зеркалу. На нее смотрела худая пожилая женщина с седыми прядями волос, измученная тревожными думами и бессонницей, глаза ввалились, но в них притаились еле уловимые искорки и даже озорство. Айша быстро оделась и у дверей обернулась, взглянула еще раз на картину.

Корабль шел вперед, ломая льды.

* * *

Через два дня поезд Фрунзе – Ташкент вез ее в город, где много лет назад она начинала свой первый трудовой день. В вагоне было душно. Айша вышла в тамбур и закурила. Она не помнила, когда в последний раз ездила поездом. Это было очень давно, так давно, что и не припомнишь, в котором году. Может, двадцать, а может, и тридцать лет назад. Куда ехала? Зачем? Все стерлось с памяти.

Женщина смотрела на горы, на проплывавшие мимо заросли облепихи с ярко-желтыми ягодами. Желтый цвет! Это ведь к... разлуке, раз-лу-ке, раз-луке – монотонно стучали колеса. Разлуки... сколько их было в жизни Айши! Не они ли сделали ее такой замкнутой и суровой?

Первая разлука была очень давно, когда она поздней ночью провожала мужа в большой город учиться. Друзья его отошли в сторонку и тихо переговаривались между собой. Она прижалась щекой к груди Мукаша и заплакала.

– Ну что ты, будто на гибель провожаешь, – сказал Мукаш, обняв ее за плечи.

– Не знаю, только очень не хочу, чтобы ты уезжал, – сказала она.

– Глупенькая ты моя! Я ведь скоро вернусь, подучусь немного и буду начальником еще большим, чем сейчас, – пошутил он.

Но Айша продолжала всхлипывать.

...Поезд мчался мимо хлопковых полей. Как шрамы на лице земли, темнели глубокие безводные арыки. Группами и в одиночку работали люди. Мужчины в белых рубашках с открытыми шеями, в узбекских черных тюбетейках, вышитых белым шелком, женщины в пестрых платьях. Они поднимали свои бронзовые, загорелые лица, смотрели вслед уходящему поезду, улыбались, махали руками.

Раз-лука, раз-лука – стучали колеса...

Муж писал почти каждый день, подробно рассказывал обо всем. Потом письма стали приходить реже. А к концу второго года связь прервалась совсем. Напрасно Айша спешила домой – ящик теперь бывал пуст.

Мукаш вернулся чужим: там, в городе, он встретил другую. Айша сделалась замкнутой и злой. Ей казалось, что любой мужчина способен поступить так, как поступил Мукаш...

А когда он уезжал на фронт, ей очень хотелось пойти на вокзал, посмотреть ему в глаза и увидеть в них нечто такое, чего, может быть, она никогда не видела и потому не понимала. Но женская гордость удержала ее дома.

Так она осталась одна с сыном. Айша преподавала в начальных классах и с утра до вечера пропадала в школе. Сын, вернувшись с занятий, рубил дрова, топил печку, пек на сковородке лепешки из кукурузной муки, вечерами готовил уроки, катался на лыжах, коньки он почему-то не любил, хотя его друзья дни и ночи могли «летать» по улицам, цепляясь за машины.

Они с сыном виделись только утром, за завтраком, да поздно ночью, разговаривали редко, никогда не вспоминали о Мукаше.

* * *

Эркин уже учился в десятом классе. Годами он сделался замкнутым и застенчивым, много читал, мечтал стать юристом. Но, по правде говоря, Айша плохо знала своего сына. Если кто-то в классе рисовал на доске Буратино, заталкивал в чернильницы промокатель-

ную бумагу или мел, она безошибочно знала, кто из сорока мальчиков сделал это. А вот сына своего знала плохо.

В памяти остался последний новогодний вечер. Эркин пришел домой с одноклассниками. Трое ребят и одна девушка танцевали, смеялись, в двенадцать часов встретили Новый год пиалками с чаем. А утром Айша стояла у горвоенкомата. Звучали гармошки. Народу было много. Люди пели, плакали, плясали, в толпе снова-ли юркие мальчуганы, четко выкрикивая: «Пап-пиросс!» Айша позвала одного, купила целую пачку «Цветка», там было сто штук, и закурила.

– Тетка, дай закурить, – попросил паренек с красным от выпитого лицом.

Айша дала ему несколько папирос; подошли и его дружки, такие же юные, слегка под хмельком, остриженные наголо. Через минуту в пачке не осталось ни одной папиросы.

Люди ждали, когда выведут последнюю группу призывников.

– Идут, идут! – послышалось с разных сторон, и все двинулись к зеленому воротам военкомата. Показалась колонна. Впереди шел младший лейтенант. Подтянутый, шинель впору, и потому он казался намного старше ребят, идущих в колонне, хотя был примерно одних с ними лет. Уходившие в армию ребята надели рабочие ватники, старые пальто и летние кепки, – видно, рассчитывали на обмундирование, которые должны были получить в Ташкенте.

Колонна двинулась к вокзалу. Провожающие хлынули за ней, образовали огромный поток людей, и, если бы не слезы старух, сдержанные всхлипы молодых женщин да угрюмость стариков, можно было подумать, что это праздничное шествие. Ребята перекидывались грубоватыми шуточками, нарочно громко смеялись, пытались показать, что им не страшно и легко идти на войну.

Эркин шел крайним справа. Айша так же, как и другие женщины, молча держала за руку сына и шагала, не разбирая луж, только изредка вытирала слезы. А Эркин тихо говорил: «Не надо, мама», – виновато смотрел на друзей, на Санию, идущую рядом.

«Мальчишки, милые. Грубые мальчишки. Куда вы идете? Ай, если бы я могла выдрать глаза этому Гитлеру! О, мои родные, ведь многие из вас не вернутся или вернутся калеками, а вы смеетесь, шутите. Хоть бы не смеялись. От этого еще тяжелей!» – думала Айша.

Белоруссия родная, Украина золотая,
Наше счастье мо-ло-дое, –

Запел слабым голосом кто-то из идущих впереди.

Мы стальными штыками отстоим! –

Дружно подхватила вся колонна. С пирамидальных тополей, почетным караулом стоявших вдоль улиц, посыпались бурые полустлевленные листья. Затем песню подхватили шедшие рядом с колонной. И весь этот людской поток напоминал мощную горную реку, вышедшую по весне из берегов, увлекающую за собой огромные каменные глыбы, сокрушающие все, что попадет на пути, что мешает мчаться вперед.

Пришли на станцию. Начали прощаться. На миг Айше показалось, что это сон, что Эркин все еще маленький карапуз, а стоит перед ней совсем другой парень, которого только сейчас увидела. Стояли. Молчали.

На станции «крутили» патефон, кто-то произнес громкую речь – напутствие. Зачем она, эта речь? Кого агитировать? Уж не этих ли ребят, которые столько добивались, чтобы их раньше срока отправили на фронт.

Раздался первый сигнал к отправлению. Люди забеспокоились, громче заплакали те, кто плакал, громче заговорили те, кто говорил, а из репродуктора уже неслись звуки бодрого марша.

– Береги себя, сынок. Не простудись... Обмундирование в Ташкенте дадут, да? – спросила мать, хотя знала об этом.

– Да, мама.

– Пиши. Обо мне не беспокойся, береги себя.

Раздался второй сигнал.

– Ну, беги! Отстанешь.

– Мама... До свидания... – Эркин повернулся к Сании, которая стояла молча рядом. Молодые люди несколько секунд безмолвно смотрели друг на друга.

– Ну вот, уезжаем, – тихо сказал он, словно отправлялся в пионерский лагерь.

Мать отвернулась, подняла чемодан сына и понесла к вагону; ей показалось, что молодые люди стесняются ее. Но Эркин лишь

тряхнул Санию за плечи, крепко пожал узенькую девичью ладонь и побежал к вагону, так и не решившись при народе и матери поцеловать подругу.

Прозвучал последний сигнал к отправлению. Эркин подospel к своему вагону, кто-то подал ему руку, помог взобраться... Провожающие бросились к поезду, все что-то кричали, плакали в голос, а ребятня в вагоне напирала друг на друга, чтобы успеть еще раз увидеть своих. Наконец паровоз тяжело вздохнул, крикнул, словно ему было тяжело увозить этих ребят... Чугунные колеса медленно и лениво двинулись, сделали оборот, другой, третий. Еще. Еще. Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! И весь перрон пришел в движение, люди пошли, побежали за составом, а он все удалялся, удалялся, удалялся. Пожилая женщина с ребенком на руках крепко схватила юношу за руку и побежала рядом с поездом, она плакала и что-то говорила.

Айша тоже побежала за вагоном. Она ничего не видела, кроме улыбающегося лица сына, с головы ее слетел зеленый платок, кто-то подобрал его и побежал за ней, чтобы отдать. Она почти догнала вагон, но тут состав начал набирать ход. Айша бежала за поездом, готовая остановить его. Какой-то парень в барашковой киргизской шапке крикнул напоследок:

– Ждите! Вернемся-а-а-а!

Его крик заглушил рев паровоза, и все заволжлось дымом. Провожающие остановились и стояли до тех пор, пока черный дым не скрылся за горизонтом.

– Вернемся-а-а-а! – звучало в ушах Айши.

Но вернулись не все...

Через несколько месяцев пришел черный листок бумаги со страшными словами: «Ваш сын при освобождении Праги пал смертью храбрых...»

Маленький листок бумаги! Разумеется, бумага была светлая, а буквы черные, но Айше она навсегда запомнилась черной.

«У-у-у!» – загудел тепловоз, и резкий толчок прервал воспоминания женщины.

Айша вошла в вагон. Ее купе было завешено белой простыней. Соседка по купе, беременная женщина, которой Айша уступила нижнюю полку, лежала на спине, тяжело дыша, ее отекавшее лицо было мокрым...

– Может, сойдете сейчас на станции? – спросила Айша.

– Не хочет, – сказал муж. – Говорит, продержится. Да и остановка вряд ли будет до самого Кара-су.

Женщина безмолвно смотрела на мужа.

– Молодой человек, пройдите в тамбур, я побуду с вашей женой, – сказала Айша.

Муж взял пиджак и вышел из купе.

– Разве можно ехать в таком положении? – Айша вытерла лицо женщины полотенцем.

– Мы не знали, что так будет. Через полмесяца должно было быть... Может, врачи ошиблись...

– Это у вас первый? – спросила Айша.

– Ой, что вы, – женщина смущенно усмехнулась, – пятый...

– Да сколько же вам лет, милая?

– Сколько... Скоро тридцать будет.

– Тяжело с ними?

– Нелегко, конечно. Хотя он и жалеет меня. Человек он хороший, добрый, не пьющий и детей очень любит... У нас умер первый ребенок... Годик ему было. И вот с тех пор у мужа появилась какая-то страсть к детям. Рожай, говорит, и все. Пусть их будет хоть двадцать. Прокормить-то их можем, только вот стыдно каждый год ходить тяжелой...

– Чего стыдиться-то... Дети – это хорошо... «Без них хуже», – хотела добавить Айша, но смолчала.

– Вот родится прямо в поезде, и назовем его, как в старину, Жолочу,¹ – засмеялась женщина.

Айша поправила подушку, подложила под спину женщины скатанное полотенце.

– Вы не знаете, сколько еще ехать?

– Не помню... – сказала Айша. – Наверное, скоро приедем.

Муж вошел в купе.

– Что ж ты... Посидел бы еще... Со мной ничего не случится... – сказала женщина.

– Ничего, скоро приедем в Кара-Су... Мне здесь лучше, – ответил муж.

В купе стало тесно, и Айша вышла в тамбур.

¹ Жолочу – путник.

Поезд мчался среди безбрежных полей хлопка. Кудрявые коренастые тутовники отбрасывали длинные тени. Женщины возвращались с работы. У каждой на голове была ноша. Солнце клонилось к закату, освещало их тонкие лица, а они, стройные, прямо и легко шли по тропке через поле; выстроившись в ряд, словно исполняли плавный танец. Айша позавидовала им. Они работали весь день в поле, шутили, смеялись, злословили, насмехались над каким-нибудь крикуном бригадиром, а теперь вот идут усталые, но довольные тем, что за день сделали немало, работа кончилась, придут домой, умоются холодной водой, начнут готовить плов или еще какое-нибудь блюдо, остро пахнущее редькой, красным перцем и жаренной морковью, накормят детей, мужа, стариков и будут спать крепким сном. Конечно, они не знают, что такое бессонница, длинные ночи и квадратные глазницы окон...

В тамбуре сделалось прохладно, вечерний ветер бил прямо в лицо, и Айша перешла к противоположному окну. Мимо пробегали поля, люди и деревья. Только горы, синеющие вдаль, казалось, бегут, плывут за поездом, не желая отпускать его от себя.

... Что было после черной бумаги?

Кончилась война. Иные возвратились живыми и здоровыми, иные израненными, изувеченными, в очередях за хлебом нервно трясли палками, если кто нарушал порядок. Как бы там ни было, оставшиеся жить – жили, лечили свои раны, возвращались к своим прежним делам. Вначале Айше не верилось, что сын никогда не вернется. Правда, и сейчас, стоя в тамбуре, Айша не верила, но теперь уже в то, что у нее был сын, муж, была семья, – казалось, что никогда их не было на самом деле. Была сказка, мечта, сон, а кто-то пришел и разбудил, и все это ушло в небытие. Тогда не смогла поверить, что сына не стало, а теперь не верила, что он был...

Перед глазами возникли вдруг сорок детских лиц, сорок озорных мальчуганов, характеры и судьбы которых, казалось, зависели от нее, от учительницы Айши Мусаевны. Каждый урок приносил новые огорчения и новые радости. Айша приходила домой, бросала на стол тетради, снимала туфли, падала на диван и лежала минут сорок, стараясь ни о чем не думать. Но мысли не отступали. Нет. Нет! Все будет хорошо! Он вернется. Кругом жизнь, она полна надежд, и эти сорок мальчуганов вырастут и станут хорошими людьми.

ми. Иногда приходили родители учеников, беседовали, советовались. Айша рассказывала забавные истории, смеялась. Потом увлеклась составлением школьного учебника, над которым работала вместе со своим старым учителем.

Так было, пока не пришел новый директор; он зачитал некое распоряжение горono о том, что отныне в школе будут работать в основном те, кто имеет диплом.

– Но ведь у меня опыт, к тому же я вместе с другими учебник составила, – возразила Айша.

– Что я могу поделаться? Инструкция... – сказал директор.

Через неделю Айша работала в машбюро редакции, куда ее приняли без особой волокиты.

Поезд заметно сбавил скорость, затем остановился. В тамбур вошел проводник с желтым скатанным флажком.

– Пройдите, пожалуйста, в вагон, – попросил он.

– Что, приехали?

– Нет. Разъезд.

Айша вошла в вагон. Люди собирали чемоданы, мешки, одевались. Купе еще было завешено.

– Помогите, пожалуйста, одеться, если вам не трудно, – попросила женщина. – Он такой неуклюжий, полчаса одевает меня...

Муж вышел из купе, Айша начала одевать женщину.

– Решили сойти здесь?

– Да. Кажется, до города не доеду. Если вам не трудно... вон в том чемодане есть новая рубашка.

Айша отыскала голубую комбинацию с красивыми кружевами на груди.

– Я не знаю, как вас и благодарить. Вот, возьмите, пожалуйста, косынку. Она совершенно новая. Муж подарил на Восьмое марта, – сказала женщина.

– Зачем, милая? У меня есть.

– Да не в этом дело! – Женщина смутилась. – Ну, возьмите, пожалуйста. Вы столько сделали для нас. Целые сутки не спали, ухаживали за мной.

– Нет. Спасибо. Каждый должен это делать.

– Но вы такая добрая. Если она окажется вам яркой, отдайте своей невестке, дочери или внучке, кто там есть у вас...

– Спасибо, милая, но я не возьму.

– Ну, скажите хоть адрес. Как только поправлюсь, приедем к вам, сосватаем наших детей и ваших внуков, – пошутила женщина. По всей вероятности, они жили во Фрунзе. Сельская бы не осмелилась так открыто разговаривать и даже шутить с пожилой спутницей.

– Все равно не приедете. Я живу далеко, в горном аиле, – ответила Айша.

В купе вошли две девушки в белых халатах с легкими носилками. Женщину осторожно уложили и вынесли из вагона. Айша заметила, как она прикусила нижнюю губу.

– Господи, сохрани ее и ребенка! – невольно прошептала Айша.

Поезд двинулся дальше. Айша прилегла на свою полку, она была одна во всем купе, но уснуть не могла. В ушах звучали слова молодой женщины, а перед глазами стояло отекавшее лицо с припухшим носом. «Наверное, она счастлива», – подумала Айша.

В Ташкенте долго плутать не пришлось. Фабрику она нашла сразу, и общежитие, о котором писала Вера, было рядом. В старой домовой книге ее фамилия не значилась, подняли архивы фабкома. Вот и она. Ее фотография, домашний адрес. Пошли к заместителю директора – бывшей работнице ткацкого цеха, показали фото, она узнала Веру, вспомнила. Вместе работали. Помнит и ее дочку – сама устраивала в детсад, а потом в музыкальную школу-интернат. Здесь Вера встретила хорошего парня-казаха, бывшего фронтовика, родила от него двух мальчиков. Лет десять назад он получил новое назначение, работает начальником узла связи в Казахстане, недалеко от Чимкента. Значит, жизнь Веры устроилась. Надо все же найти ее во что то бы то ни стало! Пусть на это уйдет даже вся остальная жизнь. Там, с Верой, ее внучка, дочь Эркина.

Поезд уходил часа через два, и Айша решила побродить по улицам. Город так изменился, что казался совершенно незнакомым. Некогда пыльные улицы были заасфальтированы, вместо тесных чайхан стояли магазины, кинотеатры, рестораны, многоэтажные дома. Проходя мимо базара, заваленного горами фруктов и овощей, Айша купила большую ароматную дыню – может, там, у Веры, уже внучата.

К вечеру погода изменилась, и всю ночь по крыше вагона хлестал дождь. В купе, кроме Айши, был лишь седой старик с пышной белой бородой, в белой рубаше, подпоясанной цветным платком. Он все молчал, лишь изредка кряхтел; доставал большой складной нож, разрезал красный блестящий помидор на четыре дольки и жевал без соли и хлеба. Айше очень хотелось курить, но она не решалась в присутствии почтенного аксакала, в тамбуре же было холодно, да еще там собралась группа шумливых парней в черных спецовках, видимо, из железнодорожного училища.

Старик лег, отвернулся к стене и заснул. Айша осторожно чиркнула спичкой, закурила... Ей сейчас хотелось мчаться, мчаться вот так на скором поезде весь остаток своей жизни, ни о чем не думая, зная только, что едешь куда-то, где тебя ждут.

По стеклу бежали струйки дождя, мелькали желтые расплывшиеся огни, стучали колеса. Словно поскрипывал вагон, а поезд шел вперед, как ледокол среди льдов, навстречу маленькому городку, где жили добрые люди. Добрые. Но простят ли они ее? Особенно Вера! Не внушила ли она своей дочери, что бабушка злая и сварливая, не приняла их, не поверила. Пусть и так. Но она вымолит у них прощение и до самой кончины будет рядом с ними.

Поезд несколько раз останавливался на маленьких станциях, снова набирал скорость. Сопел старик. По стеклу хлестал дождь.

Айша потянулась за кружкой, но воды не было. Вставить и идти за водой не хотелось, она закурила новую папиросу, чуть приоткрыла окно. Влажный осенний воздух пахнул ей в лицо, на окне задрожали белые штапельные занавески, натянутые на никелированный стержень. Докурив папиросу, все же взяла кружку и пошла к баку.

– Вы пить хотите? – спросила молодая проводница с озорными казахскими глазами.

– Да, детка.

– Садитесь с нами пить чай. Воды нету – заправимся на следующей станции.

– У нас есть московский торт «Сюрприз». Хотите? – спросила вторая проводница, краснощекая голубоглазая блондинка.

– Нет, девочки, спасибо. Налейте в кружку, выпью у себя в купе.

– Жамалка, отрежь бабушке торта! – сказала блондинка. – Это ей жених подарил... – объяснила она и засмеялась.

– Ну ладно тебе, – засмушалась казашка, отрезала треугольник торта, налила в кружку крепкого чая. Айша поблагодарила девушку и ушла к себе. Бабушка... Услышит ли она это слово из уст той, которая когда-то была маленькой белокурой девчонкой, у которой, может, у самой уже есть такая же дочь?

Поезд остановился. Вошла проводница.

– Ваша станция, – сказала она.

Айша взяла свой чемоданчик и спустилась из вагона на перрон.

Большими теплыми хлопьями падал снег и тут же таял. На станции никого не было. Только в стороне у переезда пожилая женщина в черной шинели поднимала полосатую перекладину шлагбаума – словно специально для Айши открывала новую дорогу.

1962 г.

ЖИЛ-БЫЛ СЕРЫЙ СКАКУН

Деревянный молот стукнулся о медный диск. Раздался мягкий звон. Жокеи прильнули к седлам. Кони помчались по кругу городского ипподрома, а стрелка секундомера побежала по кругу циферблата. Топот копыт, храп лошадей, крики людей – все слилось в единый шум, напоминающий рокот горной реки, внезапно хлынувшей с синих поднебесных ледников в широкую долину.

За трибунами ипподрома дома: серые, бетонные, похожие друг на друга. На балконах верхних этажей – болельщики. Они сидят на стульчиках, стоят, опершись на перила, в одиночку, попарно, целыми семьями. Отсюда весь манеж виден, как на ладони.

На одном из таких балконов – женщина лет тридцати пяти и пятилетний мальчик, на стульчике сидит тихий интеллигентный седой старик. Это моя семья. Тихий старик – мой овдовевший тесть.

В столовой стучит на машинке немолодой, но, как говорят, хорошо сохранившийся человек. Лишь на висках едва заметна седина, он строен, довольно симпатичен, на лице написана работа мысли и явные признаки интеллекта. Извините, это – я сам. (Я бывший ар-

тист и режиссер театра, и потому у меня сохранилась профессиональная привычка, смотреть и видеть себя со стороны.)

– А где наш Серый? – спросила женщина, глядя в театральные бинокль. – Что-то не видно его.

– Вон он! Вон он! – радостно закричал сын. Ипподром, можно сказать, украшение нашей жизни: каждое воскресенье прямо с балкона мы смотрим скачки. Мы помним клички многих лошадей. Знаем их скаковые качества на длинных и коротких дистанциях, среди жокеев у нас есть знакомые. Но особенно мы любим серого в яблоках с белым пятном на лбу по кличке Кёк-Тулпар, что в переводе и означает Серый скакун. Мы всей семьей болеем за своего Тулпара. Когда он начинает отставать к концу первого круга, мы кричим, не жалея глоток, и Кёк-Тулпар, словно услышав нас, набирает скорость.

– Папа, папочка! Кёк-Тулпар выходит! – радостно сообщил сын, вбежав в комнату.

Я перестал печатать, вышел на балкон, посмотрел на сына, укоризненно покачал головой: разве можно так кричать! – а сам невольно залюбовался скачками.

Серый скакун, вытянув длинную шею, мчался третьим, “потом вторым и – грудью коснулся ленточки. Крики. Аплодисменты.

Я посмотрел на часы, вошел в комнату и надел пиджак.

– Ты надолго? – спросила жена.

– Надолго. У меня съемки. А что? – спросил я.

– Да так, ничего, – неопределенно ответила жена.

Я работаю на телевидении режиссером. Сегодня снимаю телечерк под красивым названием «День золотой осени».

Синие горы окружают наш город со всех сторон, как будто мы живем на дне чаши с зубчатыми краями. Особенно хороши горы ясным утром, когда они становятся как бы сказочной реальностью: холодные вершины пылают огнем восходящего солнца, а ниже, на склонах, – ледяная синева, будто и Рерих, и Рокуэлл Кент писали свои полотна с наших гор. А если вдоль улицы прошла поливалка, то широкий и прямой проспект Мира становится особенно уютным и сияет, как мальчуган, которого только что умыли и красиво причесали. В такое утро все мужчины похожи друг на друга: опрятно одеты, галстуки подтянуты до самого кадыка, поблескивают прилизанные волосы, у всех на лицах одинаковое выражение, и все с нетерпением поглядывают в ту сторону, откуда должен появиться «общественный транспорт».

На этой остановке меня знают многие, хотя живу я в этом районе совсем недавно. Поздоровалась со мной пожилая женщина, протянул огромную теплую лапу сосед мой Ваня – крановщик СМУ, кивнул человек в неизменно черном костюме и пестром галстук – видать, какой-то начальник.

– Ассалам-алейкум! Мурат Сеитович, как ваши дела? – спрашивает он.

– Нормально, – отвечаю я, хотя вижу его впервые.

– В субботу смотрели на вас, – не унимается он.

– Спасибо, – отвечаю я.

– Здравствуйте, байке, садитесь, – уступает мне место паренек в модерновой куртке – явно студент политехнического. Хорошо быть известным человеком, все тебя знают, все с тобой здороваются.

Бульвар Дзержинского. Когда-то город начинался с этого бульвара. Теперь он оказался в самом центре и, как сердце столицы, отражает в себе все, что творится на земле: в праздники пестрит яркими плакатами и лозунгами, в дни траура пасмурно мрачнеет, в будни переливается всеми красками жизни. На этой аллее как-то поособому хрустит первый снег, и эхо шагов отражается от оголенных стволов; весной здесь распускают первую зелень белые березы; летом отсюда вылетают первые тополиные пушинки, осенью падает первый отяжелевший желудь, и на плечи влюбленных, как раненый мотылек, садится первый желтый лист.

С деревьев падают желтые листья. Я стою на аллее бульвара с микрофоном и «работаю на камеру»:

– Здравствуйте, дорогие телезрители! Начинаем передачу «День золотой осени», которую ведем с главного бульвара нашей столицы. Кто не знает и не любит этого бульвара! Он отражает в себе кипучие будни нашего города, счастливую жизнь его тружеников. Прекрасен наш бульвар в дни золотой осени! Художники пишут здесь свои картины, композиторы посвящают ему свои песни, поэты воспевают это место в своих стихах. Ах, да, извините! Вот навстречу, нам идут наши известные аксакалы. То, кто стоял у истоков киргизской профессиональной литературы и живописи. Они любят гулять здесь по утрам. Ассалам-алейкум, аксакалы!

– Алейки-салам! – Старики, приветливо улыбаясь, протягивают мне руки.

Я обратился к старейшему поэту:

– Аксакал, известно, что Пушкин очень любил осень. А что скажете вы об этом времени года?

– Осень очень красивая пора, но когда тебе за семьдесят, поются грустные песни, – ответил поэт.

– Хорошо, большое вам спасибо. А что скажете вы, аксакал? – Я протянул микрофон художнику.

– Осень – это праздник живописца, – ответил старейший художник.

– Спасибо. Большое спасибо вам. Снято? – спросил я у оператора. Оператор кивнул.

– Дорогие аксакалы, для страховки мы снимем еще раз. Я попрошу вас пройти на прежнее место. А вас, аксакал, сказать что-нибудь значительное. Вы же выходец из народа. Хорошо бы какую-нибудь мудрую поговорку или афоризм.

– Хорошо, – сказал художник. Аксакалы медленно двинулись в сторону вокзала. Под их ногами зашуршали листья.

Я взял микрофон и «вышел на камеру»:

– Здравствуйте, дорогие телезрители, мы ведем передачу с бульвара Дзержинского. Кто не знает и не любит этот бульвар. Наш бульвар отражает нашу кипучую жизнь... Ах, да, извините! Вот навстречу мне идут... – встрепенулся я, словно и на самом деле увидел этих аксакалов впервые...

* * *

В малом просмотровом зале телестудии прокручивали пленку, снятую Муратом.

На экране телевизора замелькали кадры. Бульвар, листопад, два старика, идущие на камеру. Вопросы – ответы...

– Ну, что, товарищи, давайте обменяемся мнениями, – обратился главный редактор к членам худсовета.

Все молчали.

– Рахима Караевна, как вы думаете, можем дать такую передачу в эфир? – спросил он у единственной женщины, сидящей в зале.

– Думаю, что можно, хотя есть ощущение, что текст чуточку многословен ну и... – ответила Караева.

– А, по-моему, автор просто болтлив! – отрезал главред.

Рахима замолкла и продолжила после некоторого молчания.

– Я бы не сказала так, хотя, в общем то, наверное, необходимо кое – что сократить.

– Я человек новый, могу и ошибиться, но мне эта передача не нравится принципиально, – сказал главред. – Материал богатый и значительный. За каждым героем – целая эпоха. О каждом из них можно написать исторический роман. А ваш корреспондент искусственно собрал всех вместе, задает банальные вопросы, сам же на них отвечает и все время выставляет себя на передний план, самоуверенный и ладно причесанный.

– Самореклама, – вставил кто-то из редакторов отдела.

– Вот именно. Листопад. Сентиментальная музыка и напыщенные рассуждения об осени и бренности бытия с полным ассортиментом штампованных фраз и выражений. Все это звучит, по крайней мере, фальшиво! Это как раз то, за что ругают наши передачи, – закончил главред.

Наступила неловкая пауза.

– Может, пошлем его в Москву, на курсы! – предложил кто-то из редакторов.

– А что толку?.. Человеку пошел пятый десяток, молодых надо учить, – сказал другой редактор.

– Ваше предложение, Рахима Караевна? – потребовал главред. Все смотрели на Караеву.

– Я, право, не знаю... Человек он с большим опытом... работает со дня основания редакции, а теперь вот... – Караева замолкла.

– Мне кажется, – сказал главред, – что товарищ абсолютно оторван от требований жизни и времени.

– Хорошо, я поговорю с ним, – сказала Караева.

* * *

Я шел по коридорам студии, здороваясь то с одним, то с другим коллегой, как всегда веселый, приветливый. Студия жила своими обычными буднями. На моем рабочем столе три красные гвоздики и открытка. «Поздравляем с днем рождения. Целуем. Благожелатели». На душе стало тепло и приятно, я приколот гвоздику к лацкану пиджака, вошел в соседний кабинет.

– Здравствуй, Гуленька! Спасибо за внимание. Цветы так же прекрасны, как ты сама, – сказал я девушке, сидящей за машинкой.

– А почему вы благодарите только меня?
– Господи, кому же я нужен в этом мире? – пошутил я.
– Может и нужны! – серьезно ответила девушка. – Принцессе, например. Она ждет вас.
– А зачем, не знаешь?
– Видимо, соскучилась! – дерзко ответила девушка и уткнулась в машинку.

Я не знал, как реагировать на ее реплику. Эта юная особа никогда не говорила со мной таким тоном.

– Что случилось, Гуленька? – спросил я.
– Сходите, узнаете, – почему-то очень тихо сказала она.

Мне показалось, что она обижена. Я постоял немного и пошел к нашей Принцессе.

* * *

Принцессой здесь называли заместителя главного редактора отдела Рахиму Караеву. Никто не знал, кто и когда так назвал ее, но она действительно была похожа на принцессу. Редко встретишь женщину, которая была бы столь красива и, зная, что она прекрасна, относилась бы к этому как к чему-то вполне естественному. Она обладала тонким юмором, трезвым, четким и, как говорят, мужским мышлением. В ней великолепно сочетались истинно народная этика со светскостью. Она не могла не нравиться – она нравилась всем. Мурат наблюдал, как шел с ней один из его приятелей: она увлеченно о чем-то рассказывала, а тот совершенно не слушал ее – он был упоен тем, что идет рядом с такой красавицей и временами оглядывался по сторонам: «Видали, мол, нас».

Наш герой знал ее задолго до того, как пришел сюда работать, когда участвовал в передачах в качестве актера. Она предложила ему работать в телевидении, и теперь у них были особые отношения. Мурату с ней было легко и хорошо. Он рассказывал ей то, чего не мог доверить никому другому. Принцесса помогала ему искренним сочувствием и дельными советами. Как известно, подобное соотношение сил несколько угнетает мужчин, ибо они постоянно ощущают, как нынче говорят, свою неполноценность. Но Мурат не ощущал этого, так как в присутствии других она умела вести себя так, словно он во сто крат превосходит ее во всем. Если Мурат ошибался или проявлял неосведомленность, она топко и умело возвра-

щала его к истине, как-то очень логично оттолкнувшись от его же мысли. И наш герой сам в своих глазах вырастал в глубокого мыслителя, талантливого, но не всеми признанного творца, великолепного и незаменимого друга прекраснейшей женщины в мире. В такие минуты ему хотелось посмотреть на всех сверху вниз.

* * *

– Садись. Что за мешанский цветочек у тебя? – спросила Принцесса, едва я переступил порог.

– Сорок пять в понедельник, – ответил я.

– Ах, да! Забыла, прости. Поздравляю, – скупно сказала она и протянула руку.

– То, что я родился, можешь забыть, лишь бы не забывала, что я должен жить, – ответил я и поцеловал ее прекрасную руку.

– Ну, милый, попробуй тебя забыть. Забудешь – другие напомнят. Передачу твою зарезали, – сообщила Принцесса.

– Хорошенький подарок ко дню рождения, – я почувствовал, как у меня холодеет внутри.

– Главред поставил вопрос о твоём увольнении «по собственному желанию». Почему, говорит, старшим должен быть бывший артист оперы, когда выпускники ВГИКа и университета ходят в репортажах? Пыталась защищать – не вышло. Все уверены, что у нас с тобой роман... – Она достала из стола сигареты «Мальборо».

– Но успел прийти, как начинает давить и устанавливать свои порядки, – возмутился я.

– Но он прав.

– Прав?

– У тебя есть текст передачи? – спросила она.

Я достал из папки сценарный план, положил перед ней.

– Вот ты обратился с вопросом к старому художнику. Хорошо. И он тебе хорошо ответил. Но дальше! Дальше идет так называемый твой «внутренний монолог». Послушай сам: «Да, конечно. Если вести исчисление времени согласно смене поколений, то мы по отношению к ним дети, хотя и нам пошел пятый десяток. А нас все еще считают молодыми. А почему? Может, потому, что родились в какое-то промежуточное время: впереди была война, а позади детство?!» Заключаешь ты риторически. Что это значит?

– Хотел как-то объяснить инфантильность нашего поколения.

– Какая инфальтильность? В чем она выражается?

– Хотя бы в том, что мы уже достигли среднего возраста, уже началось наше биологическое старение, а нас все еще считают незревшими элементами общества.

– Кто так считает?

– Все так считают.

– А может быть дело в нас самих? И они вынуждены так считать? Об этом ты не подумал? – упрекнула Принцесса.

– Нет.

– А надо бы! Да и зачем все эти рассуждения?

– Хотел как-то по-серьезному поговорить о жизни, о нас самих... Телеочерк, связанный с осенью, напрашивается на элегию. Он бы хорошо лег на музыку Глинки и Масснэ.

– Но в тематическом плане-то конкретно написано.– Она достала план. – В очерке «День золотой осени» будет показан один трудовой день рабочего, колхозника, представителя передовой интеллигенции. А ты элегию затеял! А зрительный ряд?! Осень. Листопад. Старые люди. И эти абстрактные рассуждения! Все это очень грустно!

– Я хотел сделать психологическую передачу. Да что я доказываю тебе! Ты это знаешь и понимаешь лучше меня.

– Милый, а для кого ты делаешь передачу! – с издевательской иронией спросила она.– Неужели для меня?

– Именно для тебя! И все, что делаю, делаю для тебя! – не сдержался я.

– Это надо понимать как признание в любви? – тонко улыбнулась она.

Я ничего не мог ответить, взял со стола сигарету, прикурил. У меня дрожали пальцы...

– Вы, дорогой товарищ, хотите использовать голубой экран в личных и субъективных целях, – иронически подчеркнула Принцесса.

– А может, я познал некую истину жизни. И хочу поведать ее людям! – разозлился я.

– А ты кто? Шолохов? Чингиз Айтматов? А может, будущий президент? Только никто об атом не знает и не хочет знать?..

– Я – человек! – оскорбился я.

– Смешной ты человек! И живешь ты в выдуманном мире. В этом твоя главная беда! – сказала Принцесса.

– Спасибо. А я – дурень, все никак не мог понять, в чем моя главная беда...

Принцесса умолкла. Ей, видимо, стало неловко оттого, что она задела мои слабые струны.

– Сколько раз я говорила тебе: не замахивайся на большие темы, откажись от экспериментов. Это тебе не театр и не кино, где можно годами вынашивать идею, а потом месяцами репетировать и снимать. Здесь главный твой враг – время и метраж, – уже чуть ласковее добавила она.

– И что теперь предлагаешь? Подать заявление и уйти? А куда? Снова в театр?

– Да, сложная ситуация! Зайди к нему сам и поговори, – посоветовала Принцесса. – Лицом к лицу!

* * *

У доски показателей теснились сотрудники. Под рубрикой «Гяп-ляп» красовалась моя передача.

Я прошел по многим длинным и коротким лестницам и коридорам студии, спиной чувствуя насмешливые взгляды. Вошел в кабинет главного редактора отдела, стараясь держаться как можно спокойнее.

– Разрешите?

– Заходите, Мурат Сеитович, – главред встал со стула, пошел мне навстречу.

Мы присели на диван, как давние друзья.

– Вы человек образованный, и спорить с вами, конечно, трудно, – спокойно начал я. – Но дело в том, что я работаю здесь не первый день и опыта у меня больше, чем у вас...

– Это я знаю! – оборвал главред. – Но то, что вы делали вчера, сегодня уже не звучит. Думаю, Караева объяснила вам недостатки передачи?

– Но, по-моему, мы с вами работаем не в комбинате железобетонных изделий. Мы занимаемся творчеством, и раз на раз не приходится, – вставил я.

– Но у вас это становится системой! – сказал главред.

– Например?

– Например, ваша прошлая передача о шахтерах.

Там было все: уголь, машины, призывы, лозунги, но не было главного – людей. В результате осталось такое впечатление, будто, сидя дома наглотался угольной пыли! Представьте себе шахтера, который закончил смену, пришел домой отдохнуть и включил телевизор – а вы его снова в шахту! Да он тут же вырубит экран, пойдет к соседу пить водку или резаться в домино... – сказал главред.

– А не кажется ли вам, что вы знаете все, а остальные дураки? – не сдержался я.

– Нет, не кажется. Но за свой участок работы отвечаю я, – хладнокровно ответил главред.

– «Что похвалить мы в вас должны», – иронически процитировал я.

– Спасибо. Но в дальнейшем передачу дать вам не могу, – сказал главред невозмутимым тоном, словно отказывал мне в какой-то безделице.

Его сдержанность и спокойствие бесили меня, и я готов был или наорать или обрушиться на него с кулаками, чтобы сбежался весь отдел. Огромным усилием воли я взял себя в руки, в уме сосчитал до десяти и спросил:

– А не кажется ли вам, что вы превышаете свои полномочия?

– Мурат Сеитович, вы читали вчерашний номер газеты? – спросил он вместо ответа.

– Нет. Я неграмотный! – взорвался я.

– Очень жаль, – спокойно сказал главред. – Там, кстати, есть справедливые упреки в ваш адрес.

– Спасибо, что напомнили. Но там, между прочим, кое-что касается вас лично, – заметил я.

– Что вы имеете в виду? – насторожился он.

– Хотя бы напоминание о том, что надо понимать специфику художественного творчества и не заниматься командованием и вкусовщиной, – резко бросил я.

Главред почему-то вдруг рассмеялся.

– Вы считаете, что я занимаюсь «командованием и вкусовщиной»? – спросил он.

– Вы меня правильно поняли, – ехидно ответил я.

– Выходит, ни вы, ни я не выполняем своих обязанностей. Может, нам обоим пора в отставку? – улыбнулся главред.

– За вас я не отвечаю. А за себя буду биться до последнего!

– Ну что ж, мне нравится ваше боевое настроение. – Главред чуть задумался. – Знаете, что, Мурат Сеитович, зайдите к Рахиме Караевне, я ей позвоню, – сказал он почти дружески.

Я шел по коридору очень довольный собой. Я не знал, что задумал главред, но был уверен в победе: в чем-то я его убедил или, вернее, переубедил, а скорей всего положил на обе лопатки. Не такой-то я простачок! Мы еще поборемся! Мы еще постоим за себя!

* * *

Когда я вошел, Караева говорила по телефону.

– Ладно. Хорошо. Хорошо. Да. Думаю, что сделает. – Она повесила трубку. – В общем так, – обратилась она ко мне. – Главред решил испытать тебя еще раз. Я все взяла на свою ответственность. Сделаешь передачу о депутатах народа: о профессоре сельхозинститута Мусабаете, заведующем клиникой Бакаеве, о народном артисте Эрмеке Булатове. Педагог, врач и артист – материал богатый, люди интересные. Сможешь? – Она смотрела вопросительно и настороженно.

– Нет, не смогу! – рявкнул я: мне не нравилось ее сомнение.

– Ладно, успокойся и приступай. Времени мало. Если что не так, придешь ко мне. – Она красиво улыбнулась. – Помни, что это твой последний шанс.

– Спасибо, – сказал я.

– Ты что, обижен на меня? – Она красиво повернула голову, уверенная в своей обворожительности.

– Нет. Ты здесь ни при чем. Бесит то, что каждую передачу я должен вырывать зубами!

– А ты не бесись, – спокойно прервала она.

– Ладно, извини. – Я поцеловал ее прекрасную руку. – А этому просветителю передай привет. Не на того нарвался.

Я вышел из кабинета, подошел к доске показателей, демонстративно снял «Тяп-ляп», разорвал на клочки, бросил в урну и крепко выругался.

«Ничего, мы еще повоюем!» – успокоил я самого себя.

* * *

Наш герой после окончания Московского театрального института работал режиссером, поставил несколько приличных спектак-

лей, а потом перешел в телевидение. Сделав несколько работ о театре, о людях искусства и литературы, он стал одним из ведущих авторов-режиссеров. Свои передачи он любил вести сам, легко вступал с «материалом» в диалог, спорил с теплой улыбкой, непринужденно острил и, хотя всю режиссуру записывал заранее, выходя в эфир, никогда не заглядывал в текст, уверенно импровизировал.

Вскоре ему начали поручать наиболее ответственные передачи, прямые репортажи с мест событий. Он делал длинные очерки на самые разные темы. Его ценили, ему доверяли, на него полагались, с ним считались; он был незаменим, ходили разговоры, что его назначат главным режиссером. С годами голубая муза начала набирать силу:

образовались и конкретизировались редакции, появились новые люди, специалисты, прошедшие подготовку в вузах и студиях Москвы и Ленинграда, выпускники ВГИКа, ЛИКи, ГИТИСа, Литинститута и университетов. С каждым днем становилось тесно не только в студиях и редакциях, но и в коридорах. И если раньше Мурат мог брать передачу в любое время, в любой редакции, то теперь стало иначе: была установлена очередность. Раньше Мурат был уверен, что вокруг работают добрые, хорошие люди, а теперь у него появились, как ему казалось, недруги. Особенно раздражали его два очкарика из ВГИКа. Один из них был сценаристом, другой режиссером. На обсуждениях и летучках они сидели вразвалочку, скрестив худые ноги, словно демонстрировали потертые, облезлые джинсы, цитировали Канта и Аристотеля, Горького и доктора Спока, Сухомлинского и Фрейда, упоминали фильмы Антониони, Феллини, Бюнюэля, старые картины Акиры-Курасава и Рене Клера, произносили имена, о которых никто здесь и краем уха не слышал, критиковали любого, не глядя на возраст и авторитет: «Вам не удалось выйти из инерции круга, назрело время выходить за привычный барьер, искать новые, действенные формы выражения», – поучал сценарист, сильно заикаясь, как будто все, кроме него и его друга, были просто-напросто дураками.

Мурат относился к ним с некоторой иронией. «На горластого козла посмотрим, когда он вброд пойдет» – гласит народная мудрость, – говорил он Принцессе. Очкарики сделали две передачи, которые в редакции вызвали споры и разные толки, но, как только

их пустили в эфир, пришло сразу несколько восторженных писем от зрителей, а затем появилась положительная оценка в газете, – брод они прошли хорошо.

После этого ребята воспрянули духом, стали вести себя еще увереннее. На обсуждениях очкариков ставили в пример. Мурат чувствовал себя все более неуверенным, на летучках и худсоветах перестал острить, куда-то исчезли его ирония и чувство юмора. К нему вернулось то самое неприятное ощущение, которое появилось у него перед уходом из театра. Это было чувство сомнения в своих силах, тревоги, смятения. Ему стало казаться, что кто-то на него «капает», кому-то он мешает, что-то завидует его дружбе с Принцессой, а кто-то хочет унижить его перед ней и скомпрометировать.

Жизнь нашего героя еще более осложнилась с приходом нового главного редактора – человека умного, образованного, безукоризненно честного, но в то же время педантичного и беспощадного. Доказать ему что-то можно было только работой. С Муратом у него сложились натянутые отношения. И если раньше Мурат запросто заходил к начальству, включал в план задуманную тему, диктовал редакторам время съемок, монтажа и выхода передачи в эфир, то теперь он просил, и ждал, и был рад тому, что ему еще что-то поручают. Хотя и в этом была большая заслуга самой Принцессы, которая действительно относилась к нему с большой симпатией, всячески опекала, щадила его самолюбие, защищала от разных нападков, поручала ему наиболее легкие и выигрышные темы.

А сейчас он походил на скакуна, который привык приходить первым, мчался по кругу, не жалея сил, весь в пене, перекрывал расстояния, догоняя время; но однажды когда до финиша оставалось совсем немного, оглянулся и увидел, что бежит последним. Это случилось как-то незаметно и так быстро, что он и сам не понял, когда как это произошло.

Вот в такие сложные для него дни мы и застали с вами нашего героя.

* * *

У входа в клинику хирургии я встретил своего давнего приятеля и сотрудника республиканской газеты Курмана Минсеитова.

– Ба! Знакомое лицо! Уж не хочешь ли отобрать мой хлеб? – спросил я, протягивая ему руку.

Обычно веселый и бесшабашный, заядлый анекдотчик и не дурак выпить, журналист средней руки Курман молча пожал мне руку и отвел глаза.

– Что случилось? – встревожился я.

– Отец мой здесь, – сказал он деревянным голосом. – Думали язва, разрежали, а там... держится на одних уколах, утром попросил сварить уху из пескарей... Достал свежего сазана, может, поест...

Вышла медсестра.

– Заходите, – сказала она.

– Пойдем, попрощаешься, – сказал Курман. Мы натянули белые халаты поверх костюмов и пошли по длинному коридору. Вдоль стен на узких кроватях и раскладушках лежали перевязанные люди. Из некоторых палат доносились крики и стоны. Сильно пахло эфиром.

– Как же это? Вроде совсем недавно я видел его в университете, как всегда, бодрым и деловым, – не мог успокоиться я.

– Болел, он видимо, давно. Да не говорил никому. То лекции, то заседания, кафедра, дипломники, ученые советы. Хотя и к врачам-то бесполезно идти с таким черным цветком. Он здесь. – Курман взялся за дверную ручку третьей палаты.

Доктор биологических наук Минсеитов Мухтар Минсеитович лежал в палате один. Узнать его было трудно. Я никогда не замечал, что у него такие огромные, светящиеся глаза, но потом понял, что глаза у него были типичные азиатские, а большими они стали от сильного истощения. Большой слегка кивнул – я не понял: узнал ли он меня.

– Хорошо, что ты пришел не один, – сказал он сыну, с трудом переводя дыхание.

Перед ним на тумбочке стояла чашка с ухой.

– Ты не ел? – спросил сын.

– Я просил пескариков, маленьких таких. Крупные карповые мне никогда не нравились... – ответил отец.

– Я хотел как можно быстрее, ты же голодный совсем. А за пескарями надо ехать, да еще ловить... Считаю, целый день уйдет, – смутился Курман.

– Подождал бы, – сказал отец.

– Хорошо, я сегодня же...

– Теперь уже не успеешь. – Мухтар Минсеитович едва заметно махнул сухими пальцами. – Позвони в аил, пусть приедет дядя Омуралы, он хороший организатор, пусть он присутствует от имени родных...

– Я дал телеграмму.– Курман опустил голову.

– А еще дай телеграмму Кунанбаеву, слышал, что он где-то в Армении, кажется, на Севане. Может, успеет приехать. Я хочу завещать ему одну работу, пусть доработает ее на Иссык-Кульской биостанции. Я не успел ее сделать. Если бы завершил ее, может, это было открытием мирового значения. Все некогда было... Хотел обеспечить семью... Даже на рыбалку толком не мог вырваться, хотя ихтиологией занялся именно из любви к рыбе. Мимо аила нашего протекала маленькая речушка, впадала в Тюп, а на дне ее играли серебряные рыбки, маленькие такие пескаррики, я ловил их целыми днями самодельной удочкой, а вечером мать жарила их в кипящем масле, и я их с хрустом... – Профессор замолк.

Мне показалось, что он плачет, но глаза его были сухи, губы сжаты, ни один мускул не выдавал его страданий. Старые кыргызы умеют плакать молча и без слез – глава семьи не должен терять мужества в любых условиях.

* * *

Отец рассказывал Мурату, как во время восстания шестнадцатого года иссык-кульские кыргызы бежали в горы. На заснеженном крутом перевале стал умирать старейшина рода, батыр Кокотей. Его брат упал к ногам батыра со слезами:

– О, батыр, что за кара постигла нас? Тебе ли было суждено умереть в жестокий час, когда парод твой, расстрелянный и разбросанный солдатами белого царя, вынужден бежать па чужбину?! Что будет с нами, если ты умрешь?

Старец приподнялся на локтях и, собрав последние силы, гневно сказал брату:

– Эй, болван! Разве я корова, чтобы околевать на болоте? Скакун гибнет в трудном пути, ловчая птица гибнет на лету, что будет с детьми и бабами, если будешь плакать ты?! Встань и веди сородичей к спасению! – И батыр сомкнул глаза.

И все, кто плакал, замолкли и вытерли слезы. Захоронили старца под синей скалой и пошли дальше, а тех, кто падал, отдавали земле молча, без слез...

Отец Мурата умер внезапно. В одно морозное утро у него открылась фронтальная рана, и, пока добирались до больницы, он истек кро-

вью. С половины пути его привезли назад. Это случилось в тот самый год, когда Мурат заканчивал театральный институт. Телеграмму принесли прямо на госэкзамены. На проректорской машине его привезли в аэропорт Домодедово, он показал телеграмму – и тут же получил место в самолете, который должен был лететь через час, но над казахскими степями бушевала пурга. Во Фрунзе Мурат прилетел лишь на третий день, а когда приехал в аил, то вместо отца увидел серый холмик – его, похоронили рядом с серым глиняным мавзолеем деда. С тех пор в душе Марата осталась вечная щемящая тоска и чувство вины. Ему казалось, что если бы он застал отца живым, выслушал его последние, прощальные слова, а потом бросил в могилу горсть земли, то, может быть, было бы легче пережить утрату...

Умиравший Минсеитов вернул из тайника его памяти чувство, которое всегда жило в нем, но которое он тщетно пытался заглядеть, оправдаться перед самим собой, забыть, – это было чувство неоплаченного сыновнего долга...

* * *

– Ты, конечно, быстро промотаешь свою долю, – хрипло сказал Минсеитов.

Я вздрогнул, забыл, где нахожусь.

– Только отложи тысячу рублей для Анарочки, а когда вырастет и будет выходить замуж, купи ей что-нибудь хорошее и дорогое, скажи, что это память от деда, хотя к тому времени она забудет меня. Скажи матери, пусть не жалеет денег и сделает мне памятник из черного мрамора. Тут, под подушкой, недорогой эскиз. Возьми его и отдай хорошему скульптору. Это мой рисунок и мое последнее желание, – Минсеитов замолк, словно погрузился в забытье. Курман вытащил из-под подушки листок бумаги, на нем едва вырисовывались контуры памятника.

Мы на цыпочках вышли из палаты.

– Ты не думай, что мы заставляли его работать. Это он сам. Нахватал себе нагрузок... В прошлом году хотели сократить ему лекционные часы, так он жалобу написал.

Курман, явно, был озабочен тем, что я могу подумать о нем плохо.

Я крепко обнял его за плечи, и, видимо, он понял, что я не осуждаю его и призываю не терять мужества, он закивал и пожал мне руку.

Я поднялся наверх, в приемную заведующего клиникой профессора Шамбета Бакаева. Секретарша сказала, что доктор занят сложной операцией. Никто не знал, сколько времени продлится операция, и готов ли хирург дать мне интервью, но я так был удручен встречей с Курманом и его отцом, что решил немного посидеть и подождать. Я впервые видел человека, умирающего в полном сознании.

В коридоре послышался шум голосов.

– Кажется, вышли, – сказала секретарша. Я вышел из приемной и увидел Бакаева. Он стоял, прислонившись к стене, смуглый, коренастый, в белой шапочке. Медсестра вытирала ему лицо. Профессор увидел меня и кивнул.

– Здравствуйте, профессор, я хотел бы взять у вас интервью! – начал я.

Бакаев поднял руки, словно просил пощады, и покачал головой. Вид у него был удрученный.

– Родственникам сообщить? – спросила медсестра.

– Пока не надо, – Профессор круто повернулся и ушел в операционную.

– Умер пациент, – сообщила медсестра.

– Умер? – не поверил я. Медсестра развела руками.

– Профессор не бог, – сказала она.

Я пошел к выходу.

Двор больницы был залит солнцем. В кустах живой изгороди неистово галдели воробьи. На скамейках больные в серых халатах и самодельных шапках из газеты резались в домино. Шофер белого с красным крестом на лобовом стекле «Москвича» флиртовал с молодой медсестрой. Из приемника машины, включенного «на всю катушку», неслась музыка. Ансамбль скрипачей исполнял элегию Шостаковича. Маленькая девочка рисовала желтым кирпичом на сером асфальте домики и собачек с закрученными хвостиками. Мир, покой и никаких признаков тревоги...

У дверей толпились люди, видимо, родственники пациента. Медсестра вышла к ним.

– Ну, как там? Закончилась операция? – робко спросил кто-то.

– Нет. – Медсестра казалась спокойной. – Вы же знаете, что это сложная операция...

К больнице подъехала легковая машина. Из машины вышла пожилая женщина с пышным букетом цветов.

– Вы к кому? – спросила ее медсестра.

– К профессору, хотела поблагодарить, уезжаю. – Женщина не могла скрыть своей радости.

– Он сейчас очень занят, – сказала медсестра.

– Тогда поставьте ему на стол. Он вернул меня с того света, – дрожащим голосом попросила женщина и отдала цветы..

Почти до самого утра Мурат лежал с открытыми глазами и смотрел в голубой квадрат приоткрытого окна. Думал о том, зачем человек живет на свете, куда-то спешит, куда-то бежит, кого-то любит, кого-то ненавидит, чего-то добивается, переживает, если, в конечном счете, все живое приходит к своему неизбежному финалу.

* * *

Мурат вдруг воочию представил себе теплую, родную планету, на которой стоит его дом, и он вместе с женой, тихо спящей рядом, мчится в необъятном и холодном пространстве мироздания... Он невольно повернулся, прикоснулся лбом к ее гладкому и теплому плечу, и, если бы она сейчас повернулась к нему и спросила, что с ним происходит, он бы, наверное, расплакался, и, может, сразу бы стало легче на душе. Но жена продолжала спать и даже не почувствовала его прикосновения. В последнее время она стала нервной, плохо спала и принимала снотворное. Она показалась ему такой же юной и красивой, как много лет назад, когда она была изящной девушкой, с теплыми глазами и ласковым голосом, готовая уйти с ним на край света, Но прошли годы, и между ними появилось расстояние, которое все увеличивалось. Отчего? Почему? Это было сложно понять и еще труднее объяснить...

Мурату захотелось поговорить с ней обо всем, выслушать ее и рассказать о своих делах и сомнениях.

– Нуриля, – тихо позвал он. Она не ответила.

– Ты слышишь, проснись, пожалуйста, давай поговорим! – сказал он чуть громче.

Ответа не последовало. Он взял ее за плечи.

– Проснись, я прошу тебя, – требовательно произнес он.

Нуриля приподнялась, посмотрела на него сонными глазами и снова опустила голову на подушку.

– Ты почему спишь? – вскипел он.
– А? – спросила она, не открывая глаз.
– Еще раз увижу, что пьешь снотворное, избыть! – резко сказал он.
– Хорошо, – откликнулась она откуда-то издалека и повернулась на другой бок. – Дай поспать...

Ему захотелось растормошить ее, но он сдержался. Его мрачные думы перешли в горькую обиду. «Конечно, когда я был молод, красив, преуспевал, я был ей нужен. Она жила моими мыслями и делами, а теперь она специально пьет снотворное, чтобы отключиться от меня, чтобы не видеть мое лицо, мои глаза, чтобы не слышать моего голоса! Теперь я ей не нужен. Предательство! Принцесса бы не позволила такого. Она-то умеет ценить любовь и дружбу», – думал он.

* * *

Утром, чуть свет, я выпил крепкого чаю и помчался в сельхозинститут. Профессору сельскохозяйственного института Осмону Мусабаеву я рассказал основной ход и мысль будущей передачи. Вошла секретарша.

– Осмон Иманалиевич, пришел какой-то чабан и очень просит принять его, – доложила она.

Мусабаев посмотрел на нее строго.

– Извините, Осмон Иманалиевич, но он так просит, говорит, что приехал прямо с пастбища.

– Хорошо, пусть войдет. Ты извини, – сказал он мне.

В кабинет вошел пожилой человек с жидкими висячими усами, с обветренным, почти бордовым лицом, и коричневым вельветовым костюме, в зеленой фетровой шляпе и в сапогах с потертыми голенищами – признак того, что много ездит верхом. За руку он держал щупленького застенчивого парня лет восемнадцати.

– А-а, Исмаил-аке, здравствуйте, – сказал профессор.

Исмаил-аке пожал нам руки и сел напротив меня.

На груди его поблескивала звезда Героя Труда.

– Кто этот человек? – спросил он, кивнув в мою сторону.

– Из телевидения, – пояснил Мусабаев.

– Ладно, пусть сидит, – великодушно разрешил чабан. – Скажи, Осмон, у тебя есть сын? – спросил он вдруг.

– Есть, – ответил профессор.

– Хороший парень? – Чабан настороженно ждал ответа.
– Да, вроде бы ничего. А что?
– Ты отдашь его мне? – спросил чабан.
– Берите, – засмеялся профессор.
– Увезу его в горы. Скоро на пенсию пойду, пусть твой сын возьмет мою отару, – сказал чабан.

– Да, это было бы не плохо, но дело в том, что сын мой выбрал себе другую специальность.

– Значит, и ты не отдашь своего сына. Правильно. Все хотят стать большими начальниками, учеными, все хотят кататься на «Волге», жить в городе и мочиться в белую чашку, – чабан покачал седой головой.

– Что он имеет в виду? – спросил у меня Мусабаев тихо.

– Унитаз, – ответил я шепотом.

Мы громко расхохотались.

Исмаил-аке переждал, пока мы досмеемся, и продолжал:

– А кто через десять лет будет кормить вас хлебом и мясом? Кто даст вам сукно на костюм?

Мы перестали смеяться, а профессор вовсе стал серьезным.

– Вот этот троечник – мой единственный сын. Есть у меня еще дочь, но девочка, сам знаешь, гостья; сегодня она у меня, а завтра в другом доме. А кто мне заработал вот эту звезду? Этот троечник. Кто в зимнюю стужу и в летний зной ходит за отарой, когда я болею? Вот этот троечник. Ему некогда читать умные книги. Все каникулы он проводит со мной, зимой, когда начинается окот, он отстает в учебе на целый месяц. А ты второй год не берешь его в институт. В прошлом году он не добрал одно очко, а в этом уже двух не хватило. Бог даст благополучия, я еще пять лет буду сидеть в седле, а он бы выучился на ветеринара и взял бы мою отару. Через несколько лет он будет профессором чабанов, – уверенно закончил Исмаил-аке.

Мусабаев некоторое время сидел молча, а потом позвонил по телефону;

– Эркин Шарипович, сын Исмаила-аке не прошел по конкурсу. Можем ли как-то помочь старику? Герои Труда. Лауреат. Может, посадишь парня на скамейку запасных, а сессия покажет. Да? Хорошо... С министерством я поговорю сам... Сейчас он зайдет к тебе!

– Большое вам спасибо, ребята. – Исмаил-аке пожал нам руки.

В проходной студии меня ждал Такен – молодой тенор из оперного театра.

Он был в новеньком джинсовом костюме.

– Что случилось? – спросил Такен. – Почему такой невеселый?

– Дела у меня неважно пошли, – ответил я.

– Это у тебя-то! – расхохотался Такен. – Молод, красив, как дьявол, известен, как черт! Чего тебе еще нужно?!

– О, если бы так! – махнул я рукой. – Устал.

– Ага. Все понятно! Я знаю, чего тебе не хватает, пойдем! – Он схватил меня за руку, подвел к белой «Волге» с занавешенными окнами. – Пойдем познакомлю тебя со своей будущей женой! И рванем подальше от этого смока и шума!

В машине сидела хорошенькая девушка.

– Малышка, это мой друг Мурат, звезда голубого экрана! Беспощадный сердцеед. – Такен улыбался. – Протяни дяде свою слабую ручку и назови свое имя.

Девушка протянула руку:

– Эльвира.

...Наша белая «Волга» остановилась па берегу бурной горной реки. Далеко внизу, над городом, стелился черный туман.

– Ой, а где наш городок? – удивилась Эльвира.

– В дыму, – сказал я.

– Черный дым над нашей любовью, – вставил Такен и вышел из машины.

Мы расположились на берегу, расстелили целлофановую скатерть.

Эльвира пошла гулять вдоль реки.

– Откуда взялся этот главный? – спросил Такен. – Башковитый, видать, чувак.

– В том-то все дело, – признался я.

– А за что он бочку на тебя катит?

– Считает, что я отжил свой век. Не разрешает выходить на передний план, – ответил я. И не сдержался, съязвил: – Великий знаток телевидения.

– Тоже мне, профессор! Зачем работать на телевидении, если тебя никто не увидит... А вообще ты зря ушел из театра. Ставил бы свои спектакли, работали бы вместе, и заслугу бы получил, – сказал

Такен. – Не знаю, почему ты бросил театр. И постановки были неплохие, и аплодисменты, и цветы, и автографы девочкам и вдруг – на тебе! – ушел на телевидение.

– Видишь ли, старина... Я понял, что добрался до вершины вон той серой горы, а я хотел подняться выше, вон на ту снежную, – призначался я.

– Все мы хотим повыше. Но так ведь и надорваться можно. Ты помнишь, как я в институте гвоздил до и додизеы. «Здесь юный ангел обита-ает!» – чисто и точно пропел Такен фразу из «Каватины Фауста», – вышел на сцену – мандраж какой-то внутренний. «До» вроде бы звучит, но каждый раз – страх. А однажды дал такого петуха, что зал дружно зааплодировал. Пришел в уборную, хотел проколоть себе грудь шпагой, которой только что «уложил» Валентина, к счастью, шпага оказалась из алюминия – согнулась. Наутро думаю, нет, так не пойдет! И чего это я лезу на первые партии? Перешел на вторые и стал богом. Ленского – пожалуйста, в любое время дня и ночи. Чекалинского! Гастона! Лишь бы не выше «ля». А «ля» у меня, ты знаешь, какое. «Смейся пая-яц над разбитой любовью. Смейся и плачь ты над горем своим!» – зычно, с мелодраматическим надрывом спел Такен, явно подражая Энрике Карузо.

– Ты великий певец, Такен, – сказал я.

– О, если бы! – искренне вздохнул Такен. – Для этого мне чего-то не хватает. А чего именно, я и сам не знаю. Вот и спустился от верхнего «до» до среднего «ля». Иначе бы твой Булатов подавал бы мне фрак, как мэтру. Но ничего. Звезд мы не хватаем, но без меня остановится полрепертуара. Председателем профсоюза избрали. Кордебалет и хор так и пляшут вокруг меня: «Такен Кадырович, мне путевочку! Такен Кадырович, мне бы квартиру. Такенчик, подпиши письмо на «Жигули». Почет. Уважение. Работаю без натуги. Чувак поет Альфреда, «си-бемоль» берет аж пуп трещит, а я тихонечко на ушко Травяте: «Вот Альфред де-Жермон, он вас любит так нежно», – и все. А получаем одинаково. Заслуга есть. Чего еще надо артисту!

– А-у-у! – донеслось со стороны реки. Мы повернули головы.

– Я потеряла коня! – крикнула Эльвира.

– Кого?!

– Коня!

- Какого еще коня? – насторожился я.
- Сходи-ка, – сказал Такен. – Я займусь шашлыком.

Я поднялся и пошел к Эльвире.

Девушка ползала на коленях и шарила в пожухлой траве.

Я опустил на колени и тоже начал искать «коня».

«Конь» лежал в воде, среди галек. Это был золотой Пегас на золотой цепочке.

Я поднял «коня», подержал на ладони, невольно залюбовавшись тонкой работой ювелира.

- Эльвира! – позвал я девушку.

Девушка подняла голову, лицо ее озарилось детской улыбкой. Она подбежала ко мне.

Я надел на нее цепочку с «конем». Девушка посмотрела на меня, радостная и счастливая.

- А почему ты носишь его? – спросил я.

– Это мой талисман. Когда-нибудь он умчит меня далеко-далеко, где нет черного дыма, – мечтательно сказала девушка.

Тихо шумела река. Ей вторили звуки гитары и приятный голос Такена. Он пел романс о любви и нежности.

- А вы верите в любовь? – вдруг спросила Эльвира.

- Не знаю, – я не ждал такого вопроса.

– А если бы к вам, взрослому человеку, пришла бы юная особа и сказала, что любит вас и готова пойти ради вас па любые жертвы? – спросила она.

– В таком случае я бы дал этой юной особе хорошенького ремня! – Я рассмеялся.

- За что? За то, что вас полюбили? – серьезно спросила Эльвира.

- Нет. За то, что готова на любые жертвы.

– Значит, вы – особый человек, – заключила Эльвира. – Только жаль, что вы единственный в своем роде...

- Почему ты так считаешь?

– Другие поступают иначе. – Девушка зажала в ладони золотого коня, в ее глазах блеснули слезы. Она резко встала, чтобы не расплакаться, и ушла к Такену.

Я остался сидеть один. Такен играл па гитаре. Шумела река...

– Солнца луч золотой, За рекой догорал, И тебе я тогда, Ничего не сказал, – пел Такен.

...По небу плыли черные тучи.

Наша белая «Волга» мчалась по мокрому асфальту.

Девушка дремала па заднем сиденье. На ее груди поблескивал золотой «конь».

– Меня – домой, – тихо шепнул я.

– Может, к нам? – спросил Такен.

Я покачал головой. Машина свернула влево.

Я хотел нажать на кнопку звонка, но потом раздумал, приложил ухо к двери. Было тихо. Я достал свой ключ, осторожно открыл дверь, снял плащ, туфли. Прислушался – в спальне было тихо, на цыпочках вошел в столовую и замер от неожиданности. Нуриля с сыном сидели на диване и смотрели на меня. В центре комнаты лежал раскрытый чемодан, в нем – в полном беспорядке – сорочки, галстуки, блокноты, рукописи.

– Что это значит? – Я невольно рассмеялся.

– Хватит. Устала, – со злостью сказала Нуриля. – Забирай свои шмотки и катись!..

– Прости, что поздно... У меня неприятности... – начал я.

– А мне плевать! – отрезала она. – Когда это кончится? То поругали передачу, то не включили в программу, то не разрешили снимать. Все тебя зажимают. На всех ты обижен. Для тебя не существует ни дома, ни семьи. Вечные муки самоутверждения! Надоело! – крикнула Нуриля.

– У нас новый главный редактор. Меня хотят уволить, – сказал я.

– Хотя, значит, есть за что! – крикнула она. Я замолк. Ее слова резанули по самому сердцу. В первую минуту было желание влупить ей пощечину, но я сдержался. Она показалась мне очень некрасивой и жестокой.

– Ты эгоистка. Не хочешь считаться с тем, что я...

– Да! Да! Да! Не хочу! И не буду! – перебила она меня.

– И ты, Брут?.. Что ж... Вот теперь можно и в путь. – Я подошел к телефону, вызвал такси, начал собирать вещи и складывать в чемодан.

– Мама, а куда он пойдет? – спросил сын.

– К другой тете, – ответила Нуриля.

– Прекрати! – крикнул я.

– Ребенок должен знать правду, – сказала она. – Ах, правду! – взорвался я. – Сын, я уйду от вас потому, что мама твоя ненавидит

меня! Мама твоя кандидат наук, почти профессор, денег получает в два раза больше меня. А я не министр, не народный артист. Потому я самый плохой человек!

– Глупости! Глупости! Глупости! Не слушай его, – закричала она.

– А тетя хорошая? – спросил сын.

Я жжал зубы – бывают же такие дотошные пацаны!

– Не спрашивай, сынок, ничего. Просто мы с тобой надоели ему!

Мы с тобой не дали стать ему знаменитым и богатым, кататься на белой машине. Во всем виноваты мы с тобой!

– Да! Да! Да! Виноваты! – Я схватил незастегнутый чемодан, бросился к выходу.

– Папа, подожди! – крикнул сын.

– Такси ждет, сынок...

– Беги, беги! Не дай бог лишнее заплатишь! – со злостью крикнула Нуриля.

Я поставил чемодан на порог, чтобы сказать что-нибудь обидное, но в это время в комнату вошел ее отец, и я смолчал.

– Я только хочу спросить, насколько это серьезно? – спросил он сдержанно.

– Не надо, папа! – всхлипнула жена. – Он давно этого добивался.

Старик сделал жест рукой, чтобы она помолчала.

– Да, отец, это серьезно, – сказал я.

– Что ж, вам виднее, – в голосе старика прозвучали горькие нотки.

Я думал, что он скажет еще что-нибудь, но он молча ушел в свою комнату и захлопнул за собой дверь.

Со двора донесся шум машины.

– Ты никогда меня не поймешь, – сказал я. – И никогда не понимала...

– И не хочу понимать! – Нуриля расплакалась.

– Дура, – бросил я и вышел за порог.

– Папа-а! – крикнул сын.

Крик прозвучал как выстрел в спину.

– Па-па! – послышался еще один выстрел. Я схватился за перила лестницы. Еще один выстрел в сердце – я буду повержен и вернусь назад. Но сын мой – умница. Он пощадил меня.

Во дворе машины не оказалось. Я простоял в подъезде полчаса, машина так и не пришла. Соседи спали, автоматы не работали, пришлось уходить пешком. Глянул вверх – в окне три

лица. Они смотрели, как я шагаю по лужам, под проливным дождем.

* * *

«Как я мог жить с такой женщиной? Из-за нее не могу взять к себе свою старую, больную мать, оставил ее одну в старом доме, в аиле. Из-за нее, фактически, ушел из театра. Эгоистка! Неблагодарная! Ничего не хочет знать, кроме себя и своих родителей. Старик тоже хорош, вроде образованный человек, ветеран труда и войны, все понимает, а сказать своей дочери, чтобы она была умнее, не может. Тоже мне, воспитание! Интеллигенция», – с горькой обидой думал Мурат, шагая с огромным вымокшим чемоданом по проспекту Мира. Несколько раз он пытался остановить попутную машину, но водители вдруг включали дальний свет, освещая косые струи дождя, нелепую фигуру человека в мокрой шляпе с неровными полями, и проносились мимо.

Мурат ругался сквозь зубы, недобрим словом поминал начальника фрунзенского таксопарка и весь общественный транспорт. Сейчас ему казалось, что женитьба на Нуриле была его первой серьезной ошибкой. С какой-то непонятной досадой он вспомнил первую встречу с ней. Это случилось много лет назад, когда молодой, подающий большие надежды режиссер Мурат во главе молодых артистов оперного театра выступал на новогоднем вечере в мединституте.

Выйдя на сцену, он увидел в первом ряду огромные, лучистые глаза. Она смотрела на него с открытым восхищением, реагировала на каждое его слово. И Мурат, уверенный, красивый и остроумный, как говорят профессионалы, «начал работать на нее»: острил, смешил, старался как можно интереснее рассказать о своей режиссерской работе, о своих коллегах, о театре, о прекрасном мире искусства и вообще о музыке.

В антракте он долго искал эти глаза, ибо при лобовом освещении рампы он не мог разглядеть цвета ее платья, не знал, какого она роста и вообще как она выглядит. Он искал ее среди танцующих девушек и не мог найти, и в тот самый момент, когда потерял всякую надежду, он вздрогнул и оглянулся: она стояла, прислонившись к колонне, похожей на оструганную сосну, в голубом платье, в легких туфлях, стройная, изящная, как мраморная статуэтка.

- Вы танцуете, девушка?
- Очень плохо.
- Я научу вас.
- А вы что, Дед Мороз?
- Может, и дед, по не мороз.
- О-о!
- Вальс танцуют па три такта.
- Да?
- Раз-два-три.
- Вот теперь правильно! На каком вы курсе?
- На втором.
- О-о! А вы любите оперу?
- Смотря какую.
- Чайковского, например.
- Да, люблю.
- Значит, я жду вас завтра у театра?
- Завтра сдаем анатомию.
- Значит, я жду вас у театра послезавтра?
- Не знаю.
- А кто знает?
- Мама.
- Значит, я жду вас в семь пятнадцать у третьей колонны справа!
- Вам нравится театр?
- Очень. Мне кажется, что тот, кто не любит театр, просто несчастный человек. – Она искренне засмеялась.

...– Я ненавижу твой театр! Не-на-вижу! За десять лет он вымотал всю мою душу! – Волосы ее взлохмачены, на руках плачущий ребенок, она похожа на молодую ведьму.

Мурат сидит на стуле в пальто, у него нетрезвый вид.

- Почему ты напился? Посмотри на часы! На часах два ночи.
- С кем ты пил?
- Один.
- Эх, ты-ы! Докатился!
- Ты прости. Это я от... Такену заслуженного дали, а меня обошли. А стартовали вместе.
- Дали, значит, заслужил, – говорит Нуриля, резко раскачивая плачущего ребенка. – Десять лет сидишь в этом театре и ничего путевого, другие и за границу ездят, и заслуги получают, а ты...

– А ты чего добилась за десять лет?! Сидишь в своем кишечном кабинете и лечишь старых маразматиков от геморроя!

– Да! Да! Лечу! И вылечиваю. И больше мне не надо!

– А я хочу больше! Я хочу прославить имя отца! Хочу подняться над землей! Но мне не дают! И разве я виноват, что меня зажимают?!

– Виноват!

– Да. Да. Виноват... Даже ты так считаешь...

Она сидит на стуле и кормит ребенка грудью, плачет, шмыгая носом, маленькая, беспомощная. Мурату жалко ее.

– Нью-ню-ню, – пытается он приласкать малыша.

– Пошел вон! Ребенка отравишь!

Он с размаху пихает пустую табуретку и в одежде падает на кровать.

– Псих несчастный, – говорит она.

Она спит, обняв малыша.

На часах пять утра.

Мурат перебирает афиши, фотографии из спектаклей, бросает в печку и смотрит, как они горят.

Она подошла к нему в ночной рубашке. Легкая, изящная, как Уланова в «Джульетте».

– Что ты делаешь?

– Прощаюсь с театром. Это была ошибка длиною в десять лет. Опера – архаизм. Пустые звуки. Сын не должен знать, что его отец столько лет прожил впустую.

– Я давно хотела сказать тебе об этом... Только боялась обидеть тебя, – говорит она со слезами.

– Ну, ну! А плакать-то зачем? Ты же победила...

– Тебя жалко, – говорит она, трется щекой об его волосы.

Так он ушел из театра и начал новую жизнь на телевидении.

* * *

Вот дом, такой же серый, как все дома микрорайона. Но это ее дом. Дом Принцессы. Ее дверь. Звонок.

– Кто? – спросила ее дочь.

– Я, Аселечка, мама дома?

– Дома.

– О, господи! Что случилось? Мокрый весь! – встревожилась Принцесса.

– Дождь, – ответил я.

Она стоит передо мной стройная, красивая, без всякой косметики, в ярком японском «кимоно», а потому еще больше похожа на принцессу.

– Ты что так поздно?

– Да вот... пришел...

– Ну, заходи, раз пришел...

Я снял вымокший пиджак, туфли и, оставляя на паркете мокрые следы, прошел в гостиную.

– Ты подожди секундочку, я сейчас. – Она вышла на кухню, видимо, готовить чай.

Сейчас надо поговорить обо всем серьезно и окончательно. Пока я обдумывал, с чего начать разговор, она принесла чайный сервиз и села передо мной прекрасная, как богиня.

– Алё, я вас слушаю, – сказала она, наливая чай в маленькие пиалушки.

– Сейчас. Дай немного собраться...

– Ты пришел доложить о проделанной работе?

– Я пришел, чтобы никогда не уходить...

– О-о, это уже интересно. – Принцесса красиво вскинула брови.

– Но, по-моему, милый, ты просто перепутал дом. У нас тут все дома похожи...

– Твой дом я найду, если даже ослепну, – мне не поправился ее иронический тон.

– Значит, ты забыл, что у тебя семья, сын, а у меня дочь.

– Я ничего не забыл.

– Значит, сошел с ума.

– Мне не двадцать лет.

– Ну, допустим, а почему ты решил жениться на мне?

Вопрос мне показался глупым, но надо было отвечать.

– Ну, хотя бы потому, что не могу жить без тебя...

– Это ты. А я б растерялся.

– Мы с тобой понимаем друг друга, и мне с тобой хорошо...

– И все?

– Ты для меня не только женщина, ты для меня...

– А я хочу быть просто женщиной, бабой! Рожать детей, стирать белье, печь хлеб. А мы все эфирные, эстетствующие гурманы. Пустой треп. Пустые звуки... Мы отвыкли есть обыкновенный хлеб

из обыкновенной муки, воды и соли! А я устаю от интеллектуального напряжения, у меня болит мозг!.. – в уголках ее прекрасных глаз блеснула слезинка.

Я побоялся показаться ей назойливым и замолк. Я понял, что до сих пор в чем-то очень ошибался: то ли в ней, то ли в себе, то ли вообще во всем. Когда женщина слишком активно начинает добиваться своего, мужчина начинает отступать, а потом и вовсе бежит, как от тигрицы. Я был уверен, что она знает эту истину, а потому ждет, когда я сам приду к неизбежному логическому выводу и останусь с ней, но вышло иначе...

– Только не думай, что я ломаюсь или набиваю себе цену, – она покачала головой.

– Хорошо... Только вот не пойму, почему ты из толпы своих поклонников выбрала меня...

– Не знаю. Может, потому, что ты добрый человек... – сказала она как бы сама себе. – Но ты какой-то среднеарифметический товарищ. – Она посмотрела на меня с мольбой, словно просила прощения за свою откровенность.

– Что ж... спасибо и на этом... – мне стало обидно. – Буду знать, кто я...

– Ладно. Прости. Я сказала глупость. Ты хороший человек. – Она ласково потрепала мои волосы.

– Я не хочу обманывать себя! Я долго мучился, а теперь все решил. Ты – прекрасная женщина и верный друг. Ты понимаешь меня. С тобой мне легко и уютно. Я благодарен тебе за все! – Я опустился перед ней па колени, начал целовать ее руки, плечи, шею, волосы. – Я не могу без тебя жить!

Рахима отрицательно покачала головой.

– Ты сейчас в смятении, оклемаешься – уйдешь домой! – сказала она. – Ты добрый, честный, мы привыкнем к тебе, полюбим, а ты... Посмотри на них! – Она кивнула на экран телевизора.

Танцевальная пара кружилась в вальсе, он поднял ее над головой. Она – красивая и счастливая – улыбалась во весь экран. Публика восторженно аплодировала.

– Представляешь, что будет, если он сейчас бросит ее на лед? – спросила Рахима.

– Хочешь, уедем в другой город, в Москву, на край света. Поживем для себя! Друг для друга!

- И потеряю квартиру, друзей, работу, – сказала она.
 - Неужели твое дурацкое кресло дороже любви? Личного счастья, жизни в конце концов!
 - Нет, не дороже. Но я боюсь остаться у разбитого корыта! – Она подняла на меня свои чудесные глаза.
 - Значит, не веришь...
- Принцесса не ответила и посмотрела на фигуристов. На льду танцевала уже другая красивая пара. Я встал, набросил пиджак, взял свой чемодан.
- Куда, ты? Дождь!..
 - Катайся с тем, кто тебя не бросит на лед! – Я вышел.

* * *

Нет, Мурат не ошибся в своей Принцессе. Он просто забыл один разговор или, вернее, не придавал ему особого значения.

– А ты можешь представить себя моей женой? – спросил он однажды.

– Нет, – засмеялась она.

– А я представляю!

– Ну и как мы выглядим? – спросила она с наигранным любопытством.

– Я вижу великолепную пару.

– У тебя двоится в глазах. Это оптический обман, – засмеялась она.

– Почему ты так считаешь? – обиделся Мурат.

– Мы с тобой разные люди.

– Именно в этом все дело. Крепки и дружны те пары, которые дополняют друг друга. Мягкий и слабый человек всегда стремится к сильному и мужественному, а сильному всегда легче со слабым. Недаром маленькие мужчины любят рослых женщин, а рослые женщины маленьких мужичков.

– Фрейдизм?

– Дарвинизм. Естественный отбор подходящих особей, – блеснул он эрудицией.

– В науке это называют евгеникой, – тактично поправила она. – Но ты очень наивный человек.

– Наивный? – удивился Мурат.

- Неужели ты всерьез думаешь об этом?
- А почему бы нет?
- Ты бы очень скоро бросил меня, – сказала она задумчиво.
- А если нет?
- В таком случае... я ушла бы сама, – печально сказала она, думая о чем-то далеком.

* * *

Я иду вниз по проспекту Мира. У меня такое ощущение, словно только что получил резкий удар в солнечное сплетение, в тот самый момент, когда поднял руку, чтобы обнять друга. Хлещет холодный дождь. Синие горы стали черными. Никогда мне не было так тошно. Меня отвергли. Меня, умного, красивого, образованного, который всегда нравился женщинам, которому сегодня вечером объяснилась юная девица. Не я ли был первым учеником в классе? Не я ли был лучшим студентом института? Не за мной ли ватагой бегали девчонки младших курсов?! Не я ли был любимцем политехнического и университета? Когда я выходил на сцену чуть смущенный и счастливый и видел перед собой тысячи девичьих глаз, был уверен, что любая из них готова пойти со мной на край света! А теперь я стал среднеарифметическим. Как и когда это случилось со мной? Хочется спрятаться от ночных пешеходов, от всевидящих огненных глаз машин, от себя и заплакать точно так же, как плакал мой сын, когда мы пришли на ипподром, и наш серый скакун с белым пятном на лбу упал вместе с седоком и не мог подняться. Сын плакал так громко, что болельщики повернулись в нашу сторону, а я никак не мог успокоить его, пока серый не встал на ноги и, опустив голову, мокрый и запачканный землей, вышел из круга. Выйти из круга... Другого пути нет. Надо ли тратить силы и время, если знаешь, что к финишу придешь последним?! Умирающий профессор Минсеитов признался, что не сбылась его заветная мечта, и – жизнь его не состоялась. А если тебя ждет такой же конец, то стоит ли жить вообще?.. Но прежде надо кому-то рассказать все, что привело к такому походу, чтобы не думали, что спасовал перед жизнью, побоялся трудностей. Но кому? Сын маленький. Жена не поймет. Принцесса слишком умна и расчетлива... Лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не подавать, – так, кажется, пел Высоцкий.

Шеренга телефонов-автоматов. Опустил монету. По стеклу, как слезы, бегут струйки дождя. Такен не отзывается. Видимо, отключил телефон.

Набрал еще один номер.

– Алло! Папа дома?

– В командировке, – ответил сонный детский голос. Набрал номер Сатара, но вовремя вспомнил, что утром поссорился с ним. Отпустил диск. Больше звонить некому. Ни друзей, ни врагов...

Скорей на вокзал! Там стоит поезд, он повезет меня к маленькой, родной старушке. Она ждет меня всегда.

Блестят мокрые рельсы. На платформе тишина. Поезд стоит. Он пойдет только завтра.

– Алло, такси!

– Куда прикажешь, дорогой? – Шофер сверкнул золотыми зубами.

– В долину Зеленых камней! Мать у меня там. Понимаешь. Старенькая, ждет. Давно. Я только покажусь и назад. Завтра будем уже здесь...

Шофер качает головой: дождь.

– Вот деньги. Вези, куда можешь.

– А куда?

– К черту!

Зеленый глазок стал красным. Под колесами широкая черная полоса мокрого асфальта.

Гудит мотор. Шумит вентилятор, нагнетая в салон теплый воздух. Стрелка движется по красному кругу циферблата...

* * *

...Кружится белобокая сорока.

Луч солнца, как стальной меч, пронзает густую хвою.

Отец рубит сосну. У него крепкая мокрая спина. При каждом ударе сосна вздрагивает, как человек. Сорока стрекочет и суетится над головой.

– Ата, а дереву больно? – спрашивает Мурат.

– Больно, – отвечает отец, плюет на ладони и продолжает наносить удары.

Дук! Дук! Сосна, застонав, замертво падает па землю. Последний раз машет ветками, прощается с жизнью. Сорока прыгает с сучка на сучок и продолжает стрекотать.

– Ата, а почему сорока кричит на пас?

– Ругает за то, что срубили сосну. – Отец сидит на пне и тяжело дышит. Его ноздри раздуваются, как у коня после скачки...

Звенят цепи. На шее вола мозоль от хомута. Вол шагает медленно, раскачивается из стороны в сторону. В ноздри продето кольцо, привязан поводок. Бревно скользит по земле. Острые камни обдирают кожу, оставляя на теле сосны шрамы. Сосна мертва. По дороге тянется мокрая струйка. Вол мочится на ходу.

– Ата, ему тяжело! Смотри, что он делает! – кричит Мурат.

Отец гладит его по головке. У него большая шершавая ладонь. Он смеется. В скалах гулко отзывается эхо, и из щелей вылетают испуганные сизые голуби...

* * *

Дом Принцессы. Ее окно. Горит настольная лампа. Она читает или пишет. Она спокойна. Она жестока. Она нанесла мне роковой удар в солнечное сплетение...

– Шеф, тут мы, кажется, проезжаем второй раз? – сказал я.

– Так мы же по кругу, начальник, – засмеялся шофер.

– По кругу?

– Город маленький. Из конца в конец – трояк. А вы красенькую дали, – улыбнулся шофер.

– Езжай, куда хочешь...

* * *

...По кругу ходит серая лошадь с пятном на лбу. Свистит хлыст. Лошадь копытами размешивает раствор. Вздрагивают ее мокрые бока. Хвост завязан тугим узлом. Мурат сидит в седле и крепко держится за луку.

Мальчишки сидят верхом на полуразваленном дувале и завидуют Мурату.

...Сосну раздели догола. Она белая с красными прожилками, как огромная обглоданная кость, лежит посреди двора. Девчонки играют на ней в куклы. В маленьких тарелочках из листьев – угощения для гостей.

Возле старого дома большая яма. Отсюда брали глину для нового дома. Эта яма зияла столько же лет, сколько лет воевал отец. И белое бревно лежало на своем месте, пока он не вернулся с фронта.

Двор залит солнцем. У ворот толпятся люди. Отец идет к дому на костылях в серой шинели без погон. Бабушка выходит к нему навстречу, обводит вокруг его головы чашу с водой, выплескивает за калитку. Отец в каком-то исступлении целует Мурата в голову. Мать стоит в стороне, скрестив руки на груди и молча смотрит на них. При народе и свекрови она не смеет подойти ближе. Так ведут себя наши женщины в минуты счастья и горя.

– Ата, пока ты был на фронте, бревно раскололось. – Мурат показывает на черную трещину вдоль сосны.

Отец слегка обнимает мать за плечи. Она плачет, держась за его костыли. Мурату кажется, что и отец плачет навзрыд, только без слез и без звука.

– Однажды сильно треснуло, а во дворе никого нет. Кто его расколол, ата?

– Кого?

– Сосну.

– А-а! Видимо, солнце, – отец входит в дом, за ним толпа айльчан.

– Будем рубить новое дерево, ата? Отец сидит на почетном месте. Мурат лежит на козьей шкуре, положив голову на его колени.

– Нет, не будем. Оно еще крепкое, – говорит отец, запустив руку за шиворот сына, гладит его лопатки, словно хочет удостовериться в том, что сын жив, здоров и что он сам вернулся с войны живым.

Бревно веревками подняли наверх, положили поперек стены, завалили ветками тала, засыпали землей. Оно и сейчас лежит поперек потолка. Трещина осталась сбоку.

* * *

Отцу тогда было не больше тридцати, намного меньше, чем мне сейчас. Но почему он казался пожилым и старым? Может, потому, что, вернувшись с войны, он плакал без слез и звука, как старый кыргыз?

Дом стоит. Отца давно нет...

– Шеф, почему остановился? – спросил я.

– Бензин кончился, дорогой. Сейчас залью и поедем... Порядок, куда поедем?

– Давай дальше!

– По кругу?

– По кругу.

Тикает счетчик. Стрелка движется по красному циферблату, отмеряет пройденный путь и прожитое время...

– Стой. Это, кажется, дом моей родственницы. Свет во всех окнах. Может, случилось что? Оставь меня здесь, – сказал я.

Таксист понимающе подмигнул, развернул машину и умчался в дождевую темноту.

Лестничная площадка завалена ящиками из-под мебели. Позвонил.

– О-о! Мурат! – заорал круглолицый хозяин. – Мебель обмываем! Импорт! – Мы протиснулись в комнату, заставленную гарнитуром.

В доме было полно гостей. Стол ломился от вареных индюков, мяса, всевозможных салатов и бутылок.

– Жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь, – фальшиво, с акцентом, но очень громко пели гости.

В углу отдельно от других за письменным столом сидел человек в черном костюме и неумело дирижировал. Стол, видимо, был накрыт специально для него.

– Тихо! – закричал хозяин. – Посмотрите, кто пришел! Все замолкли и посмотрели на меня.

– Вы знаете его по телевизору, а он родственник моей жены! – объявил хозяин.

– Штраф! – приказал человек, сидящий за письменным столом. Мне протянули полный бокал водки. Я молча выпил.

– Ура-а! – закричали гости.

– Во! Видали, какой он человек! – сказал хозяин и облобызал меня.

– Ай, голубой огонек! – позвал человек, сидящий за письменным столом. – Ко мне!

Я видел его впервые в жизни, но пришлось подойти.

– Мне очень грустно, рассмеши меня! – приказал он.

– Вы ошиблись, аксакал, я не шут! – сказал я со злостью.

– Не притворяйся. Все мы шуты, – сказал человек, сидящий за письменным столом, достал ручку, на уголке салфетки размашисто наложил резолюцию и положил передо мной. На салфетке было написано: «Уволить!»

– До свидания, дорогой! – сказал он.

Раздался взрыв хохота.

Я разорвал салфетку на клочки и бросил ему в тарелку.

– Кушайте на здоровье! – сказал я. Наступила неловкая пауза.

– Танцуем! – крикнул хозяин, взяв меня за локоть. – Пойдем, я покажу тебе мебель. Ты не обижайся на него.

Два года был и. о. начальника. Не утвердили. Переживает очень, – пояснил он.

Гости вышли из-за стола и, касаясь друг друга ягодицами и спинами, начали топтаться между столом и стеной.

Хозяйка с хозяином повели меня по комнатам.

– Вот спальня. Тесновато, но ничего, зато полный гарнитур. Шкаф хороший. Книг еще нет, но деньги есть – купим. Сюда перенесем письменный стол и кресло – будет хороший кабинет, – пояснил хозяин.

– А что ты здесь будешь писать? Кляззы или воспоминания? – спросил я.

– Зачем писать? Просто так посижу, – серьезно ответил хозяин.

Хозяйка, счастливо улыбаясь, ходила за нами с влажной тряпкой.

– Все сам достал. По записке нашего бывшего и. о. начальника, – поясняла она.

В гостиной танцевали. Бывший и. о. начальника держал речь, хотя никто его не слушал.

– Во-от! Человек живет на свете один раз. Он живет временно. А что такое вр. и. о.? Это значит временно исполняющий обязанности. И разве только я?!

Из-под дивана показалась кудлатая собачья голова. Пес твякнул на всякий случай и опять глубже забился под диван.

– Тес! Тихо! – сказал бывший и. о. и начал наливать себе шампанское.

– Только ты никогда не сердись. Не имеешь права, – говорил мне хозяин у стола. – От тебя зависит настроение трудящихся масс. Давай еще по одной.

Я осушил бокал, трахнул его об пол, вышел в круг и решил показать как надо плясать по-цыгански.

Гости расступились и начали хлопать в такт.

– Во, видали, какой он человек! – с гордостью кричал хозяин. – Вы знаете его по телевизору, а он родственник моей жены!

Сделав круг, я споткнулся о журнальный столик. Хозяйка убрала его в сторону.

Я сделал еще круг и опять споткнулся о тот же столик. Хозяйка убрала его в другую сторону.

Я сделал еще раз круг, споткнулся, передо мной опять появился тот же самый столик, и тут я не выдержал, поставил столик посредине площадки и со всего размаха прыгнул на него. Столик разлетелся на части.

– Во! Видали, какой он человек! – упавшим голосом сказал хозяин.

Двое взяли меня под руки и увели в спальню. Я плашмя упал на новую кровать и проспал до утра...

* * *

– Почему вы ушли из дома? – спросила Гуля. Я перестал стучать на машинке и поднял глаза.

– Кто тебе сказал?

– Сама догадалась – ответила девушка.

– Ты что, колдунья?

– Нет.

– А как ты узнала?

– По вашей сорочке.

– По сорочке? – Моя рука невольно потянулась к вороту, словно я хотел разглядить его неровные уголки.

– Вы думаете, с Принцессой вам будет лучше? – спросила она.

– Я давно не думаю о том, будет ли мне лучше.

– Если ушли от одной, значит, нашли другую, – заключила Гуля.

– А разве нельзя уйти именно потому, что никого не нашел?

– Так вообще не бывает! – отрезала она.

– Бывают частные случаи, Гуленька, – сказал я.

– Для нее превыше всего ее красота и пост замглавного редактора. Обидно, что вы такой человек и бегаете вокруг нее, как цирковая лошадь, будто от этих передач зависит вся ваша жизнь... – сказала Гуля.

Мне стало как-то не по себе.

– Но, видишь ли, детка, не все так просто, как тебе кажется, – начал я корректно.

– Но и не так сложно, как вы думаете! – отрезала девушка и выбежала за дверь.

Я остался сидеть в полной растерянности. Н хватало мне только выслушивать чьи-то истерики.

Зазвонил телефон. Я поднял трубку.

– Здравствуйте, можно Гулю? – спросил кто-то.

– Ее нет, вышла, – со злостью ответил я.

Вошла Гуля. Видимо, она пришла из умывальной. Волосы ее были строго зачесаны, она смыла тушь с ресниц, убрала тон вокруг глаз, в результате чего помолодела на целых десять лет. Передо мной стояла очень юная девушка, почти девочка, и глаза ее уже не казались такими огромными и были заплаканы.

– Простите меня. Я, наверно, дура. Но знайте одно: если вам будет очень плохо, на свете есть человек, который примчится к вам с любого конца света...

Я растерялся. Не хотелось обижать эту добрую девушку, и в то же время она сказала нечто такое, отчего на душе стало тревожно.

– Ты очень добрая девушка, Гуля.

– Вчера я прождала вас до восьми часов, – призналась она. – Хотела сказать вам, что...

Зазвонил телефон и не дал ей договорить.

– Гуленька, Мурат Сеитович здесь? – спросил голос Принцессы.

Я помахал рукой.

– Нет. Он вышел, – соврала Гуля.

– Как появится – пусть ко мне! – приказала Принцесса.

– Хорошо, Рахима Караевна, я передам, – очень вежливо ответила девушка и положила трубку.

Но тут снова раздался звонок. Гуля подняла трубку и нажала на рычаг, видимо, ей хотелось поговорить со мной о чем-то очень важном для нее, но телефон не унимался.

– Да! Это ваш тесть, – сообщила Гуля, зажав трубку.

Я взял трубку. Старик никогда не звонил мне на работу.

– Здравствуйте, Мурат. Извините, что беспокою. Но я вынужден позвонить вам. Вчера мальчика положили в больницу, – сообщил старик.

– Что с ним? – спросил я.

– Видимо, обострение. Его положили в первую детскую. Мальчишка все время звонит по телефону и требует папу, просит купить

ему пистолет. Я, как вы знаете, прикован к постели, а Нуриля на дежурстве...

– Хорошо, дед. Сейчас я сбегая к нему, – сказал я. С тестем у нас всегда были, как говорят, джентльменские отношения.

Гуля достала из своего стола какие-то импортные конфеты, жвачки, сложила в пакетик и подала мне.

– Скажешь начальству... я скоро... О сыне ничего не говори ей, – попросил я.

– Хорошо, Мурат Сеитович, не беспокойтесь, – сказала девушка.

* * *

Мой сын стоит за толстыми решетками пролета лестницы, в белой марлевой маске – в городе грипп. На нем казенная пижама в полоску. Я узнал его по глазам.

– Папа, скорей! Сейчас завтрак! – кричит сын. Я побежал по лестнице, задрал голову вверх, не спуская с него глаз.

– А где пистолет? – спросил он.

Я протянул ему пластмассовый пистолет в целлофановом мешочке и перевел дыхание. Бешено стучит сердце, то ли от встречи с сыном, то ли от быстрой ходьбы.

– Как же ты сюда попал?

– Я начал кашлять. А тетя врач послушала и сказала, что вот тут у меня легкие, – ответил мальчик.

– Мама была?

– Вчера два раза была, а сегодня нет. Почему она не пришла?

– Не знаю, сын. Ты же знаешь, что теперь я живу в другом доме...

– Папа, а я тебе подарок сделал. – Сын что-то достал из кармана и спрятал за спину. – Угадай, что это?

– Не знаю.

– Сдаешься?

– Сдаюсь!

– Вот! – Сын протянул мне квадратик картона, па нем были наклеены голубая звезда и голубые буквы:

«Папе 45 лет».

– У-у! Какой ты молодец! Ты сам сделал?

– Сам. А воспитательница помогала! Нравится?

– Угу. А кто тебе сказал, что мне сорок пять лет?

– Мама.

– Улан! На завтра-ак! – слышался голос медсестры.

– Мой папа пришел! – гордо сказал сын. Он держится руками за толстые тяжелые прутья пролета и смотрит на меня. Он не хочет, чтобы я уходил. Он напоминает маленького неуклюжего тигренка с большой ушастой головой и широкими лапами. Ступни мои словно прилипли к мраморному полу. Откуда-то сверху доносятся аккорды, напоминающие топот мчащегося коня:

Кто скачет, кто мчится под холодной мглой?

Седок запоздалы, с ним сын молодой... –

тревожно поет женщина.

И вдруг мне показалось, что я на нашем сером скакуне с белым пятнышком на лбу вырвался из толпы всадников и, выйдя из круга ипподрома, через скамьи и заборы, прижав к груди сына, мчусь в синие горы.

К отцу, весь вздрогнув, малютка приник,

Обняв его, держит и греет старик.

Мы несемся в синие горы, через серые валуны высохших рек, через седые бурные потоки, через голубые еловые леса, в долину Зеленых камней, где пахнет натуральным древесным дымом, где воздух насыщен кислородом, ароматом горных цветов и жужжанием горных шмелей, где пасутся грациозные кобылицы, а с ними во-жак табуна – стройный серый жеребец с белым пятном на лбу, и на его шее позванивает колокольчик.

– Папа, до свидания!

– До свиданья, сын.

– Ты еще придешь, папа?

– Конечно, приду.

– Приходи каждый день, ладно?

– Ладно!

– Только с мамой приходи, ладно?

Я молча спустился по лестнице, стараясь не смотреть, как сын считает прутья решетки.

– Папа, подожди, мама идет!

Я слышу торопливый стук каблуков. Это ее шаги. В это утро она особенно хороша. Зарделась и горит то ли от того, что бежала к сыну, то ли от неожиданной встречи со мной.

– Здравствуй, – сказала она, проходя мимо.

– Здравствуй, – ответил я, стараясь не быть ласковым и не очень сухим. Надо бы спросить, не случилось ли чего, – почему она так поздно пришла к сыну, но я сдержался. Она приняла гордую осанку и независимое выражение лица. «Не ты бросил меня, а я выставила тебя за дверь!» – говорит ее вид.

Молодец! Так и держись! Когда у молодой, незамужней женщины гордое, надменное лицо – это украшает ее и возвеличивает. При чем не только ее, но и того, с кем она рассталась. «Отныне никто из вас не достоин меня», – говорил ее вид.

– Мама! – кричит сын из-за решетки.

Я быстро ушел, жуя неприкуренную сигарету.

* * *

– Здоров ли князь? Что призадумался, гость мой? Аль, сети порвались? Аль соколы не злы? Иль слету птицу не сбивают? – пропел Эрмек Булатов, широко раскрыв передо мной дверь.

– И сеть крепка, и ястребы надежны, да главред наш покоя не дает мне, – ответил я в тональности князя Игоря. Мы расхохотались и пожали друг другу руки, довольные своей вокальной шуткой.

Пока знаменитый артист одевался, я сел за журнальный столик и начал перебирать газеты и журналы на разных языках мира с портретами Булатова в гриме и без грима.

Я ведь тоже когда-то мечтал стать знаменитым артистом. Передо мной замелькали видения. В каждом снимке вместо Булатова я видел себя: пел в Москве, в Нью-Йорке, Токио, пел в операх и концертах, мне хлопали, засыпали цветами. Я ездил в белой машине, в белом костюме и черных очках...

Передо мной выросла могучая фигура Эрмека. Он был в черном смокинге.

– На сей раз я пришел прославить тебя, как общественного деятеля и слугу народа. Выкладывай все, что накопело на сердце.– Я достал блокнот и обнажил авторучку.

– Слушай, старик. Может, я не буду, а? Давай в следующий раз. Я так устал от всего этого, – взмолился Эрмек.

– Ну что ты, Эрмек. Ты же убьешь меня. На карту поставлена моя честь. Провалю передачу – с работы вышибут, а у меня семья,

сам понимаешь. Не пойду же я снова в театр, – взмолился я в свою очередь.

– Ну, ладно, убедил. А что я должен говорить? – искренне спросил он.

– Все, что хочешь сказать честному народу. А я уж выберу, что надо.

– М-да. Слушай, старик. Я так не умею. Ты лучше задай мне наводящий вопрос, а я отвечу. Я и в школе так учился.

– Ну хорошо, товарищ бель канто! Дед твой был неграмотным пастухом, который, может быть, за всю жизнь один раз видел старый Пишпек, пригнав на продажу байских овец. А вот ты – внук того самого пастуха – стал знаменитым артистом, ездешь по всему миру, получаешь призы в Москве, во Франции, в Америке, в Англии. И ты – внук киргизского пастуха – в Нью-Йорке пел не кого-нибудь, а царя Бориса Годунова, в составе труппы лучшего театра мира, где некогда пел великий Шаляпин. По-моему, это знаменательно не только для тебя лично, но и для всего киргизского народа, который в недавнем прошлом был обречен на вымирание, а ныне равный среди равных является социалистической республикой, а ты не просто артист Эрмек Булатов, ты член парламента этой республики, депутат и слуга народа. Что ты на это скажешь?

– Слушай, старик! Так ведь до слез можно довести человека, – засмеялся Булатов. – Видишь ли, я не такой красноречивый, как ты, но... кое-что сказал бы...

– Говори! Считай, что мы уже выступаем по телевизору!

– Я бы, наверное, сказал, что всему этому я обязан вот этому человеку, – он взял со стола маленький барельеф Ленина.

– Так, хорошо! Великолепно! А что еще? – встрепенулся я.

– А потом бы встал и спел во всю глотку! – сказал Булатов.

Я не стал ничего записывать. Передача о Булатове моментально сложилась и смонтировалась у меня в голове.

– Спасибо. Отлично, старик! Больше ничего не надо! – Я взял у него барельеф.

– Ты захватишь его в студию и повторишь все, что мне сказал.

– Да ну, старик. Зачем? Это я только тебе сказал.

– Но мне ты сказал искренне. Пусть и другие услышат.

– Это должно быть вот здесь, – строго сказал Эрмек и показал на сердце.

* * *

Несмотря на осень, в городе стоит жара. Ни облачка. Ни ветерочка. Деревья неподвижны, как бутафория провинциального театра. На листьях слой серой пыли.

Я пришел в редакцию, положил голову на руки и, видимо, забылся на несколько минут. Проснулся я от того, что в кабинет вошла Гуля.

– Вам плохо? – Она встревоженно взглянула на меня.

– Ходил к Эрмеку Булатову, устал, – сказал я. Она молча принесла чайник с заваркой и налила в пиалу.

– Звонила ваша жена. Она будет ждать вас в семь часов в кафе «Юность»...

– В кафе? А что случилось? – встревожился я.

– Ничего особенного. Женщина приглашает вас в кафе отметить день вашего вождения. – Гуля улыбнулась.

– Спасибо. О, черт, я совсем забыл, что именно сегодня я родился.

* * *

Мы сидим в пустом зале между двумя колоннами за маленьким столиком. На ней белое строгое платье, облегающее фигуру.

– Не ходи больше к сыну, он должен забыть тебя, – сухо сказала она.

– Он не такой маленький, чтобы забыть.

– Скажу, что уехал, а потом сообщу, что погиб в авиационной катастрофе, – в голосе ее звучали жесткие, незнакомые мне нотки.

– Что ж, спасибо. Если ты мечтаешь об этом, может, и сбудется...

– Желая тебе долгих лет, но лучше будет, если он забудет тебя, – сказала она уже мягче.

Подошла официантка, раскрыла блокнот.

– Чего желаете?

– Пожалуйста, два коньяка и что-нибудь поесть.

– Я обедаю дома, – перебила жена, как будто именно в этом и было ее преимущество.

Официантка ничего не записала и ушла, мелькая стройными ножками. Я посмотрел ей вслед. Нуриля уловила мой взгляд, усмехнулась.

– Стареешь? – спросила она.

Я развел руками.

– Сигарету! – потребовала она.

– Ты куришь?

– Да. С того дня, как ты ушел.

Она взяла сигарету и прикурила, неумело зажав ее между указательным и средним пальцами. Ногти ее стали чуть ярче и длиннее прежнего.

За окном у самого кафе парень в красной куртке и красной каске никак не мог завести красный мотоцикл. И это особенно раздражало меня.

– Мне будет трудно не видеть его... – начал я как можно спокойней.

– Тебе он не нужен. Ты все забыл! – сказала она.

* * *

...– Сколько вам лет? – ласково спросил старый профессор и посмотрел на нее через толстенные стекла очков.

– Скоро тридцать, – ответила она и опустила глаза. Мурат почувствовал, что она сейчас расплачется и положил руку на ее теплое плечо.

– Сколько было бы первому? – спросил профессор.

– Было бы семь, – ответил Мурат за нее.

– А второму?

– Наверное, пять, – ответил Мурат, держа ее вздрагивающее плечо.

– М-м да... значит, дважды вы не смогли стать матерью.

Она кивнула и вытерла глаза.

– Сохраните нам этого любой ценой, профессор.

– Сделаем все возможное, – пообещал он.

– Спасибо, профессор! Я буду вечным вашим рабом. – Нуриля всхлипнула то ли от радости, то ли от того, что не поверила в свое счастье.

– Но, возможно, это будет ваш единственный ребенок, – сказал профессор.

Вот он! Долгожданный, крохотный человечек! Он барахтается в мягких фланелевых пеленках.

– На кого он похож? – Мурат смотрит через ее плечо.

– Отеки еще не прошли. Глаза и нос твои...

Окна становятся голубыми. За синими горами поднимается великое и вечное солнце...

– Нет, я ничего не забыл, – сказал я.

– Значит, предал! – Нуриля резко отодвинула пепельницу.

– А психовать не надо. Нам давно не по двадцать лет... – сказал я, стараясь быть очень спокойным.

– Ты можешь не волноваться. У тебя все впереди. Это я уже спела свою выходную арию. – Она достала из сумочки круглое зеркальце, поправила капроновый шарфик, закрывающий шею, губы ее вздрогнули, как у обиженного ребенка. Она спрятала зеркальце, закрыла сумочку и показалась очень смешной.

– Неужели все от того, что ты постарела? – засмеялся я.

– Теперь это не имеет никакого значения, и к тому же здесь нет ничего смешного. – Она закурила новую сигарету.

В полоске солнечного луча, косо падающего из окна на круглый стол, за клубился синий дымок.

– Ты позвала меня сюда, чтобы поссориться?

– Соскучилась, вот и позвала! – Она пыхнула сигаретой и показала мне ехидной и злой.

– Будешь язвить, встану и уйду! – сказал я.

– Свои жалкие гроши можешь не присылать. Без них обойдемся!

– Во-первых, они не такие уж жалкие. Во-вторых, мой долг – вырастить сына!

– Оставь свой долг при себе. Меня назначили заместителем главного врача, прибавили зарплату. Отец продает автомобиль, вступим в кооператив, так что скоро можешь забрать и квартиру, она нам не нужна.

– Господи, о чем ты?

– О жизни, – спокойно сказала она.

Официантка принесла коньяк, налила в рюмки и ушла.

– Моя старушка будет ждать его летом. Она заболела от тоски.

– При чем тут твоя старушка? Это мой сын, а она пусть тоскует о своих детях! – в ее глазах сверкнули злые искорки.

– Ты много куришь! – сказал я.

– А! Все равно вымирать! – Она махнула рукой, отпила глоток из рюмки, демонстративно затянулась сигаретой и выдохнула синий яд.

Кто-то бросил монету в «Меломан». По залу разлились тихие звуки электрооргана.

– Это вот тебе от деда, он поздравляет тебя с днем рождения... Он считает, что во всем виновата я. Я же тебе в этот день ничего не дарю. – Она положила на стол золотые запонки.

– Спасибо. Передай ему привет. Я буду беречь их так же, как и он, и потом передам его внуку.

Она сделала вид, что не слышит моих слов.

– Сегодня отец ходил к маме, отгородил себе место. Полвека, говорит, были вместе и дальше будем рядом, – сказала она как бы самой себе.

Официантка принесла бифштекс, поставила на стол и ушла.

– Господи, как мы ели такое, когда были студентами? – Она брезгливо посмотрела на бифштекс.

– Бедные были, вот и ели!

– И счастливыми тоже... были, – добавила она, нажимая на слово «были».

Бифштекс был сухой и пресный, но я все равно начал его жевать, не потому что хотелось есть, а просто чтобы молчать...

– Встречаются. Мечтают о семье, о детях... А потом все становится обузой, – тихо сказала она. – Как это все нелепо...

Луч солнца соскользнул со стола и перешел на стену.

– Скажи, зачем так? У всех так или только у нас? – спросила она.

Я молча жевал пресный бифштекс.

– А зачем тогда человек живет, куда-то стремится, мечтает? – Она не требовала ответа, но ждала его.

Я отложил в сторону вилку:

– Видишь ли, когда-то человек был счастлив тем, что мог поймать зверя, оглушить дубинкой и съесть. Потом он подчинил себе лошадь, изобрел колесо, но этого показалось ему мало, он начал плавать и летать, вертеться вокруг земли, а потом очертя голову помчался на луну, ну и...

– Это что, из Жюль Верна? – спросила она ехидно.

Я разозлился. Пришлось замолчать и искать более веские аргументы:

– Или, положим, живут двое! У них одна раскладушка, одна табуретка, и они счастливы, потому что живут одними мыслями и делами. Он преуспевает. Но вот наступают сложные времена. Он мечется в поисках своего истинного назначения. Она забывает о

нем и начинает украшать жилье. Раскладушку – на металлолом, табуретку – под умывальный тазик... Появляется холодная полированная мебель, ковровые дорожки с мягким ворсом, но красота почему-то уходит из их дома... Каждый из них чувствует себя одиноким...

– А может, они сами утеряти красоту, и она пыталась создать хотя бы видимость уюта и благополучия?! – в глазах ее вновь вспыхнули злые искорки, голос звучал резко, как туго натянутая струна.

– Но это же бутафория, черт возьми! – как всегда, у меня не хватало выдержки.

Обе официантки, что стояли у прилавка и разговаривали с буфетчицей, разом повернулись на шум.

– И тогда он взял свой чемодан и ушел искать ее в другом доме, – спокойно договорила она.

– Нас слушают! – ее деланное спокойствие раздражало еще больше.

– Плевать, – бросила она и допила свой коньяк.

За окном спускались сумерки. Зажглись неоновые огни. Зал начал наполняться людьми.

– Хотела я бы поменяться с тобой и уйти куда глаза глядят. По крайней мере, не видела бы дом, где все напоминает о прошлом. – Она открыла сумочку, достала платочек, вытерла глаза и нос, который стал розовым и чуть припух.

– Дорогие гости, администрация и обслуживающий персонал молодежного кафе «Юность» рады приветствовать вас и желают вам веселого и спокойного отдыха! – Голос из динамика сообщил меню и о том, что желающие потанцевать могут это сделать, пройдя на площадку между буфетом и эстрадой.

По стенам начали кружить разноцветные зайчики – завертелся мозаичный шар, подвешенный к потолку. В углу зала началась свадьба. Невеста сидела в традиционной белой фате, красивая и счастливая. Жених обнимал ее за плечи. Звучала музыка.

– В этом зале была наша свадьба, – вдруг сказала она. – Тогда здесь была столовая общепита. Только окна были другие, и все было по-другому.

Шарик, подвешенный к потолку, медленно вертелся, и, когда отражение света попадало в глаза, он вспыхивал, как взрыв на солнце. Зал наполнялся людьми и шумом. Теперь официантки подолгу исчезали за цветной перегородкой и возвращались с тяжелыми подносами, позванивая дешевой стеклянкой посудой.

К столу подсади два парня. Они говорили о каком-то генераторе и ругали какого-то Матусева, были заняты своими делами. Однако их присутствие нарушило прежнюю атмосферу, казалось, что говорить уже не о чем, хотя еще ничего не было сказано.

– Вы разрешите пригласить вашу даму? – спросил один из парней.

– Что?

– Пригласить вашу даму на танец можно? – повторил парень. У него был мягкий прибалтийский акцент.

– А-а... Пожалуйста...

Нуриля посмотрела на меня с мольбой. Видимо, ей было не до танцев.

– Иди, иди, потанцуй, – мне захотелось побыть одному.

Белое платье облегалo ее стройную фигуру, движения были мягки, уверенны, женственны. В ней была та спокойная грация, которая появляется у женщин после тридцати. Она грустно улыбалась. Видимо, молодой латыш говорил ей что-то смешное.

– У нас с Юрисом праздник, – сказал парень, который остался сидеть. – Получили патент на изобретение.

– Поздравляю.

– Вы очень хорошо танцуете. – Молодой латыш привел ее к столу, слегка поклонился и сел на место.

Подошла официантка, и ребята принялись заказывать себе ужин.

– Я вижу, ты пользуешься успехом, – сказал я без тени иронии.

– А почему бы нет? – спросила она с наигранной самоуверенностью.

– Я очень и очень извиняюсь, – раздался женский голос над самым моим ухом.

Передо мной стояла пожилая интеллигентная женщина.

– Моя дочь и будущий зять узнали вас и приглашают вас и вашу супругу к нашему столу, – сказала она. – Очень все просят.

Я оглянулся на свадебный стол. Все смотрели в нашу сторону и ждали.

– Но... видите ли... мы... – растерянно начал я.

– Я очень прошу. Молодые будут рады услышать ваши добрые напутствия, – взмолилась женщина.

Я хотел отказаться, но все участники свадьбы поднялись с мест, и начали хлопать в такт, словно вызывали на «бис».

Нам пришлось подняться и идти к свадебному столу.

– Ура-а! – закричали гости.

– Дорогие друзья! – сказал я и сам испугался своего голоса. Оказалось, что микрофон был подключен ко всем динамикам зала. Я невольно засмеялся и продолжал чуть потише:

– Дорогие друзья. Я и моя жена польщены тем, что вы пригласили нас к своему свадебному столу. Дело в том, что лет десять назад мы сидели здесь на вашем месте...

– О-о! Поздравляем! – закричали гости и начали аплодировать.

– Спасибо! – Я поклонился. – Думаю, что день свадьбы всегда останется в памяти, как самый светлый и радостный день в жизни каждого человека. А все дальнейшее будет испытанием вашей любви, верности и чести. Вы прекрасно знаете, что жизнь человека состоит не из одних праздников. Впереди сложные перевалы и крутые ущелья, и, наверное, надо иметь большое мужество и мудрость, чтобы преодолеть все препятствия и в то же время сохранить то нежное, трепетное и светлое, которое волнует и живет сейчас в ваших сердцах. Сегодня – первый день вашей совместной жизни, мы пожелаем вам, чтобы сегодняшней день неугасимым факелом озарял ваш длинный и широкий путь! – Я поднял бокал и осушил его до дна. Заиграла музыка, все пошло танцевать. Нам пришлось вместе со всеми идти к эстраде.

– Говорить ты умеешь, – сказала Нуриля.

– Профессия! – ответил я.

Мы танцевали медленный танец.

* * *

...Дом с большими окнами. Малыш спит в своей кроватке.

Мурат смотрит на него через плечо Нурили, целует волосы на ее затылке:

– Я люблю тебя... Тебя и его. Я не могу без вас жить, – шепчет он.

За синими горами поднимается солнце. В его руках содрогаются ее худенькие плечи...

* * *

– Конец, – сказала Нуриля.

– Что?!

– Танец, говорю, кончился, – уточнила она.

– Ах, да! Извини. – Я потёр лоб. Она посмотрела на меня молча. Мне показалось, что она сейчас видела то же, что и я.

Мы пошли к столику. Она забрала свою сумочку. Парни протщально кивнули.

Моросил холодный осенний дождь. Тускло мерцали неоновые фонари. Машины мягко шуршали по мокрому асфальту.

– Наверное, хорошо тем, кто здесь каждый вечер, – мечтательно проговорила она.

– Видимо...

– Я тоже скоро начну ходить сюда. Заведу двух любовников...

– Почему так много?

– Старого для быта, молодого для любви, – плоско пошутила она.

Мимо промчалась легковая машина, чуть не обдав нас дорожной грязью.

– Познакомь меня с ней, – неожиданно попросила она.

– Зачем?

– Скажу, чтобы она берегла тебя, – сказала она.

Раскачивая мачты, прошел троллейбус. Я молчал...

– Сегодня пятнадцать лет со дня нашей женитьбы, – сказала она.

Подошли к остановке. Она посмотрела на часы.

– Сегодня я забрала его домой. Дед не сможет один уложить его в постель, – сказала она.

К остановке медленно подкатил автобус. Она сняла с моего плеча желтый лист, упавший с тополя.

– Поцелуй меня, – вдруг попросила она.

Я растерялся и не успел отреагировать.

– Ладно. Прощай. – Она прыгнула в открытую дверь автобуса.

За ней устремилось несколько человек. Виднелся только кончик ее светлой косынки. Я пошел за автобусом, словно хотел догнать ее. Двери захлопнулись.

Навстречу движутся раскрытые зонты, они тускло поблескивают натянутыми куполами, похожие на черные парашюты, летящие в бездну.

Прохожий толкнул меня плечом, другой задел зонтиком. Только теперь я заметил, что иду против людского потока. Перешел на другую сторону тротуара. Дождь усилился и начал хлестать по лицу. Вдоль аллеи качаются хмельные тени оголенных деревьев. В сердцевине каждого ствола есть мягкое теплое вещество, которое про-

снется весной – в нем дремлет жизнь. Я завидую деревьям – у них весна бывает каждый год...

* * *

Пока работал над передачей, жил у Такена. И вот наконец работа закончена, смонтирована. Сидим в малом просмотровом зале, смотрим вместе с Принцессой. С нами мой ассистент и Гуля – она записывает пожелания и замечания начальства. Главред на несколько дней уехал в Москву, поэтому смотрим передачу без него. До начала просмотра Принцесса старается обращаться со мной так, словно ничего не случилось, но я читаю каждый ее жест, каждое ее слово. Почему я не замечал раньше, что все, что она делает и говорит, рассчитано на «публику». Вроде бы и глаз у меня профессиональный, и систему Станиславского изучал, знаю, что такое «задача» и «сверхзадача» действия и слова. А тут словно на глазах моих были какие-то шоры. Не такая уж она умница, не такая уж она и красавица. Просто женщина хорошего сложения, приятной наружности, умеющая, как говорят, преподнести себя.

– Как самочувствие? – спросила она, улучив момент, когда Гуля не слушала нас.

– Прекрасно, – ответил я, хотя чувствовал себя очень плохо. В последние дни почти не спал, а левый глаз налился кровью.

– Рахима Караевна, можно пускать? – спросили по селектору.

– Пожалуйста, – разрешила она.

– Вы смотрите сами. У меня рябит в глазах. Я покурю в коридоре, – сказал я. – Гуленька, запишешь все, что скажет начальство, – сказал я и пошел к выходу.

Я боялся, что передача вдруг не понравится, Принцесса начнет с умным видом поучать меня, и я выскажу при свидетелях все, что о ней думаю, и хлопну дверью. Принцесса, видимо, поняла мое состояние и ничего не ответила. Ассистент с Гулей молча проводили меня взглядом. На маленьком голубом экране замелькали первые кадры передачи...

Через сорок минут вышла Гуля и пригласила меня в зал.

– Ну что... Вроде бы не дурно, а, девочки? – сказала Принцесса, едва я вошел в зал. Девушки ничего не ответили.

– В общем так... Я лично принимаю передачу, ставлю в план. В понедельник возвращается главред, покажем ему два фрагмента.

Если не будет возражений, значит, все в порядке, – сказала Принцесса. – Девочки, вы можете идти.

Девушки вышли из зала.

– Там у тебя есть несколько слишком громких фраз, когда поет Булатов, убери их. Я не стала говорить об этом при девушках, – сказала она очень дружески.

– Хорошо, – согласился я.

– Где ты сейчас живешь?

– Дома, – соврал я.

– Я звонила Нуриле. Тебя там нет, – сказала она укоризненно.

– Значит, живу у другой...

– Не говори глупостей! Что у тебя с глазом? – спросила она.

– Кровоизлияние... У меня бюллетень... Врачи предлагают отдохнуть, – равнодушно сказал я.

– Ну что ж... Отдыхай. Видимо, у тебя переутомление. О передаче не беспокойся... Я сделаю все, что в моих силах... Только не очень горячись и не обижайся на главреда. В общем он мужик неплохой... немного суховатый, но что поделаешь, – сказала она доверительно.

– До свиданья, – я вышел из зала.

* * *

Автобус остановился в том месте, где проселочная дорога впадает в шоссе. На указателе надпись: «Долина Зеленых камней». Тополя, что растут вдоль дороги, стоят голые, словно специально разделись, чтобы принять осенний душ. Здесь Мурат видел отца в последний раз. Это было двадцать семь лет назад. Тополя эти были ниже ростом, на них поблескивали алюминиевые листья.

...Мать с отцом и сестренкой провожали его в Москву, ждали автобус. Отец отвел Мурата и заговорил тихо и смущенно, глядя в сторону:

– Я хотел, чтобы ты всегда был рядом. Ты ведь единственный, кто продолжит мой род. Если бы не война, может, у тебя были бы братья и сестры, пока я воевал и лечился от пуль, мать твоя состарилась. Между тобой и сестренкой – разница в десять лет. Сколько пройдет времени, пока эта пигалица вырастет и принесет мне внуков? И здоровье у нее слабое. Мать была истощена голодом, а я изувечен войной. Успею ли я дожить до тех счастливых дней? – Отец опустил голову.

Мурат никогда не видел отца таким тихим и смущенным.

– О чем вы, ата? Вы же настоящий джигит, панфиловец! – бодро сказал Мурат, обняв его за плечи. Отец не поднял головы и продолжал:

– Рана моя ноет. Вчера сплюнул кровь. Мать не знает. – Он поднял глаза. Лицо у него было спокойное и мудрое. Мурат почувствовал, что отец плачет, но не один мускул не дрогнул на его скуластом лице – старый кыргыз плакал молча, без слез.

Мурат обнял его за плечи. В один миг произошла какая-то странная, необъяснимая метаморфоза, юный Мурат превратился в большого сильного человека, а тот, кто доселе был для него олицетворением мужества и стойкости, вдруг стал старым и больным, которому нужны его забота и помощь.

– Байке, автобус! – крикнула сестренка.

Со стороны реки, сверкая стеклянными глазищами, поднялся огромный красный автобус.

– Ну, вот и все, – сказал отец. – Ты веришь, мать, что сын наш выучится на инженера, и будет строить здесь белые дома с большой крышей? – спросил он громко.

Мать улыбнулась своей тихой улыбкой и кивнула. Она привыкла на все его вопросы отвечать согласием.

– На родной земле должен стоять родной дом, – сказал отец.

– Вы же построили дом, его хватит надолго, – вставил Мурат.

– А детям твоим, а внукам? Наш род вечен, а дома не вечны, – сказал отец.

– Отец, я обязательно построю большой дом! – поклялся Мурат. Автобус остановился.

Мать прижалась к сыну и быстро-быстро поцеловала его в голову.

– Да будет гладким твой путь, да будет спутником твоим святой Кыдыр!¹ Только приезжай почаще! А то ведь, как уедете в большой город, так и пропадете, пока не заболеешь или не умрешь, – сказала мать.

– Ну что вы, апа!

– Отец плох совсем. Скрывает, а я все знаю, – сказала она тихо.

Мурат приподнял сестренку, как пушинку, поцеловал и прыгнул в автобус. Дверь захлопнулась. Машина тронулась с места. Они

¹ *Святой Кыдыр* – покровитель путников.

остались стоять – чуть сгорбившийся, широкоплечий отец, тихая, худенькая и, несмотря на свои пятьдесят лет, совсем седая, мать. Она держала за руку маленькую нескладную девочку в красном ситцевом платье. Как-то очень больно защемило сердце. К тому же Мурат скрыл от них, что едет поступать не в строительный, а в театральный институт...

Может, остановить автобус и прыгнуть, пока еще не поздно? Мурат подошел к кабине водителя и уже хотел остановить машину. Но там, в большом городе, его ждала слава. Он увидел себя едущим в белой машине, в черных очках, с красивыми блондинками. Его снимали в кино, ему аплодировали, он кланялся в костюме тореадора Эскамильо, Дон-Жуана и горбатого Риголетто, над кроватями девушек висели его цветные фотографии. Он улыбался, обнажив свои белые зубы.

Автобус мчался по синему шоссе, а далеко на обочине дороги еще долго маячили три фигурки: две большие и одна маленькая, похожая на тоненький стебелек, выросший среди двух старых шершавых тополей.

«Я добьюсь славы! Чудной у меня отец. Зачем строить дома! Я перевезу родителей во Фрунзе. Куплю им большой белый дом с высокой крышей. И сестренку поставлю на ноги сам... У меня будет все!»

Рядом с автобусом мчался встревоженный табун...

Я шагаю по мокрой траве, вдоль проселочной дороги. Я не тороплюсь, хотя мчался сюда, очертя голову. Разве что сердце колотится быстрее обычного. То ли от волнения, что наконец увидел родные края, то ли оттого, что на полкилометра поднялся выше моря...

В стороне от дороги тархтит трактор. Кто-то пашет под зябь. Острые лемеха, как зеркала, отражают лучи восходящего солнца. На вспаханной коричневой земле галдят черные птицы. Заметив меня, тракторист остановил машину и, не заглушив мотор, бросился к дороге.

– Ассалам-aleyкум! – заорал он.

– А-а, Бейшенбай. Это ты! Привет!

– Конечно, я! – кричал он, улыбаясь во всю ширь своего скуластого лица.

– Как же ты узнал меня?

– Как не узнать! Только вчера видел твое лицо в телевизоре. Вот такое!– Он сделал жест, словно показал величину тыквы.– Учти! Я первым тебя увидел, первым зову в гости, понял?

– Понял!

– Ну, до вечера! А то подружка моя разворчалась.– Он кивнул на трактор, который вдруг начал чихать и содрогаться.

Бейшенбай сжал мою руку своей огромной жесткой лапой и побежал к машине, дробя серыми кирзовыми сапогами пласты вспаханной земли.

Мужская часть аила еще спит. Поднялись и хлопочут только женщины. Они доят коров, топят очаги, кое-где разжигают тандыр – будут печь хлеб. А где-то уже испечена первая закладка – пахнет ароматом горячего хлеба, терпкой гарью сухого курая.

Над аилом стелется полоска синего дыма. Далеко слышны женские голоса, лай собак и призывный рев главного быка стада. Он стоит на чьем-то опустевшем огороде, среди поломанных желтых стеблей кукурузы и зовет своих подруг на свидание.

Наш дом стоит на краю села. Рядом с большими белыми домами под черепицей и шифером он похож па маленького немытого сироту, который в результате постоянных недоеданий остался хилым рахитиком. Град и дождь побили стены, обколупали известь и штукатурку. За тридцать с лишним лет глиняные кирпичи осели, рамы и двери покосились. А двадцать шесть лет назад, когда я первый раз приехал на каникулы, среди серых мазанок наш дом был самым белым и самым большим.

* * *

Окончив первый курс режиссерского факультета (на вокальное отделение он не прошел), Мурат приехал на каникулы и стоял посреди двора с модной московской прической, с новеньким чемоданом в руке. Отец вышел на крыльцо в выцветших солдатских галифе, в азиатских галошах на босу ногу, в широкой рубахе навывпуск. Во дворе собрались близкие родичи. На глиняном дувале, как воробы, расселись айльные пацаны, чуть дальше, на бугре, как мумии, застыли молодухи в цветных косынках, повязанных под подбородок, они опустили свои ведра на землю и молча наблюдали за тем, что происходит в этом дворе.

– Вы слышите, братья? Сын мой обманул вас! – гремел отец. – Я послал его в Москву, вы собрали деньги, чтобы он научился строить большие дома с высокой крышей и научил своих братьев, а он учится на маскарапоса!¹ Он будет мазать свое лицо красками на свином жиру и развлекать уставших от работы людей! Он будет позорить наш род!

– Отец, я не буду клоуном! Я буду режиссером оперы! – сказал Мурат.

– Вы слышали, братья? Он не будет теперь нормально говорить. Он будет петь и жить пустыми звуками! Ты – сын земли! Земля дает нам хлеб и мясо. Земля кормила всех твоих предков, а ты хочешь бросить ее! – у отца сильный зычный голос.

– А я не хочу возиться в земле! – заорал Мурат.

Отец замолк. Он был потрясен. Никто никогда не кричал на него. Он спустился с крыльца и некоторое время смотрел на сына так, словно тот только что разжевал и проглотил граненый стакан.

– Кто это сказал? – спросил он наконец и, ковляя, ступил в его сторону. Он думал, что сын отступит, но тот остался стоять на месте.

– Позовите муллу, сын, кажется, сдурел! Пусть прочтет над ним заклинание, – сказал отец.

– Мои предки ушли в эту землю и ничего не оставили, кроме своих сопливых детей! Но должен хоть один из нашего рода подняться над ней, чтобы о нем слышал весь мир! У меня талант! Люди услышат ваше имя по радио, увидят в кино, прочтут в газетах и книгах! И даже после смерти ваше имя останется жить в ваших внуках и правнуках! И сделаю это я – ваш сын!² – поклялся Мурат.

Родичи зашевелились, начали перешептываться между собой.

– Отдай мне один свой гнев, Сеит, – сказал наконец самый старей и самый мудрый аксакал айла Садыбакас. – Может, у мальчишки большой талант? Ты же помнишь, что дед его и прадед неплохо играли на комузе, да и сам ты в молодости сочинял хорошие песни, а твои фронтальные письма в стихах до сих пор поют наши внуки. Может, и к сыну твоему перелетела твоя муха.

– Аба, разве есть на свете кыргыз, который бы в молодости не сочинял свою песню?! Не стыдно ли здоровому джигиту за песен-

¹ *Маскарапос* – бродячий клоун, скоморох (*кырг.*).

² У киргизов нередко имя отца становится фамилией сына.

ки получать деньги? А чем он будет жить, когда состарится? – спросил отец.

– Государство выучит его, и он прославит наш род, – сказал Садыбакас.

У сестренки загорелись глаза. Родственники замолчали. Только слышно было, как мальчуган в огромном картузе шмыгает носом и вытирает его задубевшим рукавом. Отец тоже замолк. Он молча взошел на крыльцо. Остановился и обернулся. Хотел что-то сказать. Нет, он ничего не скажет. Он хочет, чтобы люди слышали его имя по радио и читали в газетах. Он хочет, чтобы его сын поднялся над землей, прославил его имя и его род.

– А кто здесь будет строить дома с большой крышей? – спросил отец.

– Будем живы, увидим и строителя, может, снохи наши уже родили его, и он находится сейчас среди них. – Старец показал палкой на сорванцов, сидящих на глиняном дувале.

* * *

Так было четверть века назад. Давно уж нет отца, ни старца Садыбакаса. Аильчане и без меня научились строить большие белые дома с высокой крышей...

Первой меня увидела сестра.

– Байке-ее! – закричала она истерично.

Я раскрыл объятия, думая, что она бросится ко мне, но она вбежала в дом, и, пока я открывал калитку, они вышли вдвоем с матерью.

– О-о, мой милый, о-о, единственный! О-о, мое счастье! О-о, мой жеребеночек! Да, закружусь я вокруг тебя, – запричитала старушка и бросилась ко мне, маленькая, легкая, как двенадцатилетняя девочка.

– Давай неси скорее! – приказала она.

Сестра вбежала в дом, вышла с большой пиалой, полной чистой воды. Старушка обвела пиалой вокруг моей головы, заставила плюнуть в воду.

– Пусть все болезни, все горькое и неприятное уйдет вместе с этой водой, останется за забором! – Она выплеснула воду за дувал и лишь тогда позволила мне переступить порог.

– Здоров ли ты, мой жеребеночек? Почему ты похудел, почему бледен?

– Здоров я, работы было много.

– Как сынишка твой? Как моя сноха? Все ли здоровы? Как твой тесть?

– Все здоровы.

– Почему ты не привез их? А этот маленький шайтанчик снится мне каждую ночь. Соскучилась по запаху его головы.

– Я приехал внезапно. В следующий раз привезу...

– Ладно. Ладно. Лишь бы были здоровы, а я уж буду ждать до конца дней своих. Видать, бог велел нам ждать!

И в ее словах слышится не совсем осознанный ею самой упрек не только мне, по и многим сыновьям.

– Ну, как? Как здоровье? – спрашиваю я у сестры.

– Хорошо! – отвечает она, обнажив свои неровные зубы.

Она искренне рада моему приезду.

Я гляжу на ее простое счастливое лицо, и сердце мое обливается кровью. Она выросла худой и слабенькой... Замуж так и не вышла...

Когда ей было двадцать, сватался вдовец с двумя детьми, но она за него не пошла. Видимо, надеялась, что ее ждет лучшая участь, а когда ей было тридцать, появился жених из соседнего аила, но мы узнали, что он горький пьяница, и я, как старший, не разрешил ей вступить с ним в брак. Видимо, судьба включила мою сестру в список тех женщин, которым не суждено познать радость материнства и семенной жизни.

– Апа, простите, что привез этот платочек. Так уж получилось. Вдруг решил приехать и приехал. Даже в магазин не успел зайти, а это купил на вокзале.– Я протянул ей маленький платочек, завернутый в целлофан.

– О-о, моя радость! Лишь бы сам приезжал да жил в благополучии, другого подарка мне не нужно.– Старушка гладит меня, как ребенка.

– Даже чаю индийского не успел захватить.

– О-о, мое счастье! Чай у нас есть. Все уже приготовлено. На прошлой неделе приехала автолавка, гляжу, выстроились все старушки в очереди. «Что, говорю, подружки, выстроились, как воробьи на проводе?» – «Белый материал продают», – сказали они. Ну и я встала с ними, а денег-то с собой нет. К счастью, продавец оказался знакомым, ну он мне и отмерил сколько полагается. А толстая Ырыс смеется: «Зачем, говорит, тебе десять метров? Тебя и в носо-

вой платок можно завернуть. У тебя знаменитый сын, по телевизору целые речи говорит, закажи ему белого шелка, а ты полотно дешевое покупаешь». Ох и горластая она баба, – смеется мать, словно речь идет не о саване, а о ситце для майского платья. Она развернула цветастый платок, любитесь им.

– Это отдашь своей киндик-эне¹, – говорит она сестре, открывая большой кованный сундук, и бережно кладет платок. Сундук доверху набит платьями и платками, тут же белый материал для савана.

– А почему вы не носите платья? Одели бы свои наряды да прошлись по аилу, пусть бы старухи умерли от зависти, а вы все в сундук складываете, – смеюсь я, глотая крепкий чай.

– Что ты, радость моя! Что люди скажут? Новое идет молодым. А мне хватит и старого, не так уж много осталось. Когда я уйду, раздадите старушкам, и они хорошенько поплачут по мне, да попричитают, и будут помнить меня, пока не износят мои одежды и в дни поминовения пустят из очагов своих запах масла и молитвой удовлетворят мой дух, – спокойно говорит она, и в голосе ее я слышу еле уловимый упрек за то, что я такой образованный и не знаю этой простой истины.

Господи! Неужели придет тот день, когда не станет этого милого, старенького существа и вместе с ней уйдет нечто очень главное и святое!

– Ассалам-алейкум, байбиче, не сын ли твой знаменитый пожаловал к нам?! – раздался зычный голос со двора.

На буланом жеребце восседал усатый дядька в черном вельветовом костюме и зеленой фетровой шляпе.

– Ну, чудеса! Только вчера видел тебя по телевизору, а сегодня ты уже здесь! – Он вошел в дом и протянул руку.

– А-а, Ашир-байке! Здравствуйте! – к стыду моему, еле вспомнил его имя.

– Сидели как-то у Иманкула. Пятьдесят ему стукнуло. А может и не стукнуло, вроде бы моложе нас. Вот и собрались все родичи. Прибежала моя младшая, кричит, наш байке по телевизору говорит. Мы тут же на достархан вместо бешбармака поставили телеви-

¹ *Киндик-эне* – букв: мать-повитуха. Пожилые кыргызы при жизни начинают готовить подарки, которые будут раздавать на похоронах.

зор и смотрели на тебя. Молодец! А сегодня у меня праздник. По молоку вышел на первое место. Вот, посмотри на своего дядю! – Он протянул районную многотиражку.

– Во, видал! Моя морда на полстраницы, да еще в прошлогодней зимней шапке! – засмеялся он. – Так что – вечером ко мне – и никаких разговоров.

В доме Ашира собралось много гостей. Во дворе в огромных казанах варилось мясо, шумели пузатые самовары. Меня ввели в отдельную комнату, где собиралась высшая элита колхоза: двое молодых людей, которых я не знал, и дядя Самат с перевязанным глазом – по прозвищу Пельдмаршал. Ашир тут же начал знакомить нас.

– Прежде чем приступить к делу, позволь мне познакомить тебя с нашим начальством. Дядю Пельдмаршала представлять нечего, его ты знаешь с детства. Сам манасчи Саякбай не смог бы описать все его подвиги, а писатели могли бы написать о нем толстую книгу, – засмеялся Ашир.

...Дядя Самат был первым председателем нашего колхоза, с войны вернулся без одного глаза, за что и прозвали его Пельдмаршалом, в честь Кутузова. Работал секретарем сельского Совета, а потом, сколько я помню его, был неизменным главбухом колхоза.

– Слева от него сидит твой младший брат Сакен Ишенов – ученый человек, выпускник Московской академии, председатель нашего колхоза. Справа от него твой второй младший брат – Жумаш Ибраев – наш боевой комиссар, бывший учитель истории, последние два года он ездит во Фрунзе и пишет что-то очень умное, что-то такое, что мой чабанский язык и не выговорит! Что ты пишешь? – скажи-ка своему байке.

– Диссертацию, – засмеялся Ибраев.

– Во! Во! Вот эту самую. Эти два молодых аксакала и вывели наш отсталый «Улгю»¹ в передовые, отстояли честь нашего рода. А сколько до этого было всяких шуток-прибауток. Даже секретарь райкома как-то сказал с трибуны, прошу, говорит, товарищи, не берите пример с колхоза «Пример». Только вот не дает мне спать одна забота, – Ашир демонстративно вздохнул, – Все думаю о том,

¹ Улгю – пример

чье же имя будет носить наш колхоз-миллионер, когда Сакен Ишенов и Жумаш Ибраев уйдут на пенсию?

– Все решено и записано, как в дебете, так и в кредите! – вставил Пельдмаршал. – Он будет называться колхозом имени Ибраева, Ишенова и Ашира!

– Спасибо, дядя Пельдмаршал! Вот теперь я буду спать спокойно! – расхохотался Ашир. – А нашего брата вы знаете все. Им гордится весь наш род, его знают и слушают не только в Кыргызстане, но и всюду, куда доходит телевизор, в Казахстане, Узбекистане. Спасибо тебе, друг, что ты не зазнался, не забываешь землю, на которую капала кровь с пуповин твоих предков. Весной приехали из Фрунзе снимать меня в кино. Я сразу понял, что ты их прислал, чтобы лицо мое осталось на века. Думаю, не дай бог подведу тебя, опозорюсь перед республикой, да еще перед казахами и перед узбеками, которые наш телевизор смотрят, вот и пришлось вкалывать.

– Придется купить киноаппарат и перед каждым сезоном снимать дядю Ашира! – засмеялся партторг.

– Теперь не надо. Знамя просто так не отдам! – поклялся Ашир.

Мы говорили о театре и кино, о последних актерских работах Суйменкула Чокморова, фильмах Толемуша Океева, выступлениях Болота Минжилкиева, о новом романе

Айтматова.

– Аксакал, – обратился Ибраев ко мне, подняв бокал. – Мы очень рады, что у этого айла есть такой признанный и прославленный сын.

Я подумал, что Жумаш иронизирует, и насторожился: пожалуй, впервые в жизни меня назвали аксакалом, а что касается моей «признан нести» и «прославленности» – видел бы он, как я бегал вокруг Принцессы, извивался перед главредом, умоляя не вышибать меня с работы. Но Ибраев говорил искренне и даже взволнованно, то и дело поправляя свой широкий галстук. Мне стало неловко: здесь все как один принимали меня не за того, кто я есть. Откуда им знать, что я приехал сюда, чтобы отвлечься от этого голубого экрана и не слышать эфирные звуки динамика, чтобы хоть на время не видеть длинных коридоров студии, чтобы не слышать двух наглых очкариков, сухаря главреда и, самое главное, чтобы не видеть великую актрису в жизни – Принцессу.

– Мы с Сакеном здесь работаем третий год, – продолжал Жумаш. – Что и говорить! Было трудно. И самое сложное то, что люди

перестали верить в свои силы, начали терять любовь к земле. Многие уехали в город, в райцентры. Есть техника, есть земля, а люди, как говорит Аркадий Райкин, – «дифцит». Простите, аксакал, я, кажется, отвлекся от основной темы. Привык отчитываться, засмеялся Жумаш.

– Ничего, братишка, отчет принят, – невольно сказал я, ибо действительно вдруг почувствовал себя мудрым и уважаемым старцем.

– Дай бог, чтобы каждый из нас – молодых, так же, как и вы, достиг своей цели, добился почета и уважения не только в общественной жизни, но и среди родных и близких, чтобы каждый айльчанин мог искренне гордиться своим братом... – Жумаш поставил на достархан пустой бокал.

– Вот это да! – воскликнул Пельдмаршал. – Не ты ли воюешь с пьющими тружениками села?!

– Война продолжается. Видите, какая это несладкая штука, – сказал Ибраев.

Все невольно засмеялись. Не успели мы отреагировать на шутку, как за дверью послышался шум.

– Бейшенбай, прошу тебя, иди домой. Туда нельзя, – упрашивал женский голос.

– Нельзя? А почему? Там мой друг и брат, семь лет сидели за одной партией, – шумел пьяный Бейшенбай. – Я первый увидел его и первый пригласил! Дети мои ждали! Жена моя ждала! А вы его забрали! Пусти! – гремел Бейшенбай.

– “Гам начальство. Неудобно, – умоляла хозяйка дома.

– Начальство? А кто они без меня? Скорлупа! Без желтка и без белка! Пусти, или я сломаю дверь! Ассалам-алейкум! – на пороге появилась гигантская фигура.

– Заходи, Бейшенбай! – подчеркнуто приветливо сказал хозяин дома.

– Проходите, садитесь на почетное место, – пригласил Ибраев и встал. За ним поднялся Ишенов, я тоже зашевелился и невольно подвинулся, уступая ему место. Лишь один Пельдмаршал не шелохнулся и устоял на вошедшего. Единственный глаз его выражал двойную ненависть и двойное презрение.

– Спасибо, сидите сами! А мы постоим. От нас пахнет соляжкой и мазутом. Мы грязные! Мы пыльные! Мы возимся в земле! – шумел Бейшенбай.

– Эй, может быть, ты потом поговоришь? – сдержанно заметил Ашир. – А сейчас тут и старшие и младшие...

– Потом? А где я найду его потом? Может с телевизором прикажете разговаривать? Бейшенбай плохой человек, нетактичный человек! Бейшенбай пьющий человек. Правильно! А кто пашет? Бейшенбай! А почему гостя моего забрали? Мне он друг детства и родственник по отцу! А вы кто такие? Культурные все стали. Галстуки навесили! Костюмчики носите заграничные! А почему гостя моего забрали, если культурные? Начальству все можно, а нам нельзя. Я не потерплю унижения!

– Слушай, большой болван! О чем ты? Откуда я знал, что и ты хотел позвать его к себе? Где ты был раньше? – спросил Ашир.

– А разве он не сказал? – удивился Бейшенбай.

Наступила неловкая тишина. Черт возьми, как я мог забыть о нашей утренней встрече. Видимо, здесь сработал психологический механизм торможения: его приглашение я принял за слова типа «Заходите. Приходите. Не забывайте» и т. п.

– Видишь ли... – начал я.

—Понятно! – перебил меня Бейшенбай. – Ашир, ты прости меня! И вы, молодые аксакалы, простите. – Он перекинул через шею свою камчу и отвесил поклон Ишенову и Ибраеву. – А ты выйди! – Он кивнул мне в сторону двери.

– Слушаюсь, – рассмеялся я.

Бейшенбай и в детстве отзывал своего обидчика в сторону и затевал драку. Правда, когда он отзывал меня, то, как правило, сам же оставался битым. Мы вышли во двор.

– Тебе, конечно, приятней сидеть с начальством, чем с моими невымытыми детьми и с моей сварливой женой. Но они очень ждали и готовились. А младшая моя растрезвонила по всему аилу, что красивый байке из телевизора будет у нас, – сказал он, выйдя в сад.

– Прости, Бейшенбай, я совсем забыл...

– Забыл?! Я же говорил тебе утром!

– Говорил, но я, видимо, как-то не придавал этому значения, – начал я.

– Ты? Не придавал значения моим словам?!

– Видишь ли... я был так рад, что встретил тебя, что слова твои как-то пролетели мимо ушей, – начал я.

– А вот теперь ты уже врешь! – отрезал Бейшенбай и, как бык, уставился на меня. Так он обычно начинал драку. Я весь собрался, готовый к любой неожиданности, хотя делал вид, что спокойно улыбаюсь. Я был не рад своему оправдательному аргументу – что-то выдавало мою неискренность.

– Может, ты решил, что я брехун? – хрипло спросил он. – Нет, дорогой! Бейшенбай по радио не говорит. Он весь день работает молча. Для него слова – не пустые звуки!

– Хорошо, Бейшенбай. Через час-два я приду к тебе, и мы с тобой поговорим обо всем, – начал успокаивать я.

– А, что с тобой говорить! – махнул рукой Бейшенбай. – Ты предатель! Плевать я хотел на твои слова по телевизору, если ты не ценишь свое слово!

– Слушай, Бейшенбай, замолчи! – раздраженно сказал я.

– Грош цена твоему дорогому костюму и вот этому ошейнику, – он схватился за мой галстук, – если не можешь построить отцу памятник. Могила его скоро сровняется с землей, и ты забудешь, где он лежит!

Это было уже слишком. Я разозлился и очень серьезно.

– Бейшенбай, если ты не замолчишь, я побью тебя! – сказал я.

– Ты? Меня? А ну, попробуй! Попробуй! – Бейшенбай поднял свою огромную лапу. – Я так изуродую твою гладенькую морду, что долго не будешь показывать ее по телевизору!

В какой-то момент я не сдержал себя, отвел его руку и нанос ему два методичных удара: один в живот, другой по лицу.

На шум выбежал Ашир и начал разнимать нас. По щеке Бейшенбая потекла кровь.

– Эй, эй, вы что?! Контуженые, что ли?! – закричал Ашир.

– Я убью его! – сказал я.

– Убьешь? За что? За то, что правду сказал?! Убивай! На! Бей! Научился в городе драться, да! Приемчики знаешь. Каратэ, да? Спасибо тебе! – плаксиво говорил Бейшенбай, огромной ладонью вытирая кровь.

Жена Ашира вытерла ему лицо и повела домой.

– Бейшеке, успокойся, дома почетные гости. Не позорь нас. Ты же умница. Ты же добряк. Ну, подумаешь, ударил тебя друг. Ну, прости ему. Он же знаменитый человек, – уговаривала его женщина.

– А за что он меня ударил? Двадцать лет росли вместе. За Алымкан бегали вместе. Хотел обрадовать ее, – плаксиво бормотал Бейшенбай и покорно шел домой.

Ашир повел меня в дом.

– Ты не сердись на пьяного. Работает – золотые руки, выпьет – дурак дураком, – говорил мне Ашир. – Так хорошо сидели, испортил все большой болван. Ничего, завтра вызовем в контору, акт составим, пусть побеждает...

– Не надо ничего, дядя Ашир. Он не виноват, – сказал я.

– Как не виноват? Вломился в чужой дом, нашумел, дебош устроил, драку, – возмутился Ашир.

– Это я все устроил. Он прав, – признался я. Я умылся, причесался, поправил свой дурацкий галстук и, стараясь быть спокойным, вышел к гостям. Мы молча доели мясо, допили чай, разошлись по домам.

Видимо, председатель колхоза и парторг слышали и поняли все, что произошло в саду. Мне было очень неловко перед молодыми людьми. «Вот вам и знаменитость! Вот вам и аксакал. Кретин старый! Псих!» – думал я о себе.

Я не спал всю ночь, вставал, пил холодную джарму¹, выходил во двор. Заснул под самое утро, и мне приснился отец. Он был в облике Бейшенбая, говорил словами умирающего профессора Минсеитова.

* * *

Мы сидим перед телевизором. Сейчас пойдет моя передача. Мать специально поставила самовар, заварила индийского чаю с какими-то пахучими лечебными травами, напекла боорсоков на топленом масле. Сестра сидит рядом и ждет моего появления. Пошли титры. На экране лицо человека, измученного тяжелым, непосильным трудом, словно этот человек не спал несколько ночей. Это моя физиономия. Под глазами круги. Сестра с радостной улыбкой оглянулась на меня, мать ласково погладила меня по плечу и с удовольствием отхлебнула чай. Пошел закадровый текст, который пишется к подобным передачам.

¹ *Джарма* – напиток вроде хлебного кваса (кырг.).

Мусабаев рассказал с экрана о том, какую работу ведет институт по подготовке специалистов по сельскому хозяйству, его рассказ шел в параллельном монтаже с кинокадрами из научно-педагогической жизни института.

На экране вновь мое лицо. Те же круги под глазами, хотя снимали эти кадры два дня спустя.

«Надо бы сходить к врачу, сделать кардиограмму», – подумал я.

– А теперь, дорогие телезрители, позвольте мне передать эстафету народному артисту Эрмеку Булатову, – сообщил я.

Появилась мощная фигура Булатова. Его скуластое широкое лицо, снятое крупным планом, заняло почти весь экран.

– Совсем недавно он вернулся из Парижа, где участвовал в конкурсе вокалистов, посвященном памяти композитора Шарля Гуно, и за исполнение партии Мефистофеля в опере «Фауст» получил «Гран-при». Я думаю, нашим телезрителям будет интересно из уст самого артиста узнать об этой поездке. Эрмек, расскажите, пожалуйста, о своей поездке и Париж! – попросил я. И вдруг в своих глазах я увидел что-то заискивающее и даже какой-то мелкий страх. Это, видимо, было связано с тем, что съемка передачи велась без предварительной трактовой репетиции и, когда я спрашивал, у меня, наверное, мелькнула мысль: «А не ляпнет ли мой приятель что-нибудь такое, за что мне влетит от главреда, или, на худой конец, не придется ли все переделывать заново?» Но Булатов – парень бывалый и артист настоящий. Он сделал вид, что несколько устал от своих успехов, и сказал, что в Париже он так же волновался, как в Америке, когда пел Бориса Годунова, как в Софии, где он пел Дон-Карлоса, и как в Москве, выступая в роли князя Игоря.

Ну, а теперь, дорогие телезрители, я думаю, мы попросим нашего любимого артиста спеть куплеты Мефистофеля, – сказал я, посмотрел на Булатова и улыбнулся какой-то идиотской улыбкой.

Булатов поднялся во весь свой великолепный рост и запел. Над всем миром заструился его красивый, мужественный голос. На экране пошли виды Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Вашингтона, Бонна, Токио и др. Советский артист пел о золоте, металле, за который гибнут люди, а на экране плыли столицы стран капитала.

Сатана там правит бал,
Там правит бал.

Сатана там правит бал,
Там пра-авит бал!

Булатов закончил петь, вернее, сделал вид, что закончил (чтобы не тратить средств на приглашение оркестра, мы использовали фонограмму). Наконец, я задал традиционный вопрос о его творческих планах.

– Мечтаю создать на сцене образ современника, который бы выражал основную суть людей моего поколения, – сказал Булатов очень достоверно и искренне, как будто слова написал не я. Перед записью передачи я еще раз просил его повторить то же самое, что он сказал мне дома.

– Не надо, старик, об этом при всех. Это мое личное, – сказал тогда Булатов.

– Эрмек, дорогой, ну повтори это ради меня. Я ведь вставил этот момент в сценарий, и главред читал, – взмолился я. – Понимаешь, старик, от этой передачи зависит моя судьба. Это поднимет идейный уровень передачи, и она обязательно попадет на красную доску. А я заткну кое-кому глотку!

– Не мучай меня, дружище! – сказал Булатов и положил свою тяжелую лапу на мое плечо.

– Ах, Эрмек, Эрмек! Знал бы ты в какой услуге мне отказал!

Брать интервью у профессора Бакаева было еще труднее. Он никак не хотел позировать в павильоне, а снимать его во время работы почти невозможно. Снимать сверху, через люк – видны одни макушки и развороченный живот пациента. Это, как у нас говорят, «не вкусно». Текст, написанный мною, профессор не принял.

– Я не умею так красиво говорить, – сказал он.

– Шембет Бакаевич, этот текст утверждён главредом, и к тому же у нас метраж, – взмолился я.

– Здесь я главред, – сказал профессор и перечеркнул клятву Гиппократу, которую я вставил почти полностью.

Оператор и администратор съёмки, стоявшие чуть поодаль, толкнули друг друга в бок и хихикнули. Тут я смекнул, что работать с ним надо иначе. Пусть он говорит все, что ему хочется, а я вставлю на немые кадры свои слова.

– Хорошо, Шембет Бакаевич, вы говорите, что хотите, а мы уж постараемся преподнести все на блюдечке! – сказал я и кивнул оператору.

Профессор невольно улыбнулся, оператор «хапнул» его в это время крупным планом.

– Я же не акын-импровизатор, чтобы сочинять на ходу. И не так-то просто думать и говорить, когда этот стеклянный глаз заглядывает тебе в душу и, кажется, видит твой желчный пузырь, – засмеялся он.

Оператор сделал панораму его круглого лица и перешел на меня.

– Вот вы – медик, Шембет Бакаевич, лечите людей, и в самом прямом смысле боретесь со смертью, многих спасаете от верной гибели. Считаете ли вы себя счастливым человеком? – спросил я с апломбом и опять встретился с самим собой: недоверность в глазах я, видимо, пытался компенсировать «достоверной» интонацией, а получалось наоборот. Как же не заметил этого главред?

– Я не могу сказать, счастливый ли я человек вообще, но счастливых минут у меня бывает много, – очень просто и искренне сказал профессор.

– Понятно! Видимо, для хирурга каждая удачная операция, это счастливая минута, – встрепнулся я.

– Нет, – ответил профессор.

Хорошо, что в этот момент камера была направлена на Бакаева, и я остался вне объектива, так как в тот миг, когда он сказал «нет», у меня чуть не оборвалась селезенка.

– Счастливая минута хирурга – это та минута, когда он встречает своих бывших пациентов на улице в полном здравии, – ответил профессор.

Тут камера «наехала» на мою физиономию. Она сияла, как старая, но хорошо начищенная алюминиевая кастрюля, а в глазах своих и вновь увидел то, чего не замечал раньше. Это был страх, неуверенность, сомнение: я работал и не был уверен, что делаю так, как нужно; я делал передачу и боялся, что после нее меня выставят за дверь.

Передача кончилась. На душе остался неприятный осадок. Передача как передача, все так делают, и я сделал много таких передач. Но что-то было не так, и это терзало мою душу и грызло мою совесть, как невидимый вирус.

Сестра обняла мою руку, положила голову на плечо. Я погладил ее волосы. Она была счастлива, что у нее есть брат, кото-

рого все знают, которого все любят, без которого немислимо существование киргизского телевидения. Завтра утром все будут говорить ей об этой передаче, поздравлять и завидовать, а я живой, как говорят, в наличии сию возле нее и глажу ее седеющие волосы.

Мать молча смотрела на нас и, поджав губы, улыбалась.

В узких глазах ее, спрятанных в глубоких морщинах, блестели слезы – она была счастлива.

Бедная моя старушка, знала бы она, что творится сейчас в моей душе. Может и хорошо, что отец не дожил до моих позорных дней. Как бы я посмотрел ему в глаза...

* * *

Мне снился жуткий сон. С голубого экрана смотрело на меня черное лицо.

– Кто ты? – вздрогнул я.

– Не знаю, – ответило черное лицо и улыбнулось. По спине моей пробежали мурашки – это было мое лицо.

– Сколько тебе осталось? – спросило мое черное лицо.

– Не знаю, – ответил я.

– Ты добился славы и признания? – спросило черное лицо.

– Нет. То был мираж, – ответил я.

Мое черное лицо наклонилось и показало на часы. Часы начали расти, заполнили весь экран, пошли прямо на меня, готовые раздавить, я закричал и проснулся. На экране тикали часы. Стрелки бежали по кругу циферблата. Московские дикторы вели передачу «Время».

Утром, чуть свет, мать с сестрой вышли доить корову и выгонять овец на выпас.

– Ну, что старая! Рада, что сынок приехал? – крикнула из соседнего двора дородная тетя Ырыс.

– Как не радоваться! Он ведь у меня единственный, как зеница ока! – ответила мать.

– Ой! Ой! А Зайнеп-то! Зайнеп! Уже зазналась. Того и гляди, замуж сбежит! – захохотала тетушка Ырыс.

– А что, и сбегу! – отозвалась сестра.

– Э-эх, матушка. Счастливая ты старуха! Сын у тебя знаменитый и богатый. Жаль, что отец ваш не дожил. А ведь все ждал, когда

его имя скажут по радио, да в газетах напишут, – сказала тетушка Ырыс.

– Э-эх, дорогая! Это моя горькая досада, – отозвалась мать.

«Идиотка толстая! Только тебя тут не хватало», – со злостью подумал я.

– Апа, я хочу навестить отца, – сказал я старушке, когда она вошла в дом.

– Ладно, роденький. Пойдем. Он, наверное, давно ждет, – сказала мать.

Мы пошли по айлу мимо большого дома с проваленной крышей. В саду, огороженном живой облепихой, зрели яблоки. Козы и свиньи поедали золотистые плоды.

– Умер Шамен. Умер и его дом. Дочери замужем, а сына у него не было, – сказала мать.

Мы прошли мимо дома с пустыми глазницами окон, без дверных косяков, без крыши.

– Это дом старухи Алиман. Дом продала на дрова, уехала в город к сыну, – сообщила она. – Надо бы начать новый дом. Род наш вечен, а дома не вечны... Сын твой подрастает...

Мы пошли к кладбищу, через редкие заросли облепихи.

– Апа, помните, сколько здесь было зайцев и фазанов? – спросил я.

– А-а, теперь тут ничего нет... даже облепиху и ту объедают, – ответила мать.

– Байке, почему мы пошли так? Через аил намного ближе? – спросила сестра.

– По роще своей соскучился.

Мы пошли через лесок дикого барбариса.

– Я стара, скоро сестра твоя останется совсем одна. Сын твой подрастает. Дом твоих предков должен жить, – сказала мать. – Отец ваш мечтал уйти раньше меня и ушел... А я молю создателя, чтобы унес меня раньше всех вас, – сказала мать.

Почему отец хотел умереть раньше матери? Видимо, боялся на старости лет остаться один. Старикам всегда труднее, чем старухам...

– Не пойму я городских. Пока молоды, надо рожать и рожать, а они словно боятся, что детей не прокормят, – сказала сестра.

Упрек горожанам адресован и мне.

– Все работают, а детей надо устраивать в ясли, искать нянюку, а ее не найдешь, а если и найдешь, то надо отдавать ей ползарплаты... – ответил я.

– Прислали бы сюда, сколько бы уже выросло внуков. И сестра бы не скучала... Сам ты один, и сын у тебя один, – сказала мать.

– Ладно, апа! Каждый год будем присылать по одному новорожденному!

– О, моя радость! А я буду молить бога, чтобы не забирал меня, пока они не подрастут, ладно?

– Ладно, апа.

Мы поднялись на косогор, подошли к серому холмику, заросшему степными травами и дымчатой полынью, рядом – глиняный мавзолей деда. Этот мавзолей строил отец...

* * *

Мурат стоял внизу и держал лестницу. Отец прибывал над входом в мавзолей огромные олени рога.

– А кому ты построил этот дом? – спросил маленький Мурат.

– Своему отцу. Ты помнишь деда? Теперь он лежит под этим холмиком, – ответил отец.

– А почему у домика нет крыши? – не унимался мальчуган.

– Крышей будет небо, – ответил отец, стуча топором.

– А мне тоже такой домик построишь?

– Нет... Тебе построю с крышей, а ты мне построишь без крыши, – пояснил отец.

Отец, как слепой, держит сына за плечи, а тот, как поводырь, ведет его через полынник. Горькая пыльца щекочет ноздри, желтым порошком оседает на ботинках.

– Если ты не построишь домик отцу и домик сыну, значит, ты не человек, – сказал отец.

* * *

Мы опустились на колени, мать шепотом начала читать молитву. Почему-то женщины наши молитву читают шепотом. Может, они не совсем уверены в том, что правильно произносят непонятные арабские слова¹, а может, им кажется, что тихая молитва сокращает расстояние между духами и живыми. Наконец

старушка подняла руки, держа ладони перед лицом, заговорила по-кыргызски:

– Прости нас грешных, отец моих детей, пусть дух твой бережет единственного сына твоего, его сына и его жену от болезней и несчастий, пусть воду, которую ты не успел допить, они допьют, пусть годы, которые ты не дожил, доживут они, пусть счастье, что не успел увидеть ты, увидят они...

Мы с сестрой тоже подняли руки. Я, держа ладони перед лицом, мысленно читал свою молитву:

– «Прости, отец, что двадцать лет живу от тебя вдалеке, за то, что приезжал к матери очень редко, за то, что вечно куда-то спешил и уезжал на рассвете, даже не поговорив с ней толком, прости, что внук, которого она любит, как жизнь, больше не будет приезжать к ней и забудет язык ее и все, чему она учила его, прости за то, что не послушал тебя, оставил землю, которая кормила нас и наших предков, за то, что не был у твоего изголовья и не слышал твоих последних слов, за то, что обманул тебя и всех родных, – не смог подняться над землей и прославить твое имя, прожил в суете сует и пришел к тебе с седыми висками, за то, что до сих пор не построил тебе домик без крыши! Я не добился славы. Видно я был рожден не для нее. А стрелка бежит по кругу циферблата. Ее не остановишь. И кто я, через сорок пять лет после своего рождения? Я бежал, я торопился... Я ничего не совершил. Старый чабан Исмаил оставит после себя сына, который продлит его дело. Старички, которых я снимал на бульваре Дзержинского, в своих произведениях оставили отражение своего сложного и бурного времени. Профессор института дает знания десяткам и сотням людей, которые будут выращивать хлеб, водить машины, добывать молоко и мясо. Эрмек Булатов оставит людям свой голос, он будет петь им о любви, о нежности, о прекрасных мгновениях человеческого бытия, Шембет Бакаев борется за жизнь людей, и может, одна из женщин, спасенных им, подарит человечеству героя или гения. А что останется от меня? Пустые звуки? Мимолетные видения в памяти тех, кто меня звал и видел? Стоит только провести магнитом по ржавчине видеопленки, и моя тень исчезнет, как случайный круг на водяной глади.

¹ Мусульмане читают молитву на арабском языке.

По щекам моим текли слезы. Мать с сестрой подошли ко мне и подняли за локти. Я не заметил, что она закончила молитву, сказала «омин» и провела ладонями по лицу.

– Встань, жеребенок мой, отец простит тебя, – сказала мать, словно слышала мою молитву. – Теперь пойдем к твоему деду.

Мы подошли к глиняному мавзолею. Глиняные стены обветрились, задняя стенка слегка наклонилась, готовая рухнуть. Видимо, осела почва.

– Надо бы поправить стенку, – сказал я.

– Поправлять кумбез нельзя, – сказала сестра.

– Почему?

– Ветер и дождь разрушат глину, а время разрушает скорбь памяти, – пояснила мать.

– Кто это сказал?

– Бог.

– А почему он так сказал?

– Ушедших надо забывать, иначе в голове не останется места для мыслей о жизни!

– Апа, весной я начну строить отцу кумбез, – сказал я.

– Теперь уж подожди... Скоро и я сюда приду. Построишь один на двоих с портретом на камне, – сказала старуха.

Мы опустились на колени перед мавзолеем деда.

И вдруг из глубины моей памяти возник эпизод из далекого детства...

...Крутая тропа. Мы, собрав незатейливые пожитки, перебираемся на новое кочевье. Мы с дедом едем па большой серой лошади. Я сижу сзади, крепко держусь за его серый чапан.

...Плачет козленок. Лошади осторожно ступают по крутой горной тропе. Они навьючены домашним скарбом, тюками войлока, гнутыми шестью юрты, разноцветными циновками из чия. Козленок плачет где-то рядом. На лужайке у большого родника – круги пожухлой травы, в центре каждого круга – остатки костра. Здесь стояли юрты. Чабаны откочевали на новое пастбище. Вон он бежит! Черненький, с белым пятнышком на лбу. Он бежит точь-в-точь, как мой сын, когда приходишь за ним в детский сад.

– Смотри, дедушка, чужой козленок! – кричу я и сползаю с коня.

– Видимо, забыл кто-то.– Дед не умеет удивляться. Козленок бежит к стаду, бросается то к одной, то к другой козе, но те, обнюхав его, наклоняют свои рогатые головы – не принимают чужака. Он плачет и прыгает с камня па камень.

– Оставь его, – спокойно говорит дед, приостановив коня.

– Я хочу поймать его!

– Не поймаешь! Свалишься в пропасть – что я скажу отцу твоему, когда он придет с войны? – говорит дед.

Он протягивает руку и ждет, чтобы усадить меня сзади себя. У него неподвижное лицо, жидкая белая борода и зеленые глаза. Его выцветший чапан свинцового цвета пахнет полынью и солнцем. На ще, в глубоких тонких морщинах блестит пот.

Козленок плетется за караваном и плачет. Остановился.

– Чучо! Чучоо-о! – зовет дед.

Козленок стоит как вкопанный.

От быстрого хода коня колет в боку. Козленок стоит высоко над тропой. На солнце поблескивают его короткие рожки. Он плачет.

– Дедушка, он пропадет! – по моим щекам катятся слезы.

– Сам виноват. – Дед не хочет жалеть козленка за то, что он не пошел за караваном. – А ты будь джигитом, вытри слезы!

– А почему он плачет? – всхлипываю я.

– Потому что остался один, – отвечает дед.

С гор спускается вечерний туман, козленка уже не видно и не слышно. Щемит сердце. Внизу, в ущелье, шумит и пенится белый горный поток, наполняя весь мир гулом перекатывающихся валунов...

* * *

Мать целует меня точно так же, как много лет назад, когда она, положив в тряпичный портфель обломок лепешки, отправляла в школу.

– Только приезжай почаще, ладно?

– Ладно, апа.

– Только приезжайте все вместе, ладно?

– Ладно, апа.

- И я буду ждать вас каждый день, ладно?
- Ладно, апа.
- И я постараюсь не болеть, пока вы не приедете, ладно?
- Ладно, апа.

Сестра стоит чуть в сторонке и не смеет подойти ко мне, словно чужая. Я подозвал ее и поцеловал в лоб – так у нас целуют сестер. Она заплакала и ушла в дом.

Раннее утро. Солнце уже поднялось над аилом. Улицы еще пусты. Лишь кое-где перед деревянными воротами – из двух перекладин – сидят старики, греют свои стынущие суставы в ранних лучах солнца. Я шагаю вдоль аила, громко приветствуя стариков.

У ворот большого добротного дома стоит женщина с ребенком. Она смотрит на меня, улыбается загадочно, как мадонна. Ее смуглое удлиненное лицо очень знакомо, но я забыл, кто она и как ее зовут!

– Здравствуй, уул! – говорит она, и в голосе слышится едва уловимый упрек, видимо, почувствовала, что я не узнал ее.

– Здравствуйте, как живете?

Если она не произнесла моего имени и сказала «уул», что означает «взрослый сын», значит, она жена кого-то из моих старших братьев по отцовской линии.

– Кто у тебя, воин или красавица? – спрашиваю я, хотя вижу, что на руках у нее мальчик.

– Разве не видишь, байке! – говорит она за ребенка, как чревоушатель, и поднимает голопузого мальчугана во весь рост.

– О-о, так он у тебя действительно богатырь! Сколько у тебя таких?

– На наш век хватит, – смеется женщина. – Это уже внуки пошли!

– Ты – бабушка?

– Давно, – улыбается она, обнажив белоснежные ровные зубы, ее тонкие чувственные ноздри озорно подрагивают.

И вдруг я увидел ее стройной, длинноногой, смуглой, как индианка, девчонкой. Она сидела за соседней партой, была на полголовы выше всех своих сверстниц, озорная и смелая, она с любым могла подраться на равных и никогда не плакала. Мы – мальчишки – часто подкрадывались, когда она купалась с подружками в реке, похищали их сатиновые платяица и со всех ног мчались по открытой степи, а они, прижав свои худые руки к плоским девичьим грудям, с

визгом преследовали нас и были похожи на бегущих кенгуру. Как-то мы с Бейшенбаем заметили, что она купается одна, мы подкрались, схватили ее цветастое платье и бросились наутек. Но она почему-то не побежала за нами. Убедившись, что она не появится, мы вернулись к реке, но ее там не оказалось. Мы бросили платье на прежнее место и спрятались за кустами. Прождав два часа, мы забеспокоились, начали искать и звать ее. Но ее не было. Спускались сумерки. Мы испугались, прочесали кустарник. И вдруг где-то совсем рядом услышали всхлип. Она сидела в воде и плакала. Я протянул платье.

– Брось на землю и отвернись! – приказала она.

Я бросил платье на землю и отвернулся, а когда повернулся к ней, передо мной стояла совсем другая, очень не похожая на ту, которую я знал до сих пор. Глаза были тихие и спокойные и светились как-то по-особому. Она заметила мой взгляд и закрыла грудь руками, словно я мог видеть через ситец. Видимо, в этот миг и кончилось наше детство...

– Что-то ты рано седеешь, уул! – засмеялась она.

– Живу, вот и седею, – ответил я. – А как ты живешь?

– Хорошо, муж не пьет. Дети здоровы, – ответила она.

– Я рад за тебя!

Я взял гольша на руки, высоко поднял над головой, чмокнул в прохладный живот. Мальчуган засмеялся, сжав кулачки, замахал пухлыми ручонками...

Я иду по ровной осенней степи. Под ногами трещит пожухлая трава. Я шагаю быстро, боясь оглянуться. Мне кажется, что за мной, как кенгуру, бегут девчонки...

Некогда нескладная, длинноногая девчонка нарожала себе детей, стала бабушкой и счастлива тем, что все живы, здоровы и муж не пьет. И большего ей не надо... И может, это самое главное.

* * *

Я шагаю по опустевшему полю к большому шоссе. В стороне от дороги тархтит трактор. Бейшенбай пашет под зябь. Острые лемеха, как зеркала, отражают лучи восходящего солнца. На вспаханной коричневой земле галдят черные птицы.

Бейшенбай заметил меня, но продолжал работать, словно увидел случайного прохожего.

Я прошел через поле и встал на пути трактора. Бейшенбай приблизился. Под глазом у него был синяк.

– Эй! – махнул рукой Бейшенбай.

Я продолжал стоять, трактор приближался.

– Уйди! – крикнул Бейшенбай.

Я не шелохнулся.

Я ждал, когда он остановит трактор. Я хотел подойти к нему, вытянуть его из кабины за руку, обнять своего старого друга и поцеловать. Так мы мирились в детстве. Бейшенбай и тогда был намного больше меня и сильнее, но был очень добрым и sentimentalным мальчишкой, в силу чего в любой драке ему попадало больше всех.

Бейшенбай подъехал вплотную, прыгнул с трактора и вдруг изо всех сил ударил меня. Я отлетел в сторону и упал на вспаханную землю. Он спокойно залез в кабину и проехал мимо. Я встал, отряхнулся, отыскал шляпу и надел ее. Бейшенбай осторожно оглянулся. Я стоял посреди поля, щупал ссадину на подбородке и улыбался. Бейшенбай посмотрел на меня, как на сумасшедшего, и поехал дальше. Трактор урчал, как железный носорог, стальные лемеха выворачивали пласты земли.

Я шел по вспаханному полю, щупал ссадину на подбородке, шурился от яркого солнца и улыбался. Я шагал к широкому шоссе, к тому самому мосту, откуда четверть века назад отец провожал меня в большой город, а вернее, в жизнь...

* * *

– Давай лапу! Передача получилась! – сказала Караева, словно наши отношения остались прежними. – Дела твои пошли хорошо! Только что была у шефа, выбила еще одну передачу. Гони шоколадку! – Она протянула руку, лукаво улыбаясь, видимо, ждала, что я тут же брошусь к ее ногам со слезами благодарности.

Я полез в портфель, достал коробку конфет.

– О-о! Мои любимые! – воскликнула Принцесса.

– А это твоему главреду. – Я положил на стол заявление.

«Прошу освободить меня от занимаемой должности», – прочла Принцесса. – Что случилось?

– Первый тайм мы уже отыграли, – ответил я.
– Да? И какой же счет? – с издевкой спросила она.
– Ноль-ноль, – серьезно признался я.
– А что ты намерен делать дальше? – с участием спросила она.
– Выйду за «инерцию круга», а там видно будет. Прощай. – Я быстро пошел к выходу.
– Пстой! – Принцесса поднялась с места. – Разве так уходят? Я пожал плечами и вышел за дверь.

Мне казалось, что сейчас она бросится следом и крикнет мне в спину: «Останься! Глупый!» И я... останусь. Но за мной никто не выбежал, и никто не приказал остаться. О Принцесса! Какая ты умница!

Я шел по коридору студии. Меня то и дело останавливали и поздравляли с удачей. На доске красовалась моя передача. Мне встречались люди при орденах и медалях, в парадных одеждах, в старинных костюмах, в париках, с приклеенными бородами, басмачи, пираты, мушкетеры, воины, звездочеты, герои сказок, современных пьес, спортивные комментаторы, дикторы, операторы, известные артисты, ударники труда и другие люди, готовящие текст своего выступления. Они здоровались со мной, я шел мимо них, лишь кивком отвечая на приветствия, я чувствовал себя гордым и независимым.

Я вышел па бульвар Молодой Гвардии, очень напоминающий бульвар Дзержинского. Опустился на скамейку, выкурил сигарету и, может быть, впервые в жизни ни о чем не сожалел.

О, Принцесса! Ты мудрая и прекрасная женщина! Спасибо гению, создавшему телевизор! Ты помог мне встретиться с глазу на глаз с самим собой! Спасибо вам, мои милые очкарики! Какие вы отличные ребята! Если бы не вы – я, может быть, – еще долго не знал, кто я. Прошло бы еще немного времени, и вся моя рабочая энергия перешла бы в нудное брюзжание, черную зависть, в злословье, ненависть к тем, кто умеет и может делать больше и лучше меня, а дальше – преждевременное кровяное давление в мозгу, ранний склероз, стено- и тахикардия и прочие болезни атомного века. Я оглянулся и увидел, что бегу последним. Я шел по аллее, засыпанной желтыми листьями. Я шел и видел себя со стороны (профессиональная привычка). Я был горд и красив. Впервые в жизни я был доволен самим собой, своим поступком и сво-

им мужеством. Я победил самого страшного врага своего – того, кто явился ко мне в тихом отцовском доме на экране с черным лицом и торопил, указывая на стремительный бег секундомера – самого себя.

Я вновь обрел ту женщину, которую любил всю жизнь; но случилось так, что в суете сует, в хлопотных битвах за самоутверждение начали тупеть мои чувства, я начал забывать о том, как трудно мы обретали свое счастье. Она же знала, что я не рожден для подлинной славы, чувствовала, что я рядовой человек с обыкновенными данными, но не смела сказать об этом и глубоко переживала мою трагедию. А я не мог понять этого, обижался, злился. Я упустил из виду, что она – женщина и видит весь мир глазами женщины, смысл счастья для нее состоит в том, чтобы в доме был покой и согласие, и чтобы все были живы и здоровы, и чтобы муж не пил. Ведь никому не взбредет в голову звать любимую женщину на поле боя и выражать обиду, если она откажется идти. От прошлого не уйти так же, как в знойный полдень, в лунную ночь в осенней степи не спрятаться от собственной тени.

Но в чем та абсолютная истина, которая успокоит твой мятущийся дух? Может, в этом солнечном утре? В выстроенном доме? В теплоте любящей женщины? В улыбке маленького сына, который когда-то станет зрелым мужем, построит тебе глиняный домик, и вместо крыши над тобой будет небо, то синее-синее, то черное-черное, в алмазных звездах? И пусть бежит себе стрелка, главное – не сдать своих человеческих позиций.

Я шел и чувствовал себя героем. Нет. Нет. Я не совершил ничего громкого. Да и характер у меня не такой уж добренький. Но у меня хватило мужества признаться самому себе, что я, подобно заблудшему козленку, отстал от своего каравана и скитаюсь по чужим кочевьям. Но я буду искать и найду свою собственную тропу, которая приведет к желанному берегу, и сыну моему не будет стыдно за своего отца...

* * *

Он стоит наверху, держась за решетку, и всхлипывает. Он в своей домашней одежде, на плече мешочек с нехитрыми вещичками, на боку пластмассовый пистолет.

Я побежал по лестнице наверх, задрал голову, минуя деревянные козлы, ведра с красками и известью.

Увиден меня, мальчик обиженно отвернулся.

– Ты что, совсем один? – почти в испуге спросил я, оглядев уютное помещение.

Мальчик надулся, готовый вот-вот разреветься.

– Ты уж прости меня, сын. Я же не знал, что у вас ремонт. Я был далеко, – начал извиняться я и целовать мальчугана.

Вышла пожилая нянька.

– Весь день тут простоял. Мать на дежурстве, звонила. Не спал, не ел. Папу, говорит, жду. Собрал свои вещички и стоит, прямо беда с ним, – сказала она.

– А знаешь, что у меня в портфеле? – интригуяюще сказал я.

– Что? – оживился мальчик.

– Вот! – Я вытащил из портфеля серую лошадку с пятнышком на лбу и поставил на пол. Мальчуган заулыбался.

Мы идем с ним по проспекту Мира. За нами маячат синие горы с зубчатыми белыми вершинами,

– А где ты был, папа?

– Ездил к папе и маме.

– Ты же говорил, что твой папа умер.

– Мы с тобой должны построить ему домик.

– Какой домик? Крупнопанельный?

– Нет. Совсем другой! Без крыши.

– Без крыши?

– Так положено. Если ты мужчина, ты должен построить сыну домик с крышей, а отцу домик без крыши.

– А потом?

– А... потом твой сын сделает то же самое...

Сын шагает молча. С белой котомкой за плечами, в кепке, с серой лошадкой в руке он похож на маленького мужичка, озабоченного своей судьбой. Видимо, я озадачил его чем-то не очень понятным.

– Хочешь на ипподром?

– Хочу. А наш серый будет бежать?

– Будет.

– А мороженое купишь?

– Угу.

Видимо, скачки закончились совсем недавно. На скамейках белеют газеты и бумаги, уносимые ветром, тут и там валяются пустые бутылки из-под пива и лимонада, окурки, обертки от конфет и мороженого. На верхних ярусах маячат фигуры уборщиков. Жюкеи прогуливают потных скакунов. Они водят их по кругу, держа за уздечки.

В центре круга – группа людей. Мы с сыном подошли к ним и замерли – Серый лежал на боку, на пожухлой траве. Двое держали его за шею. Конь таращил огромные черные глаза и стонал, как человек.

– Перелом позвоночника, – заключил ветеринар в синем халате, осмотрев коня.

– Надо же такое, у самого финиша, – сказал кто-то.

– Да-а, добрый был конь, – сказал другой.

– Отскакал свой круг, – сказал третий.

– Мучается. Приносите ружье, – сказал ветеринар.

Сын громко заплакал.

Люди, что возились с конем, оглянулись на нас. Я взял сына за руку и увел.

– Скакун гибнет в пути. У нас будет новый конь. У нас есть еще время, – с дрожью в голосе сказал я.

Я вел сына за руку и... плакал молча, без слез, как старый кыргыз.

Ветер уносил опавшие, желтые листья.

Медленно покачивался медный диск.

Стрелка секундомера бежала по кругу циферблата, отмеряя пройденный путь и прожитое время...

1978г.

ОДНАЖДЫ ОЧЕНЬ ДАВНО

Мой юный друг!

Я хочу рассказать тебе сказку, которую создал мой народ много веков назад. Послушай внимательно, ибо расскажу я ее не для того, чтобы занять твое свободное время и оторвать тебя от каких-то важных дел, хотя знаю по своему опыту, что в юности все дела без исключения кажутся самыми важными. Но пролетят годы, и ты сам поймешь, что же было самым важным, самым главным в прожитой тобою жизни. Через жестокое решето времени отсеется все мелкое, незначительное, легковесное, и перед взором твоим, как чистые, ясные зерна, предстанут те события, которые питали твой мозг и твое сердце. Это и будет испытанная, осознанная жизненным опытом мудрость, которую ты обрел, пока шел по земле. Так происходит с каждым человеком, с каждым народом, государством, человечеством.

Свои познания о бытии человек всегда стремился увековечить на граните, папирусе и пергаменте, в устных творениях, печатных книгах и передавал их от поколения к поколению.

Я расскажу тебе древнюю сказку, которая сегодня очень похожа на правду.

Итак, мой друг, слушай...

* * *

...В горах выла пурга. Красные скалы трещали от лютого мороза. С хребтов с гулом сползали тяжелые снежные лавины. Синий лед мертвой хваткой сковал горные потоки.

С высокой каменной кручи застывшим водопадом спускалась ледяная глыба. Внизу, в пологой котловине, напоминающей чашу, до самого дна замерзло голубое озеро. Лежали запорошенные снегом мертвые птицы. Тощие волки, рыча, терзали оледенелую падаль.

В долине маленькой речушки, берущей начало из теплого родника, защищенной с обеих сторон высокими хребтами, приютилось десятка два убогих юрт – кочевье охотничьего рода ак-илбирс.¹ Здесь было тихо. Только там, наверху, злая пурга срывала с далеких вершин охапки сыпучего снега и белая пыль туманила желтый диск

¹ *Ак-илбирс* – белый барс.

холодного солнца. Казалось, весь мир затонул в белой мгле. Из дымоходов юрт, почти до пояса засыпанных снегом, струился синий дымок – единственный признак жизни. Из крайней юрты едва донолся плач ребенка.

-Ку-у! Ку-у!

У входа в войлочный домик, свернувшись калачиком, дремал лохматый пес. Легкий холодный вихрь шевелил его злой седой загривок.

В ветхой юрте, покрытой сверху шкурами козерогов, горел костер. В большом черном казане кипела вода. У огня тянул трубку хозяин дома Касен – человек средних лет. Длинные волосы ниспадали ему на плечи. Рядом сидела девочка лет семи-восьми, облокотившись на колени отца. Узенькие черные глаза ее светились нездоровым голодным блеском.

Касен гладил голову девочки:

-Завтра откроется небо и пошлет нам пищу, потерпи...

-Ку-у! У-у! – стонал грудной ребенок.

Мать пыталась из смуглых мягких грудей выдавить струйку молока. С темного соска на губы младенца капнуло молоко, но малыш уже не реагировал: капелька потекла по его щеке. Женщина громко всхлипнула. Касен поднял на нее тяжелые глаза, взял руку ребенка, засунул ладонь под мышку – пульса не было... Он встал, набросил шубу и вышел. Холодный ветер начал трепать полог юрты, словно хотел затушить костер и лишит людей последнего источника жизни. Девочка на четвереньках доползла до выхода, отыскала сыромятный шнур и закрепила полог.

Проваливаясь в сугробы, Касен направился к красной скале, где зиял вход в каменный грот. Здесь жила старая Сайкал-эне¹ со своим великовозрастным сыном. Она лечила от всех болезней, отгоняла злых духов, в трудные дни холода, засухи и голода вымаливала у всевышнего спасение и благополучие. Сайкал-эне была самым старым человеком охотничьего рода, а может, была старше всех людей, живущих тогда на киргизской земле, – ей было более ста лет. Однако, несмотря на столь преклонный возраст, она обладала ясной речью и мудростью, считалась матерью и старейшиной рода «белых барсов». Ее каменное жилье было похоже на дом старой кол-

¹ Эне – мать.

дуњи. У входа, как верные стражники, стояли каменные идола. С потолка свисали палочки с древними письменами тайных знаков, засушенные змеи. На стенах торчали пучки разных трав и листьев, кудлатые гривы диких животных, чучело дикой козы. В центре грота сидела сама хозяйка. В огромном черном казане она кипятила целебные травы и коренья, что-то бубнила себе под нос. У ног старухи тихо скулил ее сын Саяк. Ему давно перевалило за пятьдесят, у него были длинные седые волосы, седая жидкая борода, вислые усы, но глаза были детские, доверчивые. Саяк был юродивый.

– Сейчас, потерпи, малыш! Суф! Суф! Святая трава! Отгони от сына моего голод! – сказала Сайкал-эне, достала деревянную чашку, налила травяного отвара, протянула сыну. Юродивый поднял голову, прислушался к хрусту снега, взял чашку.

– Ау! – тихо, как ласковый пес, пролаял он и похлопал рукой по земляному полу.

Мать поняла, что кто-то идет, приоткрыла платок, обнажив ухо с огромной серебряной серьгой, прислушалась. Сайкал-эне была слепая. Вошел Касен.

– Сайкал-эне, небо хочет забрать моего сына, – сказал он.

Саяк подбежал к Касену, лизнул в щеку, в глазах его появились слезы. Тот ласково погладил юродивого.

Сайкал-эне налила в чашу горячий настой травы.

– Дай жене и сыну, – сказала она.

Касен взял чашу и вышел.

Саяк спрятал лицо в коленях матери и заскулил.

Старуха подняла руки к чучелу дикой козы, взмолилась:

– О, Святая Кайберен! Ты всегда была добра к роду своему, давала нам мясо и жизнь. Попроси у неба немного солнца и тепла, не дай погибнуть моим и твоим детям!

Коза, чуть склонив голову, смотрела на старуху закостеневшими глазами, в них тускло мерцал отсвет костра.

Вдруг юродивый поднял голову, словно его осенила какая-то мысль. Он вышел за порог и, проваливаясь в сугробы, побежал к дальней юрте, где жил вождь охотничьего рода Кожажаш. Холодный ветер трепал жалкие лохмотья Саяка, взъерошенные седые волосы, но бедняга слабо ощущал жару и холод.

Дом Кожажаша мало чем отличался от других охотничьих юрт, разве что у входа была прибита голова дикого козла – знак того,

что здесь живет вождь племени. На стенах висели шкуры волков и лис, на полу были расстелены медвежьи шкуры, на особом месте – луки со стрелами и дротики. У костра сидел полуобнаженный Кожожаш – высокий, стройный, крепкого сложения. Длинные густые волосы его свисали до плеч; рядом его сын Калыгул – мальчик лет десяти, из-за пазухи его торчала голова щенка. Жена охотника – смуглая красавица Зулайка – деревянной поварешкой наливала в деревянные чашки жидкий бульон. Долго шаря в казане, она наконец достала маленький кусочек мяса, положила его на достархан из дубленой кожи, кивнула сыну, чтобы он пригласил деда, неподвижно лежавшего с закрытыми глазами и походившего на мертвеца. Отец Кожожаша Карыпбай, унаследовавший от отца своего Ак-Ильбирса отвагу, дерзкий характер и меткий глаз, управлял охотничьим родом почти полвека. Однажды, выйдя на большую охоту, он натянул тетиву лука и вдруг заметил, что правая его рука дрожит, а пущенная стрела, лишь слегка поранив бок косули, упала на землю. Карыпбай понял, что к нему подкралась старость, забрала силы. Вечером он собрал старейшин и сообщил, что больше не может управлять родом. У вождя должны быть сила и другие достоинства, которых нет у других. К счастью, сын его Кожожаш был самым сильным и выносливым, самым добрым и справедливым, самым мудрым джигитом рода «белых барсов». А как охотнику ему не было равных, может быть, и на всей киргизской земле. Дротик он метал дальше всех, в убегающую козу он успевал всадить две стрелы – одну в шею, другую в ляжку.

Старейшины избрали Кожожаша своим вождем. Старая Сайкал-эне попросила у неба благословения, и юному Кожожашу охотники доверили свою жизнь и судьбу. Почти все вопросы Кожожаш всегда решал единолично, а когда дело касалось жизни и смерти, он выносил это на суд старейшин во главе с Сайкал-эне.

– Ата! – позвал мальчик.

Старый Карыпбай открыл глаза, приподнялся на локте. Мальчик поднес деревянный тазик. Из медного длинногорлого чайника полил ему на руки теплой воды. Старик вымыл руки, кивком головы поблагодарил внука. Женщина положила перед ним мясо. Старец отрезал крохотный кусочек, остальное отдал мальчику, опять кивком приказал вернуть его Зулайке. Женщина вопросительно глянула на мужа.

– Старики легче переносят голод, – хриплым голосом сказал Карыпбай.

Кожожаш слегка кивнул жене. Она взяла мясо. Отрезала сыну маленький кусочек, остальное отложила в сторону, видимо, не решаясь есть при свекре.

В юрту вошел Саяк, молча сел на почетное место.

Зулайка взяла деревянную чашу, отлила от каждого понемногу и поставила перед юродивым. Саяк посмотрел на мальчика и старика, которые медленно, со вкусом жевали мясо. Кожожаш кивнул жене, чтобы она угостила Саяка. Зулайка отрезала половину своей доли мяса и положила в чашу юродивого.

Саяк радостно заскулил. Взял свою чашу и кинулся к выходу.

– Что ты задумал, малыш? – спросил Кожожаш. – Ешь!

Саяк покачал головой и жестом изобразил плачущего ребенка.

– О, божья душа! Ну, неси, неси! – разрешил Кожожаш.

Саяк, держа перед собой дымящийся бульон, оставляя на снегу неровные следы, побежал к юрте Касена. Почти у самого порога он поскользнулся и упал, чашка опрокинулась, и все ее содержимое ушло в снег. Саяк приподнялся, начал лихорадочно шарить в сугробе в надежде найти кусочек мяса, но, не найдя его, сел на корточки заплакал, как малое дитя.

Рыжий пес, лежавший у входа в юрту Касена, лениво поднял кудлатую голову в сторону реки и коротко пролаял, вернее, простонал:

– Оу-у!

Саяк поднял голову, и вдруг глаза его засветились радостью.

Там, на другой стороне речки, журчащей среди белых, укрытых снегом валунов, в белой мгле маячила одинокая фигура козы. От воды шел пар. Коза копытцем разбивала прибрежный ледок и щипала пожухлую траву, вмерзшую в грунт.

Саяк, прихрамывая и восторженно визжа, через сугробы поспешно направился к юрте Кожожаша.

Дикая коза с тревогой посмотрела на человека, но, увидев, что тот удаляется, успокоилась, опустила голову и принялась щипать мерзлую траву.

Кожожаш вышел из юрты, держа наготове лук со стрелой. Саяк осторожно, как кошка, перебежал от юрты к юрте, видимо, сообщал охотникам, что у стоянки появилась добыча.

Кожожаш, прячась за серые скалы и ледяные глыбы, начал пробираться к реке. Но как только он оторвался от последней юрты, коза заметила человека и устремилась вверх по склону. Охотник, по пояс утопая в снегу, начал преследовать ее. Касен и еще два охотника с луками и дротиками двинулись за ним.

Из юрт высыпали изнуренные голодом и белой стужей старики. Дети, женщины. Они смотрели вслед охотникам и молились:

– О небо, дай нам пищу! Не дай уйти добыче!

Саяк возбужденно топтался на месте и радостно скулил. Он знал, что стрела Кожожаша не пролетит мимо цели.

Коза, разрезая мокрой грудью рыхлый, сухой снег, увлекая за собой преследователей, все дальше и дальше уходила от стойбища. Касен и охотники, не в силах двигаться быстро, остались далеко позади. За козой поспевал один Кожожаш.

И животное, и человек были истощены зимним голодом, лютым морозом, но жажда жизни влекла обоих вперед.

Охотник несколько раз натягивал тетиву лука. Но сильный боковой ветер уносил стрелу. Она теряла убойную силу, падала в сторону. Временами человек в изнеможении падал лицом в снег, лизал ледяную корку. Животное, заметив, что человек останавливался, переводило дыхание, пристально следило за ним: он мог в любой момент выпустить опасную стрелу.

Кожожаш собрал последние силы, устремился вверх чуть быстрее козы. Расстояние между ними сократилось настолько, что можно было стрелять. До вершины оставалось совсем немного, добыча могла уйти. Охотник припал на колено, задубевшими пальцами натянул тетиву лука. Засвистела стрела. Коза ткнулась головой в снег. Кожожаш радостно засмеялся, поцеловал лук, отбросил его в сторону и упал на спину, чтобы перевести дыхание.

Снизу, восторженно крича, карабкались Касен и охотники. Целая свора собак, утопая в сугробе, с визгом и лаем устремилась вверх. На стойбище обнимались айльчане и молились всевышнему:

– О небо! Мы благодарны тебе! Ты спасло нас от голодной смерти!

Саяк гордо бил себя в грудь, тряс лохмотьями, плясал и визжал от радости.

Кожожаш, довольный своей удачей, раскинул руки и улыбался: он знал, что теперь пища будет, и люди продержатся до появления солнца. Ему представлялось, как они сидят вокруг костра, пьют го-

рячий бульон. Он даже почувствовал запах варенного мяса – тонкие, чувственные ноздри его чуть заметно задрожали. Но тут же до него донесся слабый стон, и он поднял голову.

Коза, оставляя за собой кровавый след, медленно шла вверх. Из левой лопатки ее, где торчало древко стрелы, сочилась струйка крови.

Собаки с визгом и лаем обогнали Кожожаша, начали преследовать козу, прижали ее к красной отвесной скале. Коза смотрела на них большими черными глазами, полными страха и обреченности.

Охотники, радостные и довольные, приближались к добыче. Все были уверены, что она не уйдет. Кожожаш вынул кинжал, на четвереньках пополз вверх. И вдруг глаза их встретились. Глаза человека и глаза животного. Коза смотрела на человека с мольбой. Животное тяжело дышало большим надутым животом. Из набухшего вымени ее бежала струйка молока. И человеку вдруг показалось, что это вовсе не животное перед ним, а беременная женщина с простреленной грудью. Только глаза ее были очень длинные и необычные. Кожожаш невольно зажмурился, упал лицом в снег. Когда он поднял голову, коза смотрела на него так, словно просила пощады и помощи. Из левой лопатки ее вытекала кровь. Кожожаш встал, добрался до козы, отогнал собак, вынул из лопатки животного стрелу, подставил ладонь под набухший сосок. Ладонь наполнилась теплым молоком. Он позвал за собой собак и пошел вниз.

Собрав последние силы, коза медленно начала уходить вверх по склону. От красной струйки на лопатке шел пар – кровь застывала на морозе.

Касен и охотники только теперь добрались до Кожожаша. Они готовы были растерзать его за то, что тот отпустил добычу. Кожожаш показал на молоко в ладони. Молодой охотник схватил лук, вставил стрелу. Касен отвел его руку.

– Люди умирают от голода, а мы жалеем скотину! – крикнул юноша.

– Она стельная, – спокойно ответил Касен.

Охотники спустились вниз, где ждали их старики, дети и женщины.

Коза шла по гребню скалы. На фоне белого неба четко вырисовывался ее черный силуэт.

Кожожаш вернулся домой, бросил у порога лук, стрелу, сел у огня, развязал вымокшие чарыки¹. Зулайка латала шубку из козьей шкуры. Калыгул помогал матери. Карыпбай лежал на почетном месте с закрытыми глазами.

– Почему ты отпустил козу, она поднялась на дыбы?² – спросил сын.

Кожожаш молча смотрел на огонь. Перед ним возникли молящие глаза раненой козы, и вновь она превратилась в беременную женщину с длинными необычными глазами.

– Это была Святая Кайберен, – ответил Кожожаш.

– А как ты узнал ее? – хрипло спросил отец, не открывая глаз.

– Она превратилась в женщину, – ответил Кожожаш.

– Это плохая примета, – прохрипел отец.

– Это я знаю, – отозвался Кожожаш.

Зулайка перестала шить и с тревогой посмотрела на мужа.

– А что будет? – спросил мальчик, заметив страх Зулайки.

– Не знаю, – ответила мать.

– Ата, что будет, если встретишь ее? – спросил мальчик у деда.

– Святая Кайберен – мать всех диких животных, она хозяйка всех наших гор, земли и воды. Она охраняет разумных и добрых. Тот, кто обидит или прольет ее кровь, будет проклят небом, исчезнет с лица земли со всем своим родом, – пояснил старец.

– Я искупил свою вину, отец. Я помог ей уйти живой, – сказал Кожожаш.

– Ты поступил правильно, мой сын. А ты, Зулайка, как только потеплеет, пойдешь в Святую пещеру, помолитесь небу. Пусть оно простит твоего мужа за кровь Святой Козы, – сказал Карыпбай.

Зулайка послушно кивнула.

– Ой, родной мой! Ой, единственный мой! – слышалось за юртой.

Это вопила Батма, прижав к груди мертвого ребенка, завернутого в пеленки.

– Бери! Забери и меня-я! Проклятая зима! – кричала она, разрывая на себе платье, обнажив вислые пустые груди.

¹ Чарыки – сыромятная обувь.

² Согласно поверью каждому охотнику положено отстрелять не более тысячи диких животных. Тысячная жертва, прежде чем упасть, поднимается на дыбы. После такого предупреждения человек должен прекратить всякую охоту на животных, иначе он погибнет сам.

Касен подошел к жене, чтобы успокоить ее. Батма схватила его за шубу.

– Будь проклят день, когда я пришла к тебе! Неужели я вышла замуж и пришла сюда, чтобы погибнуть от голода и стужи? Уйдем к моим родным, в долину, там есть мясо и хлеб. Там тепло! Ты слышишь? Уйдем, пока не подошли все!

Касен молча гладил ее распущенные волосы. Он был не в силах что-либо ответить и помочь материнскому горю... Студеный ветер уносил вопль женщины вдаль, с размаху швырял на ледяные скалы, искаженным страшным эхом возвращал назад, чтобы ни бог, ни солнце не слышали о земных страданиях живых. Из юрт высыпали изнуренные люди, молча смотрели на Батму. Никто не отвечал ей, не утешал.

– Пусть накричится – легче станет, – сказала Сайкал.

В каменном доме Сайкал-эне собрались старейшины рода. Старуха, как идол, восседала на почетном месте рядом с чучелом Серой Козы, невидящими глазами смотрела перед собой.

– Сайкал-эне, небо не шлет нам ничего, кроме снега и холода. Кони наши подошли от джута.¹ Надо спуститься в долину, просить у кочевников мясо, иначе погибнем, – говорил Кожожаш. – Атантай откочевал в верховья Ак-Сая. Пешком три дня пути. Если он даст лошадей – два дня пути назад. За пять дней умрут все наши дети. К Мундузбаю надо идти через ледяной перевал. Тот, кто пойдет, может погибнуть, и волки не оставят его следов.

Присутствующие опустили головы, молчали. Все ждали, что скажет старая Сайкал-эне.

– Надо идти к Мундузбаю, другого спасения нет. Пусть пойдут двое! Кто? – спросила старуха и протянула вперед сухую, как саксаул, руку.

Все подавленно молчали – никто не хотел рисковать жизнью. Кожожаш обвел взглядом сидящих охотников – ни звука, ни движения. Он поднялся, подошел к старухе, опустился на колени. Она провела ладонями по его лицу.

– Кожожаш? Кто рядом? – спросила она, проводя рукой в пустоте.

– Я пойду сам, – ответил Кожожаш.

¹ Джут – бескормица.

– Один погибнешь, – сказала старуха и слегка оттолкнула его от себя.

– Я, – сказал пожилой охотник Тугел.

– Ты стар, – сказала мать Сайкал.

– Я, – сказал худощавый охотник.

– Калыс? Подойди ко мне, – позвала старуха. – Дай мне твою левую руку.

Охотник Калыс подошел к ней, протянул левую руку.

Сайкал-эне взяла его за кисть. Нащупала пульс.

– Ты истощен голодом, – заключила она.

С места поднялся Касен, опустился рядом с Кожожашем. Старуха провела рукой по его лицу.

– Касен, берегите друг друга, – сказала она.

Старуха взяла деревянную чашу с жидкостью, щепотью отдала каплю небу, вторую земле, третью Серой Козе, остальное протянула охотникам. Кожожаш поцеловал руку старухи, сделал глоток из чаши, передал Касену, тот сделал глоток и возвратил старухе.

Сайкал-эне подняла руки к небу:

– Да будет гладким ваш путь, да будет вашим спутником дух предков. О небо, храни моих детей! О Святая Кайберен, хозяйка воды и гор, – обратилась она к чучелу козы, – укажи им верный путь в своих владеньях, не дай заблудиться в Великих горах. Не оставь нас без обоих крыльев.

Слова старухи повторили все. Саяк заскулил, ласково лизнул ее сухую шершавую руку.

* * *

Выла пурга, заматавая землю и небо снежной пылью. Кожожаш и Касен, держась за руки, почти на ощупь спускались вниз. Касен поскользнулся, провалился в сугроб, друг с трудом вытащил его. Путь был долгий и длинный, несколько раз они попадали под снежные лавины, грелись под скалами. Вставали, снова шли.

День близился к концу. Пурга усилилась. Крепче стал мороз. Охотники в изнеможении опустились на лед, чтобы перевести дыхание. Касен повернулся к Кожожашу и увидел, что тот засыпает. Он вскочил на ноги и изо всех сил начал трясти его.

– Не надо... не надо... дай поспать, – бормотал Кожожаш.

– Вставай! Ты замерзнешь! – кричал Касен, натирая ему снегом лицо, голову, грудь. Кожожаш постепенно пришел в себя и, как мед-

ведь, начал ползать на четвереньках. Он ползал до тех пор, пока от его головы не пошел пар.

Наконец они добрались до Синего перевала. Здесь высились причудливые ледяные скалы, зияли глубокие щели и обрывы. Охотники привязали к ногам железные когти, шаг за шагом начали преодолевать опасный путь. Малейшее неловкое движение могло окончиться гибелью обоих. Они были связаны крепким волосяным арканом. Надо было добраться почти до самого края ледяной площадки. По кромке соскользнуть вниз. Под ними зияла бездонная пропасть. Кожожаш, как огромный змей, полз по гладкому льду, следом двигался Касен, придерживал его – цеплялся за маленькие ледяные уступы и впадины. Вдруг Кожожаш не удержался, поскользнулся и увлек за собой Касена. Тот ухватился за льдину, но она оказалась хрупкой, и оба охотника, как на салазках, устремились по ледяной глади вниз. Тщетно пытались они удержаться за какой-нибудь выступ, их неумолимо несло к обрыву. Пронзительный крик потряс горы, страшным эхом отозвался из черного ущелья. С противоположной кручи сорвалась лавина, и наступила могильная тишина. Сквозь морозный туман равнодушно просвечивал желтый диск холодного солнца. Кожожаш висел над пропастью. Его удерживал волосяной аркан.

– Брат Касен! Брат Касен! – звал он. Но тот не отвечал. Касен застрял между двумя глыбами льда, с виска его стекала кровь. Он был без сознания.

Кожожаш понял, что настал его последний час.

– Святая Кайберен, хозяйка воды и гор, прости! Я не узнал тебя и нанес рану, пролил на землю твою святую кровь. Пусть твое проклятье кончится на мне. Оставь в живых единственного сына и мой род! – взмолился Кожожаш и заплакал.

Касен медленно пришел в себя, окровавленными руками пытался подтянуть аркан, но не мог. Аркан скользил в его руках.

– Брат Касен, режь аркан! Спасайся! Если не дойдем до кочевья Мундузбая, погибнем оба, и весь наш род погибнет от голода. Режь! Не жалей меня! Мне спасения нет! Я проклят серой Козой! – кричал Кожожаш.

Касен попытался встать на ноги, но глыба льдины, за которую он держался, угрожающе затрещала. Нож вместе с поясом и походным курджуном¹ лежал чуть в стороне.

¹ Курджуи – переметная сума.

– Брат Касен! Режь аркан! – кричал Кожожаш снизу, – Спасайся! Касен через силу карабкался к ножу, его подгоняли крики Кожожаша.

– Я знаю! Ты не хочешь убивать меня! Меня не жалеи! Пожалей наших детей, жен и матерей! – умолял тот.

Кожожаш попытался развязать крепление на поясе, но узел был завязан намертво, и тогда охотник начал грызть волосяной аркан.

Касен осторожно подбирался к ножу.

Кожожаш неистово грыз аркан, по щекам его текли слезы, с подбородка стекала кровь.

Тем временем нож оказался в руках Касена, и он начал выбивать во льду лунки – одну, вторую, третью, продвигаясь все ближе к Кожожашу.

Аркан был колючий и поддавался тяжело. Из рта Кожожаша шла кровь, но он продолжал грызть тонкие волосяные нити. Еще немного, и Касен освободиться от непосильного груза. Кожожаш обессилел, скулы его стянуло судорогой. Аркан начал медленно расплетаться... Касен зацепился за лунку. Подтянулся на ладонь, уперся во вторую лунку, подтянулся еще. Аркан расплетался, и теперь их соединяла лишь тонкая полоска. Волоски начали лопаться, и в тот миг, когда смерть неотвратно глянула ему прямо в глаза, Кожожаш почувствовал вдруг, как натянулся аркан, и успел ухватиться за его конец. Касен сделал очередную зарубку и из последних сил подтянул аркан к себе.

Громкий хохот потряс горы. Оба друга сидели на краю нижней кромки льдины, исцарапанные в кровь, но радостные и счастливые оттого, что победили смерть. Где-то сверху послышался сильный гул. Охотники увидели, что прямо на них движется лавина. А через миг все потонуло в снежной пучине...

Кругом царило белое безмолвие. Солнце освободилось от тумана и залило землю ослепительным светом. На белой снежной глади появилось два темных пятнышка: голова Кожожаша, за ним – Касена.

Прошло немало времени, пока охотники вылезли из-под снега. Они привязали ко лбу защитные кисти из черного конского волоса и двинулись в путь. Друзья шли по ущелью, взбирались на косогор, спускались вниз. Поняв, что давно сбились с пути, продолжали идти, надеясь на свое чутье, пока не иссякли последние силы.

Охотники лежали на снегу не в состоянии двигаться дальше.

– Смотри! – вдруг крикнул Касен и схватился за лук. Кожожаш открыл глаза и увидел чудо: прямо над ними на возвышенности стояла дикая коза.

– Не надо! – успел крикнуть Кожожаш и схватился за стрелу.

Коза скрылась за бугром. Охотники, проваливаясь в сугробы, устремились за ней. Но козы не было. Остался лишь ее след. Было видно, что она прошла только что, и обессилевшие люди уже не шли, а ползли по козьему следу. След обогнул белую скалу, и вдруг глаза охотников засияли. Там, внизу, плескалось лазурное озеро, на берегу стояли юрты. Из тюндуков струился синий дымок, на лугах чернели табуны и отары. В долине было тихо, уютно, тепло.

– Вот она! – крикнул Кожожаш.

Высоко над ними, на горной вершине, на фоне едва заметного солнца вырисовывался четкий силуэт козы.

– О Святая Кайберен, хозяйка воды и гор! – взмолились охотники. – Спасибо тебе!

* * *

Белую юрту правителя рода Мундузбая можно узнать сразу. Она отделана богатым ярким орнаментом как снаружи, так и внутри. Сам бай – красивый, крепкий человек лет пятидесяти, с бритой головой, в богато расшитых одеждах, облокотившись на цветные подушки и потягивая длинную трубку, читал книгу мудростей Юсуфа Баласагунского.¹

В юрте было уютно и тепло, пахло вкусной пищей. В казане варилось мясо. У бая было две жены. С первой он прожил десять лет, но не имел детей. Поэтому с ее разрешения взял вторую жену: привел в дом дочь бедняка из соседнего айла, прожил с ней пять лет, но ребенок так и не появился. Жены, как и полагается, жили в разных юртах – старшая в большой, младшая в меньшей, иногда они собирались в большой юрте. Старшая жена – сорокалетняя Бегаим, женщина с красивым надменным лицом, была занята вышиванием. Младшая – миловидная курносая Айке, стоя на коленях, месила тесто.

¹ Юсуф Баласагунский – поэт и мыслитель средней Азии X века, автор книги «Наука быть счастливым».

– Хозяин дома, почему не расскажете своим женам о мудростях, написанных в книге? – сказала ласковым, журчащим голосом старшая жена, не отрываясь от рукоделия.

– А это очень интересует вас? – спросил Мундузбай, отложив книгу.

– Разве хозяин дома не знает, что его жен интересует все, что интересует его? – лукаво спросила Бегаим. – Не так ли, сестра?

Айке застенчиво кивнула.

– Это книга мудростей. В ней говорится о том, как быть счастливым, – ответил бай и начал читать:

В обширном крае хана-мудреца
Жил мирно волк и рядом с ним овца.
В его владеньях общею тропой
Ягненок с волком шли на водопой.

– О-у! – воскликнула старшая. – Как это можно?

– В этом – то вся тайна, – ответил бай.

За юртой залаяли собаки и, судя по удаляющемуся звуку, побежали в сторону гор.

Бегаим набросила на плечи шубу и вышла наружу.

Айке тут же подбежала к мужу, опустилась на колени и подставила шею для поцелуя. Мундузбай поцеловал и с наслаждением понюхал ее волосы.

– О моя ласковая. Дождусь ли я, когда от тебя запахнет грудным молоком? – сказал он.

– Все зависит от вас, – лукаво ответила Айке, оглянувшись на дверь и жадно вытянула губы, прося трубку.

Мундузбай, не выпуская из рук, протянул ей кальян. Молодка затанулась, зажмурила глаза. Попросила еще.

– Хватит, маленьким нельзя, – бай ласково погрозил ей пальцем.

– Ну, да-айте, – по-детски взмолилась женщина.

Мундузбай вновь протянул кальян. Айке затанулась и в знак благодарности подставила шею для поцелуя.

Вошла Бегаим и молча остановилась у порога. Мундузбай не решился при старшей жене поцеловать Айке, потрепал ее по щеке.

Айке встала, с вызовом прошла к чыгдану¹, с гордым и независимым видом продолжала месить тесто.

¹ Чыгдан – сундук для хранения пищи, находится в кухонном отсеке юрты, отгороженном циновкой.

– Бай-аке, к нам идут какие-то странные люди, – с тревогой сообщила Бегаим.

Мундузбай на всякий случай снял со стены меч и сунул его под тахту, на которую были сложены стеганные одеяла.

Собаки загалдели у самого дома. Открылся полог юрты.

– Ассалам алейкум! – в юрту вошли охотники.

– Ой! – в страхе вскрикнула Айке.

Пришельцы едва держались на ногах. Одежда и обувь на них оледенели, на усах и бровях застыли сосульки. Вид у них действительно был пугающий.

– Не узнали? – спросил Касен. – Мы «белые барсы».

– Что-то мало похожи на «барсов», – засмеялся бай.

Женщины хихикнули. Кожожаш зло посмотрел на них. Те притихли.

– Постой, постой! А ведь действительно «барсы»! – воскликнул Мундузбай. – Брат Кожожаш! Зять Касен?!

– Бай-аке, – обратился к Мундузбаю Кожожаш, – дайте нам двух лошадей и мяса. Весной вернем шкурами волков и куниц.

– А если я вам дам не две, а сто лошадей? – лукаво прищурился бай, испытующе глядя на охотников. Те опешили: не ожидали такого щедрого посула. А Мундузбай продолжал раскручивать нить своего замысла: – Ойроты вновь подняли головы. Спускайтесь в долину, мы с вами сколотим крепкую руку, нападём на Дондок-батыра. Угоним его табуны, и у каждого охотника будет по три лошади.

– Охотники на людей не нападают. Такова наша святая клятва, – произнес гордо Касен

– А если ойроты нападут на вас?

– Будут уничтожены!

– Хорошо, – неожиданно смягчился бай, – выберите себе полсотни лошадей. Весной, когда расцветут тюльпаны, приезжайте на девичьи игры. Пусть джигиты наши потягуются в силе и ловкости, а девушки покажут свою красоту и наряды. Если появится незваный гость, надеюсь, не откажете в поддержке?!

– Барсы не дадут вас в обиду, бай-аке! – поклялся Кожожаш.

Айке с восхищением посмотрела на молодого охотника, о котором, видимо, слышала не однажды. Женщина ждала ответного взгляда, но Кожожаш словно не замечал ее.

– Байбиче¹, накормите гостей, – распорядился бай.

– Спасибо, джене², мы сыты, – глядя на Бегаим, гордо отказался Кожожаш, хотя глаза его слезились от вкусного запаха мяса, идущего от кипящего казана.

– Не отведаешь пищи из рук хозяйки – путь твой будет неудачным, – сказала Бегаим.

Айке тем временем налила в фарфоровые пиалы дымящийся бульон и протянула охотникам. А те смотрели друг на друга и не принимали пищу.

– Не смущайте руку юной хозяйки, – сказал бай.

Кожожаш поднял голову. Айке действительно была юной и прекрасной. Она лукаво улыбалась и держала перед ним белую пиалу. Глаза их встретились. Кожожашу ничего не оставалось, как принять из ее рук пиалу и поблагодарить.

Бегаим крошила мясо, Айке резала лапшу. Глаза у нее были удлинённые и необычные. Кожожашу показалось вдруг, что он видел эти глаза, когда ранил дикую козу и животное глянуло на него с мольбой и страхом.

Гости разомлели от тепла, горячей и сытной пищи.

После бешбармака Мундузбай приготовил кальян и протянул Кожожашу.

– Что это? – удивился охотник.

– Ханский табак. Придает человеку бодрость и доброту, – пояснил Мундузбай.

Кожожаш взял кальян, затянулся.

– Хорошо? – спросил бай.

Кожожаш расплылся в широкой блаженной улыбке и затянулся еще раз...

Джигиты Мундузбая, оглашая окрестность гортанными срывающимися криками, носились за табуном. Наконец они отбили тучных кобылиц, догнали у самых гор и начали ловить, набрасывая на них укурук – петлю на длинном шесте.

Когда Мундузбай и гости вышли из юрты, ветер подул со стороны белых хребтов и нагнал в долину снежные пушинки.

Получив лошадей, охотники двинулись в обратный путь. Отъехав от байского аила на почтительное расстояние, Кожожаш огля-

¹ Байбиче – обращение к старшей жене.

² Джене – буквально: сноха; обращение к жене старшего брата.

нулся. У юрты стояла одинокая женская фигура, едва различимая сквозь белый туман легких снежинок. Охотнику показалось, что он очень близко видит ее горячий взгляд, и ему вновь почему-то вспомнилась женщина, которая пригрезилась ему в облике раненной козы.

Айке долго смотрела вслед уходящим охотникам, смотрела до тех пор, пока они не слились с горами, потом взяла ведра и медленно пошла к реке. Высокая, стройная и, кажется, влюбленная...

Ночью прекрасной Айке не спалось. Она лежала в своей белой юрте с открытыми глазами, по щекам ее текли слезы.

– Что случилось? – в тревоге спросил Мундузбай.

Вместо ответа женщина прижала его руку к своему лицу.

– Тебя обижает Бегаим? – спросил бай.

Айке отрицательно покачала головой.

– Может, ты недовольна своей жизнью? Такое даже не снилось ни тебе, ни твоим полунищим предкам, – обиженно сказал бай.

– О бай-аке, разве счастье только в достатке?... Когда я слышу детские голоса, у меня ноют соски... а когда вы уходите к сестре Бегаим, я прижимаю к груди вот это, – она показала самодельную куклу, завернутую в одеяло. – Иногда среди ночи мне кажется, что она плачет, я вскакиваю, обнажаю грудь, а она не берет и молчит как мертвая, – заплакала Айке.

– Что делать, сердце мое! Бог не дает нам детей. Я страдаю не меньше тебя. Годы идут, а в доме моей тишина. Когда сомкну глаза, родственники растащат скот, а враги разорят мой род. А ты у меня совсем молодая...

Айке спрятала свое красивое лицо на груди мужа.

В долине свистел ветер, готовый вырвать колья и оторвать юрту от земли. Женщине показалось, что их войлочный домик, как перекаати-поле, несется по холодной бескрайней пустыне...

* * *

Все, кто мог ходить, собрались у юрты Кожожаша. Касен вывел кобылицу на площадку, связал ей ноги волосяным арканом, трое мужчин потянули за конец. Кобылица со стоном повалилась на бок.

– Омин! – Касен воздел руки к небу, провел ими по лицу. Все мужчины повторили его жест. Касен взялся за нож.

Карыпбай лежал в юрте и едва дышал. Калыгул смачивал ему губы свежей кобыльей кровью. Старик медленно слизывал ее языком.

Когда туша кобылицы была разделана, старик Калыс начал делить мясо на каждую юрту: в каждую кучку он бросал по равному куску мяса, по равному куску жира, по равному куску внутренностей.

Разделив мясо, привели слепую Сайкал-эне, усадили возле расстеленной шкуры, где лежали куски мяса.

Калыс взял долю мяса и спросил:

– Кому?

Брату Касену, – ответила старуха.

Касен взял свою долю, понес домой.

– Кому?

– Брату Тугелу.

– Кому?

Брату Карыпбаю.

Кожожаш взял свою долю.

– Кому?

– Малышу!

Саяк взял мясо, подбежал к матери, лизнул ее в щеку. Старуха ласково потрепала его за ухо.

Когда мясо было роздано, Калыс вышел в центр.

– Кто обижен? – спросил он.

– Никто, – ответили ему.

– Пусть мясо это превратится в кровь и силу! – благословила старая Сайкал.

И вскоре из всех юрт заструился синий дымок.

... Алые языки пламени облизывали черное днище казана, где варилось мясо. Зулайка заиграла на деревянном губном комузе. Над горами поплыла тихая несложная мелодия. Она нарастала, добавляла к себе новые звуки, новые краски.

Кожожаш сидел у огня и слушал мелодию. На коленях его дремал Калыгул. Перед его глазами возникло прекрасное лицо молодой жены Мундузбая. Она улыбалась, обнажив белые, ровные зубы. И глаза у нее были необычные...

С прозрачной сосульки застывшего водопада упала жемчужная слезинка, полетела вниз, в чашу, со звоном разбилась о гладкую поверхность голубого льда. Прозвенела вторая, третья... десятая капля... Зашумел водопад.

Солнце! Оно сияло на ледяных пиках далеких хребтов, отражалось от красных скал. Реки, горы, белые долины, синие еловые леса,

юрты, лица людей – все было залито ослепительным солнцем! Зацвели тюльпаны. Защебетали птицы. Зазеленели склоны. С ледников хлынули дремавшие доселе бурные потоки.

На лужайке появилась Серая Коза с двумя козлятами. Ее можно узнать сразу: у нее светлее окраска, прихрамывает на переднюю ногу. На возвышенности, вскинув могучие рога, застыл вожак стада – старый козерог Ала-Баш¹. Ни запах, ни звук опасности не пройдут мимо его широких ноздрей и чуткого уха. Но Кожожаш хитрее старого козерога. Кошачьей поступью он крадется к стаду. Вот он натянул тетиву, нацелился в Серую Козу. Коза подняла голову и посмотрела в сторону охотника. Он узнал ее и невольно перевел лук на другую жертву. Засвистела стрела. Молодой козерог покатился вниз по склону.

Прямо перед Кожожашем появился козленок и застыл в страхе. – Топай! Топай! Мал еще! – сказал Кожожаш и озорно свистнул.

Козленок дал стрекача. Охотник, довольный, засмеялся, оглушая горы. Стадо устремилось вверх. Впереди мчался седогрудый Ала-Баш. Стадо скрылось за склоном. Кожожаш поднялся во весь рост. Козероги вытянулись в цепочку и мчались так, словно у них выросли крылья. Они прыгали через ущелья, через кочки, камни и речки. Серая Коза с двумя козлятами мчалась чуть в стороне. Кожожаш невольно залюбовался красивым, стремительным бегом стройных животных.

Охотники шагали домой, увешанные дичью. Кожожаш нес на плечах козерога. На поясах других охотников болтались серые зайцы, на плечах трепыхались живые куропатки. Казалось, прибавь еще несколько таких серых крылышек, и люди поднимутся над землей. Навстречу с шумом и восторженными криками выбежали мальчишки и кудлатые псы.

* * *

У подножия серой горы зияла большая пещера. Ветер трепал одинокий кустарник, увешанный разноцветными тряпочными лоскутками. Из пещеры доносился гул женских голосов. Внутри пещера представляла собой затейливые сталактитовые катакомбы. С потолка свисали причудливые сосульки, падали жемчужные капли.

¹ *Ала-Баши* – седоголовый.

Внизу плескалась теплая вода, шел легкий пар, где-то бурлил горячий родник. Сквозь отверстие в потолке падали косые лучи. Под каждым лучом по пояс в воде стояла обнаженная женщина и «держала» в ладонях свое маленькое солнце. Ловила свой солнечный луч и жена Кожожаша Зулайка.

Мать Сайкал, как каменный идол, сидела в глубине пещеры.

– О Святая мать Умай – покровительница младенцев! – говорила она, подняв руки к лучу солнца, падающему с потолка пещеры. – Не откажи моим дочерям и снохам в счастье родить сына! Не откажи испытать гордость материнства!

Женщины, подняв руки к солнцу, повторяли заклинания старухи.

– Пошли, о создатель, зачатые, чтобы вырос плод во чреве и чтобы живая кровинка пуповины упала на землю предков! – молила другая.

– Береги детей моих от злых духов, от смерти и увечий войны, – говорила старуха.

– Небо и духи предков! Дайте разум вождям родов наших, не дайте погибнуть брату от брата...

– О святая мать Умай, храни душу и сердце от соблазна, храни брачную постель в святости, чистоте и сохранности.

– Храни огонь в моем доме! Храни от стужи и голода моего сына, моего верблюжонка, храни отца его от злых духов, храни его от любви нежности другой женщины. О Святая Кайберен, хозяйка воды и гор, прости мужу моему его проступок, он не узнал тебя зимой и нанес тебе кровавую рану, не накажи его слепотой, увечьем и гибелью, – шептала Зулайка.

– О прозрачная вода! Очисти душу и тело! Пусть болезни и страдания растворяются в твоих теплых, чистых потоках! – молила старуха.

Женщины произносили заклинания вразнобой, по самые плечи погружаясь в теплую ключевую воду. Голоса их, как большие птицы, попавшие в колодец, бились о стены и воды пещеры, сплошным гулом наполняли пустоту и через отверстия, откуда виднелся кусочек голубого неба, уносились к белеющим пикам Великих гор и дальше, видимо, к богу.

Выйдя из пещеры, женщины, уже одетые и гладко причесанные, в белых и красных платках, оторвали с подолов своих платьев лоскутки, привязали к «святому кустарнику», затянули тихую грустную песню и по одинокой тропинке двинулись вниз.

Калыгул с мальчишками играл на лужайке. Вместе с ними резвился черный, лохматый теленок яка. Мальчишки залезали на спину яка, падали, кувыркались на траве. Серая Коза с двумя козлятами паслась где-то рядом, любовалась детьми.

С высокой скалы низвергался водопад. В Голубой Чаше купались Кожожаш и Зулайка. Они резвились и играли, как могут играть счастливые дети природы. Солнце согревало их теплыми лучами, шелковистая лазурь горного озера ласкала их смуглые гладкие тела. Мириады жемчужных брызг окружали их радугой. Сочные травы, пахучие горные цветы, раскидистые кустарники диких ягод укрывали их от посторонних глаз. Они были родными, вольными, вечными жителями Великих гор.

Кожожаш лежал на траве и смотрел на плавающие причудливые облака. Зулайка опустилась рядом, ласково обняла мужа, но он, кажется, даже не заметил ее прикосновения. Перед его глазами стояло прекрасное лицо Айке. Она улыбалась, обнажив белые, ровные зубы. И глаза у нее были необычные...

– Кожожаш, – тихо позвала Зулайка.

Кожожаш вздрогнул и посмотрел на нее.

– Кого ты сейчас видел? – спросила Зулайка.

– Святую Кайберен, – ответил Кожожаш.

– Ты боишься? – спросила она.

Кожожаш задумчиво кивнул в ответ.

– Я помолилась небу, оно простит тебя, – сказала Зулайка. Кожожаш обнял ее большой, сильной рукой...

К Голубой Чаше подошли олени и начали пить воду. Присутствие людей, видимо, не смущало их – здесь никто никогда не обижал животных.

Подпоясанный арканом Калыгул спускался вниз по крутой скале. Карыпбай стоял на верху, держал конец аркана, подстраховывал внука, с волнением наблюдал за каждым его движением. Мальчик добрался до гнезда, взял неуклюжего лохматого беркутенка и начал подниматься вверх. Над ним угрожающе закружилась орлица. Она пикировала над самой головой мальчика, тот отмахивался палкой. Калыгул выпустил несколько стрел, птица улетела прочь.

В капкан попался снежный барс. Охотники с рогатинами и веревкой окружили его. Барс страшно скалил острые как нож зубы. Зеленые глаза его смотрели на людей со смертельной ненавистью.

Неистово рыча, он бросался на каждого, кто приближался к нему. Его длинный, пушистый хвост с черным кончиком извивался, как огромная змея. Касен подошел к барсу ближе всех, сунул в пасть конец палки. Барс схватил палку и начал грызть ее. Другой охотник изловчился и набросил на когтистую лапу зверя петлю. Кожожаш в один миг схватил извивающийся хвост. Теперь хищник был не опасен. Охотники туго затянули лапы, поперек открытой пасти засунули сук, накрепко перевязали барса и понесли на палке...

* * *

В долине буйно зацветали желтые тюльпаны. Аил Мундузбая выглядел празднично, белые войлочные дома были украшены свежими орнаментами. Люди надели свои лучшие одежды, нарядили коней. Набросили на них яркие попоны, надели сбруи и уздечки, отделанные чеканкой из серебра и латуни. В центре айла стояли двухколесные тележки с фургонами. В одной из них сидел купец в чалме и длинном халате. Из всех юрт выходили айльчане, несли купцам войлочные коврики, дорожки, сшитые из козьих шкур, статуэтки из кости, кожу, украшения для лошадей и прочие поделки, меняли свои изделия на женскую одежду, чай, фаянсовую посуду и сладости.

Возле большой юрты Мундузбая были поставлены еще две юрты, одна белая – для невесты, другая серая – для гостей. В юрте бая собрались именитые аксакалы рода. На почетном месте на атласных подушках восседал толстый купец в шелковых одеждах, рядом с ним красивый юноша в расшитом халате, в белой чалме – видимо, жених, чуть поодаль еще два гостя – один долговязый, другой маленький, проворный. Перед гостями был расстелен обильный дасторкон. В длинных бутылках поблескивала рисовая водка.

-Родные, мы давно знаем и уважаем купца Султанбека. Он привозит нашим детям и женщинам одежду и украшения, поит нас чаем и кормит сладостями. Но сегодня он прибыл к нам с важным делом. Он просит отдать мою сестру Жаркын за его сына. Каков будет наш ответ? – спросил Мундузбай.

Все молчали. Наконец заговорил седобородый Бектен.

– Мы хорошо знали отца Султанбека, ты дружишь с ним самим, теперь, видать, бог решил породнить нас. Коли пришел покупатель – товар надо отдать, – важно произнес старец.

– Что скажут аксакалы? – обратился Мундузбай к сидящим.

– Мы согласны, – отозвались старцы.

– Чтобы наш друг и сват остался доволен, помимо перечисленного приданого, я передам всю прислугу – трех лучших джигитов вместе с их женами. Они будут помогать молодым по хозяйству. Какое будет ваш совет? – спросил Мундузбай.

Старцы молчали. Никто не ожидал, что бай решил преподнести своему свату столь дорогой подарок.

– Ты выдаешь сестру и волен дать ей любое приданое. Проводить девушку вместе с ее прислугой – обычай наших предков, – сказал старый Бектен.

– Передайте их родителям, что каждая семья получит за них возмещение, – сказал Мундузбай.

В аил въехали Кожожаш, Касен, на жеребчике – Калыгул, за ними десятка два охотника, вооруженных луками и дротиками, девушки в самотканых одеждах, с маленькими луками. На руке мальчика восседал белый сокол.

В конце весны юноши и девушки рода ак-илбирс спускались в долину на девичьи игры. Здесь они встречались, влюблялись, договаривались о женитьбе. Брак внутри рода был строгайше запрещен.

– Здравствуйте, тетушка. Что за праздник у вас? Уж не третью ли жену берет ваш бай? – спросил Касен у женщины.

– Купцы приехали из Кашгара байскую сестру сватать. Начались девичьи игры, – ответила женщина.

Охотники двинулись к юрте Мундузбая. Стройные, молодые, красивые. Ватага мальчишек бежала за ними.

– «Белые барсы» едут! Охотники едут! – кричали они.

Из юрт выходили любопытные. Девушки смотрели на охотников с тихим восхищением, лукаво перешептывались, приветливо улыбались. Джигиты аила смотрели на стройных гордых девушек, подбিরали себе невест.

Кожожаш и Касен подошли к гостевой юрте. Навстречу вышла Айке и приветствовала их поклоном. Увидев ее, Кожожаш смутился, невольно прикрыл рукой заплатку на рукаве.

Айке подошла к мальчику и поцеловала в щеку.

– Чей ты сын? – спросила она.

– Кожожаша, – ответил мальчик.

Айке молча прижала Калыгула к груди и тут же отошла, словно боялась выдать свои чувства к его отцу.

– О-о, вольные охотники пожаловали! – обрадовался Мундузбай. Калыгул вручил баю сокола.

– Пусть будет крепким путлице вашего сокола!¹ – сказал Кожожаш.

– Спасибо, сын мой, – Мундузбай поцеловал мальчика. – А это мой подарок тебе! – он снял свой широкий пояс, украшенный серебряной чеканкой. – Будешь носить, когда станешь настоящим джигитом.

Касен вывалил из курджунов великолепные шкуры снежных барсов и куниц. У гостей разгорелись глаза.

– Принимай, байбиче, подарки! – обратился Мундузбай к старшей жене.

– О-о! – восхитилась Бегаим.

Купцы похвалили шкуры, начали рассматривать их и переговариваться между собой.

– Мы прибыли на девичьи игры и привезли свой долг! – с достоинством произнес Кожожаш.

– Пусть «барсы» твои располагаются в гостевых юртах, – сказал Мундузбай. – Девушек поместите в белой девичьей юрте. Байбиче, налей-ка им жидкого огня, – приказал он.

Бегаим, приветливо улыбаясь, налила гостям водки. Касен поднес пиалу к губам – неприятный запах рисовой сивухи ударил в нос. Он поморщился и вернул пиалу хозяйке. Гости рассмеялись. Кожожаш с вызовом посмотрел на иноземцев, залпом осушил свою чашу, и страшная гримаса исказила его лицо. Охотник выбежал за дверь. Раздался взрыв хохота.

– Точь-в-точь, как вы в первый раз, – сказала Бегаим.

Мундузбай смеялся до слез, но вдруг замолк и уставился на дверь. Кожожаш держал натянутый лук.

– Это яд! – сказал он, глаза его горели лютой ненавистью. – Ты хотел погубить нас!

Мундузбай захохотал еще пуще, взял бутылку, сделал несколько глотков из горла и налил жене. Бегаим выпила с удовольствием. Кожожаш опустил лук. Никто не заметил, когда он успел достать его.

– Налей ему с медом, – приказал бай.

¹ Пусть будут крепкими ваши семейные узы – таков истинный смысл этого пожелания.

Жена налила охотникам из другого сосуда. Кожожаш и Касен переглянулись и нехотя выпили. Касен блаженно погладил живот и протянул пиалу.

– Еще! – попросил он.

– Э! Пока хватит! Пусть дойдет до сердца. А потом еще! – засмеялся Мундузбай.

Толстый купец что-то шепнул долговязому.

– Ваш уважаемый сват интересуется, нет ли у охотников весенних рожек маралов и пятнистых оленей? – спросил долговязый.

– Охотники едят мясо, рога они не едят! – рассмеялся Кожожаш.

– Нам нужны рога, в них содержится мужская сила, – невозмутимо ответил долговязый.

– В рогах мужская сила? – теперь уже захохотал Кожожаш. – А куда вы свою девали?

Видимо, выпитая водка начала действовать на него. Наступила неловкая пауза.

– Мои братья живут далеко в горах, – сдержанно извинился Мундузбай.

Купец снисходительно улыбнулся.

– Платить будем жидким огнем и вот этим, – он вытащил из-за спины пороховое ружье. – Знаешь, что это такое? – он протянул ружье Кожожашу.

Тот повертел ружье в руках, взглянул в дуло, недоуменно пожал плечами, отдал Касену. Касен внимательно рассмотрел ружье, взвесил в руке, передал мальчику.

– Может, ты знаешь? – спросил Касен.

– Китайская дубинка! – догадался Калыгул.

Гости и хозяин расхохотались.

– Молодец, угадал! – невозмутимо сказал долговязый и спрятал ружье.

Айке, наливая кумыс, пыталась поймать взгляд Кожожаша.

Джигиты бая вели к дому Мундузбая шупленького человека. Рубашка его была изорвана. В руках у него была горсть белых бус из фальшивого жемчуга. Ниточка порвалась, на землю сыпались белые шарики, следом бежали мальчишки и подбирали бусинки. Из юрты вышел Мундузбай.

– Биялы из рода артыков украл у купца бусы, – доложил один из джигитов и толкнул вора в спину.

Мундузбай остановил его знаком.

– Ты решил опозорить мой род перед высокими гостями? – спросил бай.

Вор отвернул от бая свое окровавленное лицо, молча шмыгал носом.

– Что будет тому, кто украл? – обратился Мундузбай к людям, стоящим вокруг.

Никто не ответил.

– Согласно шариату – надо отрубить левую руку, – сказал кто-то.

Один из джигитов обнажил саблю, словно тут же хотел привести приговор в исполнение. Вперед вышел старец, перекинул через шею камчу.

Бай жестом остановил джигита. Молоденькая миловидная женщина прижала к груди малыша и заплакала.

– Прости моего единственного жеребенка, – уважь мою седую голову, бай-аке. Жена подарила ему сына, а он решил подарить ей бусы. А бусы стоят пять баранов, – вымолвил старец.

– Шесть! Шесть! – завопил купец, сидевший в двуколке.

– Я же ничего не просила, – всхлипнув, проговорила женщина с ребенком.

Мундузбай посмотрел на нее.

– Отсчитайте купцу шесть баранов из моей отары, – распоряжился он.

Старик бросился к баю. Начал целовать его руку и благодарить за доброту и великодушие.

– А ты, Биялы, вместе с женой поедешь в Кашгарию, я подарю тебя нашему зятю, будешь служить ему, а жена твоя будет служить моей сестре. Узнаю, что ведешь себя непристойно, велью отсечь тебе голову, – сказал бай и направился к юрте.

– Бай-аке, как я проживу, если сын мой уйдет на чужбину? – взмолился старец.

– Ты получил шесть баранов. После свадьбы получишь еще четыре, – ответил Мундузбай и ушел в юрту.

Биялы, его жена Сонун и старец остались стоять на месте в полной растерянности.

На возвышенном месте были расстелены расшитые красочными узорами войлочные ширдаки и ала-кийизы. Гости расположились отдельными кучками так, чтобы разговоры одних не были

слышны другим. На самом почетном месте сидели самые почтенные аксакалы – седобородые старцы. Они вели разговоры о стародавних временах, вспоминали события давно минувших дней. Дальше расположились мужчины среднего возраста и гости, прибывшие из других племен и родов. Они острословили и смеялись. В стороне сидели почтенные старухи в белых элечеках¹ и бархатных одеждах, оценивающе смотрели друг на друга, на молодых, обслуживающих гостей, молча пили чай. Молодые люди сидели подальше от взрослых гостей. Пели любовные песни – секетбаи. Играли на комузе, шутили, смеялись.

Проворные молодухи и юноши разносили гостям мясо, кумыс, чай и прочие угощения. Кожожаш и Касен сидели с людьми своего возраста, рядом пристроился Калыгул и смотрел на все с большим любопытством. Иногда сын что-то шепотом спрашивал у отца, тот терпеливо слушал и отвечал ему. Мальчик впервые попал на такой праздник. Поэтому многое ему было в диковинку.

Джигит в бархатном красном малахае², отороченном мехом, подошел к Мундузбаю и сказал ему на ухо:

– Бай-аке, Биялы из рода артыков вместе с женой бежал в горы. Он не хочет идти в слуги к Султанбеку.

– Поймать, повесить на позорном столбе! – повелел бай.

Джигит отвесил поклон и кивнул всадникам, которые стояли чуть в стороне и нетерпеливо ждали приказа. Всадники помчались в сторону гор.

Биялы из рода артыков с женой Сонун и грудным ребенком, собрав свои незатейливые пожитки, тем временем бежали вверх по течению горной реки. За ними, оставляя завесу пыли, с гиканьем и криками гнались байские джигиты.

Преследователи на резвых конях начали настигать беглецов. Биялы круто повернул коня.

– Иди вброд! – приказал он жене.

Женщина не повиновалась.

– Прочь! – крикнул Биялы и стеганул ее камчой по спине.

Сонун, обливаясь слезами, нехотя пошла вперед. Найдя пологое место, она начала переходить реку вброд.

¹ Элечек – женский головной убор.

² Малахай – мужской головной убор.

Топот лошадей приближался. Биялы достал боевую дубинку с железным грузилом-шалкэтме и ринулся на преследователей. Четким ударом он свалил первого, бросился на второго, но тот успел увернуться. Беглец отбивался, джигиты пытались набросить ему на шею аркан. Биялы удалось свалить еще одного из них, и теперь он бился против двоих, казалось, миг – и сумеет вырваться, но снизу появились еще трое. Беглец отчаянно сопротивлялся, но на него набросили аркан, свалили на землю.

– Куда же ты задумал бежать, дурень? – сказал всадник в красном малахае, наступив ему на горло.

– Я не скотина, чтобы меня дарили! – прохрипел Биялы.

– А кто же ты? – ехидно спросили его.

– Человек! – ответил Биялы.

– Расскажи об этом баю, – сказал тот, что в красном малахае и кивнул джигитам.

Веревка натянулась. Чтобы аркан не затянул шею, несчастному пришлось бежать за всадниками.

Сонун видела всю эту картину с другого берега реки и рыдала, прижав к груди ребенка. Она вернулась назад и обреченно двинулась к айлу. Биялы бежал за лошадью, на спине его краснели полосы от ударов камчи.

... Начались конные игры. Юноши соревновались в ловкости и скорости. На полном скаку они поднимали с земли монеты, шапки. Потом начался оодарыш – борьба на конях. Острые схватки разгорелись между охотниками и местными джигитами. «Белых барсов» можно узнать сразу – у каждого на плече красовалась полоска из барсовой шкуры. Кожожаш с азартом вступил в игру, и ему не было равных. Стащив с коня очередного соперника, он искал глазами ту, ради которой старался, и встречал ее горячий ответный взгляд. Айке стояла в окружении молодых женщин и была самой красивой...

Беглеца завели на холм, где стояла большая клетка из бревен, в центре площадки был вкопан столб с перекладиной.

Биялы привязали ноги и повесили вниз головой.

Он попытался вырваться.

– Попался на крючок – не дергайся, – предупредил джигит в красном малахае.

Джигиты ушли, оставив беглеца одного.

Все были заняты свадебными играми, и никто не видел того, что творилось у позорного столба.

Биялы висел вниз головой. На его шее и висках вены вздулись, как прутья.

Люди собрались на площади, где начиналось развязывание верблюда.

– Молодухи и женщины! Кто хочет развязать верблюда и забрать его себе? – призывно кричал глашатай, разъезжая на коне.

В центре площади был вкопан маленький столб, к которому привязали за поводок верблюда. Огромный черный двугорбый верблюд, капая пенистой слюной, жевал жвачку и гордо поглядывал вокруг, словно понимал весь смысл происходившего. Мундузбай и его гости расположились на специальной тахте, перед ними был расстелен дасторкон с яствами. Толстый купец перекидывался с хозяином шутками, беззвучно хохотал мягким животиком.

– Молодухи и женщины! Кто развяжет черного верблюда получит в придачу белую верблюдицу! Спешите получить этот приз, пока бай-аке не передумал! – кричал глашатай.

В толпе смеялись женщины. Шутя подталкивали друг друга, но никто из них не осмеливался выйти в круг. Толстый купец позвал глашатая, что-то шепнул ему на ухо. Глашатай взял у него большую шкатулку, вышел в центр круга.

– Женщины и молодухи, кто развяжет черного верблюда, тот получит в придачу белую верблюдицу, а наш дорогой гость из Кашгарии обещает вот этот подарок, – он высоко поднял шкатулку над головой. – Она наполнена дорогими украшениями! – прокричал глашатай.

Но никто не отзывался на его призыв. Мундузбай подозвал глашатая и что-то зашептал ему на ухо. Тот кивнул головой и вновь вышел в круг.

– Женщины и молодухи! Кто развяжет верблюда, наш бай-аке обещает выполнить любое желание! – объявил он.

Глаза Биялы налились кровью. Солнце светило ему в лицо. На пыльную землю падали капли пота.

– Вышла! Вышла! Смотрите! – зашумели в толпе.

Беглец открыл глаза и сквозь деревянные решетки увидел, как две старухи вывели женщину, укрытую с ног до головы черным шелком.

– Кто это? Чья это жена? – спрашивали в толпе.

Все приподнялись с мест, никто не знал, которая из женщин осмелилась выйти в круг. Старухи сняли с ее головы покрывало, и все ахнули.

Биялы застонал. Это была его жена.

– Сонун! Сонун! Жена Биялы из рода артыков! – криком передавали сидящие тем, кто был дальше от центра.

– Самая красивая молодка долины! Неужто разденется?

– На кой черт ей верблюду?

– Украшений захотела! Дура!

– А муж-то что скажет?! – судачили в толпе.

Две старухи вывели женщину, начали медленно снимать с нее покрывало.

– Если твое тело белее тела моей старухи, возьму тебя младшей женой! – озорно крикнул кто-то.

Мужчины засмеялись.

– Тебя на одну-то не хватит! – дерзко ответила Сонун.

Раздался взрыв хохота.

Между тем старухи продолжали раздевать ее. Сонун ловким движением сорвала с головы красный платок, и густые черные волосы рассыпались по плечам.

– Ах, шайтан! – с досадой сказал кто-то.

Все рассмеялись.

Биялы временами открывал глаза, видел свою жену и извивался, как червяк.

Женщину раздели. Волосы, ниспадающие почти до колен, прикрывали ей грудь и спину.

Она спокойно и грациозно шла к верблюду.

Биялы отвернулся. Он не хотел видеть ее позора.

– Не торопись! – крикнул кто-то вслед Сонун.

Раздался дружный хохот.

Толстый купец что-то шепнул глашатаю.

– Если уберешь волосы спереди, наш сват отдаст тебе рулон шелка! – прокричал глашатай.

– Пусть сошьет себе саван, – ответила женщина.

– О-о! – застонали мужчины.

Толстый купец масляными глазами смотрел на женщину и скалил кривые зубы.

– Если уберешь волосы, бай-аке исполнит два твоих желания! – крикнул глашатай.

Сонун дерзко и вызывающе оглянулась на шумящую толпу и вдруг одним ровным движением убрала волосы, обкрутила вокруг шеи. Толпа охнула и затихла. Сонун действительно была прекрасна. Высокая, стройная, белотелая, она смело шла к столбику. Она казалась ожившим изваянием или, вернее, самой богиней красоты, и все, кто только что шумел, смеялся и острил, замолкли и любовались удивительным созданием, совершенством и красотой женского тела.

Когда Сонун развязала поводок верблюда, раздался гром восторженных криков. Старухи тут же набросили на ее плечи черное покрывало.

Женщина быстро оделась, забрала ребенка, спокойно подошла к баю. Джигиты протянули ей маленький сундучок, открыли крышку – в нем было несколько витков жемчужных бус, зеркало, сурьма для глаз, гребень, приколка и прочие украшения. Сонун оттолкнула от себя сундучок, прямо глянула в глаза Мундузбай.

– Ты красивая и смелая женщина! – сказал бай. – Проси что хочешь.

– Кинжал! – Сонун протянула руку.

– Красавицам нельзя играть ножом, – пошутил купец.

Все рассмеялись.

– Это мое первое желание! – потребовала Сонун.

Мундузбай развязал свой боевой пояс, бросил к ее ногам. Сонун подняла пояс, вынула кинжал из ножен.

– А теперь я выполню второе свое желание, – сказала она.

Все замерли, молча смотрели на нее и ждали.

Женщина поднялась на холм, разрешила ремни, которыми был привязан Биялы. Он рухнул на пыльную землю. Кто-то принес ведро воды, окатил его с ног до головы. Биялы пришелв себя, встал, подошел к жене, приподнял ее лицо за подбородок, со всего маху вlepил пощечину и пошел прочь. Сонун упала в пыль и горько заплакала. Люди начали поднимать и утешать ее.

* * *

С наступлением ночи начались долгожданные девичьи игры. Каждый джигит, каждая девушка и каждая молодка сочиняли и обдумывали песню. Мелодия могла быть старой, традиционной, а вот

слова каждый обязательно должен был сложить сам. Не имеешь своей песни, прослывешь глухим, косноязычным, никчемным человеком, а такому трудно найти себе желаемую пару. У подножия зеленого холма рядом расположились невеста и ее подружки. Чуть ниже, на небольшом расстоянии – джигиты.

Юноша пел посвящение своей избраннице. Та отвечала своей песней. Если слова были по сердцу собравшимся, тут же дружно раздавались возгласы одобрения, пара выходила в круг, становилась друг к другу спинами. Поворачивалась лицами, целовалась. Каждый поцелуй сопровождался шумными возгласами.

Ты стоишь на том берегу,
Да глубока река Ак-Суу,
Вброд пройти я не могу,
Я уношу с собой тоску!

– пропел Кожожаш, обращаясь к Айке.

Речей твоих серебряный ручей
Не напоит тоску моих очей.
Я жажду счастья и любви, томлюсь...
Скажи, когда я досыта напьюсь? – спела Айке.

– Жаша-а-а! – одобрили сидящие.

Айке вышла в круг, повернулась лицом к Кожожашу, они поцеловались.

– Буду ждать у раздвоенной сосны! – успела шепнуть Айке.

Когда взошла луна и накрыла землю желтым светом, они встретились в условленном месте.

– Увези меня к себе! Я рожу тебе красивых дочерей и рослых сыновей, – горячо шептала Айке, обняв охотника за шею. – Я буду рабыней твоей Зулайки.

– В дом твоего мужа я вошел как брат и гость, – говорил Кожожаш. – Ты знаешь клятву моих предков.

– А ты приди как враг. Приди и отбери меня! Так поступают все, кто имеет власть и силу, – шептала Айке.

Кожожаш качал головой.

– Сегодня последний день луны. Подари мне ребенка, я хочу маленького ребеночка... – шептала Айке, в исступлении целуя Кожожаша...

Джигиты раскачивали длинные качели из волосяных арканов, на каждой из них устроилось по две девушки.

Давай, джигит, качай и пой,
Качай, раскачивай с плеча.
Чтоб небо стало вдруг землей.
Ладонь чтоб стала горяча, – пела молодежь.

Калыгул качался на других качелях с ребятами.

Качели поднялись вверх, и мальчик увидел, что Айке обнимает его отца. Калыгул слез с качелей, снял с плеча лук. Когда он прибежал к раздвоенной сосне, держа наготове лук, Айке была уже одна. Она стояла на коленях, подняв руки к небу.

– О мать-луна! Ты видела все. Прости меня и пошли мне зачать! О черное небо! Прости меня и закрой своим мраком мою тайну, – молилась женщина.

По щекам ее текли слезы. Мальчишка невольно опустил лук и пошел прочь.

Аильчане и гости продолжали веселиться. Слышался звонкий смех, песни, шутки.

Мундузбай, угрюмый и расстроенный, ожидал в юрте Айке. Бегаим сидела рядом и с сочувствием смотрела на мужа. Оба молчали. За юртой слышались шаги. Айке шла к дому, напевая песню, которую пела на девичьих играх.

– Она, – сказала Бегаим.

Вошла Айке, увидела мужа и Бегаим, судорожно сжала в кулаке красный тюльпан.

– Хорошо поешь, – ехидно сказала Бегаим.

Мундузбай внимательно посмотрел на Айке, кивнул Бегаим, чтобы она ушла. Бегаим встала.

– Будешь гневаться, – мудрость уйдет от тебя, – посоветовала она мужу и вышла из юрты.

– Где ты была? – спросил Мундузбай, подняв, на Айке тяжелые глаза.

Она сжала губы и молчала.

– Ты хочешь уйти с ним? – спросил Мундузбай.

Айке сняла со стены плетеную камчу, вручила мужу, бросилась к его ногам.

– Избейте меня до потери крови, чтобы я умерла! – попросила она.

Мундузбай поднял камчу. Женщина покорно лежала у его ног, обнажив тонкие красивые плечи. Она была готова принять любое наказание.

Бай переломил рукоятку камчи, со злостью бросил в огонь и вышел из юрты. Айке подняла голову. Увидела, что муж ушел, прижала к груди самодельную куклу и заплакала.

* * *

Утром в белой юрте оплакивали проводы невесты:

Мы девочку нашу в шелка пеленали,
От зноя и стужи ее охраняли.
Ой, бедная птичка, слезинка моя,
Теперь ты уходишь в чужие края, – плакала Бегаим.

Золотое кольцо ты надень.
Забранится свекровь – ты молчи,
С бирюзою кольцо ты надень,
Свекор обидит – смолчи!
Если муж твой окажется строг,
Улыбкой ответь на упрек.
Чтоб не стал он в сердцах поминать
Отца твоего и бедную мать, – голосила Айке.

Плакали и прощались со всеми родными и те, кто уходил вместе с невестой в качестве приданой прислуги.

– Ой, единственный мой! Да как же мы без тебя?! – рыдала старуха, обняв сына.

– Не забывай нас. Будет мир и спокойствие – мы приедем с отцом. Только береги себя. Не плачь, – причитала женщина, обняв дочь.

– Чего плачете? Они будут жить у купца, как у бога за пазухой. Нечего плакать! – сердился джигит в красном малахае.

На голову невесты надели элечек – символ того, что отныне она считается женщиной. На шею надели бусы, к концам волос привязали серебряные украшения – теперь она хозяйка дома. Верблюдов

навьючили приданым невесты, пригнали лошадей, коров, овец. Мундузбай подвел великолепного оседланного коня – подарок жениху. Седло, уздечка, кожаная попона были отделаны чеканкой из серебра и золота. Бегаим набросила на плечи жениха бурку из белого войлока.

Из белой юрты вывели невесту. Купец и его люди нетерпеливо ждали, когда кончится церемония прощания.

К юрте Мундузбая примчался всадник.

– Ойроты!¹ – прохрипел он и замертво свалился с лошади – между лопаток его торчало древко стрелы.

Черная пыль затмило солнце и землю. Тысячный табун ошалело помчался к айлу, увлекая за собой верховых лошадей и жеребят, пронесся между юртами и ушел к лесу.

Со стороны гор с дикими криками и воплями неслись конные ойроты. Они были одеты в боевые доспехи, в руках сверкали кривые сабли, вперед летели зажженные стрелы. Горела трава, застилая горы и небо огнем и дымом, нагнетая ужас и смятение.

В айле Мундузбая началась паника. Из юрт выбегали полусонные джигиты, хватались за свои копыя, торчащие у входа, но было поздно – налетчики подошли совсем близко. Кони, порвав свои поводья, вырвав коновязи, ушли вместе с табуном.

Аильчане хватали орущих детей, стонущих стариков, бежали к лесу. Ойроты орудовали у крайних юрт – загорелась первая, вторая...

Это была личная дружина молодого калмыкцкого правителя Дондок-батыра. Отец его, Бакей, жил в мире и дружбе с кыргызскими племенами, всегда был желанным гостем, неизменно приезжал на большие свадьбы, погребения и поминки знатных людей. Как-то он решил женить своего единственного сына на кыргызской красавице Айжаркын. Девушка отказалась и поклялась покончить собой, если попытаются выдать ее насильно.

Дондок-батыр выслушал доводы отказа и молча развернул коня... однако, самовлюбленный и чванливый, он затаил глубокую обиду и, как только скончался отец, сколотил крепкую отчаянную дружину из юных воинов, взял в свои руки полную власть, начал совершать кинжальные набеги на соседние кочевья, угонял лошадей, насильно уводил девушек.

¹ Ойроты – одно из враждующих племен.

С особым нетерпением Дондок-батыр и его дружина ждали весны, когда в долинах начинались девичьи игры. Кочевье Мундузбая всегда славилось своими красавицами: девушки здесь были высокие, стройные, узколицы и белотелые. А ранней весной, когда в Большую долину со всех кочевий съезжалась молодежь, – это было действительно замечательное зрелище. Девушки, ладно и ярко разодетые, в круглых шапках из выдры и лисы, украшениях из коралла, перламутра, молодки в белоснежных элечеках с длинными бусами из жемчуга на резвых конях с красивым снаряжением, отделанным чеканкой из серебра, латуни и желтой меди, выглядели прекрасными.

Дондок-батыр точно рассчитал время и черным смертоносным вихрем закружил над Большой долиной.

Налетчики смяли пеших джигитов, рубили их саблями, били дубинками, вытаскивали из юрт женщин, тащили их а волосы, рвали на них одежду...

В центре айла небольшой отряд джигитов, выставив длинные копья, оказывал сопротивление. Мундузбай, застигнутый врасплох, пеший, с мечом в руке, доблестно отбивался от врагов.

Толстый купец и его люди спешно толкали свои двуколки, пытались расположить их полукругом – привести в боевой порядок.

Маленький Калыгул ловко вскарабкался на большую сосну, снял с плеча свой лук и всадил стрелу в толстый зад ойрота, который наклонился, чтобы схватить за косу бегущую девушку. Мальчишка засмеялся. Толстый ойрот никак не мог понять, откуда вылетела злополучная стрела. Заметив мальчугана, он начал стрелять в него. Но ветви сосны были густые, Калыгул ловко увертывался. В какой-то момент он изловчился и пустил стрелу, которая для врага оказалась роковой. Ойрот рухнул с коня, древко торчало в его горле. Подоспел другой ойрот и кинул горящий дротик в гущу хвои. Сосна затрещала, как факел. Калыгул в страхе начал карабкаться вверх, языки пламени устремились за ним.

Часть налетчиков бросились преследовать беглецов. Касен с несколькими охотниками, взобравшись на высокую скалу, метко поражал врагов из луков. Лужайка наполнялась поверженными врагами. Налетчики окружили скалу, начали метать зажженные стрелы и дротики. Вокруг охотников горела сухая трава, стелющаяся по

земле арча. Касен был ранен в руку. Истекая кровью, он продолжал стрелять сквозь огонь и дым, тетиву натягивал зубами.

Личная охрана Мундузбая была перебита.

Группа «белых барсов» встала полукругом у юрты невесты, где собрались в основном девушки и Айке отбивалась от налетчиков. Охотники стреляли без промаха.

Кожожаш на коне без седла рогатой дубинкой отражал удары нападающих на него врагов.

– Ата-а! – в отчаянии закричал Калыгул.

Кожожаш обернулся на крик. Сосна горела факелом. Нижнюю хвою съел огонь. Лишь на самой макушке осталась кисть ветвей, откуда доносился плач мальчика. Ойроты стреляли в него из луков. Кожожаш вырвался из окружения, примчался к горящей сосне, метким ударом выбил из седла одного врага, второго, раскроил череп третьему, снял аркан и кинул на сосну. Мальчик хотел прыгнуть, но было страшно. Внизу пылал огонь, веревка оказалась на почтительном расстоянии, и сук, на который попала петля, начал гореть. Мальчик замешкался.

– Прыгай! – приказал отец.

Мальчик прыгнул, как кошка, уцепился за веревку, соскользнул вниз.

– Беги в лес! – крикнул Кожожаш.

Веревка сгорела и упала. Мальчишка, в обгоревшей одежде, скрылся в лесу. Кожожаш радостно засмеялся и бросился назад, к белой юрте.

Биялы на неоседланном коне, вооруженный кривой ойротской саблей, загнал байского джигита в красном малахае в рощицу, выбил у него копьё, начал избивать его камчой, видимо, решил отомстить за свои обиды и позор жены.

– Прости, Биялы! Пощади! – кричал джигит, закрываясь рукой от ударов камчи. Но Биялы был беспощаден и жесток.

– Смотри! – вдруг крикнул джигит.

Четверо конных ойротов, набросив петлю на Сонун и двух девушек, тащили их к лесу.

Биялы кинул джигиту его копьё, и они вдвоем ринулись отбивать женщин. Враги отчаянно сопротивлялись, но Биялы и джигит в красной шапке сумели одолеть насильников: двух убили, двое бросились наутек. Биялы и джигит начали преследовать их. Биялы мчал-

ся вперед и уже догонял врагов, но тут раздался крик. Он обернулся, увидел, что джигит склонился на луку седла и между лопаток его торчит древко стрелы. Биялы развернул коня и вернулся. Женщины успели скрыться в лесу. Купцы расположили свои двуколки полукругом у гостевой юрты, зарядили ружья и ждали.

В аил вошла свита ойротского предводителя, спокойно проехала мимо горящих жилищ, убитых и раненных людей. Впереди двигались дружинники с копьями. Они приближались к белой юрте.

Ойроты содрали с белых юрт войлок, обнажив клетчатые стены, загнали туда окровавленного бая. Бегаим, Айке и сестра в свадебном наряде прижались к нему. Налетчики обступили их тесным кольцом и ждали своего предводителя. Кожожаш на всем скаку ворвался в гущу врагов, начал орудовать дубинкой, укладывая одного за другим. К нему подоспел Касен, в руке у него была трофейная кривая сабля.

Свита предводителя подошла совсем близко. Уже было видно чванливое, самоуверенное лицо ойротского хана. Свита остановилась, хан поднял руку.

– Та! – крикнул он и опустил руку.

Копьеносцы бросились на байские юрты, но в этот миг могучий грохот потряс небо. Несколько копьеносцев оказались на земле, кони шарахнулись и бросились назад. Второй залп выбил из седла еще несколько налетчиков. Из юрт выбежали те, кто уже приступил к грабежу и насилию. Через некоторое время вся орда, оставив пленных женщин, в дикой панике неслась в сторону гор. Выстрелы звучали вслед, наводя ужас и страх. К байской юрте подъехал Биялы. На своем седле он привез смертельно раненного джигита в красном малахае, осторожно опустил его на землю и ускакал.

– Спасибо тебе, брат Биялы, – сказал ему вслед джигит.

Женщины подняли его и унесли в юрту.

* * *

Бегаим перевязывала раны Кожожаша и Касена. Айке латала обгоревшие сыромятные штаны Калыгула. Мальчишка стоял тут же, обернувшись полотенцем.

– Благодарю вас, «белые барсы», – сказал бай. – Вы с честью выполнили свое обещание. Не будь вас и огненных стрел свата Сул-

танбека, я бы не справился с Дондоком. Вот что значит единая крепкая рука. Семьям погибших воинов передайте мои глубокие соболезнования. Они получат должное возмещение.

– Что может возместить моих погибших братьев? – ответил Кожожаш.

– Война есть война. В такой битве не миновать ни крови, ни смерти. Мужайтесь, не поддавайтесь скорби, – с сочувствием сказал Мундузбай.

– Да, да, это так, – Касен вытер рукавом слезы.

Мундузбай снял с пояса меч в золотых ножнах, протянул его Кожожашу.

– Это был меч моего деда. Дарю тебе, как доблестному воину, – сказал бай.

Кожожаш взял меч, поцеловал, отвесил поклон благодарности.

...Охотники с интересом рассматривали диковинное оружие. Долговязый купец показал, как оно действует, положил на ладонь Кожожаша свинцовую пулю. Касен взял у купца ружье, выстрелил, попал в цель.

Он понял, что в его руках могучее оружие, которое может поражать цель с дальнего расстояния, почти независимо от силы и направления ветра. Кожожаш любовно погладил приклад, нежно потрогал теплое дуло, нащупал маленькую мушку, нехотя отдал ружье хозяину...

– Ну, как? – спросил долговязый.

Кожожаш показал большой палец.

– В день новолуния будем ждать вас в крепости Таш-Рабат. Возите панты и шкуры, у вас будут вот такие же гремящие стрелы и жидкий огонь, – сказал долговязый.

Домой «белые барсы» везли богатые трофеи, гнали небольшой табун – возмещение за охотников, павших в бою.

Три девушки долины влюбились в трех охотников, которые отличились не только в спортивных турнирах, девичьих играх, но и смертельной схватке с врагом.

Девушки доверили сердца своим возлюбленным и согласились быть похищенными, как только поутихнут оплакивания погибших от рук врагов. Две девушки из стана охотников, видимо, выбрали себе достойных джигитов долины, утром их не оказалось в гостевой

юрте, сводницы и снохи сообщили, что ночью их «похитили» и они сидят за брачной ширмой в шелковых платках.¹

На осень намечалось сразу пять свадеб. В течение всего лета джигиты той и другой стороны будут готовить подарки в виде движимого и недвижимого имущества, чтобы, как только живот белого верблюда лопнет от сытости (так кочевники называют осень), преподнести свои дары родителям девушки, вымолить у них прощение, после чего начнутся взаимные угощения и брачные торжества. Каждый близкий родственник пригласит молодую чету к огню и одарит соответственно своему достатку.²

«Белые барсы» неторопливо ехали по тенистому ущелью. Почти у каждого к седлу был привязан боевой трофей: кривая ойротская сабля из чистой стали, кольчуга или шлем. А у трех юношей повесенному горела грудь по той простой причине, что у каждого за пазухой хранился носовой платок, вышитый и подаренный любимой девушкой.

Кожожаш ехал молчаливый и угрюмый, не вступал в привычные шуточные разговоры и вспоминал о событиях в Большой долине. Разумеется, он сейчас не мог осознать всю глубину и сложность случившегося. На душе было тревожно, он не мог понять, с чем связано его смятение: причиной тому была то ли головокружительная встреча с прекрасной Айке, то ли предвкушение того, что скоро в его руке засверкает могучее оружие, способное поражать цель с любого расстояния независимо от силы и направления ветра, а может, это был страх, вселившийся в него с того самого дня, когда он на белый снег пролил кровь хозяйки воды и гор – Серой Козы. Не мог он знать и того, какое страшное потрясение ждет его впереди...

Кожожаш вытащил из курджуна сладости, шелковый платок, широким небрежным жестом, чем-то подражая Мундузбаю, бросил перед женой.

Калыгул вытащил меч в золоченых ножнах, вручил деду. Карыпбай обнажил его, полюбовался блеском великолепной дамасской стали, потрогал лезвие, нахмурился и отбросил в сторону.

¹ Когда невесту вводят в дом жениха, его родители набрасывают на ее голову платок, и если она не снимет его, значит, пришла по согласию.

² Молодой паре дарят жеребенка или теленка. Когда скотина наберет в теле, молодые увозят подарок к себе.

– Это был меч его деда, – сказал старец. – Плохая примета.
– Мы заработали его в честном бою, – сказал Кожожаш.
– Если друг подарил тебе нож – кончится кровью, – сказал Карыпбай.

Кожожаш насторожился, посмотрел на жену. Зулайка набросила на себя яркий платок, и на какой-то миг вместо жены перед ним предстала прекрасная Айке... Кожожаш налил себе и отцу рисовой водки.

– Жидкий огонь! Возвращает молодость, – пояснил Кожожаш. Отец медленно осушил деревянную чашу. Кожожаш ждал реакции.
– Кисловатая, – спокойно сказал старец.

* * *

Кашгарские купцы второй день ждали охотников в условленном месте – в старинной заброшенной крепости Таш-Рабат, расположенной высоко в горах, на пути к перевалу. В центре двора, обнесенного глухой глиняной стеной, были натянуты цветные шатры.

На сторожевой башне стоял стражник с подзорной трубой и всматривался в долину, откуда должна была появиться свита Кожожаша.

Толстый купец сидел у главного шатра. Перед ним была расстелена рисованная карта местности.

– Они живут где-то здесь. Путь лежит через Синий перевал. Дорогу знают только охотники, тайна пути передается по наследству, – вода по карте рукой, пояснял долговязый. – Мундузбай не хотел, чтобы Кожожаш имел огненное оружие, – осторожно заметил он.

– Мы – торговые люди. Для нас главное – выгодно продать свой товар, – сказал толстый купец.

– Имея равные силы, они начнут ссориться между собой, – оторвался от карты долговязый.

– Тем лучше для нас. Может случиться так, что они уничтожат друг друга, а эти горы и пастбища достанутся нам, – засмеялся толстый купец.

– Едут! – доложил стражник.

Вдали показался караван. Охотники ехали, навьючив на лошадей шкуры и мешки с пантами. Купец, приветливо улыбаясь, вышел навстречу. Охотники вывалили перед купцами коротенькие рожки

и разные шкуры. Толстый купец отобрал мягкие рожки, жесткие отбросил в сторону и снисходительно засмеялся:

– Эти, старые, можете забрать себе, – и кивнул слуге.

Тот принес ружье и бутылки с рисовой водкой. Кожожаш осмотрел ружье, передал дальше.

– Вы принесли стоимость одного ружья. Через месяц ждем вас здесь, – сказал долговязый.

Ударили по рукам.

* * *

Весь охотничий род собрался у дома Кожожаша посмотреть на диковинное оружие.

Над стойбищем кружил коршун. Кожожаш поднял руку. Грянул выстрел – птица упала к его ногам. Охотники начали рассматривать ружье, передавали из рук в руки, качали головами, цокали языками, удивлялись, восхищались.

Несколько мальчишек с собаками, крича и улюлюкая, бежали вверх по ущелью. На вершине горы по обеим сторонам узкой щели расположились охотники с луками и короткими дротиками. Кожожаш сидел на самом верху с ружьем наготове. Гиканье, свист, лай доносились снизу, шум быстро приближался. Вдруг на лужайку выскочили несколько пятнистых оленей и устремились вверх, туда, где притаились охотники. Полетели стрелы и дротики, животные начали падать. Сверху раздался выстрел Кожожаша, испуганные олени устремились вниз, но снизу поднялась целая свора собак и мальчишки с луками. Животные бросились в рассыпную по косогору, бежали прямо на охотников, а те метко поражали их стрелами и дротиками. Возвращались охотники с большой добычей, веселые и довольные, набив много козорогов и пятнистых оленей. Вдруг они увидели, что далеко внизу, у подножия хребтов, тянутся две струйки белой пыли.

– Брат Кожожаш! Чужие! – сообщил молодой охотник.

Всадник вел на поводу верблюда. Между двумя горбами расположилась женщина с ребенком. Касен поднял ружье и выстрелил в воздух. Всадник услышал выстрел и повернул на звук. Когда они подъехали ближе, все узнали Биялы и его жену Сонун. Верблюд был навьючен разобранной юртой и прочим домашним скарбом.

– Мы ушли от Мундузбая, идем к тебе, брат Кожожаш, – сказал Биялы.

– Как вам удалось бежать? – спросил Касен.

– Айке помогла. Она родила сына. Бай празднует рождение наследника, – сообщила Сонун.

Домой Кожожаш вернулся озадаченный и расстроенный. На встречу выбежал Калыгул, взял у отца ружье, начал играть с ним. Зулайка, приветливо улыбаясь, подошла к нему, взяла коня за уздечку, хотела что-то сказать, но муж, не взглянув на нее, молча ушел в юрту.

– Что с тобой, Кожоке? Ты не рад, что приобрел огненную стрелу? – спросила Зулайка, протягивая ему чашу с холодной джармой.¹

– Айке родила от меня сына, – ответил Кожожаш, не поднимая головы.

– Что? – женщина хотела сказать еще что-то, не смогла, побледнела, но тут же взяла себя в руки. – Мне все время снилась ведьма, – еле слышно произнесла она.

Кожожаш вышел из юрты.

Зулайка плакала. Калыгул стоял рядом и вытирал ее слезы.

– Ты видел ее? – спросила Зулайка.

Мальчик кивнул.

– Красивая?

Мальчик кивнул.

– Красивее меня?

Мальчик кивнул, а потом спохватился и отрицательно покачал головой. Зулайка обняла сына.

– Ты мой единственный! – зарыдала она.

* * *

Обломок луны, как золотая монета, разрубленная пополам, медленно плыл по мрачному небосводу, скользил сквозь тяжелые лохмотья рваных туч, всплывал среди голубых звездочек и повисал над Великими горами, бросая на землю тусклый желтый свет и длинные сумрачные тени.

Зулайка лежала в постели и ждала, когда все заснут. Несколько раз она хотела встать. Но не могла – то старик начинал кричать и

¹ Джарма – прохладительный напиток.

кашлять, то сын разговаривал с кем-то во сне. Но вот, кажется, все затихли, задышали спокойно и ровно. Женщина тихо поднялась, сняла со стены меч, юркнула за дверь. Она подошла к реке и, глядя на луну, помолилась, потом обнажила меч. При тусклом лунном свете сталь сверкнула холодным, зловещим блеском.

Зулайка приставила острие к своей груди, и в тот самый миг, когда упругая сталь должна была пронзить ее хрупкое сердце, раздался крик Кожожаша. От неожиданности Зулайка выронила меч, зарыдала.

– Как ты оказался здесь? – спросила она.

Кожожаш, не отвечая, целовал ее глаза, волосы, умолял простить его, плакал... Потом они сидели на камнях и слушали шум реки.

– Не дели свое сердце пополам. Забери ее с ребенком. У Калыгула будет брат, а у меня – сестра, – сказала Зулайка.

– О моя добрая! – Кожожаш опустился перед ней на колени.

* * *

По глубокому черному ущелью очертя голову мчался всадник. Опустив поводок, доверившись инстинкту коня, он скакал вниз, словно за ним гналась стая голодных волков. Это был Кожожаш. Он мчался в долину, где прекрасная Айке родила ему сына.

Золотой обломок луны вынырнул из-за черной тучи и осветил юрту Айке. Охотник осторожной привычной поступью «белого барса» подошел к двери. Айке лежала на спине и смотрела на далекие звезды, глаза ее светились материнским счастьем. Малыш причмокивал. Прижавшись к ее сладкой груди.

– Айке-е! – тихо позвал Кожожаш.

Айке вздрогнула. В страхе прижала к себе ребенка.

– Это я, – сказал Кожожаш.

Он раздвинул войлок юрты и смотрел на нее, ласковый и счастливым.

– Зачем ты здесь? – в тревоге спросила женщина.

– Отдай мне сына! – взмолился Кожожаш.

– Мое счастье должно быть со мной, – сказала женщина, закрыв лицо ребенка руками.

– Уйдем в горы, пока темно, – шепнул Кожожаш.

Айке покачала головой.

– Айке, ты не знаешь, что такое воля и синее небо! Будем жить вместе. Зулайка согласна!

– Мой сын – наследник Мундузбая, – ответила женщина. – Он объявил об этом всенародно.

– Это мой сын! Он кровный потомок «белых барсов», – сказал Кожожаш.

– Ты свое получил, – горько усмехнулась Айке.

– Айке, я не могу жить без тебя. Долгими ночами вместо звезд я вижу твои глаза! – взмолился Кожожаш.

Наконец женщина не выдержала и, забыв обо всем, бросилась в объятия любимого, начала целовать его.

– Мой милый! Мой единственный! Теперь уходи! Мундузбай все знает. Он убьет тебя! – взмолилась она.

– Мундузбай предлагал мне дружбу, – спокойно произнес Кожожаш.

– Он заманит тебя и погубит. Меня отравят, как только отниму сына от груди. Им нужен наш ребенок!

– Нет, нет! Этого не будет!

– Если мы уйдем к тебе, бай не потерпит позора. Он закупил ружья, – сообщила Айке. – Джигиты учатся стрелять. Они разорят твой род, а тебя убьют. Если Бегаим отравит меня, собери силы и отними у них нашего ребенка! – умоляюще сказала Айке.

– Я заполучу много огненных стрел и приду как враг. Я не позволю, чтобы чужие руки прикасались к тебе и моему сыну! – поклялся Кожожаш.

Где-то залаяли собаки. Ребенок заплакал. Кожожаш поднял малыша, несколько раз поцеловал. Кто-то приближался к юрте.

– Спасайся! – успела шепнуть Айке.

Кожожаш, как тень, мелькнул между юртами. Через некоторое время раздался топот копыт. В темноте грянули ружейные выстрелы.

Кожожаш мчался среди скал. Ему казалось, что он все еще слышит умоляющий голос Айке.

* * *

В каменном доме Сайкал-эне собрались все охотники. Здесь шел мужской совет.

– Братья, Мундузбай собирает силы. Он хочет убить нас, а наших жен и детей продать в рабство, – говорил Кожожаш. – Мы должны дать ему достойный отпор.

– Он купил у китайцев три ружья, – сообщил Биялы.

– У каждого охотника должно быть вот это! – Кожожаш поднял ружье и потряс им над головой. – Мы должны заготовить много шкуры и много пантов, иначе нас ждет гибель и рабство.

С этого дня в мирном кочевье охотников началась хлопотливая жизнь. Каждый хотел иметь свое собственное ружье, поэтому охотились дни и ночи: делали ловушки, ставили капканы, устраивали загоны, стреляли без разборки и без пощады – заготавливали панты и шкуры. Никто не знал истинных причин, побудивших Кожожаша готовиться к кровавой встрече с Мундузбаем. Привыкшие верить каждому слову своего доблестного вождя, «барсы» были уверены, что Мундузбай хочет напасть на них, разорить, женщин и детей продать в рабство.

Ночами Кожожаш смотрел в открытый тундук и вместо звезд видел прекрасные глаза Айке, ощущал теплоту маленького существа – своего сына, который соединил их на веки вечные. И хотя они были за высокими снежными вершинами, за крутыми перевалами и глубокими ущельями, так же, как и эти голубые звезды, из своего далека излучали свет, посылали к нему свое таинственное тепло, и оно проникало в глубину его сердца, лишало покоя и сна. Думая о своей будущей жизни, Кожожаш верил, что в доме его будут покой и согласие. Он надеялся на доброту преданной Зулайки на тонкую мудрость Айке. «Она умела мириться с коварной и бесплодной Бегаим – сумеет поладить и с безропотной Зулайкой», – думал он. «Приди как враг и отбери меня. Так поступают все, кто имеет власть и силу». Эти слова сказала Айке, и он запомнил их. Кожожаш не хотел кровопролития и братоубийства. Заполучив десяток ружей, он решил окружить кочевье бая и потребовать Айке и сына. Вождь «белых барсов» был уверен в том, что при виде грозного оружия мудрый Мундузбай не станет возражать...

* * *

Ровно в день второго новолуния, как было условлено, Касен с группой охотников прибыл в крепость Таш-Рабат. Четыре лошади были навьючены гибкими рожками пятнистых оленей, сыромятной кожей козорогов и косуль, великолепными шкурами снежных барсов, красных лисиц и куниц. Охотники были уверены, что на этот раз им удастся заполучить несколько ружей, но предпри-

имчивые купцы воспользовались отсутствием Кожожаша и под разными предлогами «взвинтили» цену, выдали всего одно ружье и много рисовой водки. Следующая встреча была назначена на конец лета, в день третьего новолуния. Купцы обещали привезти много оружия и много пороха.

В горах гремели выстрелы. Охотники ходили двумя группами. Одну возглавлял Кожожаш, другую Касен. Туши убитых пятнистых оленей гнили в ущельях, у ручьев на лужайках, – словом, там, где достигала их меткая пуля или свистящая стрела. Мясо козорогов терзали волки, грызли собаки, клевали вороны, грифы, тащили шакалы...

У каждой юрты на шестах висели туши вяленого и копченого мяса, сушились натянутые шкуры. Женщины и дети едва успевали засаливать добычу, хлопотали от зари до захода солнца. Так было в последние дни весны...

А в середине лета солнце опустилось так низко, словно хотело разглядеть каждую букашку, каждую травиночку, живущую на земле, и казалось, ночует оно где-то за снежными пиками далеких гор, и лишь на короткое время скатывается за склон ближайшего хребта, чтобы, едва передохнув, вновь повиснуть над стойбищем огненным, всевидящим, гневным оком. Мутная горячая пыль, как необузданный селевой поток, впадающий в лазурное озеро, медленно растекалась и застилала голубое небо; воздух становился серым и тяжелым, как свинец. Даже ночью жар проникал через войлок юрт, через тело, нагревал кровь, безжалостной хваткой сжимал дыхание.

Столетняя Сайкал-эне не помнила, чтобы в Великие горы приходила такая жара. На склонах хребтов пожухли травы. Утих могучий водопад. Теперь вместо мощного пенистого потока стекала мутная струйка. Начало высыхать Голубое озеро. Лишь на самом дне оставалось еще немного воды. Стаяли белые снега далеких вершин. С серого горизонта исчезли облака. Как будто и они, напуганные гремющими выстрелами, вместе с птицами и животными бежали в те края, где было тихо и прохладно.

Охотники группами и в одиночку ходили по лесам и полям и возвращались с пустыми руками. Разве что в капкан или силки попадется заяц или куропатка. Иногда кому-нибудь удавалось у самых ледников подстрелить заблудшего козерога, но довести его до стойбища было невозможно – беспощадное светило делало свое черное дело, и мясо становилось непригодным к употреблению.

Саяк целыми днями лежал у ног матери и скулил, как голодный щенок.

– В разгар лета у нас нет ни кусочка мяса. С утра до вечера – тарарах! Тара-раах! Уничтожили, распугали всех птиц и зверей. Обидели Серую Козу, – ворчала старая ведьма, выходила из юрты, невидящими глазами поворачивалась к востоку, ощутив горячее дыхание суховея, поднимала сухие, как саксаул, руки. – О небо! Дети мои испугали тебя гремящими стрелами! Прости их! Дай нам воду и пищу! – умоляла она.

В юрту падали косые лунные лучи. Кожожаш лежал с открытыми глазами и, как всегда, вместо звезд видел глаза прекрасной Айке и маленького сына. Вдруг он заметил, как отец осторожно поднялся с постели и на четвереньках пополз в сторону чыгдана – к углу, где хранилась пища, долго шарил там, нашел длинногорлую бутылку из-под рисовой водки, запрокинув голову, ждал, когда обжигающая капля упадет на язык...

– Отец, – тихо позвал Кожожаш.

Старик вздрогнул от неожиданности.

– У меня сохнет кровь! – хриплым голосом проговорил он. – Чувствую – осталось мне очень мало, духи предков зовут к себе. Найди каплячку жидкого огня, – взмолился он.

– Жидкий огонь кончился. Скоро приедут купцы, а у нас ничего нет. Животные бежали от засухи, – сказал Кожожаш.

– Спускайтесь в степи. Мясо сайгаков съедобно, а рога содержат мужскую силу, – посоветовал старец.

* * *

Охотники с гиканьем и криками гнались за стадом сайгаков – степных антилоп. Стадо было огромное и насчитывало, вероятно, несколько тысяч животных. Степь была открыта на все четыре стороны: ни кусточка, ни бугорочка, за которыми можно укрыться, – одни солончаки; охотники стреляли из ружей и луков на полном скаку, вдогонку. Падали сайгаки – одни от пуль, другие, не выдержав стремительного бега.

Над безбрежной степью зажглись звезды. Охотники расположились в жидком саксаульнике, разожгли костры. Разделывали туши, обрабатывали шкуры, засыпали солью.

– Брат Кожожаш, Биялы заболел, теряет сознание, – доложил охотник.

Биялы лежал на земле. Положив голову на седло. Он бредил.

– Ружье... дайте ружье... я хочу отомстить Мундузбаю за Сонун и за себя! Я хочу убить его, – кричал он в агонии.

Двое держали его за руки.

– Это от солнца... На ноги и голову положите что-нибудь холодное, – распорядился Кожожаш.

Охотники откопали из под песка бурдюк с водой, намочили тряпки, положили больному на голову и на грудь.

– Завтра двинемся за барханы. В саксаульный лес. Сайгаки ушли туда, – сказал Кожожаш.

– Брат Кожожаш. Надо возвращаться домой, – посоветовал старый охотник Бакас. Он с опаской смотрел по сторонам. – Я не нашел ни одной черепахи. Это не к добру.

– А может. Здесь и не бывает черепах! – возразил Касен.

– Дядя Бакас соскучился по своей старухе! – пошутил кто-то.

Охотники дружно засмеялись. Дядя Бакас обиженно махнул рукой и отошел в сторону.

Настала тревожная ночь дикой пустыни. Розовая луна медленно покидала звездный купол. На разные голоса выли степные гиены, но уставшие охотники спали мертвым сном. Только старый Бакас лежал с открытыми глазами.

По самой земле, поднимая скупую пыль, потянуло горячим ветерком. Тихо потрепало кончик его жидкой бородки. Старик насторожился, поднял голову, прислушался. Он уловил голос большого ветра, идущего где-то далеко в степи. Бакас разбудил Кожожаша.

– Брат Кожожаш. Начинается песчаная буря. Так было сорок лет назад, когда мы пришли сюда впервые. Мы потеряли трех джигитов и восемь коней, – тревожно сообщил он.

– Бей в добулбас, – распорядился Кожожаш.

Охотники начали седлать коней, грузить туши сайгаков.

– Надо уходить на юго-запад! – сказал Бакас.

Он посмотрел на предутреннее небо, провел глазами линию по трем звездам и указал направление пути. Охотники, слегка прищипывая лошадей, двинулись по степи.

Когда из-под земли вынырнуло кроваво-красное солнце, песчаная буря свирепствовала всюду.

На белых такырах не было ни пыли, ни растительности. Горячий ветер откуда-то гнал по степи тысячи круглых колючих кустарников, хлестал по лицу. Бил лошадей по глазам, трепал хвосты и гривы, рвал на людях одежду, мешал продвигаться вперед. И вокруг ни кусточка. Ни бугорочка, куда можно было бы спрятать голову.

– Смотрите, – вдруг крикнул кто-то из охотников.

Чуть в стороне сквозь песчаную мглу едва просвечивали силуэты каких-то строений...

Это были древние развалины глиняных стен. Всюду виднелись следы огня, черные ямы вырытых в землю очагов, тут и там белели кости людей и верблюдов. Однако развалины показались охотникам райским дворцом спасения. Они сняли с лошадей вьюки, сами расположились вдоль стен.

Буря бушевала два дня и две ночи. Вокруг ни воды, ни травы. Берегли каждую каплю. Две лошади подошли и лежали среди тюков, засыпанные песком.

– Дядя Бакас, – позвал Биялы.

Старый охотник поднял голову.

– Я не могу больше. Пойдемте, – сказал он.

– Куда? Дальше пустыня. Ветер. Надо ждать.

– Я не могу ждать... Я хочу пить и есть. Я хочу убить Мундузбая, – горячился Биялы. Глаза его лихорадочно блестели.

– Выпей мою долю, – старик подал ему маленький бурдюк.

Биялы жадно допил остатки воды, вывернул бурдюк и начал лизать влажную кожу.

– Теперь ложись, – приказал старик.

Биялы лег на свое место. Когда старый Бакас заснул, он подкрался к нему, взял лук со стрелами, пошел по направлению ветра и исчез во мгле. Утром охотники обошли все развалины. Каждый песчаный бугорок – Биялы нигде не было.

Ветер стих так же внезапно, как начался, и только сейчас охотники почувствовали страшное зловоние. Затыкая носы, они выкопали из песка вьюки: туши сайгаков и шкуры кишели червями. Закопав истлевшие туши лошадей, сайгачье мясо и шкуры, охотники двинулись в путь по солончаку. К вечеру они заметили, что далеко от них кружат грифы.

– Биялы погиб, – высказал догадку Касен, указывая на птиц.

Биялы лежал прижав к груди стрелы. Грифы успели обезобразить его лицо. Могилу начали копать ночью при луне. А когда взошло солнце, прах Биялы уже покоился под серым песчаным холмиком. Охотники провели ладонями по лицам и тронулись в путь, палимые беспощадным солнцем голодной степи. Лошадей оставалось все меньше и меньше. Они падали не выдержав зноя и жажды. Да и люди едва держались на ногах. Воду раздавали по норме: здоровым по глотку, больным по два. Те, кто был покрепче, шли пешком, коной вели на поводу.

* * *

Старая Сайкал сидела в своем каменном доме у огня. Вокруг нее расположились дети. Низким гортанным голосом она пела старинный сказ об охотнике и проклятии Серой козы:

– Постой же, охотник! – кричала Коза.
Послушай, что скажет несчастная мать.
Постой, не стреляй, во чреве ее
Жизнь зачата, неужели убьешь?
Дай ей материнского счастья вкусить.
Увидеть родное дитя, вскормить,
Прижать его к сердцу, обласкать...
Ведь ты человек! Ты должен понять! –
Умоляла Коза.
Охотник оглох. Не слышал Козу,
Он хищником стал, как волк, он рычал,
Натягивал лук свой, стрелял и стрелял! –

речитативом пела старая Сайкал.

Саяк лежал у ее ног и, как дитя, плакал навзрыд. Мальчишки слушали старуху, шмыгали носами.

Серая Коза поднялась на дыбы:

– Всевышним будь проклят весь род твой и ты!
Ты глух. Не услышал ты просьбы моей.
Весь род уничтожил мой, малых детей.
Я горькую чашу испила до дна.
На старости лет я осталась одна.
Остались с тобой. Нам обоим не жить.

Досель я просила – теперь буду мстить! –
– закончила старая Сайкал-эне, налила из котла воды, начала пить...

Наступила тишина. Дети сидели, боясь шевельнуться. Даже Саяк перестал плакать и смотрел на мать.

Над ними склонилась застывшая Серая Коза. В остекленевших глазах ее зловеще плясали отсветы костра.

– Иду-ут! – послышалось снаружи.

Девочка лет двенадцати вбежала в каменный дом.

– Сайкал-эне! Идут! – радостно сообщила она.

Мальчишки гурьбой выбежали на улицу и затихли: к стойбищу приближались изнуренные голодом и изможденные дальней дорогой люди. Они шли, поддерживая друг друга, как после кровавого побоища. Далеко позади одиноко плелся конь Кожожаша...

* * *

Засухе, казалось, не будет конца до тех пор, пока солнце не выжжет все живое, на вершинах Великих гор не испарится последний снег. Скала, где некогда шумел водопад, трещала от раскаленного солнца. Вместо Голубого озера зияла пустая высохшая чаша.

Утром старая Сайкал выходила из юрты. Смотрела в небо невидящими глазами, печально качала головой:

– Нет, не будет дождя!

Трескались раскаленные камни. Утихли муравейники. Глубоко в землю ушли насекомые. Горы опустели. Травы пожухли, сравнялись с серой землей. А солнце продолжало висеть над ветхими юртами охотников, посылая смертоносные лучи, и не было пощады живым.

Ранним утром к дому Кожожаша подошел молодой охотник.

– Брат Кожожаш, исчезла юрта брата Касена. Обыскали всю округу. Нет ни его, ни семьи, – сообщил охотник.

На том месте, где стояла юрта Касена, остался круг стоптанной травы, а там, где только вчера был очаг, слабо дымился обгоревший чурбан. Вокруг молча стояли охотники. Подошел Кожожаш.

– Он ушел к Мундузбаю, – сообщили ему.

– Ружье? – спросил Кожожаш.

– Унес с собой, – ответили ему.

– Предатель, – сказал Кожожаш и сжал ружье.

– Это Батма виновата, она увела его к своим родичам, – сказал один из охотников...

Кожожаш с ловкостью снежного барса прыгал с камня на камень. По висячим корням арчи скользил вниз, вплавь перебрался через горный поток, в какой-то миг голова его исчезла под белой пеной, но он выплыл, выбрался на другой берег, по крутому склону взобрался на хребет.

Внизу, в долине, шел Касен и вел на поводу тощего коня, навьюченного скудным скарбом. В седле сидела Батма с ребенком. Кожожаш соскользнул вниз, и перед Касеном выросла его грозная фигура. Кожожаш держал своего бывшего друга на мушке.

Касен протянул руку ладонью вперед.

– Кожожаш, пощади! Двое детей моих погибли от голода и стужи. Остался один, если умрет этот – род мой оборвется. Батма обезумела от горя, – сказал он.

Батма прижала к груди больного ребенка и глупо улыбалась.

– Ты предатель! – Кожожаш направил ружье в грудь Касена.

– Я хочу жить! – сказал Касен, опустил руку.

– Ты изменил дружбе и братству! – Кожожаш нажал на курок, но выстрела не последовало. Видимо, заряд отсырел, когда он перебирался через реку. Кожожаш перезарядил ружье – и вновь осечка. Он отбросил ружье в сторону, снял с пояса широкий кинжал и пошел на бывшего друга. Как на лютого врага.

Касен вмиг снял с плеча ружье, мягким выстрелом выбил кинжал, перезарядил, взял Кожожаша на мушку.

– Ты хочешь напасть на Мундузбая, нарушить клятву предков. Остановись. Пока рука твоя не обагрилась кровью человека! – потребовал Касен.

Кожожаш наклонился, чтобы поднять кинжал, но Касен выстрелил еще раз, и кинжал, сверкнув холодной сталью, улетел невзгод к куда.

– Это ружье добыто трудом всех братьев. Ты вор! – сказал Кожожаш. – Духи предков не простят тебя.

Касен вынул заряд, посмотрел на ружье, швырнул его к ногам Кожожаша, взял поводок коня и пошел дальше.

Кожожаш остался стоять на дороге с двумя ружьями. Без зарядов они были не страшнее двух палок.

– Ты уходишь как трус! – крикнул Кожожаш.

– Я не хочу братоубийства! – отозвался Касен.

* * *

Недалеко от юрты стоял маленький як Калыгула. Несколько охотников подошли к нему, похлопали по спине, зашли в юрту.

– Калыгул, – обратился к мальчику Калыс, – мать Сайкал говорила с богом. Небо не пошлет нам дождя, пока не принесем жертву. У нас нет ничего живого, кроме твоего яка, – виновато добавил он.

Калыгул заплакал.

– Ты же не захочешь, чтобы я и все твои друзья умерли с голоду? – убеждал сына Кожожаш. Мальчик перестал плакать. Яка поймали, привязали за рожки, привели к Калыгулу. Глотая слезы, он поцеловал своего друга, обнял за шею. Яка увели на лужайку. Старики сняли пояса, набросили на шеи, повернулись к восходу.

– О небо! Если род наш провинился перед тобой, виноваты мы. Прости нас, старых и грешных детей брэнной земли! Если нужна тебе человеческая жертва, забери нас и удовлетвори! Не трогай детей наших и внуков, дай им время цвести и продолжать род! Мы довольны, что ты создал нас, мы пожили, попили и поели, повидали судьбу, который начертал ты на лбу каждого. Зубы наши пожелтели и стерлись от времени, состарились тела и души наши! Забери нас к себе, о небо! Не дай нам увидеть смерть своих детей и внуков. Дай нам уйти раньше их. Не дай погибнуть животным и травам! Не пожалей капельку живительной влаги. Напой жаждущую землю, верни ей жизнь! О-о! Синее небо! – старики опустили на колени и воздели руки.

Охотники повалили яка на землю.

– О Святая Кайберен, не гневайся на детей моих и храни нас от беды. Наполни нашу Голубую Чашу водой! Пусть треснет земля – выйдет на свет зеленая поросль! Пусть лопнет вымя – полетится молоко! – взмолилась Сайкал-эне.

По иссохшей земле разлилась алая кровь. Над Великими горами поплыли черные лохматые тучи. Саяк смотрел на небо и глупо

улыбался. Тяжелая капля упала ему на лоб, покатилась по щеке. Юродивый засмеялся, как младенец, слизнул дождинку.

Упала вторая капля, третья... Сверкнула молния. Громыкнул гром.

Дети сидели в каменном доме Сайкал-эне, ждали, когда сварится мясо. Саяк исполнял танец одинокого стебелька: вот он лежит, изнывает от жажды и умирает. «Умирает» голова его, иссыхает тело, конечности, лишь один мизинчик руки пульсирует нервно и судорожно в такт затихающему сердцебиению, кажется, вот-вот оборвется и этот последний признак жизни. Но вот пошел дождь, и стебелек начал оживать так же медленно, как умирал, встал на ноги и... О небо! О солнце! О жизнь!

Саяк в одних штанах плясал под ливнем.

Мальчишки с Калыгулом, раздевшись догола, подражали ему и восторженно хохотали.

Огромные ленивые псы глодали кости.

Спустилась ночь. Заблестели мокрые скалы. В каменном доме Сайкал-эне спали дети.

Чуть свет первым проснулся Калыгул и услышал шум воды.

– Водопад! – крикнул он и тут же вскочил на ноги.

Дети выбежали из каменного дома.

– Водопад! Водопад!

Обгоняя друг друга, мальчишки и девчонки бежали к Голубой Чаше. Вперед мчался Калыгул. Саяк радостно скулил и ковылял за ними.

Добравшись до края котловины, дети замерли как замороженные. Там, внизу, голубело озерцо. Сверху низвергались жемчужные брызги. Вся долина была в ореоле яркой радуги. С разных сторон парами, в одиночку и с молодняком спускались козероги, пятнистые олени, косули, они жадно пили воду из Голубой Чаши, поднимали головы, раздували ноздри. Чуть передохнув, вновь припадали к долгожданной влаге жизни.

Калыгул вывернул свою одежду из козьей шкуры мехом наружу и на четвереньках пополз вниз по склону, другие мальчишки последовали его примеру. Дети подползли к Голубой Чаше, припали к воде и начали пить вместе с молодняком. Матки, видимо, приняли их за своих детенышей и вели себя спокойно. Напившись досыта,

Калыгул надвинул на лоб шапку, подполз к козленку с короткими рожками и сделал стойку, козленок тут же поднялся на дыбы, они начали бодаться и резвиться.

Саяк остался на краю Чаши и любовался игрой детей и козлят. Вдруг до его слуха донеслись звуки глухого барабана. Он поднял голову, заскулил, как щенок, и бросился к стойбищу.

Старый Бакас стоял на бугре и колотил в добулбас.

Из юрт выходили охотники, готовили луки, стрелы, звали собак. «Повезет ли тому, кто упустит пойманного зайца?!» – гласит народная мудрость, а тут само стадо пришло к порогу голодающих охотников.

Подбадривая друг друга радостными приветствиями и шутками, охотники двинулись в сторону Голубой Чаши.

– Стойте! – перед охотниками возникла слепая Сайкал. – Животные пришли к нам, чтобы спастись от сухой смерти, а вы хотите убить их?! Святая Кайберен не простит! – закричала старуха, расставив руки. Саяк скулил и плакал, прижавшись к матери, пытался что-то сказать, но взрослые не обращали на него внимания.

– Сайкал-эне! Нам нужны ружья и лошади. Мундузбай готовит нападение. Касен предал нас. Он покажет дорогу, – сказал Кожожаш.

– Я спущусь к нему, не допущу братоубийства! – сказала старуха.

– Он бросит вас в глубокий зиндан и будет кормить, как собаку! Благословите нас на охоту! – потребовал Кожожаш.

– Нет! Нет! Не-ет! – старуха замотала головой.

Кожожаш опустил ружье. Охотники затихли.

– Смотрите! – крикнул молодой охотник.

Большое стадо козрогов, поднимая пыль, спускалось вниз по склону. Кожожаш увидел животных, и в глазах его заиграл огонь охотничьего азарта. Он зарядил ружье и двинулся к водопаду. Несколько охотников пошли за ним, а потом двинулись и те, кто не решался идти без благословения старой матери. Охотники, обгоняя друг друга, бежали к водопаду.

– О Святая Кайберен! Мои дети пошли убивать твоих детей! Я не могу остановить их. Прости меня! – впервые в жизни зарыдала старуха.

Саяк прижался к матери и завыл. Мимо старухи и плачущего юродивого пробегали охотники с луками и стрелами. Впереди гудел и манил водопад...

Кожожаш вскарабкался на гребень и... замер. Вокруг Голубой Чаши безмятежно и спокойно паслись козероги, маралы, элики, резвились малыши, степенно ходили самки. Вожак стада старый Ала-Баш, раскинув могучие рога, стоял на бугре и тревожно поглядывал вокруг. Серая Коза, утолив жажду, лежала у его ног, устало жевала жвачку. В глазах Кожожаша заиграл огонь. Ему уже чудилось, как они бросают к ногам купца шкуры и панты, а взамен получают ружья. Много ружей. А потом в том же порядке, в каком шли ойроты, охотники идут на кочевье Мундузбая, только вместо луков и сабель у каждого ружье. Он знаками показал, чтобы охотники обошли чашу, прикрыли выходы и ждали сигнала. Кожожаш отыскал точку, откуда как на ладони была видна вся котловина и окрестности, деловито установил ружья, положил патроны, взял на мушку ближнего козла. По горам прокатился гром. Животные замерли, метнулись в разные стороны, начали падать один за другим: смертоносные пули настигали их и укладывали на землю. Два охотника едва успевали перезаряжать ружья. Животные бросились к кустарнику, но оттуда полетели стрелы и дротики. Дети, что играли внизу с козлятами, как только раздался первый выстрел, в панике бросились вверх. Помогая друг другу, они начали карабкаться по узкому ущелью вместе с козлятами. Калыгул помогал малышам выбраться из Голубой Чаши. Внизу металась Серая коза с двумя козлятами. Кожожаш уложил одного козленка, потом второго.

Глаза Кожожаша горели огнем. Он ничего не слышал, ничего не видел. Кроме добычи.

– Давай! Заходите справа! Гоните слева! Это наша последняя охота! – в азарте орал он и продолжал стрелять. Два проворных охотника наперебой заряжали ружья. Вскоре почти все стадо было перебито. Только у крутой скалы прижались друг другу несколько козлят и вожак стада Ала-Баш с Серой Козой. Кто-то из охотников пустил в них стрелу.

– Не надо, оставь их на развод, – сказал Кожожаш и первым спустился в котловину.

Ала-Баш вскинул могучие рога и ринулся на охотника. Кожожаш едва успел отскочить в сторону. Козерог пронесся мимо, развернулся и бросился вновь. Кожожаш выстрелил. Раненный вожак продолжал атаковать. Вторая пуля попала ему в сердце.

– Старый безумец! – сказал Кожожаш, снял с пояса кинжал, подошел к козерогу, чтобы снять с него шкуру, и...

Дикий вопль потряс небо – среди мертвых козерогов лежал и его Калыгул. На груди мальчика краснела маленькая дырочка.

Кожожаш колотил ружье о камни, рвал траву и грыз землю, а потом упал на труп сына и затих. Охотники молча стояли вокруг.

Саяк, рыдая и скуля, подвел старую Сайкал. Старуха ощупала Клыгула...

– Серая Коза отомстила за своих детей! – сказала старуха.

– Прости меня, мать Сайкал! – Кожожаш бросился к ногам столетней женщины.

– Ты проклят небом! – сказала старуха каменным голосом.

Охотники в страхе отступили от Кожожаша.

Саяк взял старуху за руку и увел прочь. За ней двинулись все другие. На поляне остался один Кожожаш с мертвым сыном, среди убитых животных.

Вокруг цвели красные цветы. Со скалы падал красный водопад. В Голубой Чаше бурлила красная вода. На багровом небе красное солнце уходило за красные скалы... Серая Коза ходила по поляне, обнюхивала мертвых козлят и плакала...

Кожожаш поднял глаза и увидел... женщину с необычными глазами. Рваные одежды прикрывали ее стройное тело. Это была Айке. Она держала за руку мальчика в козьей шубке. Она улыбалась. С груди ее сбегала алая струйка крови. Точно так же, как в тот раз, когда он ранил Серую Козу. Кожожаш поднялся и пошел к ней...

Временами Айке превращалась в обыкновенную Серую Козу. Из вымени ее струилось молоко. Серая Коза шла по горам, по долам, звала своих детей. За ней, как тень, шел Кожожаш. Он слышал ее блеяние и шел по крутым тропам, через высохшие русла рек, через еловые леса и колючие кустарники, через пески и болота. Вместо одежды – лохмотья. Борода, волосы – белые, взлохмаченные, красные глаза слезились от ветра и зноя. Он был страшен.

Серая Коза пядь за пядью поднималась по отвесной скале, увлекая за собой своего преследователя. Человек карабкался за ней. Вот она взобралась на вершину скалы, остановилась, словно ждала его. Кожожаш шел из последних сил, наконец, добрался до вершины. Вот она, Серая Коза! Совсем рядом, ее можно схватить голыми руками, свернуть рога, задушить.

Злая судьба! Коза стояла с изодранными боками, хромяя, жалкая, худая, беспомощная, но Кожожаш вместо нее видел Айке. Она улыбалась. Кожожаш лег на живот и пополз, как раненый змей. Серая Коза в отчаянии бросилась со скалы вниз, увлекая за собой лавину камней. Обратный путь был отрезан. Человек остался на маленьком выступе. Внизу – пропасть. Вверху – синее небо. Там парили черные грифы. Глаза у птиц зоркие, неподвижные. Они ждали добычу. Кожожаш схватил нож, ударил им по скале. Он откалывал куски гранита и продолжал стучать. Днем. Вечером. Ночью. Руки его были разбиты в кровь, нож изъеден. От скалы отлетали снопы искр.

Грифы спускались все ниже. Глаза их, хищные и неподвижные, не отрывались от умирающего охотника. А он продолжал высекал на граните то, что хотел сказать людям, пока жив. Солнце медленно поднималось из-за гор, осветило бездыханное тело Кожожаша, рюкзак ножа, рисунки, выбитые им на скале:

Солнце.

Человек.

Дымок, идущий из юрты.

Бегущие дети.

Козероги с могучими рогами.

Скелеты животных.

Солнце поднялось еще выше. На лужайке возле ручья Серая Коза облизывала двух маленьких козлят.

В небе парили орлы. Кругом царила сказочная гармония природы. Цвели цветы. Щебетали птицы. Шумел водопад. Голубая Чаша светилась в ореоле радуги.

Над горами звучали струны комуза, в мелодию которого вплелся гортанный голос столетней Сайкал-эне:

Ой, Карагул, мой верблюжонок!
Вот и нет тебя на свете,
Где мы найдем теперь тебя?
Ой, Карагул, мой верблюжонок,
Заставил сердце кровоточить.
Ой, Карагул, мой сосунок,
Зачем надел ты козью шкуру?
Шелохнулась там трава,
Дымок рассеялся едва,
К добыче бросился – о ужас!
Голова твоя мертва,
Когда я целился в тебя,
Почему молчала грудь?
Когда спускал курок ружья,
Зачем не дрогнула рука?
Ой, Карагул, мой сосунок!
Ой, Карагул, мой верблюжонок.

Голос древней женщины жутким плачем плыл над Великими холодными горами... Постепенно мелодия как бы ушла в глубину веков. Начал нарастать вой ветра. Скалу с рисунками замело снегом...

* * *

Вот какую грустную сказку сложил мой народ много веков назад, и дошла она до наших дней благодаря тому, что таит в себе глубокую мудрость. Ты хорошо знаешь, мой юный друг, что сегодня все добрые люди нашей теплой планеты стремятся сохранить чистоту воды и воздуха, жизнь людей и животных, плодородие нашей кормилицы Земли. Цивилизованный мир тревожно заговорил об этом только теперь, накануне двадцать первого века, но народ думал и заботился о природе еще в тот далекий период, когда не было на земле ни аэродромов ни полигонов, ни автомашин. Вовсе времена народ был мудрым, неутомимым творцом: создавал полные поэзии песни, сказки, легенды, эпосы и передавал их из уст в уста. Одним из таких творений является сказ об охотнике Кожожа-

ше, который вступил в борьбу с Серой козой, уничтожил все ее потомство. Серая Коза завела его в неприступные скалы и оставила его там навсегда. Так она отомстила за гибель своих детей – природа беспощадна к тому, кто пытается нарушить ее гармонию, обусловленную и сложенную миллионами лет.

Есть легенда и о другом охотнике, который в азарте охоты случайно застрелил своего сына. От этой легенды сохранился только плач-причитание. Известный кинорежиссер Т. Океев посоветовал мне соединить эти две легенды, и, как ты заметил, они легли в основу моего повествования. Я надеюсь, у тебя хватит великодушия простить меня, если сказка показалась тебе скучной.

Счастья тебе, мой друг!

1982 г.

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД

Холодный осенний ветер поднимал с барханов желтый песок, вьюжно кружил его над землей, с шуршанием сыпал на пожухлые кустарники верблюжьей колючки. Мрачные волны остервенело бросались на берег, откатывались назад, уносили с собой мелкую гальку, с окрепшей силой кидались вновь, разбрасывали в стороны легкие деревянные лодки, привязанные цепями к балке. Студеный ветер обдувал лица надгробных скульптур, свистел в размашистых рогах козорогов и оленей, прибитых к мавзолеям. Сквозь вой ветра и шторма едва слышался глухой стук. Шабашник местного значения по прозвищу Даке вел кладку «под расшивку». Стены небольшого кумбеза из белого силикатного кирпича были подняты почти на два метра. Даке торопился, поглядывал на черную тучу, которая угрожающе двигалась со стороны гор. Ветер мешал прикурить сигарету. Он чертыхался, грел под мышкой замасленной телогрейки озябшие руки и продолжал работать. Солнце закатилось за горы, на землю начал спускаться туманный сумрак.

– «Давай, давай, скорей, скорей!» А куда торопиться? Раз уж лег сюда, значит надолго, никуда он не убежит... «Не достроишь – не получишь». Ничего – достроим, получим, – бормоча себе под нос, Даке положил кирпич, выровнял раствор – на сегодня хватит, спустился вниз, отыскал черную бутылку, накрытую помятой соломенной шляпой, налил в граненый стакан вина, присел у недостроенной стены, медленно выпил, закурил «Астру»...

В этих краях Даке появился лет пять назад. Мало кто знал – кто он родом, откуда пришел – сам он не любил говорить о своей прошлой жизни, злился, когда его называли «чемпионом»... Собрались как-то на берегу шабашники, принесли с собой несколько бутылок фруктового вина, и кто-то предложил пари: давайте, мол, кто больше выпьет «с горла без дыху», тому ящик бормотухи.

– Ну, давай, лей, – на песок уселся самый толстый шабашник.

Вино налили в трехлитровую флягу. Толстый задрал голову, и красная струя начала журча исчезать в его раскрытой пасти. Глаза шабашника были стеклянные. Сам он напоминал бронзового Будду, разве что круглый кадык его двигался вверх и вниз, да одутловатое лицо его и толстая шея багровели все гуще и гуще, словно уровень красной жидкости поднялся со дна желудка до самого мозга. Наконец толстяк отбросил флягу и сделал вдох. Замерил остаток,

было выпито чуть больше метра. Начали пробовать другие, но мало кто поднялся выше шкалы пятисот, семисот граммов.

– Э-э, братва, тащите-ка мой ящик. Дыхалка-то у меня луженая. Недаром пел в опере «О дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить», – пропел толстяк силным басом, так, словно в рога-тулине его голосовых связок застрял пучок соломы.

– Давай, ребя, организму отдых нужен, тащите мой приз, – требовал толстяк. – А может, еще потягаемся? Кто? Давай!

– Давай! – сказал Даке, который до сего времени не подавал звука, а сам налил во флягу ровно полтора литра, сел на песок, расставил ноги и запрокинул голову.

– Лей, пока не кончится! – приказал он и открыл рот.

Кто-то из шабашников начал лить из фляги: пятьсот, семьсот, килограмм, полтора – фляга была пуста.

Некоторое время царила пауза: все были удивлены тем, как мог этот, с виду щуплый, парень выпить столько вина. Шабашники не обратили внимания на то, что кадык Даке оставался неподвижным – он знал методу.

Когда поехали в поселок и на велосипеде привезли ящик «яблочного», Даке, как говорится, вырубился начисто и лежал на берегу без каких-либо признаков жизни.

Но «чемпионом» его называли не только за победу над бывшим оперным певцом. Он действительно когда-то был чемпионом по боксу, имел титул мастера спорта международного класса... Даже в документах раймилиции, куда он нередко попадал, он проходил как Даке, хотя звали его Даирбеком Акуновым. Нанимаясь на шабашку, он тщательно высчитывал количество кирпича да какого: блок, полублок или силикатный, так как кладка одной тысячи стоила ровно столько, сколько стоит сам кирпич, вместе с авансом он просил бутылку ноль-семь в день и обед за счет хозяина.

Кладку он вел добротнo, работал, как правило, один: песок, воду, цемент и глину размешивал сам, за что, разумеется, получал дополнительную плату, был вынослив и силен, как сам черт.

Водку, как и всякий уважающий себя алкоголик, он не употреблял.

– Чистая сразу бьет по балде и быстро проходит. Бормотуха, она как долгоиграющая пластинка с хорошей музыкой, ходишь, балдеешь, а она звучит в тебе весь день, – говорил он.

Выложив стены дома, сарая, курятника или кумбеза (в этих краях надгробия, как правило, строили из белого силикатного кирпича «под

расшивку»), получив расчет, Даке отдыхал. Ровно в двенадцать ноль-ноль местного времени в белой сорочке и при галстукe, чисто выбритый, входил он в зал ресторана, садился на свое излюбленное место, заказывал завтрак, который по времени становился обедом, просил графин белого портвейна. Здесь его посещали друзья-собутельники, начинающие алкоголики, подсаживались любители пропустить стаканчик-другой за чужой счет. Даке не был ни скупым, ни щедрым, подсевшему он наливал из своего графина, когда сосуд пустел, ласково звал официанту по имени, просил наполнить, – и так до самого вечера. Сюда же приходили и те, кто хотел нанять его на очередную шабашку, договаривались о деле и времени.

В семь ноль-ноль на небольшой эстраде, увешенной липкими лентами для уничтожения назойливых мух, появлялись оркестранты и начинали играть современные мелодии. Часам к десяти, под самый занавес Даке подходил к ребятам, бросал на тарелку ударника красненькую, после чего звучала старая русская песня в стиле жестокого романа: «Пара гнедых». Это была дань памяти его покойным друзьям, которых он вспоминал в приличном хмелю. Песню эту он слушал, откинувшись на спинку стула, словно сидел на табурете ринга, и, может, ему мерещилось, что тот, чьей памяти посвящена эта музыка, обмахивает его мокрым полотенцем, массирует ему грудь и шепчет на ухо:

– Держись, малыш, последний раунд. Еще два левых прямых, и мы взяли...

Таким образом спустив в графин все, что было заработано за полмесяца, он брался за новую работу. Местные жители установили между собой очередь, ждали, когда кончится его «отдых», с тем, чтобы позвать Даке на шабашку.

Жил Даке во времянке, принадлежащей одинокой старухе, платил ей всего десять рублей в месяц, так как приходил лишь для того, чтобы переночевать. Рано утром он уходил либо на работу, либо к магазину, чтобы добыть бутылку на похмелье, как он говорил он сам, стабилизировать сердце, которое под утро колотилось с такой бешеной скоростью, что сводило судорогой руки, шею и диафрагму...

Выкурив сигарету. Даке откинулся на спину, расслабился как после очередного раунда. Проснулся он от того, что на лицо его упали крупные капли дожд. Со стороны гор напозлали тяжелые тучи.

Ветер усилился. Сложив в уголок ведра, мастерки, лопату и прочие инструменты труда, Даке надел штормовку, вышел на шоссе, пошатываясь от ветра и хмеля, двинулся в сторону городских огней, едва пробивавшихся сквозь густые глазища приближающейся машины. Показался ЗИЛ, груженный трубами. Даке помахал рукой, но тот промчался мимо.

Косой дождь хлестал землю. По мокрому шоссе мчалась белая «Волга». За рулем сидела миловидная женщина лет тридцати пяти. На заднем сидении, обняв ее за шею, – мальчик лет пяти. Машина бежала вдоль берега. Холодный ветер с дождем барабанил по лобовому стеклу. Женщина, видимо, торопилась, и не успевала притормозить на дорожных выбоинах.

Фары осветили белые стены, скользнули по памятникам и надгробиям.

– Мам, а что это? – спросил мальчик.

– Кладбище, сынок, – ласково ответила женщина.

Сноп света вырвал из тьмы мраморный бюст круглолицего человека.

– Мам, а кто это? – спросил мальчик.

– Памятник дяденьке.

– Который умер?

– Угу...

– А он хороший был?

– Не знаю, сынок. Может, хороший был, а может, нет, – ответила женщина, всматриваясь в дорогу.

– А почему памятник, если он был плохой? – не унимался мальчик.

Женщина улыбнулась и чуть не наехала на Даке, который неожиданно возник перед капотом, мокрый, пьяный, с распростертыми руками, словно задумал поймать машину.

– Идиот! – выругалась женщина и, едва успев вывернуть руль, промчалась мимо.

– А кто это, мама? – спросил мальчуган.

– Кажется, привидение... – ответила женщина.

– Он вышел из памятника?

– Видимо, сынок. Ну, довольно, ты положи под голову подушку и спи

– А еще долго?

– Скоро приедем, сынок...

Мальчуган достал маленькую подушку, деловито устроился на сидении, но тут же встал и опять обнял ее за шею.

– Мама, я боюсь привидения. Ложись со мной, – попросил мальчик. Женщина рассмеялась, обнажив красивые, ровные зубы.

– А кто машину поведет?

– Ой, я забыл! – спохватился мальчуган.

– Глупенький ты мой... – женщина прижала руку мальчика к губам, ласково потрепала его кудлатую головку...

Дождь беспощадно хлестал по лобовому стеклу, шоссе пересекали мутные потоки, бегущие с гор. Впереди показалось нагромождение сухого курая, щепок, верблюжьей колючки и прочего мусора. Машина подъехала вплотную, осветила фарами левую и правую обочины – всюду бурлила вода. Дорога была размыта. Бибина – так звали женщину – сдала чуть назад, видимо, решила проскочить через кювет, наполненный водой, укрепила мальчика привязным ремнем, сделала резкий рывок. Передние колеса вышли на другую сторону канав, но задние забуксовали и потянули назад. Бибина прибавила газу – задние колеса начал зарываться в мягкое дно и оседать. Женщина открыла дверцу – машина в полколеса стояла в воде. Выйти из этой ловушки без посторонней помощи было почти невозможно.

Бибина развернула колеса вправо вдоль кювета, включила мотор, машина чуть-чуть подалась, но продолжала буксовать...

Даже шел по центру шоссе, замерзший, протрезвевший. Сквозь струи косога дождя едва просвечивались огни портового города. Временами он оглядывался в надежде, что появится какой-нибудь транспорт, но тщетно. Дождь начался давно, и в такую погоду, да в ночь, мало кто осмелится выти на трассу...

Послышались звуки буксующего автомобиля.

Машину заносило то вправо, то влево, наконец она окончательно оказалась в кювете. На табло бензобака замелькал красный огонек, извещающий о том, что топливо на исходе. Женщина засучила штанины светлых брюк. Ветер чуть не вырвал открытую дверцу. Воды было почти до колена.

– Глубоко? – сочувственно спросил сын.

Бибина кивнула, посмотрела на далекие, мутные огни города. В уголках ее грустных глаз блеснули слезы. Она была в отчаянии, однако присутствие ребенка не позволяло ей расплакаться. Бибина решила попытать судьбу еще раз: завела мотор, включила переда-

чу, и вдруг машина медленно двинулась вперед. Она переключила скорость, но колеса тут же откатились назад, нажала на акселератор – послышался буксующий визг. Машина сдвинулась с места и медленно вышла из кювета. Бибина облегченно вздохнула, посмотрела в зеркало, чтобы поправить волосы и вскрикнула – в заднем стекле виднелось заросшее щетиной, забрызганное подколесной грязью лицо. И лицо это улыбалось. Бибина поняла, благодаря чьим усилиям выбралась из кювета.

Даже открыл правую заднюю дверцу, уверенный в том, что теперь его подвезут, хотя бы за оказанную помощь.

– Куда вас? – спросила Бибина, не глядя на незнакомца.

– Вперед... – махнул он рукой, сел рядом с мальчиком, снял мокрую шляпу, бросил на переднее сиденье. Женщина удивленно посмотрела на шляпу.

Белая «Волга» помчалась по мокрому шоссе. Женщина сосредоточенно смотрела вперед. Салон наполнился запахом винного перегара и дешевого табака. Бибина поморщилась и приоткрыла ветровую форточку.

Мальчишка посмотрел на незнакомца с удивлением и нескрываемым страхом и вдруг спросил:

– Дяденька, а вы привидение?

– Да, пожалуй... А как ты узнал?

– Мама сказала, – ответил мальчик.

Женщина невольно улыбнулась. Наступила неловкая пауза. Даже посмотрел на красивые волосы Бибины, разбросанные по плечам.

– Мама твоя верно сказала.

Женщина вдруг сняла ногу с педали акселератора и замерла, словно ждала еще одного слова. Машина покатилась по инерции. Мужчина погладил мальчика по голове.

– Она у тебя умница и машину хорошо ведет...

– Даирбек? – с волнением спросила женщина, не поворачиваясь.

– Бибина?

Машина остановилась.

* * *

– Да-ир! Да-ир! – редела толпа.

Во дворце спорта им.Ленина висело огромное панно с изображением поселка Дубосеково: на переднем плане советский воин со

связкой гранат ползет навстречу немецкому «тигру». На ринге, установленном в центре зала, шел традиционный матч на мемориал защитника Москвы Героя Советского Союза Дюйшенкула Шопокова.

– В синем углу экс-чемпион Соединенных Штатов Америки среди юниоров Джон Смит. На ринге провел сто пятьдесят боев, в ста сорока одержал победу. На мемориале Дюйшенкула Шопокова выступает впервые, – сообщил голос диктора.

Прозвучал гонг. Начался второй раунд. Негр стремительно кинулся на Даирбека, но тут же получил контрудар.

– А-а! – заревела толпа.

Джон Смит мужественно держал стойку, и ни один мускул не выдал его реакции. Как известно, черные боксеры умеют сносить удары. Даирбек уверенно пошел в атаку.

Бибина Абаева – спортивный врач спортобщества «Сейтек», совсем еще юная, в белом халате, в белом чепчике, сидела недалеко от ринга, рядом с судейской коллегией и аплодировала вместе со всеми. Кумир местных болельщиков Даирбек Акунов работал отчаянно, почти без пауз наносил удары, не давая сопернику опомниться. Но вот он пропустил сильный контрудар, потом второй. Он был потрясен, но держался на ногах. Публика притихла. Бибина, вся напряженная поднялась с места. Рослый, красивый мужчина лет сорока в шикарном костюме – зампред спортобщества Анвар Султанович, сидевший рядом, ласково похлопал ее по плечу, сказав тем самым, что для тревоги нет оснований. Однако негр наносил удар за ударом, зажал соперника в угол, заставил уйти в глухую защиту. Аскарбек Исманов – секундант Даира – заметался за рингом, пытался что-то подсказать. Судья остановил бой, попросил секунданта отойти подальше. Бокс! Эта секундная пауза придала Даиру силы. Он перешел в атаку и нанес противнику удар левой прямой. Это был его коронный удар. Смит слегка пошатнулся. Судья заглянул ему в глаза и начал считать по-английски. Негр опустил перчатки и смотрел, как загнанный бык. Он чувствовал, что рефери рано открыл счет, ноздри его свирепо раздувались, при счете шесть он поднял перчатки, ринулся в бой и начал наносить удары почти вслепую: по перчаткам, по корпусу. Даир, ловко парируя, ринулся в контратаку и пропустил встречный удар. Негр нанес серию. В глазах Даира поплыли круги, но тут прозвучал гонг. Даир побрел в угол, неуверен-

но переступая ватными ногами. Исманов подал стул, начал массировать ему грудь.

– Как ты? – шепотом спросил Исманов.

– Плохо вижу, – ответил Даир.

– Продержишься? – спросил Исманов.

– Не знаю, – ответил он, сплевывая воду.

– Может откажешься?

– Не знаю, шумит в висках.

– Да-ир! Да-ир! – скандировали болельщики.

Даирбек бросил взгляд на противоположный угол. Джон Смит сидел на своем табурете, широко расставив ноги, руки его лежали на канатах. Его секундант, такой же черный, только лысый, круглый и верткий, как барсук, молча брызгал на его смуглое лицо какою-то жидкостью из пульверизатора.

Исманов обтер боксера мокрым полотенцем, начал обмахивать.

– В красном углу неоднократный призер мемориала Шопокова, выпускник института физкультуры, мастер спорта Даирбек Акунов. На ринге провел шестьдесят семь боев, в шестидесяти одержал победу, двадцать из них с нокаутом, является кандидатом в сборную СССР. Его секундант экс-чемпион республики 50-х годов Аскарбек Исманов! – сообщил диктор.

Даир бросил взгляд на публику и увидел девушку в белом халате. Очертания ее лица прояснились. Девушка плакала, зажав рот руками.

– Что за кадр? – успел спросить Даир.

– Новый спортврач. Говорят, невеста Анвара Султановича.

Анвар Султанович, обняв девушку за плечи, что-то говорил ей на ухо. Но Бибина качала головой и продолжала плакать.

– А почему она ревет? – спросил Даир.

– Не знаю... В первом раунде смеялась, а теперь плачет, – ответил Исманов.

Бибина заметила, что боксер смотрит на нее, перестала плакать и вытерла слезы. Раздался гонг.

Даир еле заметно подмигнул ей синим глазом и вышел на бой. Публика взорвалась восторженными криками – поклонники, видимо, боялись, что Даир откажется от поединка и отдаст победу.

Негр решил ускорить развязку. Он бегом ринулся на противника, очень злой и свирепый. Даир пружинным, изящным движением

увернулся и успел нанести контрудар, зал взорвался аплодисментами. Он ловил взгляд девушки в белом халате. Она хлопала в ладоши как ребенок, и это, пожалуй, придало Даиру уверенности.

– Да-ир! Да-ир! Да-ир!левой!левой! – скандировал зал.

Теперь он был уверен, что победу не отдаст, а поскольку пошла вторая половина раунда, выбирал момент для левой прямой.

Однако Смит нанес ему два ощутимых удара. В глазах Даира вновь поплыли красные круги: он ушел в глухую защиту, вывернулся, вышел из угла пропустил еще удар. Судья открыл счет. Даир положил руку на канат, готовый рухнуть, посмотрел на девушку и вместо нее увидел белое смазанное пятно в красном ореоле. После счета «четыре» появилось очертание ее лица, а потом ее заплаканные глаза – значит, еще не все кончено, значит, есть еще силы. И он поднял перчатку к бою. Бокс! Даир начал лавировать. Собирает силы для главного удара. Теперь он проверял свое состояние по силуэту девушки в белом халате. Лицо ее было милое, доброе. Она застыла в немом ожидании чего-то очень важного и главного, держа руку наготове, то ли она хотела заплотировать, то ли хотела броситься на ринг и поднять, если он упадет. Остался один шанс – удар левой прямой, по очкам он явно проигрывал. Ну, ну! милый, иди ко мне. Нападай, посмотрим, что с тобой будет! Ну! чего ты вертишься перед глазами? Иди же, получи свое! Не может быть, чтобы ты свалил меня перед этой красавицей! – думал Даир и сам чувствовал, как свирепеет, и невесть откуда ему прибавляются силы. Джон Смит, видимо, чувствуя что упустил очень важный момент, несколько остудил свой пыл, начал уходить в оборону. В глазах его появилась грустная неуверенность. Он думал, что уложит соперника в начале раунда, но этого не случилось....

На табло оставалось полминуты, которые должны были решить исход поединка. Болельщики орали сплошным и бесконечным криком. Девушка в белом халате сидела, сжав губы, похожая на белую гипсовую статую, изваянную незадачливым скульптором в нелепой позе. Разве что ее глаза были очень теплые и светились материнской лаской и жалостью. Анвар Султанович своей крепкой рукой уверенно держал ее за плечи и улыбался, как добрый дяденька, приготовивший детям неожиданный сюрприз. Он был уверен, что Даир сейчас совершит то, чего от него ждут.

Диктор между тем вкратце рассказал о 28 панфиловцах, ценою жизни защитивших Москву, о Герое Советского Союза Дюйшенкуле Шопокове, о его жене, Герое Социалистического труда С.Шопоковой, о традиционном матче-мемориале. Даир взглянул на панно. Ему вдруг показалось, что немецкий танк, скрежеща металлом, идет прямо на него. Даир ринулся на противника. Удар! Еще удар! Крик толпы! Негр выдержал удары. Ну. еще чуть-чуть, выйди на левый! Ну, ну!

– Да-ир! Да-ир!

Удар! Стоп!!! Смит рухнул на пол. Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Смит не встал... Рефери поднял руку Даира.

Зал зашумел как горный поток.

Девушка в белом халате хлопала в ладоши, а глаза ее были полны слез...

В раздевалке друзья и болельщики целовали и качали победителя. Подошел Анвар Султанович, крепко пожал ему руку, поцеловал:

– Bravo, малыш! – ласково сказал он.

За его спиной показалась девушка в белом халате.

– Я должна осмотреть вас. Даир, – строгим тоном сказала она, профессиональным движением усадила спортсмена на стул, осмотрела его черный затекший глаз. – Не больно?

– Нет, – ответил боксер. – Розовые круги.

Бибина недовольно покачала головой. Даир вдруг взял ее нежную, красивую руку и поцеловал.

– Эй, эй, драчун! Дисквалифицирую. Это запрещенный прием! – незлобно пожурил Анвар Султанович.

– Спасибо вам, – серьезно сказал Даир, не отпуская ее руки.

В раздевалку ворвалась ватага кино- и фоторепортеров, корреспонденты радио и телевидения, местных печатных органов и газеты «Советский спорт».

– Скажите, Даир, что вы ощущаете, когда встречаетесь с сильным противником? – спросил журналист с микрофоном.

– Мне кажется, что на меня движется танк, – ответил Даир.

– А как вы оцениваете боевые качества Джона Смита?

– Смит великолепный спортсмен!

– Сегодня у вас был трудный бой. Не однажды вы были на грани поражения. Что вам помогло выстоять? – спросил корреспондент молодежной газеты.

– Спортивный врач, – вдруг неожиданно для самого себя ответил боксер.

Все засмеялись и посмотрели на Бибину, так как решили, что это шутка. Она стояла красивая, смущенная и улыбалась, как в сказке. Анвар Султанович держал ее за плечи.

– Если бы не она, я бы лежал на полу, – добавил Даир.

Так он впервые увидел женщину по имени Бибина, которая в дальнейшем и предрешила его судьбу...

В молодежном кафе «Барчын» оркестр играл старые мелодии в современном ритме. Немолодой, седеющий человек с подкрашенными усиками пел в микрофон. На небольшой площадке танцевала молодежь. В кафе вошел Даир в сопровождении своего секунданта Аскарбека Исманова и массажиста Алексея Трофимова.

Певец, заметив вошедших, тут же прекратил пение. Музыка притихла.

– Дорогие друзья, у нас в готях выдающийся спортсмен республики Даир Акунов! – сообщил певец.

Раздались аплодисменты.

– Его сопровождают экс-чемпион республики 1952-1953 годов Аскарбек Исманов и экс-чемпион республики 1954-1955 годов, ныне выдающийся массажист Алексей Трофимов, – добавил певец.

Прозвучали аплодисменты.

Даир шел между столами, счастливый, довольный собой, упоенный славой и вниманием. Девушки смотрели на него с восхищением, юноши с нескрываемой завистью. Следом шагали Исманов и Трофимов, гордые и довольные своим питомцем, его славой, его победами. Навстречу вышла заведующая залом, гостеприимно улыбнулась, убрала со столика табличку «Служебное место», усадила гостей.

– Только чур, не напиваться! – предупредил Даир.

– О' кей! – ответили старички в один голос, переглянулись и подмигнули друг другу.

К ним то и дело подходили юноши, завсегдатаи кафе, говорили слова восхищения по поводу последнего боя, просили автограф, иногда – откуда ни возьмись – появлялись бутылки водки, коньяка, шампанского. Алексей Трофимов щедро разливал принесенное, угощал всех, кто подходил к столу. Тут же увивались девицы в ярких нарядах, фамильярно гладили Даира по плечу, по голове. Он снисходительно хлопал и по рукам. Сам он почти не пил, разве что от-

пивал из большого бокала шампанское – он был опьянен своей славой, строго соблюдал спортивную диету, да и особой тяги не было к спиртному.

– Даирчик, подойди к нашему столу. Аксакалы зовут тебя, – попросил толстяк в сером костюме, при галстук.

Подходить к чужому столу было не в правилах Даирбека, но за тем столом сидели несколько пожилых людей сельского вида – пришлось подойти.

– Твои земляки рады твоим успехам, Даирбек, ты гордость нашего района! – сказал самый старший. – Выпей с нами.

– Спасибо! – Даир приподнял рюмку и поставил ее на стол.

– Ну выпей хоть рюмочку, – взмолился толстяк.

– Режим, – коротко ответил Даир и отошел.

– За восходящую звезду мирового бокса! За настоящего джиггита! – кричал Трофимов, опрокидывая одну рюмку за другой.

– Эй, маэстро! Давай нашу! – кричал в оркестр Исманов.

– Дорогие друзья, для наших знаменитых гостей исполняется старинный романс «Пара гнедых»! – объявил певец под восторженные аплодисменты.

– Пара гнедых, запряженных с зарею,
Тоших, голодных и жалких на вид,
Вечно бредете вы мелкой рысцою,
Вечно ваш кучер куда-то спешит –

запел он с цыганским надрывом, взял микрофон на длинном шнуре и медленно пошел между рядами.

Алексей Трофимов, захмелев, положил голову на плечо Аскарбека Исманова. Ему мерещились бои на ринге, в которых он побеждал тридцать лет назад. Исманов, обняв друга, отрешенно тянул сигарету, по его смуглому морщинистому лицу катились слезы.

– Были когда-то и вы рысаками,
И кучеров вы имели лихих.
Ваша хозяйка состарилась с вами,
Пара гнедых! Пара гнедых...

Даир танцевал на площадке, обняв девушку в коротком платье. У него не было воспоминаний, он жил и наслаждался минутой, купался в собственной славе и популярности...

В полночь они вышли из кафе и пошли по ночному городу. Старика едва держались на ногах, Даир вел их под руки.

– На ринге ты артист. Понял? Все смотрят на тебя. А ты притворись, что плучил нокаун. Противник думает, что ты вот-вот рухнешь, идет с открытым забралом. А ты ему – бац!левой прямой. А дальше: айн, цвайн, драйн! И... аут! – громко советовал Трофимов.

«Старость, как ночь, вот и нам угрожает, Говор толпы невозвратно затих», – не в тональности пел Исманов, отошел за дерево и начал мочиться.

Подъехала милицейская машина. Вышел сержант в сопровождении двух дружинников.

– Добрый вечер, граждане. Почему шумим? Документики? – потребовал сержант.

– Да ты что, друг? Нас не знаешь? – возмутился Исманов.

– Тихо, папаша! – успокоил сержант. – Вы нарушаете общественный порядок.

Дружинник взял Исманова под руки.

– Руки прочь! – Трофимов рванулся на дружинника.

Его тут же схватили и заломили руки за спину.

– Отпустите стариков, – сказал Даир.

– Даир, бей их! Чего смотришь? Это же мусора! – кричал Исманов, стараясь вырваться.

– Отпустите немедленно! Считаю до трех, – предупредил Даир.

Сержант свистнул. Из машины выскочили еще три милиционера.

– Ах, так?! Давай подходи! Только без огнестрельного! – Даир принял стойку, ударил сержанта. Когда размахнулся второй раз, сзади набросился дружинник, но тут же отлетел прочь. Подоспели другие милиционеры, приемом самбо опрокинули боксера, заломили руки назад.

– Не надо шалить, дорогой, будут неприятности, – сказал сержант.

– Отпусти! – приказал Даирбек, морщась от боли.

– Что, ручке вава, да? – спросил сержант.

Милиционеры повели всех троих к машине.

– Болваны! Это же Даир Акунов! – кричал Исманов.

– Тем более. Прошу воспользоваться нашими транспортными услугами, а там и познакомимся поближе, – очень вежливо сказал сержант, сплевывая кровь...

В два ночи Анвар Султанович позвонил Бибине.

– Что случилось, вы никогда не звонили так поздно? – в тревоге спросила Бибина.

– Твой любимчик попал в милицию, – сообщил Анвар Султанович.

– И что будет?

– Не разрешат ехать в Лондон. Ему дадут срок, а мне по шапке, – сказал Анвар Султанович. – а наше спортобщество еще раз станет героем фельетона.

– Что делать?

– Может, съездим к дяде твоему. Надо освободить немедленно. Утром будет поздно.

– Дядя уехал в Карловы Вары и будет только в конце месяца, – ответила Бибина.

– Жаль. Буду стучаться во все двери, иначе будет худо не только этим болванам, но и мне. В прошлом году мотали нервы из-за футболиста, а теперь этот... Ну ладно, спи! Извини, что разбудил. Целую тебя, – Анвар Султанович повесил трубку и начал поспешно одеваться.

В камере предварительного заключения Даирбек стучал в дверную решетку. Исманов и Трофимов дремали, сидели на полу, подперев друг друга спинами.

– Я вас слушаю, гражданин, – подчеркнуто вежливо сказал сержант, подойдя к Даиру.

– Выпусти! – потребовал Даир.

– В конце пятилетки.

– Кретин! – выругался Даке.

– Очень приятно... вот и познакомились, – учтиво отозвался сержант.

– Все равно отпустишь. – Даир начал колотить в дверь и вдруг затих – в узком коридоре показался Анвар Султанович.

Все трое прилипли к решетке и начали оправдываться.

– Мы не виноваты, Анвар Султанович! Выпили по кружке пива! Тихо шли по улице! Нас схватили! Начали крутить руки. Мы нико-го не трогали! – залебезили старики.

– Болваны! – сказал Анвар Султанович и прошел мимо, направляясь в кабинет дежурного офицера майора Князева...

– Да пойми ты, Владимир Степанович. – У нас международный матч. Дело государственной важности. Замены нет. Зачем нам ехать с заранее потерянным очком?

– Нет, дорогой Анвар. Я здесь бессилён. Ты сам подумай. Мастер спорта, знаменитость – и вдруг пьяный дебош на улице. Думаю, ты учил его боксу не для того, чтобы он напал на представителей правопорядка, – говорил майор Князев.

– Но Даир-то трезвый был, – вставил Анвар Султанович.

– Но разве он не знает, что милиционер личность неприкосновенная. Это минимум пять лет тюрьмы.

– Ну хорошо, можешь ты сделать так, чтобы дело не получило огласки?

– В девять сводка уйдет по всем инстанциям...

– Подержи хотя бы до десяти, – взмолился Анвар Султанович.

– Хорошо. Но едва ли что у тебя выйдет, – развел руками майор.

– Что поделаешь, такова наша жизнь, – улыбнулся зампред, вышел из кабинета, пошел по узкому коридору.

– Ну что, Анварчик, по домам? – прильнул к решетке Исманов.

– А вот этого не хочешь? – зампред сунул ему под нос кулак. – Кто ударил сержанта?

– Я, – ответили все трое.

– А дружинника?

– Я, – ответили все трое.

– Пьянчуги! Хоть бы врать умели! – бросил Анвар Султанович и пошел к выходу...

– В прошлый раз вот так же отпустили лучшего футболиста, товарищ полковник, а потом что он вытворил, вы знаете. Теперь лучший боксер. Каждый гражданин должен отвечать за свои поступки. Будь он хоть семь пядей во лбу. А мы их балуем, а себе выговора зарабатываем, – майор положил трубку, нажал на кнопку селектора. – Рахманов, зайди!

В дверях появился старший сержант Рахманов, отдал честь, вытнулся.

– Слушай, Рахманов. Звонки изо всех инстанций. Может, порвешь свой акт, а? Закроем это дело к чертовой матери.

– Как же, товарищ майор? Только вчера вы говорили о чести мундира советской милиции. Говорим одно, а делаем другое? – спросил Рахманов.

– Впервые наш боксер в составе сборной Союза едет за границу, защищать честь государства, понимаешь?

– Нас бьют по морде, а мы к ним с лаской и уважением? – возмутился сержант.

... Рано утром Анвар Султанович подъехал к дому большого начальника. Этот начальник был большим болельщиком футбола и бокса. Анвар Султанович долго извинялся пред ним и перед его супругой за столь раннее вторжение, объяснил положение, просил помочь вызволить Дaira Акунова, восходящую звезду мирового бокса из КПЗ. Большой начальник твердо не обещал, но сказал, что посоветуется с другим начальником, который был выше его.

В девять ноль-ноль Анвар Султанович же был в приемной того самого начальника, который был больше предыдущего большого начальника. Анвар Султанович умел говорить, убедить и добиться свое, не унижаясь и не теряя собственного достоинства.

В девять сорок пять у майора Князева загорелся глазок селектора.

– Слушаю, товарищ полковник. Хорошо, товарищ полковник. Наше дело подчиняться, но только в письменном виде, товарищ полковник.

Князев вызвал старшего сержанта.

– Вот так, дорогой Рахманов. Придется отпустить. Приказ...

– Я не потерплю такого оскорбления, товарищ майор. Я пойду к генералу! – возмутился Рахманов.

– Генерал не поможет. Указание дано сверху, – ответил майор.

Рахманов подошел к двери, за которой сидели заключенные, долго и угрюмо смотрел на них.

– Чего уставился, как бык на тореадора? – спросил Трофимов.

– По-моему, его рожа просит кирпича, – сказал Исманов.

Рахманов не отреагировал на оскорбление, не спеша достал из кармана ключи, открыл решетчатую дверь, тяжело ступая сапогами, ушел по длинному коридору, оставив заключенных в полном недоумении. Он зашел в дежурку, попросил лист бумаги и написал: «Заявление. Прошу уволить меня из системы МВД...»

Проступок Дaira и его друзей обсуждали на заседании комитета в узком кругу. Исманова и Трофимова было решено отправить на пенсию. Разбор поведения Дaira отсрочили до возвращения из Лондона. Гласное обсуждение и принятие мер административного наказания могло повлиять на оформление выездных документов, к тому же, зная крутой характер своего питомца, Анвар Султанович опасался, что Даир начнет горячиться, качать права и испортит все дела. Стало известно, что старший сержант Рахманов написал жалобу в Москву.

И вот после окончания сборов Даирбек Акунов стоял перед спортивным врачом Бибиной Абаевой. Внимательно осмотрев своего пациента, она усадила его на стул, направила луч лампы на глаза и недовольно покачала головой – в углу левого зрачка выделялась кроваво-красная ниточка.

– Что вы прочли в моих глазах? – спросил Даир.

– Этот глаз может подвести в первом же раунде, – ответила Бибина.

– Этот глаз я буду беречь как зеницу ока!

– Это гораздо серьезней, чем ты думаешь, – сказала Бибина. – Можешь одеваться.

Даир оделся, присел рядом на табурет.

– Доктор, можно я посижу немного? – попросил он.

– Зачем?

– Просто так.

– Что ж, посиди, если просто так, – улыбнулась Бибина и начала заполнять журнал.

Даир сидел рядом и смотрел на нее, на ее тонкий профиль, руки и боялся, что сейчас откроется дверь и войдет Анвар Султанович.

– У вас сегодня нет тренировки? – наконец спросила она.

– Есть... но... я посижу.

– Смешной ты парень, – серьезно сказала Бибина.

Открылась дверь и вошел Анвар Султанович.

– Что-то долго длится ваш профосмотр, – как бы шутя заметил он. – Я вам не помешал?

– До свидания, спасибо, доктор. – Даир встал и вышел за дверь.

– Как у него дела? – спросил Анвар Султанович.

– Плохи, – ответила она.

– То есть как?

– Я не могу подписать ему медсправку. У него может начаться внутреннее кровоизлияние сетчатки левого глаза, – пояснила врач.

– Но у него есть еще один глаз, который здоровый, – возразил Анвар Султанович.

– Он может потерять этот глаз, – уточнила Бибина.

– Если не поедем, мы потеряем медаль. Вчера меня вызвали в райком. Предложили пост председателя с условием, что поправлю дела общества. Если вернемся ни с чем – не видать мне повышения, как собственного затылка, – признался Анвар Султанович. – Как видишь, для меня это весьма важно.

– Для меня важно здоровье спортсмена, – сказала Бибина.

– М-да. И зачем я взял тебя в свой штат! На свою голову.

– Я могу уволиться хоть сейчас! – вспыхнула врач.

– Ну, ну, только не сердись, – Анвар Султанович слегка обнял ее за плечи и поцеловал волосы. – Я понимаю, ты врач и по-своему права. Но в данном случае на карту поставлена честь государства, республики, и, в конце концов, моя личная честь. Ты же знаешь, каких трудов стоило мне вырвать его из милиции. Я же был у самого-самого, обещал привезти золотую медаль, только на этих условиях он согласился позвонить в МВД.

– Если не верите мне, могу пригласить окулистов, травматологов и провести консилиум, – предложила Бибина.

– Нет, нет, Биби, ни в коем случае! Это даст огласку и дойдет до инкомиссии, да и он сам может испугаться и не поехать, – сказал Анвар Султанович. – И тогда у нас будет артель «напрасный труд».

– Я не подпишу справку, – отрезала Бибина.

– Хорошо, хорошо. Ты не подписывай. В конце концов справку можем взять в общей поликлинике.

– Если я позвоню, никто вам не даст ее!

– Не кажется ли тебе, что ты слишком пристрастна к здоровью этого юноши? – спросил Анвар Султанович.

– Может, устроите сцену ревности? – вспыхнула Бибина.

– О, нет! Упаси аллах. Имею ли я на это право? – поднял руки зампред.

– Вот именно.

– Ну будет, будет, малыш. Только не сердись. Не хочешь – не подписывай! Только прошу об одном – никуда не звони. Твоя врачебная совесть чиста в данном случае, а остальное я улажу сам. – Он чмокнул ее в щеку и вышел.

Анвар Султанович каким-то смутным и далеким подсознанием почувствовал, что с его невестой что-то происходит. Но что именно, он определить не мог. Не смогла же она предпочесть ему этого зеленого, необтесанного юношу, который к тому же лет на пять младше ее. Подозревать ее в легком флирте не было оснований – Бибина была женщиной, как ему казалось, не только глубоко порядочной и серьезной, но и, как ни странно, умной.

В девятнадцать она вышла замуж, через два года поняла, что совершила ошибку, и ушла к родителям. Анвар Султанович встре-

тил ее год назад в спецполиклинике, уговорил перейти в спортобщество «Сейтек», где была перспектива написать диссертацию по спортивной медицине, обещал квартиру и прочие блага. Обещая жилплощадь, он имел в виду свою трехкомнатную кооперативную с паркетом и шикарной внутренней отделкой – он был старый холостяк и был уверен, что Бибина не откажет, когда он предложит ей руку и сердце.

Разговор с Бибиной об этом парне, ее нервозность действительно оставили не очень приятное чувство. Но Анвар Султанович был человеком деловым, и сейчас ему некогда было заниматься психоанализом: через неделю предстояла поездка в Москву, а далее в Лондон, куда он ехал в качестве представителя федерации бокса и откуда должен был вернуться с честью. Даирбек Акунов был козырем, на которого он делал ставку, и оформлением выездных документов он занимался лично сам. Перед выездом Анвар Султанович выступил по местному телевидению, многословно и уверенно говорил о предстоящем матче, выразил надежду, что его питомцы вернутся не с пустыми руками.

– Уверены ли в том, что Даирбек Акунов выйдет в финал и станет чемпионом? – спросил корреспондент.

– Даирбек Акунов – замечательный спортсмен, выносив, мастерски владеет тактикой боя, хорошо подготовлен, но все зависит от того, как подготовлены наши соперники и что скажет жеребьевка, – уклончиво ответил Анвар Султанович.

* * *

В Лондоне Даирбек Акунов был героем встречи, отлично провел два боя. Боксера из ГДР он победил в упорной борьбе по очкам, пропустил два сильных удара, но слава богу, не по глазам, – левый глаз Даир действительно охранял как зеницу ока. Бой с филиппинцем остановили к концу второго раунда ввиду явного преимущества советского боксера.

В пресс-баре одной из фешенебельных гостиниц Лондона спортивные журналисты осаждали Даира: спрашивали о чемпионате, о системе спортивного обучения в Советском Союзе, об оплате за тренерскую работу, о бытовых условиях боксеров... Даир вместе с другими спортсменами сидел за столиком. Пил коктейль. Иные задавали вопросы на русском языке, другие через переводчика.

В пресс-баре появился Анвар Султанович с группой спортивных представителей. Даже здесь он выглядел джентльменом высшего класса, к тому же он почти в совершенстве владел английским – шутил, смеялся остроумно, как будто всю жизнь прожил в Лондоне.

– Не вздумай нарушать режим, – предупредил Анвар Султанович.

– Опкей, Анвар Султанович, – с иронией ответил Даир, ему явно не понравилось предостережение.

Анвар Султанович сделал вид, что не заметил иронию.

– Прошу прощения, джентльмены, – раскланялся Анвар Султанович и прошел со своими спутниками в другой зал.

– Этот джентльмен из вашего КЭГЭБэ? – ехидно спросил один из журналистов по-русски.

– Этот джентльмен – председатель нашей команды, – ответил Даир. Журналисты рассмеялись.

Один из журналистов заказал виски и предложил Даиру.

Даир поблагодарил и отказался.

– Я понимаю, над каждым советским спортсменом, как дамочков меч, висит страх перед начальством, – заметил журналист.

Его коллеги рассмеялись. Переводчик перевел.

– Передайте джентльмену-журналисту, что над нами ничего не висит. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что семь из десяти вышли в полуфинал, – ответил Даир.

– До вашего боя сорок восемь часов, – сказал журналист.

– Мы пьем после боя, – ответил Даир.

* * *

– Джон Смит вышел в полуфинал без боя. Войцеховский не вышел на ринг, – сообщил спортсмен, живущий с ним в одной комнате.

– Тем хуже для него – отозвался Даир.

– Бой состоится завтра.

– Золото все равно будет здесь, – Даир показал сжатый кулак.

Раздался телефонный звонок. Спортсмен поднял трубку.

– Виктор, он пришел? – спросил голос Анвара Султановича.

– Да, Анвар Султанович.

– Дай-ка ему трубку.

Даир сделал знак, чтобы Виктор не передавал ему трубку.

– Он спит, – соврал Виктор.

– Почему так рано? – с подозрением спросил Анвар Султанович, так как буквально минуту назад видел, как тот заходил в лифт.

- Не знаю, видимо, устал, – ответил Виктор.
- Он знает, что бой перенесен на завтра?
- Знает.
- Он в форме? – спросил Анвар Султанович.
- Да, – ответил Виктор.

Анвар Султанович знал хорошо крутой нрав Даира и его собственное самолюбие, сочетающееся с наивной, почти детской доверчивостью, а потому очень боялся, что тот попадет в какие-нибудь хитроумно расставленные сети падкими на сенсации спортивными журналистами. Серебряная медаль, считай, уже была в кармане, а вереди заманчиво поблескивала золотая. Главное, чтобы его спортивный подопечный не влип в какую-нибудь историю и в бою не пропустил роковой удар.

В республике уже третий год спортобщество «Сейтек» было под перекрестным огнем критики, в газетах то и дело появлялись публикации с упреком в адрес председателя, который уже и сам начал готовиться на пенсию, и Анвар Султанович был первым кандидатом на этот пост. От природы он не был карьеристом, любил спорт, работал с большой искренней отдачей, но его активная инициатива часто не получала поддержки у шефа – человека очень осторожного, консервативного, уставшего, а в общем – равнодушного к спорту. У Анвара Султановича были свои планы реорганизации комитета, перестановки кадров. Кое-что было задумано им по улучшению футбольной команды республики, которая чахла с каждым годом и в текущем сезоне опустилась до уровня колхозных команд соседних республик. Но при нынешнем руководстве руки его были связаны: председатель ничего не хотел, идти выше, минуя его, значит, ставить себя под удар амбиций: деятельность Анвара Султановича примитивные умы расшифровали бы как подкоп под свое начальство в карьеристских целях...

* * *

Стены холостяцкой квартиры Аскарбека Исманова были завешаны старыми фотографиями. Исманов на ринге, в бою, на пьедестале. Аскарбек улыбается девушкам, принимая от них цветы. На ринге рефери поднял руку Исманова. Исманов – рефери. Исманов – секундант. Исманов тренирует юных боксеров. Крупные портреты выдающихся боксеров прошлых лет: Джо Луис, Владимир Королев.

Портреты известных киргизских боксеров тех лет: Николай Клепцов, Николай Старчак, Борис Альперин, Сталь Тургунбаев, Октябрь Медеров, улыбающийся Щоцакас. Известный киргизский легкоатлет Тобокел Мамыров, борец Филипп Байман...

В углу старый обшарпанный диван. Тут же старая семиструнная гитара, заляпанная цветными женскими портретами. Под стеклом старого комода – кубки и призы, завоеванные Исмановым на ринге.

Исманов и Трофимов сидели у телевизора, смотрели прямую передачу из Лондона.

На ринге шел бой Акунова и Джона Смита. Даир явно выигрывал, Смит в основном защищался, получал замечания от рефери за пассивное ведение боя, за опасное движение головой, но в глухой защите уходил в угол, вел себя так, словно смирился со своим поражением. Болельщики улюлюкали, свистели, Смит посмотрел, увидел, что пошла последняя минута, и тут словно подменили его, резко бросился в контратаку, нанес серию ударов по корпусу, два из них попали в голову. Даир оступился, чуть не упал. Рефери открыл счет, хотя вроде нокдауна не было. Даир вновь бросился в атаку.– Молодец, мальчишка! Дури его! А потом левой.левой прямой, вот так! Молодец! – закричал Трофимов.

Даир попытался взять реванш, но один из двух ударов, видимо, попал в левый глаз. При левосторонней стойке правый глаз был прикрыт перчаткой, а левым Даир видел соперника в красном ореоле, расплывались черты его лица. Зал начал казаться бесформенной, расплывчатой массой. Смит, наверное, понял его состояние и, нанося удар за ударом, точно попадал в цель. Он был жесток и зол. Казалось, в этот бой он вложил все свои силы. Все свои обиды за себя, за свой народ, за свою расу, за то, что бог создал его черным, и он хотел утвердить себя человеком, личностью, лучшим боксером на земле!.. Даир чувствовал это, читал в глазах противника.

* * *

В квартире профессора Абаева смотрели телевизор. Бибина плакала точь-в-точь, как в матче на мемориал Шопокова. Рядом с ней в кресле сидел старый отец и следил за поединком, притаив дыхание.

– Ты чего реवेशь? – спросил он.

– Я не могу смотреть, когда его бьют по лицу, – ответила Бибина.

– А зачем смотришь?

- Боюсь, что попадут ему в глаз.
- И что, побежишь в Лондон спасать?
- Ах, папа, вы не поймете, – всхлипнула Бибина.

Негр наносил удар за ударом. Даир защищался, главное – выстоять, не упасть; левым глазом он почти не видел. Правосторонняя стойка была непривычна. Рефери видел его состояние и, согласно гуманной этике бокса, должен был открыть счет или прекратить бой, но он медлил, словно наслаждался тем, что двое, избивая друг друга, доставляют удовольствие зрителям, точно так же, как в древности гладиаторы, нанося друг другу смертельные раны, услаждали самодовольных римлян.

– Сука! Капиталист проклятый! Останови бой! – кричал Трофимов, глядя на экран, словно судья, который находится за тридевять земель, мог услышать его проклятия.

– Он убьет! Убьет нашего мальчика! – кричал Исманов, держась за сердце, ему казалось, что избивают своего собственного сына.

На экране мелькнуло лицо Анвара Султановича бледное и напряженное.

– Фрайер, бросай полотенце! – закричал Трофимов.

Секундант Даира, словно услышав крики из Фрунзе оглянулся на Анвара Султановича, готовый бросить на ринг полотенце. Но тот оставался спокоен и непроницаем, разве что при каждом ударе нервно дергалась некогда рассеченная бровь: до истечения раунда оставалось двадцать секунд – он ждал завершения боя.

Наконец судья остановил бой и начал счет.

Даир держался за канат. Перед глазами плыли красные круги.

– Уан! Ту! Фри! Фо! Файф! Сикс! Севен! Эйт! Найн! Аут! Зал гудел как горный водопад. Камера на секунду выхватила Анвара Султановича. Он платком вытирал пот со лба. Даир, пошатываясь, пошел в свой угол. Смит, побитый до неузнаваемости, но победивший и счастливый, побежал к нему, обнял за плечо, прости, мол, такова наша жизнь, и поцеловал. Даир вяло бросил перчатку на его спину и вышел за ринг...

– Это я... я во всем виновата! – сокрушалась Бибина.

– Причем здесь ты? – удивилась мать.

– Вы все равно не поймете, мама! – Бибина расплакалась и убежала в другую комнату.

Над городом повисли свинцовые тучи. Осенний ветер срывал с деревьев пожухлые листья. Шел дождь. На железнодорожном вокзале Исманов и Трофимов стояли под большим старым зонтом, с букетом цветов. Подошел поезд «Москва-Фрунзе». Встречающие бросились к вагонам. Вышел Анвар Султанович в шикарном английском костюме, в широкополой шляпе и с тростью. Его встречали представители спорткомитета. Он искал глазами Бибину, но ее не было.

Исманов и Трофимов дождались, когда уйдет Анвар Султанович, поздравляли спортсмена.

– Витя, а где Даир? – спросил Исманов.

– Он сошел на пригородной станции, – ответил Виктор.

Старики медленно побрели по осенней аллее.

В привокзальном ресторане, разукрашенном гипсовыми узорами, было тихо и уютно. Оркестр сегодня не играл, а потому посетителей почти не было.

Даир сидел за отдельным столиком один, мрачный и, как ему казалось, никому не нужный, да и сам он никого не хотел видеть, никого не хотел слушать, да и вообще хотел, чтобы его никто не узнал. Никогда он не чувствовал себя с толь одиноким.

– О-о, приветик, милый мальчик, с приездом, – воскликнула полная официантка, подойдя к нему.

«Узнала, идиотка», – подумал Даир.

– Муж мой очень болел за тебя. А когда ты проиграл, выпил валерьянку, – сообщила она. – Ужинать будешь?

– Принесите мне стакан водки, – попросил Даир.

– О-о, как же твой режим? – удивилась она.

– С режимом все кончено, – махнул он рукой.

Официантка принесла стакан водки.

Даир выпил ее, как холодную воду, и попросил еще.

– Больше не положено, – сказала официантка.

– Принесите, – попросил он.

– Ладно, принесу... Понимаю, тяжело тебе, но ты не падай духом. В следующий раз ты обязательно отлупишь этого Смита, – уверенно сказала она.

Второй стакан он пил долго, маленькими глотками, как горячий чай из железной кружки. Ему так было жаль себя, что на глаза невольно навертывались слезы. Жизнь ему казалась пустой и бессмысленной. Так тяжело он переживал первое в своей жизни поражение. Как теперь будут смотреть на него те, кто знал его и восхищался его силой и мужеством? И, самое главное, она – спортивный врач по имени Бибина. А жених ее, этот комильфо, теперь будет рассказывать о его поражении с видом большого специалиста по боксу. Рассказывать, может быть, в интимных обстоятельствах. Сейчас Даиру хотелось, чтобы рядом с ним был кто-то очень близкий и очень родной, чтобы можно было, как говорится без зазрения совести громко расплакаться, как это было однажды в детстве, когда он с матерью поехал в соседний аил, и там вдруг на него напали какие-то незнакомые пацаны и сбежали, не дав ему опомниться и хоть кому-то из них дать сдачи. Он плакал, спрятав лицо на груди матери, плакал горько и безутешно, плакал не от боли, а от сознания своего бессилия, долго всхлипывал, даже во сне.

Даир шел по пустынному парку, в плаще, без головного убора. Падали желтые листья. Подошел к автомату, и сам не сознавая того, набрал ее номер. Трубку поднял профессор Абаев. Даже повесил трубку, посидел на мокрой скамейке, подошел к другому автомату, позвонил: трубку подняла мать Бибины. Он повесил трубку и пошел дальше. Вот еще автомат. Даир набрал номер.

– Да! – это был ее голос. Даир прижал трубку к щеке и молчал.

– Даир... Это вы? Я слышу ваше дыхание. Я понимаю, вам сейчас очень плохо. Только не молчите, скажите, что вам плохо, и станет легче...

По щекам Даира текли слезы. Он был очень нетрезв.

– Будьте мужчиной. Надо уметь не толь побеждать, но и проигрывать... А знаете что, приезжайте к нам, познакомлю вас со своими стариками. Они у мен очень добрые, посидим вместе, сейчас Анвар Султанович подъедет... Але!..

Даир повесил трубку. Бибина, сделав то же самое, пошла открывать дверь – кто-то звонил.

Вошел Анвар Султанович – в белой шляпе, в светлом плаще, с огромным букетом алых роз. Бибина приняла цветы.

– С приездом!

– Ты меня не встретила, – он чмокнул ее в щеку.

– Плохо себя чувствовала, – ответила она.

– А я забеспокоился, думаю, может, случилось что...

– О-о, Анвар Султанович! С приездом! – воскликнул профессор, выйдя из своего кабинета.

– Здравствуйте, Азим-агай, это вам из Лондона, – Анвар Султанович поставил на стол шкатулку.

Старик открыл шкатулку и невольно залюбовался подарком. Это был дуэльный пистолет 18 века, красиво отделанный узорами из латуни.

– О-о, какая великолепная штука! Как вам удалось провести огнестрельное оружие через недремлющих таможенников? – спросил старик.

– Секрет фирмы в том, что огнестрельное оружие не стреляет, – засмеялся Анвар Султанович.

– Как же так случилось, что вашего кумира отлупцевал этот негр? – засмеялся профессор.

– У нашего кумира много гонора и мало опыта. Деревенский парень вдруг стал знаменитым и решил, что он гений бокса и оказался битым, – пояснил Анвар Султанович.

– Почему вы не остановили бой? – спросила Бибина.

– Я думал, он притворяется, ждет, как всегда, последних минут. Говорит, что плохо видел противника, – ответил Анвар Султанович.

– Я не прощу себе, – с досадой сказала Бибина.

– А причем здесь ты? – спросил Анвар Султанович.

– Его нельзя было допускать к матчу.

– Но тем не менее он привез серебро, которое...

– Которое очень нужно было вам! – вспыхнула Бибина. – Вы прекрасно знаете, что травма у него серьезная.

– Он защищал интересы государства, Бибина Азимовна, – пояснил Анвар Султанович. – Кстати, милиционер, которого он ударил, написал в Москву, из прокуратуры пришла телега. – сообщил он.

– И что теперь будет?

– Придется принимать меры.

– А если нет?

– Начнут таскать меня самого, что весьма сейчас нежелательно, – ответил Анвар Султанович.

– Да, да, для вас это, конечно, нежелательно, – вновь вспыхнула Бибина.

– Признаться, я считаю, что бокс – антигуманный вид спорта. Как это можно бить друг друга по мордасам, до потери пульса и получать от этого удовольствие? – вмешался профессор.

– Видите ли, профессор, сам бой не доставляет удовольствия. Но когда рефери поднимает твою руку, тут-то и наступает самое главное, ради чего страдал. Толпа шумит, куда ни глянь, а между лопатками струится нега победной славы... Впрочем, это ведь не только в боксе. Вот вы, например, пока писали свой основной труд, нажили язву желудка, но зато блаженствуете, когда вас цитируют другие, ссылаются на ваши страницы, хвалят, не так ли, профессор, а? – засмеялся Анвар Султанович.

– А вы знаете, Анвар Султанович, между прочим, я получаю большое удовольствие, когда меня ругают, – признался Абаев.

* * *

Вскоре, как и следовало ожидать, председатель спортивного общества «Сейтек» письменно заявил желание уйти на заслуженный отдых, и Анвар Султанович, разумеется, по праву занял его кресло. Все знали о его деловых качествах и о том, что по широте своего кругозора, умению работать с людьми и профессиональному знанию спортивного дела он на две, а может, и на три головы превосходил своего шефа, однако поди же ты, более двадцати лет прозябал в замах, хотя практические дела решал он – Анвар Султанович. Анвар Султанович давно имел свой сценарий перестройки спортивной работы и очищения комитета от устаревший и не оправдывающих свое назначение тренерских кадров. Эту работу он начал проводить на второй же день после своего назначения: отправил на пенсию трех тренеров, заменил завуча спортшколы, поставил на повестку дня дело Даира Акунова. Все, чего добился Анвар Султанович – это то, чтобы не возбуждали против нег уголовного дела, пообещав жалобщикам, что будут приняты самые строгие административные меры. Признаться, Анвар Султанович мог бы еще раз зайти в вышестоящие инстанции, побеседовать со старшим сержантом милиции Рахмановым, довести наказание до публичного извинения перед ним с последующим выговором, но поскольку после лондонского боя бывший кумир болельщиков бокса уже не представлял для отечественного спорта никакой ценности – врачи категорически запретили Даиру выходить на ринг – было вынесено ре-

шение о его дисквалификации. Как говорится, мавр свое дело сделал, теперь он был не нужен, и в прокуратуру ушло письмо о том, что «Даир Акунов за недостойное поведение, выразившееся в оскорблении чести мундира работника правопорядка, дисквалифицирован, выведен из состава сборной республики и Союза».

На третий день в молодежной газете появилась информация о заседании комитета и положении дел спортобщества «Сейтек», где, в частности, упоминалось дело Даира Акунова, как одно из негативных наследий прошлого. Если решение спорткомитета для Даира не было неожиданностью, то газетную публикацию воспринял, как запрещенный удар ниже пояса, и был уверен, что это дело рук Анвара Султановича, который специально настраивал корреспондента на то, чтобы тот как можно гуще мазал черной краской деятельность прежнего руководства, и закончил статью оптимистическими словами о том, что к руководству обществом, наконец, пришел человек, знающий и любящий свое дело, и что в спортивной жизни республики началась чуть ли не новая эра.

Трудно сказать, насколько был прав в своих подозрениях Даир, но доля правды в его догадках все-таки была. Во всяком случае, как говорится, не без того, ибо в подобных ситуациях мысль течет по руслу простой логики: все, было плохо, было плохо по вине бывшего плохого руководителя, а теперь все будет хорошо, потому что пришел хороший руководитель. В данном случае Анвар Султанович. А карьера Анвара Султановича, как говорят музыканты, шла по партитуре: в Лондоне, куда он ездил в качестве представителя федерации бокса, наши ребята выступили отлично, о матче хорошо писали почти во всех газетах, старик ушел на пенсию – он занял заветное председательское кресло, теперь на повестке у него стояла весьма серьезная акция – в свой шикарный дом он решил привести прекрасную хозяйку. И вот Анвар Султанович, заказав в зеленострое охапку еще не распустившихся алых и белых роз, надев свой парадный костюм фирмы «Мистер «Д», купленный в Англии, прибыл к Абаевым просить руку Бибины и договориться о предстоящей свадьбе.

* * *

В холостяцкой квартире Исманова старики оплакивали дисквалификацию своего юного друга. На столе стояла недопитая бу-

тылка красного вина, незатейливая закуска. Трофимов и Исманов слушали песню.

Мы нежность, мы нежность,
Мы вечная нежная друга друга... –

пела Анна Герман, словно знала, что именно эти дни будут слушать ее, хотя слова песни не очень вязались с фотографиями на стенах, изображающими бои на ринге, удары в челюсть, свирепые лица.

Аскарбек жестом показал другу, чтобы тот налил вина. Алексей Трофимов налил последние капли и развел руками, говоря тем самым, что это последнее...

Старики посмотрели друг на друга, тяжело вздохнули, выпили...

Трофимов поставил пластинку на начало и вдруг.... Дверь широко распахнулась, на пороге стоял Даир.

– Даир! Мальчишка! – старики бросились обнимать и целовать своего юного друга.

Даир поставил на стол две бутылки вина.

– О-о! – застонали старики.

– Уважаемые леди и джентльмены, выпьем за то, чтобы у Джона Смита отсохла рука! – поднял стакан Исманов.

– Пусть его хватит радикулит! – добавил Трофимов.

– Да здравствует Джонни Смит – лучший боксер мира в полусреднем! – Даирбек опустошил стакан.

– Сдурел! – в один голос заключили старики и не стали пить. Поставили свои стаканы на стол.

– Проклятье Анвару Султановичу! – крикнул Даир.

– Проклятье! Проклятье! Проклятье! – повторили старики, трижды стукнулись стеклянными гранями стаканов, опустошили «без дыха», поставили на стол вверх дном.

Даирбек взял гитару, провел по струнам.

– Набирайте номер! – приказал он.

– Давай ты! – сказал Исманов.

– Давай ты! – сказал Трофимов.

– Если не наберете номер – бутылки выброшу! – Даирбек открыл окна настежь.

В комнату ворвался прохладный ветер, дохнул осенним дождем. Старики набрали номер Бибины и, когда на другом конце провода послышался ее голос, протянули Даирбеку.

А он вместо ответа зычным голосом запел песню Тугельбая Казакова «В дождь». Я помню, как шли проливные дожди, как бил в лицо студеный ветер, и я сжимал в руках своих твои теплые ладони, – таков в переводе на русский, был смысл этой песни.

Косые струи барабанили по железным крышам. С черного асфальта поднимался пар...

* * *

Бибина в прихожей слушала трубку.

В столовой за накрытым столом сидели родители Бибины и Анвар Султанович.

– Я бы не советовала устраивать пышную свадьбу. Бибина была замужем, вы были женаты. Надо пригласить самых близких, – говорила мать.

– Я разделяю ваше мнение. Жамал Топоевна, – согласился Анвар Султанович.

– Когда вы предлагаете справить свадьбу? – спросил отец.

– В следующую субботу, – ответил Анвар Султанович.

– Но мы совершенно не готовы. – забеспокоилась мать.

– Все заботы я беру на себя, – сказал Анвар Султанович.

– Бибина, ты слышишь, свадьба в субботу! – сказала мать. – Почему ты молчишь?

– Сердится, что ее любимчика дисквалифицировали, – пояснил Анвар Султанович и вышел в прихожую.

Бибина передала ему трубку.

– Болваны! Опять напились, – возмутился Анвар Султанович, послушав трубку.

– Он пропадет с этими алкашами, – сказала Бибина.

– Это уже его личное дело, – ответил Анвар Султанович и положил трубку на рычаг.

– Его дальнейшая судьба вас, конечно, не волнует, – вспыхнула Бибина.

– Спорткомитет – не детский сад и не ЛТП, Бибина Азимовна. Нам нужны здоровые спортсмены, – ответил он.

– Анвар Султанович, Биби. У меня все остывает, – позвала мать...

* * *

Исманов и Трофимов, изрядно подвыпившие, надев перчатки, в домашних трусах и майках, имитировали бой на ринге.

– А помнишь, в Риге, на юношеских? – напоминал Трофимов.

Исманов тут же изменил тактику «боя», начал изображать побеждающего, Исманов ударом «бросил» его в «канаты». Трофимов «самортизировал» и перчаткой «угодил» в солнечное сплетение Исманова. Оба упали и лежали на полу до тех пор, пока Даир не подал им вина и закуску.

В дверь кто-то позвонил.

– Соседи! – Исманов на цыпочках подошел к двери. – Кто там? Пошел вон!

Звонок повторился.

Подошел Трофимов.

– Эй, кому говорят. Пошел вон!

Звонок повторился настойчивее.

Даирбек надел боксерские перчатки. Подошел к двери, готовый уложить любого, кто зайдет.

Звонок повторился.

– Открывай! – шепнул он.

Трофимов хихикнул, предвидя смешную картину, открыл дверь настезь, а сам спрятался. Но Даир, вместо удара, опустил перчатки, как при нокдауне. Наступила пауза. Исманов и Трофимов испуганно вышли из-за двери.

На пороге стола Бибина. Стройная. Строгая. Прекрасная...

* * *

Шел дождь. Белая «Волга» мчалась по ночному городу. За рулем сидела Бибина, рядом Даир.

– Куда мы едем? – спросил Даир.

– Ко мне... Только будьте умницей, не дерзите Анвару Султановичу, – предупредила Бибина.

– Остановите, – потребовал Даир.

Машина остановилась. Он открыл дверцу и вышел в дождь. Бибина медленно тронулась за ним.

– Даир, прошу вас, сядьте в машину, – попросила она.

– Я не хочу видеть вашего... друга, – дерзко ответил Даир.

– Хорошо. Хорошо... Садитесь... Куда же вы в такой дождь? Прошу вас... Давайте просто покатаемся, послушаем музыку...

Даир сел в машину. Бибина включила приемник.

Шел осенний дождь. Белая «Волга» колесила по городу. Даир спал, положив голову на откидную спинку сиденья. По лицу его пробежали цветные отражения городских огней.

* * *

В доме Абаевых горел свет. Старик видимо не выдержал и отпросился спать. За столом сидели Анвар Султанович и мать Бибины.

– Позвоните в ГАИ, вдруг что случилось... Не может же она столько мотаться по городу с пьяным. Напрасно вы отпустили ее, – упрекнула женщина.

– Попробуй не отпустить, – Анвар Султанович подошел к телефону, набрал номер.

– Алло, ГАИ?..

Белая «Волга» мчалась по окружной дороге. Из приемника неслась музыка. Замелькали дорожные знаки, требующие снижения скорости – 60 км, 40 км, 10 км, ПОСТ ГАИ. Навстречу вышел постовой, махнул полосатым, светящимся жезлом, отдал честь, представился, попросил документы. Бибина подала права и техпаспорт.

– Куда едем? – спросил постовой, принохиваясь.

– Катаемся... – ответила женщина.

Постовой открыл дверцу и поморщился.

– А это кто?

– Муж... Вас больше ничего не интересует?

– Вы, случайно, не выпили?

– Я еле стою на ногах! – вспыхнула Бибина.

– Язвить не надо, красавица. Мы на службе. А у нас в машине пьяный пассажир. придется задержать, – сказал постовой.

Из походной рации послышались гудки. Постовой взял в руки аппарат.

– Третий слушает... Да, задержал. За рулем женщина. Кто? А-а... Ясно. Есть! Как звать вашего пассажира? – спросил он у Бибины.

– Даирбек Акунов, – ответила она.

– Боксер?

– Он...

– Не забудьте позвонить домой! Там волнуются, – постовой вернул документы и взял под козырек.

– Вы же сообщили, этого достаточно, спасибо, – сказала Бибина и нажала на газ. Машина покатила по окружной дороге.

Белая «Волга» стояла на обочине горной дороги. Внизу зияла пропасть. Шумела река.

– Отвезите меня к Исманову, – попросил Даир.

– Вы не должны ехать к этим... опустившимся людям, – сказала Бибина.

– Но они выше того, кто привык зарабатывать себе славу чужими руками, увечьями, сотрясением чужого мозга! А того, кто не может на него работать, не выбросят, как недоеденный огрызок! – вспыхнул Даир.

– Даир, но есть люди, которые искренне заботятся о вас, – сказала Бибина.

– Имеется в виду ваш любовник? – спросил Даир.

– Нет! – еле сдерживая слезы обиды, ответила женщина.

– А-а, вы решили сыграть роль благодетеля, показать, что вы не только красивая, но и благородная! – сказал Даирбек.

– Ты... очень несправедлив, – Бибина вышла из машины, чтобы не расплакаться и пошла вдоль берега.

Послышалось, как открылась и хлопнула дверца машин. Ей казалось, что он сейчас подойдет и попросит извинения, но он не подошел. Из машины неслась музыка.

Дождь усилился, и женщине пришлось вернуться. В машине было пусто. Она переключила волну, посидела, послушала. Дождь усилился и перешел в ливень с мокрым снегом.

Бибина посигналила. Ответа не последовало. Помигала фарами, вышла, подошла к берегу.

– Даир! Вы где?!

Шумел дождь. Внизу, под кручей зловеще рокотал горный поток.

– Даир! Даирбек! – женщина заметалась по берегу, завела машину, включила фары, начала обшаривать светом окрестность. Она поняла, что произошло нечто страшное, круто развернула машину, помчалась к городу, и вдруг на самом краю пропасти, сквозь пелену дождя и снега мелькнула живая фигура. Бибина резко затормозила и бросилась к нему.

– Я... я сейчас видел свою смерть! Там, внизу, она звала меня твоим голосом! – глаза Даира были безумны, он дрожал в какой-то жуткой лихорадке.

– Успокойся! Это нервы! Ты много выпил. Сейчас все пройдет. Ты прости меня, я виновата, я... только не спрашивай. Почему. Пойдем в машину, там тепло. – Бибина вдруг обняла и начала целовать его мокрое лицо, волосы. – Ты... не падай духом! Ты должен выдержать! Победить свое поражение. Ты же сильный, мужественный. Главное – победить себя, слышишь, себя... самое главное – себя. Только прошу, не пей больше. Я тебя никому не отдам и ты выживешь – победишь. Только не отвергай моей... дружбы, слышишь!

– Биби, я не могу без тебя...

* * *

В кабинете председателя спортивного общества «Сейтек» виновато переминаясь с ноги на ногу, как нашкодившие пацаны, стояли Исманов и Трофимов.

– Позор! Чему вы учите молодежь?! – кипел Анвар Султанович. – В полночь, в нетрезвом состоянии звоните уважаемым людям, горланите пошлые песни! Устраиваете пьяные дебоши, избиваете дружинников! Из-за вас пришлось дисквалифицировать лучшего боксера. Скоро олимпийские! Кого мы выставим? Может, ты сам пойдешь, Исманов? Давай! Готовься! Может ты, Алексей?!

– Где ты был тридцать лет назад? – ответил Трофимов.

– Где был... Тут я был. Смотрел, как вы с Исмановым на ринге избивали друг друга до красных соплей! – отрезал Анвар Султанович. – А теперь, видите ли...

– Друзья, – вставил Трофимов.

– Событьельники! Вот вы кто! Где этот болван?

– Не знаем, Анвар Султанович. Она явилась и все... – сказал Исманов.

– В общем, так! Найдите его, живым или мертвым. Это первое. Второе, готовьте свои документы на пенсию! Хватит! Пора на отдых!

– Анварчик, мы же растили тебя. Дай еще годик! – взмолился Трофимов.

– Вопрос решен на комитете! – отрезал Анвар Султанович.

Старики обреченно побрели к выходу. Анвар Султанович набрал номер.

– Жамал Топоевна, Бибина вернулась? – спросил он.

– Нет, – ответила мать Бибины.

Анвар Султанович поднял голову. На пороге стояла Бибина.

– Извините, – Анвар Султанович повесил трубку. – Доброе утро, Бибина Азимовна, ну как. Искупила свою вину? – не без иронии спросил он.

– Искупила, – ответила Бибина.

– И на это ушла вся ночь?

– Полночи! – уточнила Бибина.

– И как мы будем жить дальше? – спросил он, стараясь быть очень корректным.

– Мы едем работать в сельскую школу, – ответила она.

– Вот как! А причем здесь ты?

– Я буду с ним.

– И в качестве кого ты будешь при нем?

– Жены...

Анвар Султанович долго не знал, о чем и как говорить.

– Но если не ошибаюсь, у нас с вами намечалась свадьба, мадам, – наконец вымолвил он.

– Выходит, у нас с вами свадьбы не будет, сэр, – в тон ему ответила Бибина.

– Что ж, мне остается пожелать вам только счастья.

– Спасибо, Анвар Султанович. Прощайте, – Бибина пошла к выходу.

– Биби, задержись на секунду, – Анвар Султанович вышел из-за стола, подошел к ней. – Не подумай, что я... говорю из чувства оскорбленного самолюбия, но этого парня я знаю с детства. Он не достоин тебя, никогда не выйдет в люди, в конце концов сопьется... Он безволен, – сказал Анвар Султанович. – Я не знаю, что ты нашла в нем... Да и вообще... К чему такая спешка? Узнай его как следует... Не ошибись второй раз...

– Анвар Султанович, послушайте на досуге эту пленку, – Бибина протянула импортную кассету.

– Что здесь? – спросил он.

– За меня вам ответит Расул Гамзатов, – пояснила она и, пока он не успел отреагировать, вышла за дверь.

Поздней ночью Анвар Султанович сидел у себя дома один. Перед ним стоял улыбающийся портрет Бибины, рядом полупустая бутылка дорогого коньяка. Из импортного магнитофона звучала песня на слова Расула Гамзатова.

Когда уходит женщина,
Никто ей не судья.
Когда уходит женщина,
Она всегда права...
Она уже уверена,
Что счастье впереди.
Она уже потеряна,
Назад ее не жди...

* * *

По проселочной дороге, оставляя за собой шлейф седой пыли, мчался красный мотоцикл. За рулем сидела Бибина в красной маске, в светлом джинсовом костюме, на заднем сидении Даир в голубой каске. Они промчались вдоль берега, въехали в аил. Остановились у добротного дома под железной крышей. На звук вышла старая женщина.

– О-о, мой родной! О-о, мой маленький! – запричитала она, узнав сына. – да закружусь я вокруг тебя – старуха начала обнимать и целовать сына. – Ай, Шайыргуль! Шайыргуль! Вот он, деверь твой! Вернулся живой, невредимый. А ты плакала – крикнула мать в сторону дома.

Из дома с грудным ребенком на руках вышла жена старшего брата Даира. Мальчик лет пяти держал ее за подол.

Даир взял мальчика на руки.

– Чего стоишь-то? Неси пиалу с чистой водой! – приказала старуха невестке.

Шайыргуль вбежала в дом, принесла пиалу с чистой водой.

Мать взяла чашу, обвела вокруг головы сына.

– Пусть все беды, все черное выльется с этой водой и останется за воротами, бисмилла уррахман урахим! – мать выбросила чашу за ворота. – Теперь проходите, миленькие, в дом. А это то за парень? – спросила она, наконец, обратив внимание на Бибину.

– Это – моя жена, апа! – засмеялся Даирбек.

– Кто? – опешила мать.

Бибина одним движением руки сняла каску, и красивые, пышные волосы рассыпались по ее плечам.

– Меня зовут Бибина, – сказала она.

– О! Что же ты не сообщил, сынок? – упрекнула мать.

– Так уж получилось, апа...

– Ой, ой! Как же это! Вот молодежь пошла! Ой, радость моя! Значит, так велел бог... Проходи, дорогая Бибина. Что же стоишь у порога. Будь хозяйкой в доме, – пригласила мать.

– Апа! А это? – Даир жестом показал, что на голову Бибины надо набросить платок.

– Ай! Ай! Совсем стара я стала. Забыла про все обычаи. Шайыр, носи платок! – засуетилась старуха. – Сообщи родичам. Что деверь твой невестку привез!

Шайыргуль оглядела невестку с ног до головы, резко повернулась и ушла в дом, со злостью ущипнула ребенка. Ребенок заорал благим матом.

– Ай, Шайыргуль! Ты что там застряла?! Неси скорей латок! Ты слышишь?

– Ребенок плачет! – огрызнулась Шайыргуль. Еще раз ущипнула бедного малыша и насильно дала ему грудь.

Не дождавшись снохи, мать забежала в комнату.

– Ты чего сидишь?

– Ребенка кормлю! – грубо ответила Шайыргуль и отвернулась.

Мать укоризненно покачала головой.

– Городскую привез! А моя бедная сестра четыре года ждала его. Какие люди сватались, а она ждала вашего сыночка, – сказала Шайыргуль.

– Ну что мы с тобой поделаем? Сердцу не прикажешь, – возразила мать. – Тихо ты! услышат...

– Пусть слышат. Неужели моя сестра хуже этой тонконогой выдры! Морда как у лисы. Сразу видать, хитрючая... Голову ей морочил. Приезжал на каникулы, одеколоны, чулки всякие привозил! – Шайыргуль всхлипнула.

Мать отыскала платок, вышла во двор, набросила на голову Бибины.

– Благословляю тебя, дитя мое. Будь счастлива. Пусть бог даст тебе полный подол детей, а мужу твоему здоровее и славу. Омин! – старуха провела ладонями по лицу и поцеловала невестку.

Бибина красиво поклонилась.

– Спасибо, дорогая! Да буду я жертвой вместо тебя. Жаль, отец не дождался, не увидел внуков от младшего. Пусть дух его благословит вас и покровительствует, – запричитала мать; видимо, невестка сразу понравилась ей...

В окно струился голубой лунный свет. Даже с Бибиной не спали.
– Ты не задумывался, почему кыргызы так любят детей, особенно мальчиков? – спросила она.

– Нет, – ответил он.

– Видимо, это сложилось исторически. Всегда воевали, защищали свои юрты, пастбища. Мальчики – это будущие воины. От них зависело продолжение рода, судьба народа.

В дверь тихо постучали.

– Даирбек, Бибина, брат приехал с джайлоо, – сообщила мать.

– Подъем, – сказал Даирбек.

– А это обязательно? – попыталась возразить Бибина.

– Старший... – Даирбек встал и начал одеваться.

Узак – старший брат Даира, мужчина средних лет, рослый, крепкого сложения, сидел за круглым столом, беседовал с молодыми. Шайыргуль, сжав губы, подавала чай.

– То, что вы решили работать здесь – это хорошо. А бокс? – спросил Узак.

– Бибина запретила мне выходить на ринг, – ответил Даир. – Я повредил себе глаз.

– Говорят, ты была замужем, – встала Шайыргуль.

– Какое это имеет значение? – вспыхнула Бибина.

– Для тебя не имеет. А для нас имеет. Деверь мой женится первый раз. Здесь у него была невеста, – с иронической расстановкой начала Шайыргуль.

– И у меня был жених, заботливые родители, хорошая работа, квартира со всеми удобствами, – ответила Бибина ей в тон.

– Вот бы и жила там! – продолжала Шайыргуль.

– Шаир, замолчи, – сказал Узак.

– Конечно, я же не человек, я рабочий ишак в этом доме. Шаир, накорми! Шаир, напои! Шаир, приготовь, а потом: Шаир, замолчи! – истерически затараторила Шайыргуль.

– Выйди вон! – приказал Узак.

Шайыргуль смолкла, вытерла слезы, ушла к себе.

Наступила неловкая пауза.

– Я приехала не для того, чтобы как-то устроить свою жизнь... Ради вашего брата я оставила старых больных родителей, – начала Бибина.

– Успокойся, Бибина... В этом доме я хозяин. Я рад, что мой братишка встретил серьезную женщину и будет в надежных руках, – заключил Узак.

Поскольку брат женился не на девушке, а на женщине, побывавшей замужем, Узак не стал устраивать пышную свадьбу. Вечером зарезали большого барана, созвали самых близких родичей, которые благословили молодых. Наутро Даирбек и Бибина с директором местной школы поехали в районо, а через день вышли на работу.

* * *

На школьной спортивной площадке выстроились ученики шестого «Б». Даирбек вел свой первый урок.

– Вопрос первый. Кто такой Карл Маркс? – спросил Даирбек.

Дети подняли руки.

Даирбек посмотрел в журнал: «Алиев!»

Вперед вышел толстощекий мальчуган.

– Карл Маркс – это друг Фридриха Энгельса, – ответил Алиев. – Ну, и это... Он написал большую книгу и стал основоположником марксизма-ленинизма, – ответил ученик.

– Молодец! А что сказал он о мальчиках и девочках?

– Он сказал... Он сказал, что дети капиталистов плохие, – ответил Алиев.

Ребята рассмеялись.

– Да? А я что-то не встречал такого высказывания. Ты что-то путаешь. А ну, ребята. Кто подскажет?

Дети были озадачены, так как никто из них не знал, что сказал автор «Капитала» об учениках шестого «Б».

– Он сказал, что мужчину украшает сила, а женщину – нежность. Отныне мы будем жить и учиться согласно всепобеждающей марксистской философии. К десятому классу пацаны должны быть сильными и мужественными, а девочки стройными и красивыми. Нет возражений? – спросил Даирбек.

– Не-ет, значит, подговорились. Мальчик в красной кофте с белыми ромбиками, шаг вперед, марш! – скомандовал учитель.

Вперед вышел аккуратный мальчик в красной кофте.

– Ты кто, мальчик или девочка?

– Ну, мальчик...

- У тебя есть сестренка?
- Ну, есть, – ответил мальчик.
- Подари ей свою кофточку, ладно?
- Она у него маленькая! – крикнул кто-то.

– Очень хорошо! Будет носить, когда подрастет. На мои уроки приходите только в спортивных костюмах. Кто не может достать, составьте список. Мужчина должен выделяться из окружающей среды не ярким оперением, а физической силой, мужеством, чувством юмора и сатиры. А ну, вот ты, мальчик. Подойди сюда, – подозвал он щупленького ученика.

Тот покорно подошел. Даирбек засучил ему рукава, пощупал хилые бицепсы.

- Что это?
- Рука, – ответил мальчик.
- А где мускулатура?
- Не знаю.

Ученики рассмеялись.

- Будешь заниматься штангой?

Мальчик кивнул.

– Иди на место. Подойди ко мне, – подозвал он толстощекого мальчика.

Тот подошел.

- Что это? – пошлепал он мальчика по круглым ягодицам.
- А вы что, не знаете? – дерзко спросил толстяк.

Дети дружно рассмеялись.

- Это жир и масло. Надо меньше кушать, больше бегать.
- А он еще плакса! – крикнула девочка.

– Отлично! Займемся боксом. А ну, покажи свой кулак! Великолечно. Первый удар – нокдаун, второй – нокаут! Будем?

Мальчик расплылся в круглой улыбке, учитель ласково пошлепал его по плечу и отправил на место.

- Девочка в зеленом платье, подойди ко мне...

Девочка подошла.

- Она хочет стать артисткой! – крикнул какой-то мальчишка.

– Отлично! Хочешь сниматься в фильмах Толомуша Океева и Болота Шамшиева? – спросил Даирбек.

Девочка смущенно опустила голову и молчала.

- Хочет! Хочет! – загалдели ребята.

– Чтобы сниматься в кино, надо быть очень стройной, держать спинку, красиво ходить. Ну-ка, выпрями лопатки. Художественная гимнастика. Согласна? Ну, вот и отлично. В общем так, ребята. Мне стыдно, что район наш по спорту занимает последнее место. Откроем секции, начнем восстанавливать спортивную честь района, области. Согласны?

– Согласны! – хором ответили дети.

В школьном медпункте Бибина с Шайыргуль (та работала здесь медсестрой) вели осмотр учеников. Бибина заглянула в горло девочки, повернулась на скрип дверей, и глаза ее засветились особым блеском – на пороге стоял Даир и счастливо улыбался.

Шайыргуль тут же ушла за ширму.

– Ну, как твой первый урок?

Даир показал большой палец.

– Ну вот! А ты боялся. Материал есть? – спросила Бибина.

– Отличный. Через пять лет читайте о нас в «Советском спорте», – ответил он.

– В девятом «Б» два мальчика для баскетбола, – сообщила Бибина, прошупывая железы на шее девочек.

– Рост?

– Один – сто семьдесят три, другой – сто девяносто... В восьмом «А» есть очень крепкий мальчишка для бокса. По-моему, будет в среднем весе. Фигурой очень похож на тебя.

– Молодчина, – Даир поцеловал жену в плечо.

С приездом Даира и Бибины большой двор отчего дома сильно преобразился. Появились спортивные снаряды: легкая штанга, перекладина, старый залатанный «конь», на пружине качался «торс».

Даир каждое утро в одних трусах и боксерских перчатках избивал «грушу», подвешенную к яблоне...

Из дома вышла Бибина.

– Ау! – ласково окликнула она мужа.

Даир подбежал к жене и чмокнул ее в шею.

– Ну! ну! – смутилась Бибина и глазами показала на мать, которая сидела в углу двора и чинила волейбольную сетку.

– Апа, – позвал Даир.

Старушка подняла голову. Даир демонстративно обнял жену, поцеловал. Мать невольно заулыбалась, она была счаст-

лива: у нее был красивый здоровый сын, добрая, отзывчивая и умная невестка.

Влюбленные, счастливые, они не заметили, что в окно смотрит Шайыргуль, смотрит с недоброй завистью. Не отрывая ребенка от груди, она подошла к спящему мужу, толкнула в плечо:

– Ай, Узак! Вставай! Сейчас бригадир твой придет, начнет орать, – грубо сказала она.

Узак поднялся. Почесал кудлатую голову, облизнул пересохшие губы.

– Башка трещит, как чугунный казан, – недовольно пробубнил он. – Дай что-нибудь жидкое.

– Тебе бы только жидкое! – недружелюбно огрызнулась Шайыргуль и принесла огромную кружку джармы¹.

Он начал пить, шевеля кадыком.

– Ни ласки, ни доброго слова, – проворчала жена.

– Ладно, ладно, старуха... Закончим уборку – погуляем в городе, – пообещал он.

– Нужна мне твоя гулянка!

– А что еще? – Узак огромной лапой погладил жену по плечу, провел вдоль ее спины и ниже.

Шайыргуль грубо шлепнула его по руке.

– Тебе бы только одно! – женщина явно была не в духе. – А как я тут живу, тебе и дела нет!

– А что случилось? – насторожился Узак.

– Не могу я смотреть на эту выдру, да еще работать с ней! Носится со своей беременностью. Ни стыда, ни совести! Лижутся при матери, как будто им постели мало. И в школе обнимаются при учениках, обнаглели... Гадина. Мало, дома хозяйничает, еще на работе гоняет меня то в аптеку, то в больницу, то в лабораторию, – раздраженно сказала Шайыргуль. Ей было обидно, что жена младшего брата фактически стала полновластной хозяйкой дома, и ни один важный семейный вопрос не решался без нее. Глава семьи Узак рассказывал Бибине о своих делах, советовался, что, безусловно, вызывало у Шайыр зависть и подсознательную ревность.

– Сестра моя Зинат приходила, плакала. Каково бедной девочке, – всхлипнула Шайыргуль.

– Она ничего не знает о твоей сестре, – возразил Узак.

¹ Джарма – напиток типа хлебного кваса.

– Рассказала... А она только плечом своим дернула худым и говорит: «А я здесь причем? Он ее бросил, ему и говорите».

– Может, сестра твоя поедет в город учиться – посоветовал муж.

– А стариков куда? Ты же не хочешь переехать к моим! А я уже не могу видеть с утра до вечера эту хитрюгу! – со злостью сказала Шайыргуль. – Как только родит –объявит себя хозяйкой и выгонит нас из дома.

– Эй, Узак! Поехали! – крикнул кто-то за воротами. – Ладно, старуха! Потерпи. – Узак вышел на крик. – Куда денешься? Родной брат... Весной начнем строить ему дом...

Даирбек и Бибина сразу стали любимцами учеников. Мальчишки старались подражать своему агаю по физкультуре, а школьный врач и тренер по художественной гимнастике стала идеалом девочек – они подражали ее манере одеваться, пытались перенять ее легкую изящную походку, интонацию голоса. На районной спартакиаде ученики Даира выступили в беге, в прыжках в длину и высоту, по футболу и боксу, а девочки по художественной гимнастике. Когда подвели итоги, выяснилось, что питомцы Акунова обошли другие школы на сотни очков. Заведующий районо объявил о том, что школа номер два завоевала первое место, и участники спартакиады награждаются туристической путевкой в Ленинград.

Мальчики и девочки бросились обнимать Даира и Бибину. Пацаны, как мартышки, облепили своего учителя, повисли на его плечах и шее. Даир счастливо улыбался.. защелкали фотоаппараты, и ему вдруг показалось, что он вновь стоит на ринге, рефери поднял его руку, внизу шумит и рукоплещет толпа.

Этот снимок вскоре появился в комсомольской газете. Внизу была короткая текстовая врезка об экс-чемпионе республики Даирбеке Акунове, у которого оказался чуть ли не врожденный талант педагога.

* * *

В один из дней к школе подъехала серая «Волга». Из машины вышел высокий, стройный человек в шикарном светлом костюме, в белой широкополой шляпе и черных очках.

Когда он вошел в медпункт, Бибина заполняла журнал, Шайыргуль возилась за ширмой.

– Анвар Султанович? – удивилась Бибина.

Он галантно снял шляпу, поцеловал ее руку.

– Даира нет... Повез своих мальчишек в Ленинград, – сообщила Бибина.

– Знаю, читал. Поэтому и приехал, – засмеялся Анвар Султанович.

Шайыргуль вышла из-за ширмы, сухо поздоровалась с гостем и ушла домой.

– Как вы живете? – спросил Анвар Султанович.

– Хорошо, – ответила Бибина.

– Не пьет?

– Ну что вы, Анвар Султанович. У нас уговор...

– Ты молодчина, Биби.

– Как ваши дела? – спросила Бибина.

– Открываем спортшколу-интернат, – ответил он.

– О-о... Поздравляю, Анвар Султанович. Вы добились своего.

Спасибо. Мне нужны надежные специалисты. Приехал уговаривать вас. Директорский оклад, двухкомнатная квартира, две машины «Волга», микроавтобус, тренерские часы. А тебе: ставка врача и тренерские часы по художественной гимнастике.

– Странно. Я никогда не думала, что вы приедете с таким предложением к нам.

– Для меня дело превыше всего, даже собственного самолюбия, – пояснил Анвар Султанович.

– Спасибо, Анвар Султанович, но Даир увлекся школьной работой, считает, что фундамент спортивной чести страны кроется именно здесь, день и ночь с ребятами, он их ни за что не оставит. На олимпиаду хочет выставить команды по всем видам.

– Вот почему я и приехал в его отсутствие, надеялся, что ты уговоришь, – сказал он.

– Это бесполезно, Анвар Султанович. Это я уж знаю точно...

* * *

– Такой седой, высокий. В белой шляпе... Сперва я думала, что это Суйменкул Чокморов. А она, как увидел его, вся зарделась, бросилась к нему, прижалась, – возбужденно рассказывала Шайыргуль своей сестре Зинат. – А он ей говорит: узнал, что муж в Ленинграде и приехал, а она...

Из дом вышла мать.

– Опять сплетничаете? – незлобно пожурила мать. – У них скоро ребенок родится, а вы все не уйметесь.

– Еще не известно, от кого этот ребенок! – бросила Шайыргуль.

– Язык вырву! – пригрозила мать. – А ты, Зинат, не мути чистый родник, и не ходи больше сюда, коли завидки берут!

– Бедный мой деверь. Он ведь ничего не знает... Как же это! – притворно зарыдала Шайыргуль.

– Что случилось? – испугалась мать.

– Что? Что? Любовник к ней приехал, вот что! – Шайыргуль подолом платья вытерла слезы и ушла в дом.

– Не верите, сходите сами, они там... – ехидно сказала Зинат.

Старуха замолкла, вошла в дом, принялась что-то делать, ее мучили сомнения, наконец, не выдержала, набросила платок, засеменяла в сторону школы...

На площадке ребята гоняли футбол, другая группа бросала мяч в кольцо. Бибина и Анвар Султанович вышли из медпункта.

– Ребята очень спортивные. В субботу вечером здесь собираются взрослые. такой гвалт стоит, как на стадионе, – оживлено рассказывала Бибина.

– Ну, молодцы! Ну, молодцы! – искренне радовался Анвар Султанович.

– Я рад за тебя, Биби. Вижу, ты действительно поставила его на ноги. Чувствую, скоро о вашей школе заговорят не только в республике. Кстати, буквально сейчас у меня мелькнула мысль. А что, если я зайду в Совмин с предложением открыть новую спортивную школу-интернат именно на базе вашей школы?

– Анвар Султанович, вы – гений! – обрадовалась Бибина.

– Завтра же зайду к руководству с предложением, вдруг дадут добро, – сказал Анвар Султанович.

– Только прошу об одном, Анвар Султанович, не приезжайте больше. Лучше будет, если вызовете Даира к себе. – попросила Бибина.

– А что, ревнует?

– Да нет... Дело не в нем...

– Хорошо, хорошо, я понял.

Подошли к машине.

– О-о, я вижу, вы не один, – сказала Бибина, увидев в машине красивую блондинку.

– Это Леночка. Врач. Я взял ее вместо тебя. Познакомьтесь, девочки, – отозвался Анвар Султанович.

Женщины кивнули друг ругу и улыбнулись.

Анвар Султанович чмокнул Бибину в щеку, и машина отъехала...

Старуха некоторое время стояла в нерешительности. Видимо, не знала, как поступить: идти ли к невестке и все выяснить, или же ждать возвращения сына. Оглянулась. У калитки маячили силуэты Шайыргуль с сестрой, наблюдали за ней. Мать пошла домой.

– Ну, убедились, кудагый²? – ехидно спросила Зинат.

Старуха молча вошла во двор.

– Виноват ли глаз, что увидел, виновато ли ухо, что услышало?
– злорадно хихикнула Шайыргуль.

– Дуры! – со злостью сказала старуха и ушла в дом...

Женщины победоносно засмеялись...

* * *

Бибина открыла калитку, вошла во двор. На тахте сидели мать, Узак и Шайыргуль. Видимо, обсуждали важный вопрос, связанный с Бибиной, так как все разом замолкли и уставились на нее.

– Что случилось? – встревожилась Бибина.

Ей никто не ответил.

– Если что-то с ним, говорите сразу, – взмолилась Бибина.

– Кто этот человек? – строго спросил Узак.

– Какой? – не сразу поняла Бибина.

– В белой шляпе! – уточнила Шайыргуль.

– А-а... это наш председатель... Анвар Султанович. Он зовет нас в город, – ответила Бибина.

– Правда ли, что он твой бывший... э-э... как тут говорят, – начал Узак.

– Жених? – подсказала Бибина.

– Ну, скажем так...

– Да, он хотел жениться на мне...

– Ну, права я? – обрадовалась Шайыргуль.

– Помолчи! – приказал Узак.

– А-а, теперь помолчи?! Стыдно вам! Позор хотите прикрыть свой! Ничего, вот придет деверь, узнает, посмотрю, кто тогда будет молчать! – разъярилась Шайыргуль.

¹ Кудагый – сваха

– Выйди вон! – Узак вытащил из-за голенища сапога камчу.

Шайыргуль шмыгнула в дом.

– Змею пригрели в доме! Сучка она, сучка!.. – крикнула она в приоткрытую дверь.

Узак энергично встал.

Шайыргуль смолкла и закрылась на крючок.

– Бибина, как бы там ни было: не забывай о чести нашей семьи, – строго сказал Узак.

– Байке, ваш брат знает обо всем, и мы с ним... никогда не думала, что вы... – у Бибины навернулись слезы и не дали ей говорить.

Шайыргуль открыла дверь.

– Здесь твои городские штучки не пройдут! – крикнула она. – Не видишь – она совсем бесстыжая! Выставила свое лицо, как тарелку, и спорит со старшим братом мужа. Не трать свои слова понапрасну, Узак! – советовала Шайыргуль.

– Позора мы не потерпим, – Узак встал и ушел в дом.

Бибина была ошарашена настолько, что не знала как быть и что делать. Подошла к матери, которая сидела молча, с каменным лицом.

– Апа, что же вы молчите?

Старуха ничего не ответила, вытерла скупые слезы и ушла в свою половину.

Бибина осталась одна...

Мать спала крепко и проснулась от стонов, доносившихся из соседней комнаты.

Бибина глухо стонала и корчилась на кровати.

– Что с тобой? – вбежала мать.

– Кажется, я умираю, – простонала Бибина. – Скорее в город. Я теряю кровь.

– Узак! Шаир! Бибина умирает! – мать постучала в дверь старшего сына. – Истекает кровью.

– Испугалась, что будет похож на другого, выпила отраву, – заключила Шайыргуль. – Стерва...

По шоссе, очертя голову, мчался «Москвич». За рулем был Узак. На заднем сидении корчилась и глухо стонала Бибина.

Впереди показался пост ГАИ. Вышел дежурный со светящимся жеслом. Узак включил аварийную мигалку, и, не соблюдая скорости, промчался мимо. Постовой быстро вернулся к будке, включил рацию.

– Шестой шестой! Я пятый! Я пятый! Прошел светлый «Москвич» с большим превышением скорости! – сообщил он и начал заводить мотоцикл.

Бибина затихла. Лицо ее было бледным, как полотно. Видимо, потеряла сознание. Узак погасил фары, прошел мимо шестого поста Гаи и оглянулся. За ним, сверкая огненным оком, мчался мотоцикл.

Через некоторое время машину преследовали два мотоцикла. Они догнали «Москвич», начали давать сигналы остановиться, но Узак мчался на предельной скорости. Один из мотоциклистов поравнялся с ветровым окном.

– Женщина умирает. Где роддом? – успел крикнуть Узак.

Мотоциклист обогнал машину, подавая сигналы тревоги, помчался вперед.

* * *

Бибина лежала в одиночной палате, бледная, очень слабая. За дверью слышался а укающий хор новорожденных. По лицу ее катились слезы. Пожилая медсестра сняла капельницу.

– Чего плачешь-то? Все уже позади, – сказала медсестра.

– А если он не выживет? – всхлипнула Бибина.

– Скажи спасибо врачам, что тебя спасли. А ребеночек твой выживет. Семимесячные выживают.

Вошла врач Людмила Терентьевна.

– Ну как дела, красавица? – спросила она.

– Плачет за ребеночка! – сообщила медсестра.

– Все будет в порядке, – успокоила врач.

– Это правда, Людмила Терентьевна? – она посмотрела в глаза врача.

– Ты должна это знать. Видимо, плохо посещала мои занятия. На что сдала мой предмет? – шутливо спросила врач.

– На «хор», – слабо улыбнулась Бибина.

– Вот-вот! И то, видно, по шпаргалке, – засмеялась Людмила Терентьевна. – Теперь закрой на секунду глаза. Теперь открой.

Бибина открыла глаза, и они засветились – в дверях, набросив на плечи короткий халат, стоял Даир.

Врач и медсестра тактично вышли из палаты.

– Как же это? Что же случилось? Может, ты подняла что-то тяжелое? Я же просил беречь себя! – Даир, опустившись на колени, целовал ее маленькие руки.

– Не знаю, что случилось, помню, что начала умирать, – по лицу ее покатались слезы.

– Ну, ну! Только не плачь! Главное – ты жива! А его спасут – у нас будет сын, – он целовал плачущую жену, и у самого невольно наворачивались слезы.

– Как ты узнал, что я здесь?

– Приехал, решил проведать твоих родителей. А они сообщили о тебе, – ответил Даир.

– Отец хотел дать тебе телеграмму, а я просила не сообщать. Боялась, что бросишь ребят и примчишься. Где они? – спросила Бибина.

– Отправил автобусом, с ними завуч, – ответил он.

* * *

Даирбек вышел из автобуса с чемоданом и спортивной сумкой, зашагал к дому.

– Байке приехал! Байке приехал! – выбежали навстречу дети Узака.

Он, подняв каждого на руки, поцеловал. Вышли мать и Шайыргуль.

– А тетя Бибина заболела! Папа отвез ее в город! – сообщил сын Узака.

– Знаю, – ответил Даир.

Мать и Шайыргуль переглянулись.

– Ты был в больнице? Как она там? – спросила мать.

– Сына родила, – сообщил Даир.

– Родила? Живой? – спросила Шайыргуль.

– Живой! – коротко ответил он.

– А когда ее выпишут? – спросила мать.

– Через неделю. Вот тут все для вас! – он вручил матери чемодан и ушел в дом.

Дети обступили бабушку тесной толпой, ждали, когда она откроет чемодан и начнет раздавать подарки. Сказав «бисмилля», мать открыла чемодан.

Дети завизжали и захлопали в ладоши – каждому из них нашелся соответствующий подарок: кому стреляющий пистолет, кому ди-афильм, кому кукла... Шайыргуль получила яркий японский платок, радостно засветилась, матери досталась пуховая шаль.

– А это, наверное, брату, – догадалась мать, доставая тяжелую коробку с запчастями к «Москвичу».

На самом дне чемодана лежал пухлый пакет с приданным новорожденному, погремушки, распашонки... Мать затихла и вздохнула.

– Бедный мой сын, – только и сказала она, положила пакет на место и закрыла чемодан.

Шайыргуль недовольно фыркнула и ушла к себе.

Несмотря на поздний час, вся семья сидела за низким круглым столом.

Даир был расстроен. Шайыргуль в мельчайших подробностях рассказала ему о посещении Анвара Султановича.

– Нет, не может этого быть! Я ей верю, – шептал Даир.

– А знаешь, что она хотела убить ребенка? – сообщила Шайыргуль.

– Как? – в ужасе отпрянул Даирбек.

– Боялась, что родится раньше времени, да еще в белой шляпе, – ехидно засмеялась Шайыргуль. – Вот и решила, да, видать, не получилось.

Даиру показалось, что ему нанесли сильный нокаутирующий удар прямо в сердце. Перед глазами поплыли красные круги.

– Как же теперь?

– Для мужчин честь дороже жизни, – сказал брат, наливая еще по одной.

– Может, хватит вам? – пыталась урезонить сыновей мать.

– Ничего, апа, горькое надо заливать горьким, не горюй. А для такого парня, как он, на каждый сустав руки найдется восемнадцатилетняя девушка, – тараторила расходившаяся Шайыргуль.

Даирбек опустошил полный стакан водки.

Глубокой ночью Даирбек пробрался в школьный спортивный зал. В сумраке вырисовывались силуэты спортивных снарядов. С потолка свисали гимнастические кольца. Они медленно и зловеще покачивались. Словно манили его совершить жестокий нелепый поступок. Он попробовал кольцо на крепость, начал искать табуретку, нашел ее. Свет от уличного фонаря освещал большие фотографии под стеклом. На одной из них мальчишки висели на его плечах и шее, а он улыбался, счастливый, влюбленный в жизнь и в свою Бибину. На другой – Бибина в окружении девочек. Она смеялась, и, видимо, была счастлива в эту минуту. Но в ее широкой светлой улыбке он увидел теперь обман и лицемерие. Даирбек взял хрустальный

кубок, со всего размаху швырнул в красивое, смеющееся лицо Бибины. Осколки стекла тонкого хрусталя брызнули ему на грудь.

Даирбек упал на маты и долго лежал вниз лицом. Ему мерещился последний бой с Джоном Смитом. Черный противник, злой и беспощадный, зажав его в угол, наносил удары. Толпа улюлюкала и неистово кричала. Перед глазами плыли розовые круги... Лицо Бибины. Анвар Султанович держал ее за плечи, она смеялась. Толпа гудела и скандировала имя Джона Смита.

* * *

Такси въехало в село, проплыло мимо школы. На спортплощадке дети гоняли футбол, бросали мяч в кольцо. Бибина подъехала к дому, расплатилась с таксистом, взяла сумку с пеленками, подняла на руки ребенка.

– Давайте помогу, – предложил таксист.

– Нет. Нет. Спасибо, – Бибина вошла во двор и увидела Шайыргуль.

– Что случилось? Где Даир? – в тревоге спросила она.

Шайыргуль ничего не ответила, подняла тазик с мокрым бельем и ушла в глубь двора. Из дома вышла мать.

– Апа, я принесла вам внука! – радостно сообщила Бибина, уверенная в том, что сейчас старушка бросится к ней, раскрыв объятия.
– Благословите его!

Мать открыла лицо спящего ребенка.

– Дай бог ему долгую жизнь, а тебе здоровья, – сдержанно сказала старуха и закрыла лицо малыша.

– А... где Даир? – упавшим голосом спросила Бибина. – Почему он не приехал за мной?

– Пьет, – мать смахнула слезы и отвернулась.

– Как пьет? Почему пьет? – Бибина хотела войти в дом.

Даир преградил ей путь.

* * *

– Здравствуй, милый! – Что случилось? Вот твой сын! Он выжил! Посмотри, какой он хоро... – и осеклась.

Даирбек смотрел на нее холодными, чужими, пьяными глазами и качал головой.

– Что? Неужели ты в чем-то сомневаешься? Ты что, мой глупенький! Мой хороший... Мой добрый... – она обняла его за шею. – Неужели ты поверил глупостям? Наберись терпения, выясни!

В какую-то минуту он поверил ее искренности, рука его невольно потянулась к ребенку, но тут он заметил укоризненный взгляд Шайыргуль и Узака, которые стояли на крыльце и смотрели на них.

Даир отвернулся от жены и коротко сказал: «Уходи».

– Что? – опешила Бибина.

– Байке! Объясните мне, что здесь происходит?

Вместо ответа Узак повернулся и ушел в дом.

Шайыргуль глянула на Бибину с видом победителя и скрылась за ним...

Даир вошел в дом. Вышел с бутылкой, демонстративно налил себе водки. Бибина подбежала к нему.

– Даир, прошу тебя, не надо... Ты ведь обещал не пить. Клялся нашей любовью! – взмолилась она.

– Какой любовью? Не было ничего! Был обман! А я – дурак деревенский, поверил твоим сказкам! – заорал он в истерике.

– Даир! Одумайся! Потом будет тебе стыдно!

– Бросил бокс, не стал чемпионом. Все из-за тебя!

– Если бы не я, ты бы ослеп и спился! – бросила она.

– Ослеп? Зато не видел бы его морду в белой шляпе! Меня избивали на ринге, а он сидел и ждал, когда меня убьют! А потом выбросил меня как огрызок! А ты! Иди к нему! Отнеси ему ребенка!

– Ах вот что? Теперь мне все ясно! – сдержанно сказала Бибина, тут же повернулась и пошла к выходу...

Бибина с ребенком и сумкой шла к остановке автобуса. По щекам ее катились слезы. Навстречу бежали школьники и громко здоровались.

– Доброе утро, эже! Поздравляем с малышом!

– Здравствуйте, ребята, спасибо! – отвечала она, глотая слезы.

Мать догнала ее самой остановки.

– Не уходи, Биби. Прости его... Это не он говорит... Это водка в нем говорит, – взмолилась старуха.

– Нет. Нет. Никогда! – жестко ответила Бибина.

– Он же погибнет без тебя, – взмолилась старуха.

– Это меня не волнует, – ответила Бибина.

С остановки мать вернулась одна...

Несколько дней Даир, как говорится, пил беспробудно – так он заливал свою горечь... Перестал ходить на занятия... Ученики каждый день приходили к дому своего любимого учителя, но им отвечали, что агай болен и не может выйти к ним. Лишь на пятый день он пришел в себя, умылся, побрился, пошел в школу, но провести занятие не смог. Ему все казалось, что сейчас откроется дверь медпункта и в темном проеме появится ее ладная фигурка в белом халате. Но ее не было. В понедельник директору школы пришла телеграмма от Бибины с просьбой подыскать на ее место другого врача. Утром Даирбек вместо того, чтобы идти в школу, поехал во Фрунзе.

... Даир нажал на звонок двери с табличкой «Профессор Азим Абаев»

– Кто там? – спросил голос Бибины.

– Я...

– Уходи, – сказала Бибина, продолжая кормить малыша грудью.

– Биби, прости меня... Я был пьян...

– Уходи...

– Бибина, будь человеком. Только покажи мне сына, и я уйду.

– Нет, никогда! – ответила Бибина.

– Не будь жестокой, Биби... Прости... Ты же добрая... Я не могу без тебя! – умолял Даир за дверью.

В какую-то минуту сердце ее дрогнуло, рука потянулась к рычажку замка.

– Почему шумите здесь в нетрезвом виде? – послышался строгий голос соседки.

– А вы что, поили меня? – огрызнулся Даирбек.

– Уходите немедленно, сейчас вызову милицию! – разозлилась соседка.

– Ладно, ладно... Сейчас уйду... – проворчал он.

Бибина готова была открыть дверь, но именно в этот момент Даирбек подошел вплотную к двери.

– Сучка ты жестокая! – прошипел он, и тяжелые шаги его удалились вниз по лестнице. – Ты еще пожалеешь.

Бибина стояла, прислонившись спиной к двери, прижав к груди плачущего сына... По лицу ее катились слезы...

Даирбек поднялся по лестнице дома в микрорайоне, нажал на звонок. Никто не ответил. Нажал еще раз. Из соседней двери вышла молодая женщина.

– Вам кого?

- Аскарбека Исмановича, – ответил Даир.
- Здесь другие живут, – сказала женщина.
- Как? А где он?
- Где ему быть? Там, разумеется!

– А где это?

- На кладбище. Помер ваш Исманов. Год назад. Вы что, не знали?
- Откуда мне знать? В газетах соболезнований не было...
- А кому соболезновать? У него же никого не было.
- А Алексей Трофимов?

– Он-то и хоронил своего друга, плакал сильно. Уеду, говорит, умирать туда, где родился, буду, говорит, как мамонт, лежать в вечной мерзлоте... С тех пор как воду канул...

Даир постоял немного, вытащил из кармана бутылку.

- Вы не хотите выпить со мной? – предложил он.
- За кого меня принимаете? – обиделась женщина.
- Да, да... Извините. А стаканчика у вас не найдется?

Женщина вынесла стакан.

Даир сел на ступеньки, налил полный стакан, выпил, посидел немного. В ушах начал звенеть шум поединка. Налил еще...

Ринг. Толпа шумела и скандировала его имя. Аскарбек Исманов обмахивал его полотенцем, что-то советовал... Бибина в белом халате, она плакала, зажав рот ладонями. Толпа гудела, как горная река... Бибина в розовом ореоле...

Кафе «Барчын». Даирбек, заросший щетиной, в помятой одежде, сидел в углу за столиком. Много изменилось в этом кафе. В оркестре изменились инструменты. Вместо гитар – электроорган, вместо трубы – саксофон. Оркестранты – молодые ребята, в красивой униформе. Здесь его теперь никто не знал. Он заказал себе графин красного вина, пил большим бокалом без какой-либо закуски. Оркестр играл современные ритмы, на площадке танцевала молодежь. Даирбек выждал, когда оркестр затих, пошатываясь подошел к эстраде.

- А где этот? – Даирбек жестом изобразил усики.
 - Маэстро? Он на пенсии, – ответил оркестрант.
- Даирбек протянул десять рублей.
- Что вам?

– «Пару гнедых», – попросил Даирбек.

Оркестрант бросил деньги в ящичек, кивнул коллегам.

Оркестр заиграл обработку песни в ритме твиста. Даирбек ждал, когда начнется песня, но она не последовала.

– А где песня? – спросил он, когда закончили играть.

– Не поем, – ответил оркестрант.

– Отдай деньги! – потребовал Даирбек.

– Тихо, товарищ, мы сыграли, что вы просили!

– Отдайте деньги! Это не то!

– Не шумите, гражданин! – предупредил ударник.

– Не шумите?! А вы как орали! А? Когда я за город! За республику! За государство! Честь защищал! Мордой своей! Печенью! Легкими! Кровоизлиянием глаза! Давай! Давай, Акунов! А-а-а! О-о-о! Как дураки орали!.. А теперь тихо, да? На цыпочках, да? Шепотом, да? А где мои гнедые! Пара гнедых, запряженных с зарею... Тощих, голодных и жалких на вид... Где они? – орал Даир.

К нему подошли два дюжих парня.

– Пойдемте, дядя, споем «Пару гнедых», – очень вежливо сказал один из них.

Они взяли Даирбека под руки, повели по узкому коридору, мимо кухни, мимо официантов с подносами, открыли дверцу и вытолкнули на улицу. Даирбек полетел через ступеньки и упал рядом с ящиком для пищевых отходов. Перед глазами поплыли красные круги.

– Да-ир! Да-ир! – скандировала толпа.

– Уан! Ту! Фри! Фо! – отсчитывал рефери.

* * *

Горел костер. Тяжелые волны медленно накатывались на песчаный берег. Над штормящим морем, над сумрачными силуэтами гор сияли вымытые дождем глубокие звезды. Мальчишка безмятежно спал в машине. Бибина молча смотрела на огонь. Даир, развесив на крючках кустарника свою мокрую одежду, полуголый сидел возле нее.

– На ринге я побеждал досрочно, ввиду явного преимущества, а в жизни я оказался слабачком и проиграл, как проиграл бой Джону Смигу... Я остался совсем один. Я приговорил себя к высшей мере через медленное самоубийство. Хотел сразу, но, как видишь, не смог... Пью, вспоминаю свои победы на ринге, лучшие минуты сво-

ей жизни с тобой... твоё лицо... – он взял её руку. – Руки у тебя такие же теплые и ласковые...

– Не надо об этом, – женщина осторожно высвободила руку.

– Я очень виноват перед тобой...

– Мы виноваты с тобой друг перед другом, перед нашим сыном... Перед своей судьбой, которая не состоялась... Любовь наша не выдержала первого испытания... Ты всегда нуждался в том, чтобы рядом с тобой был друг, человек, который сильнее тебя духом, а ты не сумел это оценить...

– Прости, если сможешь? – он обнял её колени.

Женщина сидела в немом оцепенении. Волны ласково накатывались на берег. Тихо шушала прибрежная галька. Рука её коснулась его седеющих, редких волос, а он прижал её трепетную ладонь к своему лицу и... заплакал горько и безутешно.

– Ну, ну, не теряй мужества...

– Я в нокдауне, а судья отсчитывает время... Еще удар, и я никогда не встану. Это последнее...

Голоса их перешли в отчаянные крики чаек, шум прибоя...

Солнце поднялось над лазурной гладью, рассеяло матовое море, упало в море и рассыпалось мириадами алмазных бликов. Даир с разбегу бросился в студеную воду, вынырнул далеко от берега и закричал, что есть мочи, оглушая окрестность:

– Би-би-на-а, я хочу жи-ить!

– Жи-ить! Жи-ить! – отозвались горы.

Она стояла на берегу и, шурясь радужному сиянию, улыбалась. Даирбек с мальчиком барахтались в воде и громко смеялись. Мальчик взбирался на его шею, плюхался вниз, всплывал, снова лез на шею.

Бибина сидела на берегу и смотрела на них. Женщине, может быть, казалось, то к ней вернулось её блудное счастье. Даир вышел из воды, упал к её ногам.

– Э! Ты куда? Иди сюда! – позвал мальчик.

– Очень привязчивый к мужчинам, – сказала она.

– Белек, иди сюда, – позвал Даирбек.

– Чо! – подбежал мальчуган.

– Ты знаешь, кто я такой?

– Привидение! – ответил мальчишка.

– Нет. Не угадал. Я твой папа! – сказал Даирбек.

– Честно? – с недоверием прищурился Белек.

– Честно...

– Честно-пречестно?

– Честно-пречестно...

Мальчишка секунду испытывающее смотрел на Даирбека, а потом вдруг бросился к нему, крепко обнял за шею.

– Папка! Я так и знал! – закричал мальчишка.

– Когда ты узнал меня? – удивился Даир.

– Когда ты поцеловал маму. – ответил мальчик.

Даир прижал его к груди.

– Зачем ты это сделал? – спросила она.

– Не спрашивай. Больше никогда ни о чем не спрашивай!

Белая машина мчалась вдоль берега. Бибина сидела за рулем. Мальчишка обнимал Даирбека за шею.

Показался пост ГАИ. Милиционер подошел к машине, взял под козырек.

– Превышаешь скорость, сестрица... О, Даке здесь! А мы тебя ищем, – воскликнул капитан. – Вон, видишь, самосвал, угол своротил. На два часа работы и... – пальцем изобразил полный стакан. – Сейчас в гастроном пошлю.

– Завязал, – ответил Даирбек.

– Да ну? И надолго? – удивился постовой.

– Навсегда. Клятву дал.

– Клятву? Ты! – искренне расхохотался постовой. – Кому же ты ее дал?

– Жене и сыну, – гордо ответил Даирбек.

Милиционер внимательно посмотрел на Бибину, только теперь разглядел, что она хороша собой, и рука его невольно потянулась к козырьку.

– Будь здоров, капитан, и вспомни, что мое настоящее имя Даирбек Акунов, – гордо сказал Даке.

Машина тронулась. Капитан так и остался стоять, держа руку на козырьке...

Въехали в город, вошли в обувной магазин, Даир переобулся в новые туфли, старые, стоптанные вместе с носками закинул в урну.

Белая машина остановилась у парикмахерской. Бибина дала деньги. Даирбек пошел бриться.

Подъехала красная «Нива», из нее вышли двое молодых людей.

– Эй, Даке, если сегодня не достроишь, взыщем аванс, – сказал один из них.

– Ладно, ладно, дострою, только не шуми, – проворчал Даирбек. – Биби. Я тут кое-что задолжал ребятам, – извинился он.

Она открыла сумочку, готовая рассчитаться с его долгами.

– Не надо... Вчера не успел закончить... Там работы на два часа.

– Хорошо... Мы подъедем через два часа, – сказала Бибина.

Даирбек подошел к красной «Ниве».

Бибина зашла в будку с междугородним телефоном, набрала Фрунзе.

Трубку подняла мать.

– Мама, это я...

– Что случилось? Почему не приехала?

– Мама, я встретила Даира. Он совсем опустился.

– Сейчас же езжай домой! Зачем он тебе?

– Сама не знаю... Просто не хочу, чтобы отец моего ребенка умер под забором, – Бибина расплакалась.

– Бибина! Слышишь! – звала мать.

Мальчишка нетерпеливо открыл дверцу кабины, и она повесила трубку.

Бибина с сыном зашел в универмаг, купили серый костюм, сорочку, галстук, белье, выбрали электробритву.

– Это ты подаришь папе, – сказала Бибина.

– Что ли у него день рождения? – спросил мальчик.

– Угу...

– Он побреется и станет красивым? – не унимался мальчик.

– Угу...

– Он наденет свой костюм и всегда будет ездить с нами?

– Не знаю, сынок. Не спрашивай ничего...

– Ну, мама, ну что ты...

На кладбище Даирбек вел кладку стены кумбеза, поглядывал на хмурое небо, торопился. С лица его капал пот, спина бла мокрая, но чем больше он торопился, тем хуже шла работа: то кирпич уронит, то мастеров; руки его дрожали и не слушались, ему явно не хватало привычного допинга. Он сел на стенку, закурил. Внизу двое молодых людей обедали, разложив на капоте разную снедь.

– Эй, Даке! Что-то расслабился! Может, налить? – крикнул молодой человек.

Даирбек покачал головой.

Молодые люди посоветовались между собой, один из них поднялся на край стены, поставил бутылку красного вина, накрыл стаканом.

– Вот приз и деньги. Как закончишь – все твое, – сказал он.

Молодые люди сели в красную «Ниву» и уехали.

Даирбек спустился вниз, поднял наверх ведро с раствором, начал кладку и по мере того, как он приближался к стене с бутылкой, движения его становились лихорадочнее, словно бутылка эта прибавляла силы, манила и тянула к себе, как магнит.

– Не-ет! Проклятая! Не возьмешь! – бормотал он, смахивая пот со лба.

Начал капать дождь...

Белая машина тихо подъехала к берегу, остановилась. Бибина взяла пакет с покупками, сыну вручила бритву. Они пошли через кладбище.

– Мама, а куда денем его старую одежду? – спросил сын.

– Закопаем... – ответила Бибина.

– В могилку?

– Угу...

Они прошли сквозь заросли облепихи, подошли к строящемуся кумбезу. Капли дождя уже частой дробью стучали по листьям деревьев.

– Мама... – начал мальчик.

– Тсс!

Она увидела, что Даир закончил кладку, добрался до бутылки, взял ее, видимо, хотел выбросить, но какая-то сила удерживала его. Он взял стакан, подержал, налил чуть-чуть, понюхал, налил до краев, поднес к губам, зубы его застучали по граненому стакану. Он не удержался и сделал глоток.

Бибина зажмурилась и отвернулась – ей показалось, что Джон Смит ударил Даира по лицу. Раздался гвалт толпы... Еще глоток. Еще удар и гвалт толпы.

Даир с жадностью опустошил стакан...

Бибина положила пакет на землю, сверху электробритву, взяла сына за руку и пошла прочь.

– Биби! Бибина! – он выбросил бутылку со стаканом и начал спускаться вниз.

Она вошла в машину, усадила сына и завела мотор...

– Бибина! – кричал Даирбек и бежал за машиной.

– Папа! Папочка! Мама, останови! Он плачет! – кричал сын, глядя в заднее окно.

Бибина до боли закусив губы, нажала на газ...

Ринг. Джон Смит наносил один удар за другим, и он видел чудесное лицо Бибины в розовом ореоле. Она плакала. Море шумело, как тысячная толпа...

– Биби! Бибина! – Даирбек шел по шоссе, не разбирая луж.

Проливной дождь хлестал по шоссе. В лицо бил встречный ветер.

Белая машина мчалась вдоль берега. Щетки едва успевали смыть с лобового стекла струи дождя. По лицу Бибины катились слезы. Мальчик, припав к заднему стеклу, ревел: «Папа, папа...»

Из приемника звучала песня Тугельбая Казакова о том, как долго шли проливные дожди, как жестокие ветры били в лицо, а он, как счастье, сжимал ее ладонь...

Песня неслась над мокрой дорогой, над штормящим морем, над сумрачными силуэтами великих гор, сквозь туманную пелену дождя...

СОДЕРЖАНИЕ

По своей тропе.....	3
Война, которая всегда с нами	11

РАССКАЗЫ

Когда гибнет Чапай	16
Мой хлеб	22
Моя золотая рыбка	35
Жайсан-эне и Андрей спаситель	43
Воровка	56
Преступление или наказание, или красные уши	74
Улыбка	77
Сказание о материнском сердце	90
За секунду до преступления	93
Сулуу	107
Ищу друга	111
Ошибка	115
Гражданочка	123
Ливень	126

ПОВЕСТИ

Тропа	158
Осенние дожди	201
Жил-был серый скакун	228
Однажды очень давно	310
Последний раунд	371

Мар Байджиев
РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

На русском языке

Редактор А. И. Иванов
Корректор М. М. Рыскулбекова
Тех. редактор С. Жумагул
Компьютерная верстка Т. Жанызакова

Формат 60x84 $\frac{1}{16}$. Объем 27 п.л.
Заказ № ??, Тираж ???.

г. Бишкек
???

